

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

февраль

Александр АЛТУНЯН
О единстве, гласности
и плюрализме

Леонид ЗОРИН
Трезвенник

Юрий КАЗАРИН
Колодезный лед

Александра ПЕТРОВА
Матросик Саня

Николай ШМЕЛЕВ
Curriculum vitae

Конференц-зал
Средний класс в России

2/2001

ЗНАМЯ

2
2001



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

содержание

Александра ПЕТРОВА	3	Матросик Саня. <i>Стихи</i>
Леонид ЗОРИН	9	Трезвенник. <i>Роман</i>
Юрий КАЗАРИН	103	Колодезный лед. <i>Стихи</i>
Нина ГОРЛАНОВА	111	Метаморфозы
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ	122	Любовные песни. <i>Стихи</i>
Лев СМИРНОВ	124	Ода сантехнику Редькину. <i>Стихи</i>

non fiction

Николай ШМЕЛЕВ	126	Curriculum vitae
----------------	-----	------------------

мемуары. архивы. свидетельства

Г. РАТГАУЗ	151	Как феникс из пепла. <i>Беседа с Анной Андреевной Ахматовой</i>
Галина МЕДВЕДЕВА	159	«Существованья светлое усилье» (Юлий Даниэль)

публицистика

Александр АЛТУНЯН	170	О единстве, гласности и плюрализме
-------------------	-----	------------------------------------

конференциал

Максим АМЕЛИН	182	Средний класс в России
Игорь БЕСТУЖЕВ-ЛАДА		
Леонид ГОРДОН		
Юлий ДУБОВ		
Сергей МАРКОВ		
Александр ШАРАВИН		

февраль
2/2001

критика

- Леонид АШКИНАЗИ 191 Литература седьмого сегмента, или «...почему люди снятся друг другу?»

forum

- Олеся НИКОЛАЕВА 205 Поэзия как энергия
Александр МЕДВЕДЕВ 208 Продажа оружия – выгодна или разорительна?

наблюдатель

Рецензии

- Владимир Шпаков 210 Юрий Андрухович. Рекреации
Мария Бондаренко 212 В. Нугатов. Недобрая муза
Леонид Шевченко 215 Мария Рыбакова. Тайна
С. Боровиков 218 Сергей Бардин. Ломбард
Андрей Цуканов 219 Вадим Месяц. Час приземления птиц
Галина Ермошина 221 Андрей Левкин. Цыганский роман
Вадим Муратханов 223 Санджар Янышев. Червь
Борис Хазанов 224 К. Харпрехт. Томас Манн. Биография; Д. Прейтер. Томас Манн. Жизнеописание; Д. Прейтер. Томас Манн – немец и гражданин мира; Г. Курцхе. Томас Манн. Жизнь как произведение искусства
Павел Полян 227 Анатолий Вишневский. Серп и рубль.
Владимир Елистратов 230 С.Г. Тер-Минасова. Язык и межкультурная коммуникация

Выставка

- Татьяна Бурдакова 232 «Взгляд мужской и взгляд женский», живопись, галерея «На Песчаной».

Незнакомый журнал

- Л. А. 235 Время «Парадокс»-ов: научно-популярные журналы и научно-популярность в журналах

Александра Петрова
Матросик Саня

* * *

Россия, мамаша слепая,
твой ямщик, я в тебе замерзаю.
В белоглазых озёрах замёрзшая рыба
горит.
Лес в снега с головою зашит.
В чесучовом горле Орфея
чаша песни, где гласных трясина бурлит.
Флорентийский бродяга,

пастушонок Давид
подавились бы ею.
Отпусти ты меня по красивым полям,
проводи в загранлето.
Я вернусь, я найду тебя,
буду ходить по дворам,
буду в окна стучать:
Русь-Мисюсь,
где ты?

* * *

Пуговица, говоришь?
Нет, всё, что могло, оторвалось.
Полопались губы, и глазки распухли
от соли,
уже не Мёртвого моря, а внутреннего,
живого.
Рассветные сумерки раскачиваются
до цифры семь.
Как неизбежное распрямляется
запах кофе.
Люди влезают в ботинки на роликах
и уезжают, наверное, насовсем.
Сапожник мне тоже сделает, вот только
денег накопим.

Почему не отпустишь
в мир европейский работников
рано встающих?
Что тебе до меня?
Русские волки сидят
в моих нуклеиновых клетках.
Очень тихие, на уколах и на таблетках.
Приходил Песталоцци,
циркач с пистолетом,
научить их быть птицами
на цветущих ветках
и на память читать *dalla vita nuova*.
Лишь один обучился,
но зубы выросли снова.

Хлопают двери. Звякает сахар
подъездных улыбок.
Повозившись у проходной, они
вылетают за рамку туманного утра.
Ты жеходишь в плотные будни, —
тебя выталкивает вода.
Что, Смердяков, всё воняешь во мне?

У косяка смеётся птице-ребёнок,
Путаясь перьями в слишком
широком белье.
Воздушные простыни надуваются,
хлопают на ветру.
Господи, не уклони сердце мое,
и я совсем его отопру.

* * *

Александрю Ильянену

Снег падает на плечи матросу.
Матросик, произноси уверенней
звук *the*, —

это то, чего можно коснуться
(раздвоенный подбородок друга),
или поймать (его взгляд),
или запомнить (улыбка).

Он перебегает улицу на розовый свет.

Белое зарево мятущейся геометрии
ниже нуля.

Справа красное солнце,
слева лёгкая полиэтиленовая луна.
Ей лишь два оборота до белой ночи.
На восточном стебле розы ветров
набухают вербные почки.

Он переходит улицу.

Или улица проходит через него.
Пересечение вспыхивает.
Негатив оседает
в физрастворе
желаний,
в фиксаторе снов.

Матросик Петров,
золотые пуговицы,
высокие ботинки.

Ты всегда спешишь.

Небезопасно бежать в переулках
славянского мира —
в нём нет очертаний.
Нет артиклей, вымеряющих расстояния.
Разбирай — всё твоё.

И тебя заберут, перетянут. Ты — ничей.
Часть лучей,
пересекшихся улиц,
двухголосое пенье толпы.
Блеск твоих пуговиц
рассылает снопы.

Воздухошественно,
как стяги или хоругви,
они вырастают вдали,
и у водных границ
в амальгаму летучих знамён
хмуρο смотрят военные корабли.

* * *

Если слева и справа темно,
вынужденная посадка —
просто вывалиться в окно.

Не надувайте защитных жилетов
в салоне, —
они затрудняют продвиженье к свободе.
И про укоры не думайте,

пока не раскроете парашюта.
По опущенным взглядам соседей
станет ясно: надвинулась *эта* минута.

Для растущего царства побега,
из ладони Евфала,
под сугробом снега.

* * *

день в туннелях коридорах проходах
пробуравленных сквозными гудками
тёплым ветром накачанном внутрь
белым ветром яблочных лепестков
шебет птиц — из-под пальцев
выпархивает шелчок
раз-два-три казачок
сорван крючок

с затворённого Рима
он пронесится мимо
в перспективе ударившись о монумент
памяти распадаясь на части
за осколком одним и мы убегаем вслед
взявшись за руки
мотоциклисты счастья

* * *

Ты не любил любовь.
Но вот она случилась.
Сильней, чем с тем, кто знал её повадки.
Ну, сбрасывай теперь манатки, кожу, сны:
они горят, пропитанные ею.

Познание спело хрустнуло. Пока
слизняк полз к дому,
солнце отвернулось.
Пространство выгнулось и сжалось.
Те двери, что впускали каждый день,
так далеки теперь стояли.

И свет лежал под ними или нож,
что месяц выгасил в тумане,
не поймёшь.

Молочная тропинка слизняка
в обратном направлении блестела.
В обратном направлении от всего.

Ну, подтолкни оставшееся тело.
Пускай бредёт пока.
Бреди,

не наше дело.

* * *

Холодно животному сердцу,
зябко.
Восьмое июня.
Люди прячутся под тентами
на глухих балконах.
Жарко.
Как это она, такая грозная и тихая,
эта любовь
оказалась короткой.
Стянулась мгновенно.
Лопнувшая резинка

от трусов или чего там.
О, его трусы я знаю прекрасно:
зелёные, белые с синим,
серые в яблоках, голубые.
Господи, помоги не думать
об этих деталях.
Они остывают.
Уже остыли.

Рождественское

С горы сползают к дому сани.
В них — никого. А голоса кричат:
Тятя, тятя, дядя Ваня
побежал в вишнёвый сад.

Бросает тятя ёлку в хате,
тётя как была в халате
выскочили на крыльцо
посмотреть ему в лицо.

Он бежит один, вишнёвый
от позора своего.
От сигнальной лампочки его пульса
лес мигает красным.
Наперерез — пустота.

Вернись назад, ребёнок гневный,
к теплу, к борщу.
Тебя прощу.

«Ах, нету сил себе быть верным,
а значит — снова в путь.
Поскольку некого вернуть».

Слеза ощупывает лик,
но не течёт. Зовёт других:
«Девушки злые слёзы,
сёстры последнего отчаянья,
собирайтесь, ваша пора».
Кристаллам этой слёзной соли
гореть придётся до утра.

Утром проявят снежную плёнку
белого сада
оставьте меня мне ничего не надо
там поздний испуг озноб судорога
стук топора стук
там Ванечка висит на древе
наставник путник друг

* * *

Ты вываливался из окон,
пробирался по насыпи из мертвецов.
Свет свернулся в ребристый кокон,
меж ресниц Cavalier Borgomino,
лучи лестниц выстреливают
из его рукавов.

Светляки мигают в Villa Pamphilj.
Я спотыкаюсь в астигматических
висячих садах.

В записной книжке
тоже много фамилий,

которые только ведут назад.

Но чем быстрее бежишь им навстречу,
отцепляя платье от тлеющих на жаре
кустов,
тем быстрее «вчера» сужается.
Лучше ранить его из засады
движенья картечью,
подождать в проходящем сне.

Оно выйдет тогда на зов.

* * *

Грудастый ангел сел среди листвы.
В платановом плену дорог шатровых
я шорох слушал.

Но, правда ль, заблудился я в краю
того, кто заблудился первый?
Я просто шёл на звук морского ветра.
Гул контрабасов, гул лесов
строительных в пространстве «да».

Нейроны гаснут, словно светляки.
Не оцепляйте темнотой грудь ангела.
Его руки, ноги,
пожалуйста.

Мы выберемся. Это ничего.
Ещё немного превозмочь.
И лечь на землю, глядя в ночь,
в её жушачье стекло.

* * *

Зелёный крест аптеки.
Женщина курит у фонаря.
Поправляет причёску.
Примеривается у витрины:

это от рака горла,
это от МДП,
а это — от самой себя.
Только б не думать о побочных
эффектах:
любовь, отстранение, смерть.
О том, как река, вырываясь,
громит плотины.

Лучи трамваев
пересекают её мысли.
Там, на одной из площадей танцует
смуглый факир.

Лучи пропадают, и снова становится
очевидным,
что в Риме плохая погода.
Нет прохожих.

Ангел — клошар без чулок
вечно мёрзнет на Замке.
Победитель чумы,
вратарь голоногий,
есть похуже напасти.
Ты с железным мечом
да с крылом,
я с редуцией гласных чужих,
что в молитве костью торчат, колом,
погоди меня за углом,
эту ночь поделим на части.

В чьих-то окнах, однако,
есть подобие света.
Женщина нажимает на «сохранить»,
но свет, вырываясь, уходит.

Лишь мерцанье кольца сигаретного
пепла
напоминает, тускнея,
ей приключенье прошедшей секунды,
и потом всё опять погружается
в темноту.

* * *

a Roberta De Giorgi

1

В италийском звоне и гуле,
мраморном, пёстром,
тяжёлые пули ночей
отливают бледные сёстры.
Не спят. К утру розовеют.
Холодные пальцы затягивают у шеи
ворот. Существа нетерпенья и перемен
вступают в карминный город.

Врассыпную они проходят через ворота святого Панкратия, Паоло, Себастьяна.
Горожанки. Завтракают cornetto и sarruccino. Болтают с барменом.
Оставляют на столике чаевые, а под столиком — мысли о тикающих пакетах.
Доброволки из отряда Софии Премудрости, Софии Перовской, Веры Засулич,
они смотрят в упор, как Европа закатывается в блестящие банки для супер-рынков.

Вечерами ангары вселенной посыпают чистящей стружкой:
«отбеливает и хорошо впитывает признанья».
Кольцами разрастается срез плоского мира,
отполированный ветром моря, мелькающий скоростью неоновых пересечений,
скользкий от слюны поцелуев,
светящийся издалека ночными салютами спермы.

Мы любимся ими в раскрытые майские окна,
пока стираются зубы, башмаки Timberland и другие волокна.

2

Южные всадницы привязывают коней у паба. Приглушённый стон саксофона,
чёрный Гибр, недостроенный мост, редкие пешеходы, сменившие кожу.
Прямота мечтания. Мечтательницы,веряющие хаос латынью.
Это они вышивали кресты на флагах, изучали китайский по Мао Цзедуну,
милосердные,
вычерпывали Дунай и Россию любили больше,
чем славянофилы.

Но, воительницы справедливые и растерянные, оглянитесь:
священное равенство уже наступило.
Микробиотика, фибросинтетика быстрее, чем взрывы,
уничтожают микробов различья.
Только те, кто цепляются беличьим взглядом за взнесённые кроны деревьев,
да особые нумизматы, замечают,
стирая со щёк брызги волн обступившего моря,
как оно, высыхая на скулах,
проступает бронзовой золотухой,
пылью изъеденных временем лиц императоров, королей и тиранов.

* * *

I

Глебу Мореву

1. В подземном Риме
каменщик Gesù
зажжёт огни,
слизнёт твою слезу.

Он тоже грустный мальчик,
он поймёт,
как от отчаянья болит душа-живот.

Подними меня с санок, магнитящих
морозные мысли,
развяжи завязки на глухой ушанке.
Да, я видел заморскую красоту.
Но зрачки, расширенные темнотою
родного,
не сжимались.

2. Здесь полумрак, и полумрак во мне.
Свеча всполохами выхватит голубя
на стене.

Так сухое чухонское солнце
заполняло собой когда-то
руку, тяжёлую занавеску
тускло разгорающегося окна
и голоса из сундука радиолы.
Пионерская зорька шумела водой
из сливного бака,
уводила ласково на стройку будущего
и в школы.

3. Мир стоял надо мной. Дирижабль.
Последние новости не отличались
от предыдущих.
Лишь когда случалось,
что наступало лето,
старухи, вглядываясь, застывали
в дверях:

белые поля одуванчиков,
как разводные мосты,
поднимались навстречу свету.

II

Наверху поют. Зажигают шутихи.
Ходят огненные хулахупы.
Облачная залупа печали,
что всегда обволакивала сады,
оттянулась к пространству «вчера»,
к тучам скапливающейся воды.

Нынче пляшут, сбрасывают сандали.
Твист, душеное танго, румбу
и венский вальс.
Завтра Новый год, Сатурналии,

открывайте Святые двери,
впустите нас! —
Активистов Ассоциации Инвалидов,
Секретаря Социально Опасной
Молодёжи,
маленького Серёжу,
наделавшего в штаны.

О, Серёжа, мы все, все равны.
И мои штаны промокают тоже.

* * *

Темнеет. Смердяков натягивает
лопнувшую струну.
Неприбранная Фортуна в закуске
прикладывается к вину.
Стряпают у жаровни. Капли пота
ползут по гриму.
В трактир постепенно заходят
прогуливающиеся по Риму.

Впереди долгая ночь.
Захожу и я. Выпить и превозмочь.

Гитара не строит. Он пробует пальцы
в прелюде.

Сползаются пьяные люди,
ощупывают темноту.

О, она тоже нечистая,
как отношенье между мной и предметом.
Между мной и предметом любви.

Связь, бегущую по проводам,
рвёт непогода.
В нашей — помехи невыравненных
скоростей.

Выпьём-ка лучше за навык складывать
чемоданы,
а потом их вовсе не разбирать.

Осенний ветер подтянет к открытой
раме ворох старых билетов:
вылет в двенадцать, прибытие в пять.

Глянь-ка, вот они полетели,
что твои голуби у Сан-Пьетро.

Смердяков, откашлявшись,
затягивает неаполитанскую,
старая тоже ему подпевает:
про карий глаз, разлуку-зиму,
про то, что не успел...
Ах, фата, ты аляповата.
Зачем мешаешь слёзы к Риму,
мне доктор не велел.

Хор странниц:

*Судьба — это душный запах портьеры,
пыль плюшевых стульев.
Постоянство пространства
хуже холеры
и погубительней пьянства.*

Хор странниц справа заглушает другой,
Хор пъяниц неопределённого пола:

*Шартрез, Ширин, Охотничья, Грозвино.
Поедем в Брянск, в Царское,
хоть на Марс.*

Всё равно.

(Серафимы и ангелы толпятся у касс,
поглядывают тяжело.)

*Нам бесклассовый, пожалуйста, билет.
Да, дорёга нам известна прекрасно.
Как и всякая, она выведет в Рим.
В этом смысле судьба решается
единогласно.*

Красной Армии бойцы уходят
за границы
дозволенного им.

Прорвутся два, а то и один.

Матрос.
Звать, наверное, Саня,
Тот, кто там его встретит,
поцелует взасос,
в шёлковой вымоет бане,
обует, оденет
и на обратный билет выдаст денег:
Хочешь, езжай, голубчик,
ты теперь лёгкий, без родины.
И свободен.

Зажигают плошки. Звон стекла.
Ухаёт откупоренная бутылка.
В наступившей тишине слышно
чавканье.
На вилки наматывается сужающееся
пространство.
Лишь по углам затаилось испуганное
постоянство.

Фортуна нервничает. Смердяков
бормочет заговоры против фальши.
Кто-то резко включает свет.
Смердяков узнаёт:
это тот самый банщик.

Все посетители поднимаются с мест,
выходят за ним.
Садятся на мотороллеры.
Шум моторов.

Смердяков и Фортуна остаются одни.
Старые куклы, брошенные
выросшими детьми
в гулких комнатах.
Выставленные у окон трактира
их лица, отдаляясь, фарфорово
светятся в блеске фар.

Но надо бежать. Квартал охватывает
пожар.

Это время наше горит.
У него высокое РОЭ,
воспалена его плевра.
Пред тобою
оно вырастет грозно и неизменно
из желтеющей тьмы,
погоняющей дальше
армию мотоциклистов,
двухголово сидящую в сёдлах.

Мчи, детвора двадцать первого века,
ведь и я твой покорный калека.

Если и есть мне наставник,
это только движенье.

Рим

Леонид Зорин

Трезвенник

р о м а н

1

С шахматным мастером Мельхиоровым судьба свела меня еще в отрочестве — в конце пятидесятих годов. Это была большая удача.

Наверно, я больше почуял, чем понял, насколько опасен мой нежный возраст. На каждом шагу тебя ждут искушения, а значит, возможны и неприятности. Нужно найти свое укрытие. Мне повезло — я увлекся шахматами.

Еще важнее — найти наставника. Тем более, в этот ломкий сезон. Тут мне повезло еще больше.

Илларион Козьмич Мельхиоров был старше нас лет на двадцать пять, но выглядел пожилым человеком из-за небритости и плешивости. Его узкое рябое лицо не отличалось благообразием. Над тонкими бледными губами почти угрожающе нависал горбатый клювообразный нос. Зато завораживали глаза, подсвеченные тайной усмешкой и неким знанием, суть которого мы не могли еще разгадать.

Занятия проходили раскованно. В сущности, это был монолог, витиеватый и патетический. Казалось, что он отводит душу, обрушивая на наши головы свои затейливые периоды. Надо сказать, что мы не сразу привыкли к этой странной манере. Высмеивает? Мистифицирует? Устраивает ежевечерний спектакль? Или естественно существует — просто таков, каков он есть?

Сразу же, на первом уроке, когда кто-то из нас искажил его отчество, он разразился язвительной речью:

— Нет, юный сикамбр, не Кузьмич, а Козьмич. Я понимаю, что «Кузьмич» привычней нетребовательному слуху. Но тут принципиальная разница и неодолимая дистанция. Отец мой — Козьма, отнюдь не Кузьма. Кузьма — это курная изба, гармошка, несвежие портянки и ни единой ассоциации, кроме известного заклинания: «я покажу вам кузькину мать». Козьма — это другая музыка. Был некогда в отдаленных веках прославленный итальянский мужчина, снискавший общее уважение — некто Козимо Великолепный. Козимо! Именно это имя и соответствует Козьме. Можно еще упомянуть почтенных Косьму и Дамиана. Я уж не говорю о Пруткове, этом писателе божьей милостью, носившем с необычайным достоинством «имя громкое Козьмы». Надеюсь, что больше никто из вас не назовет меня так неряшливо Илларионом Кузьмичом.

Эта чеканная декларация произвела на нас впечатление. Особенно бурно прореагировали двое — Випер и Богушевич. Они попытались заплодировать, но Мельхиоров пресек их порыв.

— Не надо, Випер и Богушевич, воспринимать с такой экзальтацией мое деловое пояснение. Реакция ваша неадекватна, и я могу ее интерпретировать в самом невыгодном для вас свете. Либо как жалкое подхалимство, либо как еще более жалкую и тщетную попытку насмешки. Ни то, ни другое вас не украсит. Искательство было бы недостойно будущих шахматных мастеров, а

Хамовы ухмылки над Ноем, над вашим наставником и просветителем, могут вас только опозорить.

Когда Мельхиоров возбуждался, его хрипловатый обычно голос сперва обретал трубную силу, потом походил на рычание льва. Тем не менее суровый отпор не смутил ни Випера, ни Богушевича. Скорее он их воодушевил. Это были весьма живые ребята, закадычные друзья и соседи, вскорости я с ними сошелся. Випер был очень пылкий тинейджер, как выяснилось, писал стихи, а Богушевич был посдержаннее, не торопился раскрываться, задумывался о чем-то своем. Кроме шахмат он увлекался книгами весьма серьезного содержания. При этом он легко отзывался на шутки и острословие Випера, умел их с изяществом поддержать. Они постоянно о чем-то шушукались, никак не могли наговориться. Я не скажу, что мы подружились, третьему тут не было места, но я и не слишком искал их дружбы. Внутренний тенорок мне шепнул, что эта дружба была бы нелегкой. Мы были совсем по-разному скроены. Их шуточки были только одежкой, взятой обоими напрокат для того, чтобы соответствовать принятой манере общения. Нет, необязывающее приятельство выглядело намного комфортней. Уже в те годы я ощутил: легче и проще держать дистанцию.

И все-таки я любил захаживать в свободное время к Богушевичу. Випер, как я, был единственным сыном, Борис был братом своей сестры. Она была старше двумя годами, высоконькая красивая девушка, с пушистыми черными волосами, тонким носиком, аккуратным бюстиком, длинными точеными ножками. Она мне нравилась чрезвычайно. Смущало меня различие в возрасте, в ту пору казавшееся громадным, но больше всего — выражение глаз. Эти зеленые очи бросали на вас трагический свет. Слово от каждого, кто приближался на расстояние трех шагов, она ждала рокового удара. Когда Рена одаривала меня взглядом, мне становилось не по себе. Чудилось, что-то она прочитывает, неведомое тебе самому.

В ее присутствии мне хотелось выглядеть взрослей и значительней, я становился совсем лапидарным и замкнутым, как обладатель секрета. Вообще говоря, искусство помалкивать — одно из самых дорогостоящих, но надо, чтобы оно отвечало вашей сути, чтобы в нем не было вызова. Всегда инстинктивно я сторонился людей со вторым и третьим планом и вот оказался одним из них. Я изменял своей основе и потому был зол на себя, а особенно сердился на Рену. Глупо с такими ладными ножками изображать вселенскую скорбь.

В шахматном кружке Мельхиорова я чувствовал себя много свободней. Во всяком случае, много естественней. Часы занятий мне были в радость. Бесспорно, наш рябой декламатор был педагогом незаурядным.

Он не боялся, что его речи покажутся мне чрезмерно мудреными, и никогда их не упрощал. Быть может, он даже малость подчеркивал, что не намерен их приспособлять к скромным возможностям наших мозгов, еще пребывавших в приятной спячке. Он заставлял нас приподниматься над собственным неприятельным уровнем, что наполняло нас тайной гордыней.

По обыкновению патетически он излагал свой взгляд на игру. Даже рябины его трепетали, в простуженном голосе слышалась страсть.

Он говорил о мелодии цвета, белого и черного цвета, и о таинственном сопряжении этих различно окрашенных клеток, о том, как они сосуществуют, то в органическом взаимодействии, то в состоянии отторжения. Тут он весьма изящно касался загадки разноцветных слонов, оставшихся в пешечном окружении. Здесь гениально проявляется — так утверждал он, вздымая перст — закон гармонического соответствия противоположных характеристик — разный цвет обеспечивает равный вес. Можно даже одной из сторон не досчитаться иной раз двух пешек, равенство сил не будет нарушено.

Нежно поглаживая доску, он не упускал повторить, что каждое поле имеет свой голос, собственный, неповторимый голос, надобно только уметь его

слышать. Существует сигнальная система позиции, нервная деятельность организма, которую познают партнеры, точнее сказать — стремятся познать. От их успешного проникновения в ее суть зависит течение партии и ее конечный исход. Дальнейшее сопоставление с жизнью было, естественно, неизбежным. Менялся и звуковой регистр. Уже не трубы — рычание льва.

— Вы скажете мне, — наступал он на нас, хотя мы и не пытались с ним спорить, — вы скажете, что наш организм заботит союзников, а не противников. С чего вы это взяли, придурки? Найдите двух согласных врачей, я уж молчу о научных школах. Чтоб утвердить свою правоту, они готовы нас рвать на части! Сперва калечат мышей и кроликов, потом берутся за нашего брата. Шприцами, скальпелями, ножами они выпускают из нас всю кровь и пьют ее жадно, как комары, эти злокозненные инсекты, хуже которых нет ничего! Нет, вовсе не друзей, а врагов волнует ваша жизнеспособность. Возьмите участь стран и народов. Какой-нибудь царь персидский Дарий и Александр Македонский сначала принимались друг к другу, чтобы затем на поле боища явить глубину своего анализа и правоту в оценке позиции. То же самое случилось и позже, но, как разумно нам советовал Алексей Константинович Толстой, о том, что было близко, мы лучше умолчим.

Он развивал свои аналогии, говорил о дебюте, поре надежд, с которыми мы вступаем в мир, о самых ответственных решениях — мы принимаем их при переходе от начала игры к ее середине — этот мостик, связывающий два разных периода, важно пройти без особых потерь, хотя бы со скромными приобретениями. Осуществить переход нужно плавно и по возможности незаметно. Миттельшпиль он трактовал как развитие — прежде всего наших потенций и уж потом как предостерегающую подстерегающей нас враждебности. Но ярче всего говорил он об эндшпиле. Вопреки точному переводу этого немецкого термина, он отказывался его рассматривать как конец игры. Больше того — он рассматривал его как завязку.

— Да! — восклицал он. — В этом все дело. Партия начинается заново. Естественно, в этом щенячьем возрасте не в ваших возможностях понять, что старость — это только начало самого важного сражения. Для вас весь век ограничен прыщами вашего долгого созревания, которое вы называете юностью. Те, кто ее перешагнул — обломки, обмылки, осколки посуды. Тридцатилетний — для вас старик, а я — сорокалетний мужчина, что называется, в самом соку, в расцвете своего интеллекта, — я вообще ихтиозавр, неведомо по какой причине забивающий галиматейей ваши головы, вместо того чтоб лежать в музее. Или же — в ящике, вместе с фигурами, уже исчезнувшими с доски. И тем не менее, слезьте с высот вашего чванства и — наоборот — привстаньте над собственной недоразвитостью.

— Я утверждаю, что эндшпиль — начало решающего периода схватки и важно войти в него бодрым и свежим. Это, возможно, труднее всего, ибо за бурную жизнь партии часто теряется вкус к борьбе — тогда вы без сопротивления гибнете. Банальный ум не в силах постичь, что все тут идет по второму кругу — причем на более сложном этапе. Готовиться к нему нужно загодя, закалять себя, начиная с дебюта, вам предстоит ваш главный бой, в него вы бросаете все, что нажили, все, что скопили за длинный путь, все свои маленькие преимущества и все свои большие достоинства. Вот тут-то вы себя реализуете в полной мере и — шаг за шагом! Длительный и неспешный процесс, даром что поверхностный ум считает, что в юности время тянется, а в старости оно мчится вскачь. Все обстоит как раз по-другому. Тем и отличны от всех чемпионы, что они это хорошо понимают. Взгляните на их произведения — как часто эндшпиль в них составляет иной раз даже две трети всей партии, а уж половину — как правило! Начнется на сороковом ходу, а кончится, дай бог, к восьмидесятому. Эндшпиль определяет класс. Не только партии, но и автора. Его способность к любым испытаниям, выносливость его мысли и

духа, его умение терпеть и ждать. То есть — его человеческий уровень.

— Вот почему назначение шахмат не только в том, что они сублимируют агрессию наших тайных страстей и темную направленность мозга, переводя их в иное русло, в условные образы конфронтации. Суть шахмат в том, что каждая партия — это попытка самовыразиться и больше того — реализоваться. Они воспитывают достоинство. Но этого вам понять не дано, поскольку об этом вы и не задумывались.

Ах, этот мельхиоровский рык! Он долго звучал в моих ушах. Среди бумаг, сохранённых мною, остались конспекты его уроков. Я перечитывал их с благодарностью. Охота же была ему тратить столько жара! Никак не скажешь, что он надеялся на отдачу. «Недомерки» было ласкательным словом, прочие звучали похлеще. Однако никто не обижался. Мы понимали, что он нас заводит, что уж таков мельхиоровский стиль, и даже получали свой кайф.

Он уверял, что отсутствие качеств горше наличия пробоков. Прежде всего самостояние. А без него ты — не человек. Лишний повод сказать о роли шахмат.

— Именно шахматам я обязан и достоинством, и твердостью духа. Меня не выведешь из равновесия, держать себя в руках я умею. Да, да, можете не сомневаться. А вам, Випер и Богушевич, стоило бы стереть с ваших губ улыбки проснувшихся гуманоидов. Вам не мешало бы уразуметь, что наглый вид — примитивная форма вашего жалкого самоутверждения, пустая амбиция юнцов, уставших от собственной неполноценности. Возразите мне, если вы не согласны. Найдите достойные контрдоводы. Безмолвствуете? Так я и знал. Испытанный путь людей и народов. И все-таки, Випер и Богушевич, не надо изображать овечек, которые кротко сносят гонения. Меня этим, знаете, не проймешь. Равно как вашими перемигиваниями. Меня уже ничем не проймешь. Один человек без стыда и совести однажды стремился меня уязвить на редкость циничным оскорблением. Он думал, что я потеряю лицо, а я в ответ не повел и бровью. Шахматы меня воспитали. Богушевич и Випер, довольно шептаться, я ведь отлично понимаю, что вы предлагаете друг другу возможные версии этой брани. Но с вашим ли серым веществом вам догадаться, какой беспардонной была она, нечего и пытаться! Самое большее, на что вы способны, так это с усилием изобрести несколько пошлых упражнений по поводу яминок и впадин на моей физиономии — ваш потолок! Да и о них ничего не придумаете выходящего из обычного ряда. Меж тем, я о своих рябинах мог бы говорить столь же ярко, нестандартно и вдохновенно, как поэт Сирано де Бержерак о своем громадных размеров носе. Чему бы я их не уподобил! Всему. Начиная от следа бури, следа от солнечного луча и, наконец, от поцелуя не в меру воспламенившейся дамы. Мне бы, в отличие от вас, хватило фантазии, недомерки! Да, Випер и Богушевич, вы оба малы для полета воображения. Поэтому не стать вам гроссмейстерами. Напрасно вбиваю я в ваши головы, что угол зрения все решает! Даже и честными мастерами вы не будете — с вашим-то верхоглядством! Будете скучными подмастерьями, начетчиками и талмудистами. Ремесленниками, а не творцами! И то — неизвестно. Больно думать, что я на вас трачу богатство личности.

Как обычно, Випер и Богушевич не чувствовали себя ни развенчанными, ни униженными такими речами. Совсем напротив, они признавались, что сами никак не разберутся, почему они так спешат к Мельхиорову — из-за шахмат или из-за его монологов.

Да и я все отчетливей понимал, что пик моей шахматной лихорадки уже позади, что сам Учитель становится интересней предмета. Больше двух лет я ходил на занятия и получил высокий разряд, однако мне уже стало ясно: трезвость — незаменимое качество, но для того, чтоб достичь вершин, необхо-

дима доля безумия. Можно назвать ее одержимостью. Ее-то мне и не доставало. Впрочем, совсем не только в шахматах.

Мельхиоров это давно заметил. Он относился ко мне с симпатией и однажды, когда я его провожал, спросил, отчего я так расточительно разбрасываюсь бесценным временем? Тем более, в рубежные дни? Настала пора определяться.

Учитель добавил:

— Обдумай свой выбор. Не загоняй себя в цейтнот, но суетиться еще опасней. Суть в том, что стремительные движения замедляют приближение к цели.

Я сказал, что он совершенно прав. Я понял, что шахматы надо оставить, я не готов посвятить им жизнь. Учитель кивнул — обычное дело, так бывает с большинством его птенчиков.

То ли весенний бархатный вечер настраивал на лирический лад, то ли какие-то воспоминания, расположились ли звезды в небе особым образом — кто его знает? — но был он сам на себя не похож — мягок, задумчив, меланхоличен.

— Я мысленно спрашивал себя, — неожиданно сказал Мельхиоров, — с какой это стати Вадик Белан ежевечерне торчит в этом клубе вместо того, чтобы клеить девочек? Признаться, не находил ответа.

Четкая прямота вопроса была вполне в мельхиоровском духе, но голос, в котором всегда рокотали раскаты близящегося грома, на сей раз был комнатным и домашним. Его ирония нынче звучала не в патетическом регистре, к которому мы успели привыкнуть, в ней появились иные ноты.

Я вежливо обозначил смущение. Но был польщен. В своих отступлениях, до коих он был такой охотник, Учитель амурных тем не касался. Я понял, что этой игривой сентенцией он подчеркнул мой переход в другую возрастную среду.

Я ответил, что совсем не жалею о том, что ходил к нему на занятия. Мне кажется, кое-чему научился и, очень возможно, не только игре. В частности, шахматы мне помогли почувствовать себя независимей. В том числе от существ женского рода. Стоит им ощутить внимание, они начинают тебя топтать.

Мастер заметил, что такое бывает. Как правило, слабый пол звереет от теплого к нему отношения. Женщины в законченной форме являют наше несовершенство, заключающееся, с одной стороны, в пренебрежении к тем, кто нам служит, с другой стороны — в любви к подчинению.

— Впрочем, — ободрил меня Мельхиоров, — тебя угнетать они не должны. Ты юноша видный, с отменными статями и вроде не склонный к самозабвению. Партии твои подтверждают, что ты, как правило, предпочитаешь накопление маленьких преимуществ. Проще сказать — синицу в руках. Стало быть, тут им не поживиться.

Я подтвердил, что именно это имел в виду, говоря о шахматах. Они дают тебе понимание твоих слабостей и сильных сторон. А самое важное — ты устанавливаешь пределы отпущенных Богом возможностей.

Мельхиоров уважительно свистнул.

— Речь мужа. К этому люди приходят обычно уже на исходе дней. Они заблуждаются с энтузиазмом. В особенности — на собственный счет. Между тем, осознав свои изъяны, ты пересташь их бояться. Не нужно их прятать — это бессмысленно. Наоборот — обсуждай их со всеми. С обезоруживающей искренностью и подкупающей откровенностью. Посмеиваясь. Ты им придашь обаяние и упредишь чужие ухмылки.

Он оглядел меня вновь и добавил с важностью, вызывавшей симпатию:

— Да, шахматы — великая школа. Они превосходно ставят на место. Я скоро понял, что мне не светит войти в элиту. Но я не расстроился.

Набравшись смелости, я сказал, что, может быть, он достиг бы большего в иной профессии, его преданность шахматам порою казалась мне необъяснимой.

Минуты три мы шагали молча. Мысленно я себя уже выбрал за то, что переступил черту. Должно быть, в его глазах я выгляжу развязным и бестактным мальчишкой. И он себя тоже, наверно, костит — напрасно он так сократил дистанцию между учеником и учителем. Я подбирал слова извинения, когда Мельхиоров заговорил:

— Если нельзя иметь то, что любишь, то надо любить то, что имеешь. Я повторяю: я не жалею. Шахматы дали мне самое главное — чувство убежища и безопасности. Это немало. Совсем немало. Когда-нибудь ты это поймешь. Пока же, дружок, запомни вот что: лучше уж быть коровой в Индии, чем быком в Испании. В этом вся суть.

Больше он ничего не сказал, но и того мне было достаточно. Эти слова запали мне в душу и — как я скорей ощутил, чем понял — попали на взрылленную почву.

2

Мое студенчество мне запомнилось прежде всего теми усилиями, с которыми я его добивался. Не слишком легко было стать студентом, особенно на моем факультете.

Действуя методом исключения, я понял, что должен идти в юристы. Все инженерные профессии были, бесспорно, не для меня. Ни малейшей склонности к темному миру бездушных деталей, вдруг оживающих во враждебном организме машины. Знал я одного молодца, который по чисто стадному чувству пошел в какой-то технический вуз (название я забыл мгновенно, помню, что он изучал котлы). Через год я встретил его в Измайлове, его пригрел Институт физкультуры. Я осведомился: а как же котел? Он только виновато вздохнул и пробасил: «А вдруг он взорвется?». И в самом деле, свободная вещь! Я предпочел ответить себе на всякие сходные вопросы, прежде чем относить документы.

Ни к математике, ни к астрономии, ни к прочим фундаментальным наукам я также не испытывал тяги. Распространенное заблуждение, что у способных шахматистов — врожденный математический дар, меня, слава Богу, не посетило. Да, мастер комбинации Андерсен преподавал математику в школе, но Морфи, который его победил, был абсолютно к ней равнодушен. Шахматы могут приворожить химика, музыканта, бухгалтера — в этом их магия и коварство.

Раздумывая над своею судьбой, я отказался — с присущей мне трезвостью — избрать своим делом такие сферы, как филология или история. Даже для небольших достижений здесь требовалась известная страсть — я подразумеваю страсть к книге, к документу, к обильному строчкогонству. Все это было исключено. Я не был даже библиоманом, почитывал от случая к случаю, представить же себя в роли пишущего по собственной воле и вовсе не мог. Стало быть, мне предстояло учительство в средней школе — при этой мысли мне становилось не по себе. Я не чувствовал ни мельхиоровской склонности к просветительству, ни его артистизма, дарившего ему ощущение, что он — на подмостках, а все мы в зале.

Само собою, и в юриспруденции было немало своих пригорков, надо ли все их перечислять? Территория Права такой лабиринт, в который легче попасть, чем выйти. Было, однако, и много манков и сопряжений с моей натурой, не все из них я мог сформулировать, но важно, что я это ощущал. Предложить себе версию своей биографии более точную и увлекательную я не сумел и сделал выбор. По этому поводу я имел живую дискуссию с отцом.

Несколько слов о моем родителе. Мне с детских лет пришлось убедиться, что он при всей своей добропорядочности был простодушней, чем это терпи-

мо. Беда была в том, что чаще он следовал не собственной сути, а стереотипам, либо освященным традицией, либо выдвинутым на авансцену общественностью. Такую готовность равно поклоняться и общепринятому и новомодному (готовность, на мой взгляд, чисто советскую) он объяснял своей способностью к самостроительству и росту. Тем не менее в его перепадах была безусловная система. Он принимая на вооружение тот штамп, который на нынешний день был наиболее влиятелен. Напоминал с большим удовольствием, что он «гражданственный человек». Как образцовый гражданин он двадцать лет славил генералиссимуса; как образцовый гражданин с середины пятидесятых годов стал возмущаться его произволом, как образцовый гражданин был историческим оптимистом.

Я знал, что проникнуть на факультет простому смертному будет непросто. Конкурс несчастных абитуриентов давно превратился в конкурс ходатаев. А юридическое образование фактически стало уделом избранных. Юстиция была символом власти. Можно было и скалабурить, назвать ее символической властью, а все же от этих бойцов Фемиды в иных ситуациях много зависело. Чтобы войти в их избранный круг, надо было заручиться поддержкой. Я очень рассчитывал на отца.

В войну он служил на аэродроме, обеспечивал боеготовность машин — от этих дней у него осталось знакомство с одним прославленным асом. Два раза в год отец с ним встречался, со скромным мужественным величием ходил отмечать святые даты. В эти дни он бронзовел на глазах.

Так пусть же его знаменитый друг замолвит свое геройское слово за сына боевого товарища! Отец мне ответил, что это излишне, я ведь родился в сорок пятом и, стало быть, я — Дитя Победы.

Мне очень хотелось ему сказать, что дети победы почти всегда обречены на поражение (эту фразу я слышал от Мельхиорова). Но я не хотел углублять наш спор. Сказал лишь, что честной борьбы не боюсь. Но честной борьбы как раз и не будет. Гражданственные идеалисты на деле способствуют ловкачам. Я вспомнил уроки Мельхиорова и рассказал популярно о табиях — заранее известных позициях, автоматически возникающих, когда разыгрываются дебюты. В жизни, сказал я, есть свои табии, и разве высшее образование не входит в одну из исходных позиций, с которых должна начаться игра? Табия тем и хороша, что предоставляет партнерам одинаковые возможности, чтобы в дальнейшем себя проявить. Несправедливо меня лишать в сущности равных условий на старте.

Тут я нашел энергичный ход, к тому же не лишенный изящества. Главное, учил Мельхиоров, уметь поддерживать темп атаки, почувствовать ее кульминацию и бросить в дело последний резерв. Я сказал, что летчик будет растроган тем, что в решительную минуту отец положился лишь на него, поставил превыше всех этикетов священный закон фронтового товарищества. Тем более в поисках справедливости.

Отец смятенно ходил по комнате. Похоже, что я загнал его в угол. Конечно, будь моя мать жива, она бы привела его в чувство, не затрачивая таких усилий. Мы любим украшать наших близких, в особенности если их нет, почти фантастическими достоинствами. Но нужно быть трезвым, и я не скажу, что мама превосходила отца, она была недалекая женщина. Зато в ней было меньше напыщенности и больше чувства — это немало. Но вот уж три года, как я сиротствовал, а мой благородный отец вдовел. Очень возможно, его уверения, что армия меня отшлифует, подпитывались тайным желанием какой-то срок пожить без присмотра.

Как бы то ни было, крепость рухнула. Грехопадение совершилось. Орел-истребитель без колебаний спикировал на деканат. «Внимание! Литовченко в воздухе!» Сияние двух золотых звезд высветило своим отражением мое осунувшееся лицо, и я получил проходной балл.

Когда я думаю о студенчестве, когда я хочу оживить его в памяти, я вижу какую-то замысловатую авангардистскую мозаику, сложенную из несочетаемых стеклышек. Но в общем-то сталкиваются две линии, две, так сказать, основные темы, творящие этот чудной разнотой. С одной стороны, нормальный студент всегда считает, что штурм наук — это досадная издержка той отсрочки, что предоставила жизнь, прежде чем окунуть его в прорубь. С другой стороны, нельзя забывать, что передышка когда-нибудь кончится, и нужно хоть несколько подготовиться к переходу в новое состояние.

Моей трезвости хватило понять, что только узкие специалисты обладают относительной прочностью. Чем шире предмет, тем его глубже в свой омут всасывает идеология. И тут тебя уже поджидают благонамеренные тупицы или расчетливые прохвосты. Не было никакого желания ни примкнуть, ни, тем более, стать добычей.

Поэтому, хоть я и не взвился яркой кометой на факультете, дела мои шли не слишком худо. Я честно зубрил Гражданское Право, Земельное Право, Судостроительство, Адвокатуру и Нотариат, а также статьи Уголовного Кодекса. Без непосильного напряжения перебирался с курса на курс, в который раз убеждаясь в том, что в каждом деле важна установка.

Меж тем факультет ценил победителей. В ходу были всяческие истории о преуспевших выпускниках, лихо внедрившихся в а п п а р а т и ставших известными функционерами. Не зря уже попасть в нашу стаю само по себе считалось удачей — каждый преодоленный семестр был шагом по социальной лестнице.

Ко всем присматривались и оценивали. Одних легко задвигали в тень, других выделяли, третьих подталкивали, а некоторых и разукрашивали. Было занятно и поучительно видеть, как рождались легенды. В мою пору был весьма популярен один старшекурсник — Алексей. Все утверждали, что он, бесспорно, пойдет далеко — прирожденный лидер. Я наблюдал его издали — сухощавый, выше среднего роста, с узким худым лицом, с крупным носом. Впоследствии он обманул ожидания — стал в сущности рядовым адвокатом. Видимо, все-таки был чистюля.

Но я-то как раз о большем не думал. Адвокатура была моей целью, станцией моего назначения. Благопристойная периферия, удаленность от эпицентра страстей. Мой отец, захваченный шквалом гражданственности, читатель периодической прессы — еженедельника «За рубежом», а также журнала «Новый мир» — не раз и не два горько вздыхал:

— Ты не используешь своего шанса помочь преобразованию общества. Сейчас, когда оно так динамично, можно сказать, пришло в движение...

В те юные годы я, разумеется, не мог привести свои ощущения в стройный порядок и тем не менее слушал отца с великой досадой. Только и ждал, когда он уймется. Однажды он патетически крикнул:

— И это — мой сын! Ты хотя бы влюбляешься?

И снова не смог я его утешить. Я отмалчивался. Не знал, что сказать. Натура, как видно, меня берегла от изнурительных потрясений. Пожалуй, я иногда вспоминал о черноволосой сестре Богушевича с ее трагическими глазами. Но сколько уж лет я ее не видел. Нет, я еще не терял головы. Спокойно поглядывал на газелей, кокетливо колотивших копытцами по улицам и бульварам столицы. Особенно мне помогли наблюдения над бытом студенческих семей — в них молодость почти сразу захлебывалась.

Но сам я возбуждал интерес. И Бог мне судья, я был доступен. Такая подробность не слишком красит, но тот, кто тверже и целомудренней, пусть бросит в меня увесистый камень.

Однажды я чуть не залетел. Мне встретила одна молодница, занимавшаяся легкой атлетикой. Спортивные девушки грубоваты, но эта была безуслов-

но мила. Широкие плечи и крепкие икры соседствовали с буколической трогательностью.

При первой же встрече она сообщала — с торжественной гордостью — что невинна. И грустно поражалась тому, что люди кидаются врассыпную. Сказывался степной заквас — она была родом из города Сальска.

Мне стало ее сердечно жаль — и как это только на стадионе сумел сохраниться ее цветок! Я благородно пришел на выручку. Это душевное движение могло мне дорого обойтись, но, к счастью, все кончилось благополучно. Скажу не хвально, я не только избавил бегунью на средние дистанции от столь обременительной ноши, но поспособствовал и развитию. Девушка на глазах умнела, обнаружила даже способность к юмору, когда я назвал себя первопроходцем, она жизнерадостно веселилась. Впрочем, таких здоровых реакций хватило ей — уввы! — ненадолго. Все чаще стала она вспоминать, какое сокровище мне подарила. После чего переходила к своим правам и моим обязанностям. В конце концов мне пришлось ей сказать, что мать еще в детстве меня просила держаться подальше от сальских девушек. С таким отсутствием благодарности я сталкивался еще не раз.

Этот урок пошел мне впрок. Впредь я решил быть осторожней. К тому же не мешало понять: не всем я должен идти навстречу. Возможность проверить себя в новом качестве представилась мне довольно скоро.

Знакомый парень Слава Рымарь зазвал меня на одну вечеринку. Упрашивать ему не пришлось — от нового дома, от новой компании я неосознанно ждал перемен.

Однако все было вполне заурядно. Выпивка, толкотня, выпендрей и дробление массовки на парочки. Ну вот и на меня устремлен упорный изучающий взгляд.

Это была громоздкая фея с пшеничными волосами до плеч. Образ пшеницы возник не случайно. Девушка мне напомнила статую богини обилия и плодородия. Впрочем, небесное слово «богиня» не слишком монтировалось с ее формами — скорее изваяние жницы. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, как она здорова. Но мне почудилось, что, в отличие от некогда девственной спортсменки, ее здоровье несет угрозу. Всего было много, больше, чем нужно! Странные на славянском лице вывороченные негритянские губы, мясистые щеки, крутая вымя, литые ступни, могучий круп. Даже большие белые зубы невольно напоминали клыки. Не зря они слегка выпирают. И вместе с тем нельзя отрицать: эта языческая плоть производила впечатление.

Она не спеша ко мне приблизилась и пригласила меня на танец. Я положил ей руку на спину, на раскаленную плиту, сразу обжегшую мне ладонь. Она еще раз меня оглядела своими ячменными сонными глазками и медленно проговорила:

-- Что-то я раньше здесь вас не видела.

-- Немудрено. Я тут впервые.

-- А ты всегда такой неподвижный? — спросила она меня насмешливо.

Про себя я отметил, с какой быстротой она заменила «вы» на «ты», и понял, что это человек действия.

-- Нет, через раз, — сказал я коротко.

-- Значит, не мой сегодня день. Полвечера пялюсь, а он не почешется.

Минуты две мы кружились молча. Я ощущал, что бочонок полнится, чайник подрагивает и посвистывает, сейчас кипяток его разнесет. Я чувствовал, как под моими руками всходит опара, как все румяней и все пышнее становится выпечка.

Она бормотнула:

-- Надо бы встретиться.

Вот оно! Снова меня используют. Я резко сказал:

-- Будет надо — скажу.

Она с интересом меня окинула своими глазенками. Вновь усмехнулась:

– Скажешь, скажешь. Не заржавеет. Я получаю то, что мне хочется.

На улице я спросил Рымаря:

– А кто была эта кобылица?

Он неожиданно расхохотался:

– Шапки долой! Зяблик накрылся. Нина Рычкова. Слышал о ней?

– Естественно. Имя вошло в историю.

– Ну-ну. Не будь так высокомерен. Ее отец – генерал с Лубянки.

Час от часу! Я тут же решил, что больше она меня не увидит. А также все остальные юбки, все эти похотливые стервы! От злости я нырнул с головой в Госправо и Прокурорский Надзор.

Но вскоре я несколько отошел. Весна входила в свой полный цвет, и дома по вечерам не сиделось.

Даже сегодня приятно вспомнить, как выходили мы прошвырнуться по улице Горького, как заглядывали в наши излюбленные местечки – в одну забегаловку на Разгуляе, соответствовавшую нашим возможностям, в старый пивной бар на Таганке и в другой – при выходе из Столешникова. Особой популярностью пользовалось кафе «Шоколадница» на Октябрьской, а уж совсем по большим праздникам мы позволяли себе оттянуться – шли в армянский ресторан на Неглинной, там были ковры, висели бамбуки, нам подавали горячий лаваш, мы входили туда словно завоеватели.

Этот рассеянный образ жизни шокировал моего отца. Тем более что его радикальность росла не по дням, а по часам.

– Не понимаю, – твердил он горестно, – не понимаю... Когда мы все...

Я оборвал его:

– Кто это «мы»?

– Как это кто? Интеллигенция.

Как все дремучие технари, отец мой испытывал тайный восторг от приобщения к этой элите. Почему он считал себя интеллигентом, надо спросить у него самого. Хотя он и листал «Новый мир», всерьез читал одни лишь газеты, питался не мыслями, а новостями и пережеванными сентенциями. Он повторял их везде и всюду, однажды ему начинало мерещиться, что он их сам выстрадал, сам сформулировал. Так он наращивал собственный вес. По крайней мере в своих глазах.

Он удрученно напоминал, что есть и другая юная поросль, с нею он связывает все надежды. Нельзя сказать, что он ее выдумал. Действительно, молодых людей, которые шастали в Политехнический слушать популярных поэтов, клубились на выставках и премьерах и в прочих общественных местах, без усталости галдели и спорили и яростно самоутверждались, хватало в эту пору с избытком.

Однажды, идя по Большой Садовой, я обнаружил такое скопление около памятника Маяковскому. Услышав рифмы и ассонансы, я сразу понял, что выступают неофициальные стихотворцы. Они не очень меня захватили, и я уж собрался продолжить путь, когда в очередном соловье узнал моего соученика по шахматным бдениям у Мельхиорова. Сомнений не было – Саня Випер!

Он изменился. Порядком вытянулся, сильно зарос (скорее всего, его беспорядочная копна входила в поэтический облик) и стал еще сильнее завывать, делясь трофеями вдохновения. Правда, его аудитория стала теперь гораздо внушительней.

Размахивая тощими дланями, он низвергал на наши головы весьма зажигательные строфы. О чем они были, я уж забыл, запомнились только две строки: «Мы, молодые богомазы, сотрем с икон ваш серый цвет». Помню еще, что «богомазы» там рифмовались со словом «проказы». Однако не с юношескими проказами. Речь шла о болезни, ни много, ни мало.

Рядом со мною стояла девушка, похожая на Лорелею. Голубоглазая, златоволосая, чуть полновата, но хороша. Она поймала мой взгляд и спросила, пока звучали аплодисменты:

-- Правда, сильно? Он очень талантливый.

-- Что и говорить, — я кивнул. — Вы увлекаетесь поэзией?

Лорелея сказала не без лукавства:

-- Увлекаюсь. Вы тоже?

-- Выходит, так.

-- Ой ли?

-- Хотелось бы поговорить подробнее об этом предмете.

-- Я поняла вас. Но я занята.

-- Не век же так будет, — сказал я учтиво. — Если выдастся свободное время, то позвоните по этому номеру.

Я дал ей листок со своим телефоном.

Она удивленно меня оглядела, но все-таки листочек взяла.

Когда поэты прочли свои вирши, Випер стремительно подбежал к моей приветливой собеседнице. Несколько нервно и настороженно вгляделся в меня и тоже узнал. Надо заметить, он страшно обрадовался. Мы сразу же вспомнили Мельхиорова, потом он представил меня Лорелею, которая оказалась Ариной. Тут я понял, кем она занята, и пожалел о листке с телефоном. Впрочем, мой грех был не так уж велик, не мог же я знать, что творчество Випера она постигает не первый день.

Мы зашагали по улице Горького. Я спросил Випера о Богушевиче и, естественно, о сестре Богушевича. Випер рассказал, что с Борисом они по-прежнему неразлучны, хотя у того — иная стезя, он вознамерился стать биологом. (Сам Випер изучал языки.) Рена заканчивает исторический, она посещает научное общество, внедрилась в историю католичества и даже задумала работу о великих христологических спорах. Не без странностей — разошлась с женихом за день до свадьбы, тот чуть не тронулся. Но они с Богушевичем, как я догадываюсь, живут не историей, а современностью, хотя, разумеется, наши дни и есть историческое время. Он сказал, что всем нам надо собраться, он убежден, что я разделяю их чувства, думы и настроения.

Боюсь, что я их разочаровал. И Випера, и его Арину. Выяснилось, что я не читал каких-то книжек, чего-то не видел и даже смутно представляю, кто же такой Роберт Рожественский. Арина всплескивала руками, а Випер решил, что я завожу их или же просто мистифицирую. Я безуспешно его уверял, что в мыслях этого не имею.

Арина матерински заметила:

-- Вам следует кое-что почитать.

Я поблагодарил Лорелею. Я ей сказал, что, безусловно, это приятное предложение, но все решают не книжки, а склонности.

Она удивилась и протянула:

-- Ой ли? Какие же у вас склонности?

Випер нетерпеливо сказал:

-- Не спорь с ним. Он тебя эпатирует.

Арина, улыбаясь, спросила:

-- Вы читаете по-английски?

-- Нет, мой словарный резерв слишком скромнен. Кэм, дарлинг. Ай вонт ту си ю.

-- Жаль, — сказала она, — очень жаль. Вам стоило бы прочесть Реглера.

-- Тем более, Кестнера, — сказал Випер.

-- Оруэллу ему надо прочесть, — сказала заботливая Арина, — Оруэлл, кажется, есть в переводе.

Випер огорченно вздохнул:

-- Пробелы у тебя основательные.

Поскольку оба были инязовцами, — в ту пору их институт еще не был Лингвистическим Университетом — и он и она охотно подчеркивали не только приобщенность к протесту, но и владение языком.

Мы расстались вблизи Берсеневской набережной, где наши маршруты расходились. Я прикидывал, скажет ли она Виперу, что я вручил ей свой телефон. Если она не дура — смолчит. Похоже, она — не Мария Кюри. А я к тому же еще блеснул крохами своего английского. Ай вонт ту си ю. Хочу вас видеть. Прямой намек. Неудобно вышло. Если поэт раскипятится, ждет неприятное объяснение. Но я же не знал, — повторил я еще раз, — не знал, что она явилась с тобой. Возможно, он будет даже польщен тем, что Арина заставила дрогнуть такую непросвещенную личность.

Она недолго держала паузу. Вечером следующего дня раздался звонок.

— Это я. Арина.

— Очень рад. Простите, что так получилось. Не ведал про Випера.

— Не беда. Так как же, у вас еще есть охота бескорыстно поговорить о поэзии?

Что мне было ответить? Я сказал:

— Разумеется.

— И есть конкретное предложение?

— Что и говорить.

— Излагайте.

Я предложил ей меня навестить.

— А вы живёте один?

— С отцом.

— Ой ли?

— С отцом. Не сомневайтесь.

Я не сказал, что отец отсутствует. В последнее время он зачастую к Вере Антоновне, славной даме с резкой пластикой и прогрессивными взглядами. Думаю, все, что он мне сообщал касательно роли интеллигенции, было почерпнуто от нее.

Арина пришла, опоздав на час. Видимо, так она соблюдала правила своей тонкой игры. Ну что же, нам меньше останется времени для бескорыстного обсуждения виперовских стихов о проказе, для прочей интеллектуальной разминки, тем более женское бескорыстие давно вызывало мои сомнения. Поэтом я и не удивился, когда, появившись, вместо приветствия, Арина с торжеством ухмыльнулась:

— Естественно, никакого отца.

Я сухо сказал:

— Нет, он имеется. А если б у меня его не было, то это не повод для улыбок.

— Так где же он?

— Сейчас его нет. И у него есть личная жизнь.

Она спросила:

— Не ждали звонка?

— Спасибо за этот сюрприз. Растроган.

— Но вы же сказали: «Ай вонт ту си ю».

— Могу еще короче: «Ай вонт ю».

Я дал ей понять, что разминка закончена. Нечего было терять целый час.

Она уважительно протянула:

— Ого! Вы времени зря не тратите.

— У нас его не так уж много. По вашей милости, дорогая.

К тому времени я успел убедиться, что встреча на ложе — встреча соавторов. Только когда они стоят друг друга, рождается славное произведение. Печально, но это случается редко. Поэтому чаще всего приходится проделывать этот труд за двоих. Хотя бы уж тебе не мешали! В тот вечер фатально не

повезло. Что Лорелея была рыхловата, это еще куда ни шло. Больше всего меня угнетали ее суетливость и голошение. Когда мы приступили к сотворчеству, мне стоило серьезных усилий прощать ей этот тягостный текст и сохранять боеспособность. Чтобы не уронить своей чести, я вызвал в памяти парикмахершу, обходившуюся единственной фразочкой: «Ну, ты даешь!». (Сей лестный возглас я всегда возвращал по законному адресу.)

Вслушиваясь в слова Арины, я только и спрашивал себя: чем это так ушибся Випер? Странная помесь ромашки с кактусом, севера с тропиками, весталки с вакханкой. Меня угостили гремучей смесью. Непереваренные книжки, поздняя разлука с девичеством, сладостный ужас перед пороком и мощная тяга к грехопадению. Все сразу и в лошадиной дозе! При этом она еще не забывала ни о своей гражданской позиции, ни о просветительской миссии. Она верещала без остановки:

— Безумец! (Почему? Непонятно.) Что ты творишь? (Дурацкий вопрос.) Так вот ты какой! Ты сошел с ума! (Просто навязчивая идея.) О, я сразу же тебя раскусила! Как ты бесстыден. И я с тобой. Господи, мы стоим друг друга. Клянись мне, что ты прочтешь Бердяева! (Новое дело. Я обещал.) Нет! Да! Что ж это происходит? (Тоже вопрос по существу.) Ты — дикий бык. Ты — из пещеры. (Странное место для быка, тем более дикого.) Ужас, что делает. Нет, так не бывает, так не бывает! Спасибо тебе, что ты мальчишка! (То бык, то мальчишка — ни ладу, ни складу.)

Впрочем, не следовало искать стройных логических обоснований. Во всех этих хаотических вскриках, слившихся в один монолог, меня порадовал «дикий бык». Должен сказать, объективности ради — эпитет ей безусловно удался. Я мысленно ее похвалил. Сказать о возлюбленном «бык» — вульгарно, назвать его «диким быком» — романтично. Пахнуло лесом, охотой, гоном.

Но то была удачная частность. Приятная краска в мазне на холсте. Я сделал все, чтобы первая встреча осталась единственной — я покался. Призвал на помощь грызущий совесть призрак поруганного товарища. Нет, невозможно так посягнуть на робкое счастье старого друга. Арина права — я был безумен, какое-то общее помрачение. Она должна понять и простить. Легко ли было мне устоять перед ее общественным жаром?

Конечно, я и не предполагал, что Лорелея мне это спустит. Призывы к трезвости не подействовали, были и слезы и обвинения. Виперу я ее не вернул. Когда мы с ним встретились, он мне пожаловался на то, что с того проклятого вечера, когда он читал с таким успехом стихи на площади Маяковского, Арину как будто подменили. Понять невозможно, что с ней стряслось. Я был удручен, что он так сокрушается. Пытался внушить ему, что все к лучшему. Но он не скоро пришел в себя.

Спустя неделю он пригласил меня на «сбор однокашников» — если быть точным, нельзя сказать, что мы ими были. Мы лишь проникали в премудрости шахмат. С сестрой Богушевича я уж тем более не был связан страдой ученья. Думаю, что бедняге-поэту требовался красивый предлог для благородного возлияния (к последнему я был равнодушен). Он был взъерошен, желчен и сумеречен.

В Богушевиче я нашел перемены. Он похудел и помрачнел, лицо его несколько заострилось — не то от занятий энтомологией, не то от раздумий о человечестве. Кроме того, у него преждевременно появились небольшие залысины. А Рена стала еще притягательней. Однако взгляд ее был все тот же — стойкое трагедийное пламя. Как прежде, ее одухотворенность томила какой-то страдальческой страстностью. Даже когда она оживлялась, эти зеленые глаза хранили печать непонятого мученичества. И сразу же во мне возродилось знакомое отроческое волнение.

Мы выпили раз и другой — со свиданьем. (Борис и Саня — до самого дна, мы же с Реной — едва пригубили.) Вскоре хозяева шумно заспорили.

Было понятно, что эти дебаты стали почти обязательной частью их постоянного общения.

Випер сказал, что путь державы задан уже ее географией и сопредельными ареалами — с одной стороны, ее притягивает буддизм и синтоизм Японии, а также китайское конфуцианство, с другой стороны — либеральность Европы и прагматизм Нового Света, поглядывающего через Аляску, с третьей (или четвертой) — Азия с ее исламистскими традициями.

Богушевич ответил, что география, естественно, имеет значение, но все же отечественную судьбу определяют иные векторы, и прежде всего народный характер, общинная природа которого, ограничивающая его ответственность и располагающая к подчиненности, находится в остром противоречии с его исконным тираноборчеством. А между тем, на последнее свойство Богушевич больше всего рассчитывал.

Рена негромко, но уверенно дополнила брата. Она сказала, что драма заключается в том, что Русь исходно религиозна, основа духовного состава — богобоязненность народа. Но социальные потрясения и катастрофы двадцатого века лишили страну такой основы и в образовавшийся вакуум хлынула стихия деструкции. Брат и Випер с ней согласились лишь отчасти — Випер сказал, что теология, вернее, увлечение ею, сместили у Рены угол зрения, церковь в России всегда сотрясалась — об этом свидетельствовал и раскол.

Тут они вспомнили обо мне, и Богушевич внес предложение выпить за вновь обретенного друга. Рена, которая не однажды бросала на меня свой тревожный и вместе с тем испытующий взгляд, проговорила:

-- Тебя не узнать.

-- Да неужели? — Я удивился.

-- Рене видней, — сказал Богушевич. — А пьешь ты скуп. Должно быть, режимишь.

Он внимательно меня обозрел и спросил:

— Все балуешься с гантелями?

— Надо же пасти свои мышцы, — сказал я, почему-то вздохнув.

Впрочем, я без труда разобрался, чем вызвана моя элегичность. Я словно испытывал чувство вины — рядом со мною сидели люди, можно сказать, из другого мира. Они отягощены проблемами, а я — своей силовой зарядкой. Даже Випер, который хоть и подавлен утратой своей белокурой бестии, полон хлопот о народной судьбе. Я уж не говорю о Рене — достаточно встретиться с нею глазами, чтобы прочесть в их зеленых водах мерцание нездешних забот.

Но, ощущая эту ущербность, я посещал их не без приятности — они были теплые ребята. Несколько раз я виделся с Реной, два раза ходил с ней в консерваторию — слушали ораторию Генделя «Мессия», а также «Реквием» Моцарта. После этих возвышенных встреч с прекрасным она пребывала в самозабвении, неясно было, как к ней подступиться.

Меж тем, она вызывала во мне странное чувство, в нем совмещались и тяга к женщине, и опаска, и даже непонятная жалость. Порой возникало и раздражение. Несколько раз я порывался узнать у нее печальный сюжет несостоявшегося замужества, но что-то неизменно удерживало. К тому же я мог и сам догадаться — отвергнутый не сумел соответствовать. Однажды я проявил интерес к ее необычным научным пристрастиям. Она оживилась и битый час втолковывала мне суть дискуссии — единосущен или единоподобен Господь. Коснулась и спора о двуначалии — неразделимости божеского и человеческого.

Да, это было весьма возвышенно, но мне становилось все очевидней, сколь велика между нами бездна. Я был на одном ее краю с моими трезвостью и здравомыслием, она — на другом, где ее собеседниками были неслышные мне голоса. Надо было вовремя сделать несколько разумных шагов, подальше от края, чтобы не рухнуть. Именно так я и поступил.

Минуло лето, настала осень, а с нею — время специализации. Мне предстояло определиться, найти среди блюстителей права свое ли место, свою ли нишу — самый ответственный момент!

Всегда, когда нужно сделать выбор, утрачиваешь равновесие духа. Я даже не слишком врубился в извество, что соратники низложили Хрущева.

Однако последнее обстоятельство вызвало настоящую бурю в кругах гражданственно мыслящих личностей, вроде Веры Антоновны и отца. Родитель пребывал в ажитации, буквально не давал мне покоя. Глядя на то, как он метался, можно было и впрямь подумать, что он потерял своего благодетеля.

— Сам виноват, — говорил отец, — конечно, он сделал немало глупостей, но, главным образом, он дал маху, отрекшись от собственной опоры.

— Какая опора? — Я только вздыхал. — Когда и от кого он отрекся?

От этих слов мой отец взвизывался, как будто бы я всадил в него шприц.

— Что значит «от кого»? — голосил он. — От ин-тели-генции, вот от кого! Только она его и поддерживала, а он к ней повернулся спиной.

Но что говорить о моем отце! Его дело — подхватывать чьи-то вскрики и подпевать чужим погудкам. Однако и Випер и Богушевич выглядели весьма озабоченными.

— Теперь невозможно будет дышать, — твердили они попеременно. — Не появится ни одной свежей строчки.

Я им сказал, что они мудилы. Нашли себе нового Марка Аврелия!

— Никто его не идеализирует, — сказал назидательно Богушевич, — но он символизировал оттепель.

Я восхитился:

— Дивная оттепель! Что там произошло в Будапеште? А все эти слухи про Новочеркасск? Сами рассказывали между прочим.

Оба смутились, но ненадолго. Чем лучше бьешь по чужим аргументам, тем их успешнее укрепляешь.

— Теперь неизбежен поворот, — озабоченно проговорил Випер. — Вылезут скрытые сталинисты.

Я сказал:

— Не больно они скрывались.

Я не добавил, что если и вылезут, я это тоже переживу. Сам-то я лезть никуда не намерен. Но промолчал. Им слово скажи, после будешь не рад, что начал. Правы всегда, правы во всем. Такая уж роль у них в нашем спектакле. Как это сказал Грибоедов? «Сок умной молодежи». Про них.

Год выдался нервный и суматошный. Я все усерднее погружался в пучину жилищного законодательства. С участием думал о бедных согражданах — не дай Бог мушке попасть в паутинку. Да что там мушка — черт ногу сломит! Добро бы только с нашим жильем связаны были все эти ребусы. Решительно всякий закон мне казался измученным путником — он бредет, на каждой ноге по несколько гирь! Кругом — дополнительные инструкции, которые не дают ему продыху. С каждым днем становилось все очевидней, что пространство, в котором мне выпало жить, в своей основе парадоксально. Регламентированная держава была по характеру анархична. Стоило какой-то скрижал дос-тавить ей легкое неудобство, она тут же придумывала оговорку, которая разрешала ей и, наоборот, запрещала подданному совершить необходимое действие. Для будущего советского стряпчего тут возникали большие возможности: — он мог себя чувствовать незаменимым.

Я даже несколько ограничил заметно разросшийся круг подружек. Всех настойчивей оказалась Арина с ее неземным поэтическим обликом. Хотя я ей дал от ворот поворот, она то и дело ко мне звонила. Когда дребезжал телефон, я вздрагивал. Потом раздавался воркующий голос:

— Ты нынче занят?

— Не прохохнуть.

-- Ой ли?

— Можешь не сомневаться.

— Я все-таки забегу ненадолго. Мне по пути. Не пожалеешь.

Это значило, что она принесет какую-то редкую машинопись. Видимо, она твердо решила поднять меня до своего уровня и политически образовать. Впрочем, я вполне допускаю, что просветительские заботы были таким респектабельным гримом, прежде всего, для нее самой. Я слова не успевал сказать, как она уже стаскивала штанишки.

В горизонтальном положении она оставалась себе верна. Все те же песни — крики и жалобы.

— И снова ты своего добился! (Нет, какова? Беспремерная наглость!) Ты чувствуешь свою власть надо мной! Но знаешь, мне это даже нравится. (Какие-то мазохистские ноты.) О, боже мой, что же это такое? Нам надо видиться каждый день! (Мне только этого не хватало!) Даже мгновение невозвратимо! Ты знаешь ли, что когда звонит колокол, то это он звонит о тебе. (Спасибо. Подняла настроение.)

Одеваясь, она привычно вздыхала:

-- Ну вот, я опять тебе уступила. Не слишком морально так тебя тешить, когда вокруг сгущаются тучи. Заморозки все ощутимей.

От злости я только скрипел зубами. Но вместе с тем хорошо понимал, что злиться я должен сам на себя. Все та же чертова слабость — по-прежнему стесняюсь отказывать, боюсь травмировать девичью психику.

В который раз я себе твердил, что с этой учтивостью нужно завязывать. Однажды я ей жестко сказал, что вижу, как права была мать, просившая меня обходить московских девушек стороной — они схарчат и не поперхнутся.

На этот раз она оскорбилась. Можно надеяться, что всерьез.

И все же причитанья Арины имели под собой основания. Прошло немногим более года со дня кремлевского новоселья, и свежая власть показала чеплюсти.

Однажды пришли Богушевич и Випер. Оба были взволнованы и торжественны. Один уважаемый профессор уволен, составилась делегация, которая его навестит и выразит свою солидарность.

Я их спросил:

— Кто же идет?

— Студенты. Порядочные люди.

— Вы знаете всех?

— Кого-то знаем, — Богушевич нетерпеливо поморщился. — Других узнаем. Что из того?

Випер добавил не без надменности:

— Мы не работаем в отделе кадров.

— Ах, вот что. А вам профессор знаком?

— Познакомимся, — сказал Богушевич.

-- А он вас звал?

Випер напрягся и стал смотреть в сторону. Эта реакция осталась у него с детских лет. Обидевшись, он отводил глаза.

— В подобных случаях не зовут.

-- Я понял. Итак, вы идете в гости, без приглашения, неведомо с кем. И главное, убеждены заранее, что очень порадуете хозяина.

-- Значит ли сказанное тобою, что ты не пойдешь?

-- Именно так.

Они удалились. Я был огорчен. Естественно, больше всего из-за Рены. Как-то она все это оценит? Но вместе с тем я испытал и некоторое удовлетворение — могу и не поплыть по течению. Я сделал то, что считал разумным. Пока свободой горим, потом начинаются чад и копоть.

Печально, но я оказался прав. Некто сообщил о визите. Богушевича очень

скоро отчислили, а Випер едва-едва удержался. Спустя полгода мы помирились. Надо сказать, не без помощи Рены. Она сказала, что в таких ситуациях каждый решает сам за себя, любое давление недопустимо. Они признали ее правоту.

Мысленно я восхитился Реной. Просто прелесть! Жаль, что брат — одержимый.

А я к тому времени уже принял свое судьбоносное решение. Быть адвокатом-цивилистом — это и есть мое призвание. В сущности эта рутинная жизнь соответствует моему темпераменту. Когда я сказал об этом отцу, он был удивлен и даже шокирован — как? Цивилист? Такая скука! Уж коли я выбрал адвокатуру, эту периферию юстиции, то хоть бы повоевал с произволом и отводил карающий меч от выи невинного человека.

Я не пытался спорить с отцом. Во-первых, это было бессмысленно, а во-вторых, я отчетливо знал, что мне никогда не добиться лавров Петра Акимовича Александрова, вступившегося за Веру Засулич и доказавшего неподсудность ее исторической пальбы. При полном отсутствии состязательности в любом процессе (не только в таком) то были несбыточные мечты. И если где-то возможны дискуссии, хотя бы какое-то их подобие, то разве что в гражданских делах и в арбитраже — здесь все же случается, что стороны сохраняют равенство. Но вряд ли бы я убедил отца.

Мне оставался год до диплома, когда передо мной обозначился еще один деликатный искуc. Мне пояснили, что наши юристы — это бойцы на передовой. Какая тут может быть беспартийность? К тому же сторонний человек вряд ли достигнет заметной ступеньки. То был — я это сразу смекнул — самый весомый из аргументов.

Но — не для меня. Хотя безусловно именно так обстояло дело. Похоже, уроки Мельхиорова усвоил я крепко — чем выше взберешься, тем утомительней станет жить. Придется быть бдительным, как в засаде.

Я отвечал, что я взволнован, даже не ожидал такой чести. Тем более, зная свои недостатки. Я должен от них избавиться сам. Не вваливая на достойных людей лишние хлопоты и усилия. Я верю — настанет заветный день, и я войду в ряды авангарда.

Среди собеседников я заметил ладного крепкого молодца, среднего роста, широколобного, с лицом, безукоризненно выбритым, ни единого волоска! От него исходил сильный запах шипра, казалось, заполнявший всю комнату. Он не вымолвил ни единого слова, только приветливо озираал меня, но почему-то ни эта приветливость, ни это молчание мне не понравились.

Да, я разочаровал, это ясно. Ну ничего, перебьются, сдюжат. У этого ордена меченосцев были потери и ощутимей. Не за горами моя защита — дорожки сами собой разойдутся.

Я шел в родное Замоскворечье. Над Кадашевскими переулками оранжево пламенел закат. И вдруг словно выплыло гладко выбритое, отполированное лицо. Невольно я прогулялся ладонью по собственным щекам — непорядок! Я направился к своей парикмахерше. Мы не виделись уже несколько месяцев, но мое неожиданное появление не очень-то ее удивило, она победительно усмехнулась, хозяйски пригладила мои волосы. Я сел поудобней, оглядел себя в зеркале. Хотя и небрит, смотрюсь неплохо.

3

Начиналась последняя декада августа, и кончалось лето шестьдесят восьмого. В то утро я продрал свои очи позже обычного — накануне я ужинал со своим клиентом. День обещал быть лучезарным.

В моей жизни произошли изменения. Отец, как и следовало ожидать, пе-

реселился к Вере Антоновне. Я стал хозяином нашей квартиры и, прежде всего, отцовского кресла, излюбленного с детства пристанища. В новом статусе были и преимущества, и неожиданные осложнения. Суть в том, что, когда мы жили вместе, мне легче было держать оборону. При случае я всегда мог сослаться на то, что он дома, не в настроении, не хочет никого нынче видеть. Даже не подозревая об этом, отец мой приобрел репутацию отшельника, мизантропа и язвенника. Мне даже выражали сочувствие — не так-то легко быть заботливым сыном.

Я только что выпил утренний кофе, когда прогремел телефонный звонок. То был отец. Он сказал:

-- Ну вот.

И добавил торжественно и скорбно:

-- Они это сделали.

-- Что такое?

Выдержав паузу, он произнес:

-- Наши танки вошли сейчас в Прагу.

Должен сказать, что я ошалел. Трубку взяла Вера Антоновна.

-- Вадим, немедленно приезжайте. Необходимо все обсудить.

Я спохватился:

-- Никак не могу. Срочное дело. Я уезжаю. На несколько дней. Бегу на вокзал.

Теперь у меня не было выбора. Что надо скорее слить из города, мне было совершенно понятно. Благо, клиент жил летом на даче и зазывал попасться на травке.

Мысленно я повторил за отцом: «Все-таки они это сделали». И тут же признался себе самому, что ждал такого и все же надеялся. Но нет. Надеяться было не на что. Прага была обречена. В тот день, когда отменила цензуру, она подписала себе приговор. Лагерь не может существовать, если в нем есть громогласная зона. Тем более социалистический лагерь.

Неужто свободное слово так звучно? Иной раз во мне возникали сомнения. В конце концов пресса может вопить, витии в парламенте — надрыватьсь, а караван идет, куда гонят. Власти умеют заткнуть свои уши. И все-таки слово — не воробей. Эта штука сильнее, чем фаустпатрон. (Один усатый ценитель словесности сказал фактически нечто близкое.) Со словом не шутят. Та самая капля, которая точит державный камень. Наши геронты это усвоили.

Я укладывал дорожную сумку, когда мне позвонила Арина.

-- Мне нужно сейчас же тебя увидеть, — крикнула Лорелея в трубку. Я рядом. Я — в автомате у булочной.

«Вот и первые плоды оккупации, — я тихо выругался, — танки в Праге, а она уже у меня в подъезде». Больше года я пребывал в убеждении, что навсегда ее отвадил. А несколько месяцев назад она сообщила, что вышла замуж за молодого контрабасиста. «Он просто дьявольски одарен, к тому же пишет отличную музыку, но никому ее не показывает. Решительно ни на что не похожа». В этом-то я не сомневался. Вслух я ее горячо поздравил. Я приветствовал роман с контрабасом, веря, что наконец избавлен от неожиданных визитов. И вот она звонит в мою дверь. Японский бог! Я не желаю, чтоб чешская драма ей помогла еще раз улечься на эту тахту. Я чувствовал, чем все это кончится.

Она влетела, румяная, жаркая, похудевшая — брак пошел ей на пользу — и крикнула:

-- Что ты намерен делать?

Я показал ей глазами на сумку:

-- Ехать за город.

— Тебя подождут! Понимаешь ты, что все изменилось? Неужели это сойдет им с рук?

Я сказал, что убежден: да, сойдет. Мир выдал Чехословакию Гитлеру в тридцать восьмом, через десять лет — выдал Сталину, еще через двадцать — выдаст Брежневу. Знакомая схема.

— И ты полагаешь, что мы смолчим?

Я ей сказал, что слово «мы» — самое неподходящее слово. Кто-то, возможно, и не смолчит. Но многие будут и аплодировать таким решительным действиям власти. Еще бы! Этакая неблагодарность! Мы их освободили и — нате! Вот уж, как волка ни корми, а он все смотрит в свою Европу. С нами всегда себя так ведут. Мы люди добрые и бесхитростные, а все, кто вокруг — коварны и злы.

— Я не хочу, не хочу тебя слушать, — сказала она и прикрыла ушки своими розовыми перстами.

Я продолжал утрамбовывать сумку. Она подошла ко мне, тихо всхлипнула и уткнулась головой в мою грудь.

— Ну, ну, — сказал я, — надо быть мужественной.

Но именно это ее не устраивало. Вечно женственное уже подало голос.

— Мне так холодно, обними меня.

Мне очень хотелось напомнить ей, что на улице двадцать четыре градуса, но это ее бы не вразумило. Ее леденил мороз истории, мне следовало это понять и отогреть ее теми средствами, которые мне были доступны. Она уже кинулась на тахту, как в омут, и вскоре мое жильё огласили привычные lamentации.

— Это какое-то наваждение! Ты так хотел меня? (Я чуть ей не врезал.) Так вот ты какой! (Старая песня.) Ну, радуйся. Прикончил. Я — труп.

Вранье. Она вскочила с тахты свежая, как спелая дынька, очень довольная и заряженная для круговерти в своем хороводе.

Вскоре я сидел в электричке. Летело за окном Подмосковье. Благостный золотой денек, ничто не напомнит о близкой осени. Рядом со мной дремали две тетки и тощий старик с лиловым носом. Набравшийся с утра попрошайка шел по проходу и пел с надрывом, горестно требуя справедливости: «Я сын трудового народа, отец же мой райпрокурор. Он сына лишает свободы. Скажите: так кто из нас вор?».

Чувствительно. Но ответа не будет. Подлость любых глобальных событий не только в их изначальном свинстве — они непременно сумеют затронуть жизнь отдельного человека, причем независимо от того, хочет ли он вообще о них знать. Теперь скажите: так кто из нас вор? Но ни история, ни эпоха, ни, прежде всего, Госпожа Общественность не скажут и ни о чем не спросят.

Отправить Арину к ее контрабасу было еще нехитрым делом. Дней десять спустя в столицу вернулись сначала Випер, потом Богушевич — я тут же был приглашен на сходку. Помедлив, я сказал, что приду, уж очень хотелось увидеть Рену.

Тягостный вечер. Випер кричал, что больше бездействовать невозможно. Богушевич посетовал, что отсутствовал. Только поэтому не был он с теми, кто протестовал на Красной площади. Рена почти не говорила, без передышки ходила по комнате, набросив на плечи пуховый платок. Впрочем, Випер хотел за троих. Я попросил его уняться — такие конвульсии стоят недешево. Он все-таки получил диплом, а Богушевич вместо того, чтоб заниматься эргономией, вынужден ездить на раскопки. Випер почувствовал себя уязвленным. Он попросил меня не резонерствовать. То, что произошло — предел. Уже — вне человеческих норм.

Я посоветовал не кипятиться. Ничуть не предел, как раз нормально. Випер от ярости задохнулся. А Богушевич с подчеркнутой сдержанностью спросил меня, в самом ли деле я думаю, что все происшедшее так естественно?

-- Более чем закономерно, — сказал я жестко. — Очень прошу взглянуть на события их глазами. До ваших метаний им дела нет. Вы полагали, что недоноски, употребившие всю страну, возьмут и добровольно откажутся от жизни-сказки лишь потому, что это не по душе, не по вкусу вчера Пастернаку с Василием Гроссманом, а нынче — Виперу с Богушевичем? Посмотрим еще, что вы запоете, когда взгромоздитесь на их места.

— При чем тут танки? — воскликнул Випер. — При чем тут Прага и Будапешт? Какое они имеют касательство к их сладкой жизни?

— Прямое касательство. Дурной пример, опасный соблазн. Сигнальная система сработала.

Борис собрался дать мне отпор, но Рена его остановила.

-- Не надо, — сказала она, — он прав. Все верно — это еще не предел.

И прошептала:

-- Бог нас оставил.

Я возвращался со смутным чувством. Небо томило своим густым, темно-фиолетовым цветом, было тяжелым и неподвижным, похожим на плюшевую портьеру. Я миновал Каменный мост, с Полянки сквозь проходной двор свернул к Монетчикову переулку, скорее бы оказаться дома. Однако впервые любимая крепость мне показалась такой неприветливой. Много бы дал я, чтобы сейчас Рена сидела на этой тахте, поджав под себя свои стройные ножки, кутаясь в свой пуховый платок. Я вдруг увидел перед собою ее зеленоватые очи с их драматическим выражением и пожалел, что я не алкаш. Тогда бы я, возможно, и справился с этим скребущим холодком.

Прошло еще несколько нервных дней, и вдруг в понедельник раздался звонок. Оптимистический утренний голос, словно омытый росой и прохладой, просил меня явиться для встречи. Я сразу догадался, куда. Адрес, впрочем, был самый невинный.

Я предпочел бы, чтоб это событие произошло как можно скорее, но мне был назначен только четверг. Было понятно, что дни ожидания входят в испытанную программу — выдерживают, чтобы я созрел. Недаром Мельхиоров подчеркивал: угроза всегда сильнее исполнения. Ну нет, я не кролик для этих опытов. Я сделал все, чтоб отвлечь свои мысли от предстоящего разговора. Думаю, мне это удалось.

В положенный срок я пришел на свидание. Вот оно — подкорректируем критика — «советский человек на randevu». Обыкновенная квартира, довольно, впрочем, казенного облика. Но стоило мне только войти, как с ходу меня обволокло резким и острым запахом шипра. В сей же момент я узнал хозяйна — тот самый умеренного роста, с выбритыми до скопческой гладкости, отполированными щечками. На этот раз отнюдь не молчаливик, каким он предстал при первой встрече.

-- Рад видеть, рад видеть, — сказал он весело, — товарища по факультету. Моя фамилия — Бесфамильный. (Непроизвольно я вздернул брови.) Да, она именно такова.

Он добродушно рассмеялся.

-- А звать меня Валентином Матвеевичем. Как вам живется, Вадим Петрович? Надеюсь, никаких огорчений?

Я поблагодарил за внимание. Лестно знать, что кому-то ты небезразличен.

-- Ну что же, к делу, — сказал Бесфамильный.

Но — ненароком и мимоходом — он все же продемонстрировал мне свою образцовую осведомленность. Спросил об одном жилищном казусе, которым я занимался в ту пору, посетовал, что в наших судах много ненужного формализма. Сам он, как можно было понять, придерживается неформального стиля.

Он задал вопрос о моих друзьях, о Богушевиче и о Випере — часто ли

видимся и общаемся. Я ответил, что редко — когда-то в детстве ходили мы в шахматный кружок, а далее судьба нас раскинула.

Он выразительно хохотнул. Да, жизнь по-своему распоряжается, швыряет людей в разные стороны. И все-таки отроческая пора, по счастью, не проходит бесследно и связи этих розовых лет отличаются удивительной прочностью. Он сам, Бесфамильный, ловит себя на этих непостижимых чувствах, стоит увидеть вдруг одноклассника и просто кого-нибудь из их школы, и он ощущает сердечную дрожь. Больше того, пусть он даже рискует выглядеть несколько сентиментальным — ему необыкновенно приятно встретиться сегодня со мной. Хоть мы и учились на разных курсах, а все-таки — одна alma mater. Он помнит ту встречу, я был к себе строг и видел, что мне не хватает зрелости, теперь, надо думать, она пришла. Конечно, я хорошо понимаю, что общая атмосфера сгустилась. Реакционный враждебный мир не хочет соблюдать паритетов. В прошлом году без стыда и совести его сионистская агентура ударила по нашим друзьям, по свободолюбивым арабам, в этом году она баламутила польских студентов и вот, наконец, с редким цинизмом, решила выдернуть целое звено из системы необходимого равновесия. Что я думаю по этому поводу?

Я сообщил ему, что огорчен.

Бесфамильный удовлетворенно кивнул. Он никогда во мне не сомневался. На юридическом факультете не учатся случайные люди. Отец мой ведь, кажется, друг Литовченко? На юридическом факультете чистые души и ясные головы. Он рассчитывает на мое содействие. Не проясню ли я поведение моих друзей, да, да, друзей детства, именно так он хотел сказать.

Я огорчился еще сильнее. Каждый устроен на свой салтык, есть впечатлительные натуры, но ни о том, ни о другом не знаю чего-либо предосудительного.

Теперь опечалился Бесфамильный. Произошло недоразумение. Я словно хочу от него оберечь своих товарищей — это странно. Его, Бесфамильного, судьбы Бориса и Александра заботят не менее, чем меня, их испытанного товарища. Ему хотелось бы оградить талантливых молодых людей, которые уже оступались, а также и сестру Богушевича, склонную к мистике и поповщине, от всяческих неразумных шагов. Я не могу не желать добра старым друзьям, с которыми вместе осваивал шахматное искусство. Нельзя допустить, чтоб они попали в опасную патовую ситуацию, или, вернее сказать, в цугцванг, когда уже невозможно найти ни одного достойного хода. Этого я себе не прощу. Итак, он надеется на сотрудничество, на нашу с ним дружбу на долгие годы.

Доказывать свою непригодность — это я хорошо сознавал — было достаточно непродуктивно. При этом повороте дискуссии в дело вступает известная схема: у вас аргументы? Тем хуже для вас.

Я сказал, что подобное предложение очень серьезно, а я не привык что-либо решать с кондачка. И в этом он мог уже убедиться. Я должен обдумать его слова.

Он понимающе улыбнулся. Ну что же, он готов подождать. Недолго. Несколько дней, не больше. А вообще говоря, уважает таких основательных людей, просчитывающих свои решения. С такими надежней идти в разведку. На той неделе он мне позвонит.

Я шел по Рождественке, без передышки используя ненормативную лексику: Поташнивало, во рту свербило. Сверх меры наглотался дерьма. Сидишь на стуле, как на еже, а этот духовитый хорек тебя потрошит в свое удовольствие. Все знает. Кто мне помог поступить. Что я делаю. С кем дружу. Где гуляю. Знает, должно быть, кто меня бреет, кто побывал на моей тахте. Странно, что не спросил про Арину. Впрочем, куда ему торопиться.

Дома, усевшись в отцовское кресло, я стал размышлять над своей ситуацией. Неужто достали, загнали в угол? Без паники. Еще не цугцванг. Я вспом-

нил важный урок Мельхиорова: когда тебя атакуют по центру, надо ответить ударом с фланга.

Я стал листать записную книжку и отыскал телефон Рымаря.

— Слава, привет. Это Белан.

Он удивился:

-- Какими судьбами?

-- Прихотливыми. Как у тебя? Порядок?

— Трудный вопрос, — вздохнул Рымарь.

— Тогда я задам вопрос полегче. Есть телефон Нины Рычковой?

Он удивился еще сильнее:

— Нины? Зачем? Ну, ты хватил! Она, говорят, выходит замуж.

-- За кого ж это?

— За одного внешторговца. Нина теперь работает в СЭВе.

Подумать! Сколько я раз проходил мимо здания в форме развернутой книги, в котором разместился Совет Экономической Взаимопомощи — хребет Варшавского Договора! А Нина трудилась в этой конторе.

— Ну что же, надо ее поздравить. Замужество, семья, материнство. Всё очень достойно. Какой же номер?

— Сейчас не скажу. Они переехали. В новый терем. Но я постараюсь выяснить.

К вечеру номер был у меня.

Мой телефонный аппарат мне показался черной лягушкой, замершей перед тем, как прыгнуть. Черт бы их взял. Холера им в бок. Жил мирно, никого не цепляя. Так нет же, они без меня не могут. Я горько вздохнул. Вадим, решайся. Выбор у тебя невелик.

Нина Рычкова меня узнала. Кто б мог подумать? Я ободрился.

— Вадик Белан! Конечно, помню. Прорезался?

-- Говорят: лучше поздно...

— Чушь говорят. Ты меньше их слушай. Вовсе не лучше. Я скоро же- нюсь. (Именно так она и сказала. Я подумал, что глагол выбран верно.)

-- Слыхал. (В моем голосе прозвучала торжественно скорбная интонация.)

-- А как раздобыл ты мой телефончик?

-- Слава Рымарь мне его раздобыл.

-- Ах, да. Я ж его о тебе поспросила. Он и назвал твое имя-фамилию.

— Аналогично. Спасибо ему.

-- Шустрый жиденок. Ты что, с ним дружишь?

Я ей сказал, что слово «дружба» в этом случае звучит слишком сильно. И тут же подумал: второй раз за день я отвечаю — «это не дружба». При этом я не очень лукавлю. В сущности, так оно и есть. Может быть, я на нее не способен? Стоило бы о том поразмыслить. Я испытал дискомфорт и сказал: что в сфере этнических вопросов — я человек без предубеждений.

— Может, ты сам не без греха? — Она рассмеялась. — Ну ладно, шутка. Меня это не больно кольшет. Слышал, наверно, два кирпича с крыши лете- ли? Один говорит: «Интересно, на кого упадем?». Другой отвечает: «Какая разница? Главное, чтоб человек был хороший». Теперь колись: есть какая- нибудь корысть?

-- Само собой.

-- Так чего тебе нужно?

— Увидеться.

Она хохотнула:

-- И только-то? Оно тебе надо?

— Надо, если я позвонил.

Она была безусловно довольна тем, что моя корысть бескорыстна. Для убедительности я добавил:

— Я тебя видел на этих днях.

— Да? Где же?

Я мысленно себя выругал. Видно, меня понесло — заигрался! Нечего распускать язык. Помедлив, я грустно вздохнул:

— Во сне.

Нина Рычкова опять посмеялась. Потом озабоченно проговорила:

— Ох, этот русский человек... Уж кони — с копыт, а он все запрягает.

Так что ты делаешь в воскресенье?

— Что скажешь.

— У отца — сабантуйчик. Придут сподвижники и соратники. Тебя не смущает?

— Меня-то нет.

— Ну, если так припекло, приходи.

Утром воскресного дня я долго стоял под душем и долго брился — я дал себе слово, что выскребу щеки не хуже этого Бесфамильного. Сегодня вечером надо быть в форме. А днем я должен быть недоступен для отрицательных эмоций.

Легко сказать! В середине дня внезапно зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Слушаю вас.

— Вадим Петрович?

— Да, это я.

Знакомый голос. Умытый, свежий, можно подумать, что говорит радиодиктор из программы «С добрым утром». Я стиснул зубы.

— Валентин Матвеевич из московской Чека.

Я усмехнулся. Особый шик. Этакий ностальгический ветер старой Лубянки времен Дзержинского. Крутая поэзия Революции. Романтика священных застенков. Каждый выпендривается по-своему.

— Я вас узнал. Ну вы и работник. Трудитесь даже по воскресеньям.

— Просто решил, что легче застать. Надумали?

— В воскресные дни я предпочитаю не думать. Только — растительный образ жизни.

Он что-то почувствовал в моем голосе. Какой-то металлический привкус. И принял решение рассмеяться. Самое верное. Школа есть школа.

— До завтра, — сказал хранитель традиций.

Я бросил трубку. Будь ты неладен.

К семи часам с шампанским в руке я появился в Большом Афанасьевском, где обитала семья Рычковых. В широком подъезде за столом сидела пожилая вахтерша и мрачно читала журнал «Огонек». Она спросила, кого мне надо и, услышав мой ответ, помягчала, напомнила: четвертый этаж.

Нина сама открыла мне дверь. Взяла из моей руки бутылку, внимательно меня оглядела. Потом усмехнулась:

— Неплох, неплох.

— И ты — в порядке.

Она кивнула. Я понял еще на той вечеринке, что Нина живет в ладу с собой. Девица без комплексов. С удовольствием смотрится в зеркало по утрам. Я тоже скользнул по ней быстрым оком. Нет перемен. Все те же стати. Те же вывороченные губы, крутая шея и мощный круп. И то же приглядчивое, приметливое, обманчиво сонное выражение сощурившихся ячменных глаз. Правда, подстрижена чуть покороче. Ей это, впрочем, было к лицу.

Она провела меня в гостиную, просторную, нарядную комнату, где, оказалось, уже пировали. В торцовой части большого стола высились стулья с длинными спинками. Их занимали родители Нины — Афиноген Мокеич Рычков и Анастасия Михайловна. Сам генерал был огромен, плечист, с круглой плешивой головой, с круглыми глазами на выкате такого же ячменного цвета, как у дочери, — в отличие от нее взгляд его был грозен и страстен. Во всем осталь-

ном они были похожи, насколько может быть зрелый мужик похож на совсем молодую женщину. Такие же крупной лепки черты, такие же африканские губы, а зубы еще сильнее выдаются. Зато Анастасия Михайловна выглядела довольно бесцветно, почти как вахтерша в их подъезде, среднего роста, уже дородна. Она протянула мне руку лодочкой.

-- Это Вадим, мой близкий друг, — представила меня Нина застолью и усадила рядом с собой.

Афиноген Мокеич кивнул мне и оглядел меня чуть ревниво. Потом сказал:

-- Очень рад. Догоняйте.

И тут же осведомился у Нины:

-- Вася звонил? Когда приедет?

Нина зевнула:

-- На той неделе.

Вопрос отца прозвучал искусственно. Предназначался он для меня, напоминая, что Нина — невеста. А голос Афиногена Мокеича неожиданно оказался высоким. Он контрастировал с его массой, с каменными могучими скулами.

Гости были под стать друг другу. Возможно, если б я постарался, всмотрелся, я бы сумел распознать в каждом из них свою «самобытинку», как изъяснялся Славка Рымарь. Но я должен был выпить за Афиногена, потом за Анастасию Михайловну — неудивительно, что соседи стали утрачивать различия. Можно сказать, что они мне чудились картами из одной колоды, кажется даже — единой масти. Все они были близки по возрасту, кроме того, было нечто схожее в лицах, в манере их поведения, чуть ли не родственное, общий корень — я бы не слишком удивился, если б узнал, что они — земляки. На хозяйина взирали почтительно и вместе с тем охотно подчеркивали, что все они вместе — одна семья.

Тут был предложен тост за Нину, за продолжательницу рода и за отсутствующего Васю. Близится торжественный день, два любящих сердца соединятся, и крепость этой новой четы будет по-своему цементировать общую крепость — нашу державу.

Афиноген Мокеич смотрел на дочь-красавицу с нежной улыбкой. Я его даже не узнавал. Стало ясно, что Нина была и гордостью и слабостью человека из стали. Эта деталь утепляла образ.

Неожиданно раздался звонок. В прихожей раскрылась и хлопнула дверь, прошелестели слова извинения, быстро вошел запоздавший гость. Впрочем, еще быстрее, чем он сам, в гостиной возник острый запах шипра, и уж затем я разглядел отполированный лик Бесфамильного. Он стоял на пороге с цветами в руке.

Вновь попросил у хозяев прощения. Был прощен. Делу время, потехе час. Афиноген нас представил друг другу. Бесфамильного — по имени-отчеству, меня — как «близкого друга Ниночки», коего просит «любить и жаловать». Мы обменялись рукопожатием. Бесфамильный сказал: «Рад познакомиться».

Словно забывшись, на миг я коснулся плеча молодой хозяйки дома. Решительно, фарт на моей стороне. Весь этот вечер я все обдумывал, как дать ему понять в понедельник, не слишком навязчиво, но весомо о близости к семейству Рычковых. И — как по заказу! — он узнает об этом из уст Афиногена.

Искоса я за ним наблюдал. Наверное, как и он за мной. В манере держаться я обнаружил еле заметные новые черточки. Мало свободы, меньше уверенности, не ощущается скрытой усмешки. Он был значительно младше всех прочих, и было заметно — с одной стороны, он очень польщен, что его пригласили, что допустили в высокий круг, с другой же — нужно не расслабляться, следить за собой, соблюдать дистанцию.

Беседа за ужином шла неспешно. Бойцы вспоминали минувшие дни. Характер застолья определяли идейная близость и мягкий юмор. Хозяин, как дирижер за пультом, умело направлял разговор. Ненавязчиво, однако же властно. Возлияния вовсе на нем не сказывались. Разве едва заметный румянец коснулся его каменных скул. Но улыбался щедрей, чем прежде, являя свои выпиравшие бивни.

И все же, сколько бы ни вилась веревочка внеслужебных сюжетов, главная тема неотвратно притягивала к себе все общество. Заговорили о Чехословакии. Все словно внутренне подобралось. Ни шуток, ни праздничного благодушия, лишь доносились гневные реплики:

- Новая, видите ли, модель!
- Ишь! С человеческим лицом!
- С че-ло-ве-ческим! А у нас какое?
- С человеческим, а в газетах пишут что хотят!
- И несут что хотят! Засранцы.
- А кто заправляет? Одни сионисты.
- Шик, Кригель, Гольдштюкер. Главные люди.
- Еще со Сланского началось!

Один из гостей, редковолосый, с бесстрашными смоляными глазами, исторгавшими холодное пламя, четко и жестко отрубил:

- Они не хотят социализма.
- Это суровое разоблачение вызвало новый прилив страстей.
- Да, так и есть!
 - Ни стыда, ни совести!
 - Было кого освобождать.

Афиноген Мокеич вмешался. Стихию надо было ввести в берега. Он обратился к Робеспьеру:

-- Социализмом тут и не пахнет. Понятно, куда они глядят. Но мы ведь не их освобождали, освобождали мы братский народ. И он своим здоровым сознанием поймет, что мы и на этот раз вторично его освобождаем. Немного терпения — все поймет. А за социализм, — он повысил голос и почему-то взглянул на меня, — за социализм, мечту человечества, я каждому глотку перерызу!

Все одобрительно зашумели. Нина сверкнула ясной улыбкой и обнажила отцовские зубы. Анастасия шмыгнула носом, растроганно взглянув на супруга. Я тоже изобразил улыбку. Да здравствует мечта человечества! «Ну и мечта, — подумал я, — за которую нужно грызть чье-то горло».

Афиноген посмотрел на меня и задушевно проговорил:

-- Вот молодым, Вадиму и Нине, их жизнь кажется естественным делом. А между тем при другой власти парню из смоленской деревни, такому, как я, ничего не светило. Согласен, Вадим?

— Абсолютно согласен, — сказал я искренне. В самом деле, можно ли было не согласиться? Ни фи́га не светило ни ему, ни тем, кто сидел за этим столом. Точно так же ничего не светило ни густобровому пахану, ни темным и серым кардиналам, два раза в год уныло всходящим на Мавзолей приветствовать массы. И дело не в том, где они родились — в смоленской, курской, поморской деревне, — дело в их стойком сером цвете, о котором читал свои вирши Випер у памятника В.В. Маяковскому. Михаилу Васильевичу Ломоносову как раз при этой достойной власти ни хрена бы не светило, ни хрена, при всей его безупречной анкете.

Но я не озвучил своих раздумий. Сомнительно, чтобы они нашли сочувственный отклик. Я пришел не за этим.

Неожиданно Афиноген предложил:

— Давайте споем, душа моя просит.

Гости выразили свое понимание, а Робеспьер растроганно молвил:

— Русскому человеку без песни, как птице без неба. Так уж он скроен.
— Валя, ты с голосом, запевай, — обратился Афиноген к Бесфамильному. Бесфамильный выразил боеготовность.

— «Я по свету немало хаживал», — начал он. У него оказался теплый лирический баритон.

То была песня о Москве, сложенная еще в войну. Все гости хорошо ее знали.

— «Над Москвою в сиянии славы Солнце нашей победы встает», — старательно выводил Бесфамильный.

И все торжественно подхватили:

— «Здравствуй, город великой державы, Где любимый наш Сталин живет!»

— Живет и будет жить, — тихо сказал хозяин после насыщенной чувством паузы. И попросил:

— Ну, Валя, еще...

Бесфамильный томительно затянул: «Трудно высказать и не высказать то, что на сердце у меня». Гости задумчиво подпевали. Я ощутил на своем колене жаркую твердую ладонь. Нина пробормотала: «Пойдем...».

Я тихо выбрался из-за стола, боясь помешать хоровому пению. Бесфамильный затуманенным взором следил за тем, как мы удалялись.

Мы прошли по длинному коридору, она нетерпеливо толкнула дубовую дверь в угловую комнату. Пушистый ковер, словно дремлющий барс, раскинулся перед громадной тахтой. У противоположной стены высился двухстворчатый шкаф, а слева, в углу над столиком с зеркалом — еще один шкаф, уже висячий. Справа — две полки с любимыми книгами. Под ними на свободном пространстве — впечатляющий парад фотографий. Всюду — Нина, то с кем-то, то в одиночестве. Несколько снимков запечатлели пляжные виды и Нину в купальнике. На одном из них рядом с нею сутулился длинновязый голенастый заморыш с торчащими из кремовых плавок сиротскими дугообразными ребрами. Близ Нины он выглядел даже эффектно. Отменный кадр — Юнона с дистрофиком.

— Мой Вася, — сказала она хозяйски.

Я буркнул как можно более мрачно:

— Сам догадался. Глядит орлом.

Моя интонация ее порадовала. Она жизнерадостно хохотнула и подбросила дровишек в костер:

— Сходит с ума, так меня обожает.

Я еще больше насупил брови. Желчно и угрюмо разглядывал мощи внешнеторговского Аполлона. Мысленно я представил себе эту трепещущую спирохету, эту обреченную спичку, готовую вспыхнуть коротким пламенем, соприкоснувшись с дьявольской серой, чтоб тут же почернеть и погибнуть. Мне стало его неожиданно жаль, но мне предстояло сейчас отработать ее помощь в моей игре с Бесфамильным, а ей нужно было еще раз увериться, что мир стабилен и Нина Рычкова всегда получает все, что захочет.

Она сказала:

— Расписываемся и — в Мексику. Надолго. На свадьбу мою придешь? Я и на сей раз не вышел из образа.

— Не приду.

— Ты что это? Вроде ревнуешь?

— Мое дело. Говорю — не приду.

— Кошмарики... Умереть-уснуть...

Она сияла от удовольствия. Ячменные очи давно утратили привычное сонное выражение. Сбросив на ковер свои туфельки с круглыми голубыми помпошками, она уперлась литыми ступнями в мои ноги — пушистый дремлющий барс пробудился и замер перед прыжком. Она приблизила к моему

уху свои вывороченные африканские губы и, обдав его жарким и влажным облаком, не то вздохнула, не то потребовала:

-- Хочу, чтоб ты меня завалил.

Из столовой неслось вдохновенное пение: «Если бы парни всей земли...». Заметив мой опасливый взгляд, она шепнула: «Вперед! Ко мне не входят».

Но нам уже было все едино — даже если б сюда вломилась и каменноскулой Афиноген, и его вокальная группа, и все солдаты невидимого фронта.

Она, задыхаясь, пробормотала:

-- Все-таки я тебя поимела...

Меня же любовно согрела мысль, что баритон из Московской Чека больше не станет меня тревожить.

4

Поверьте, что утренний кофе имеет первостепенное значение, он заряжает собой весь ваш день. Пусть будет он горячим, но в меру, с одной только ложечкой молока — скорее для цвета, чем для вкуса, цвет его должен приобрести густой, почти шоколадный оттенок. И прежде всего закройте глаза, ничто не смеет вас отвлекать. Каждый глоток обязан быть длительным и протяженным в пространстве и времени. Восчувствуйте, как с нёба к гортани плывет округлое и душистое и как оно продолжает свой путь. Так происходит омовение всего естества и его очищение от скверных снов и ночных забот. Еще раз скажу вам: не торопитесь. Лучших мгновений уже не будет, чашка мелеет, а день подступает, уже он накачивается на вас, наваливается и гнет к земле.

Однако сегодня я не боялся встречи с днем, я был на отдыхе. И — сколь это ни странно — впервые. Мои вакации были кустарны — несколько дачных дней под Москвой, и те не свободны от разных делишек, от всяких хлопот и обязательств.

Но этим летом я выбрался в Юрмалу, в пляжный прибалтийский эдем. Этим именем были объединены полтора десятка уютных поселков — в одном из них я снял комнатенку у строгой сухопарой латышки, сквозь стекла очков наш мир озирали ее неподкупные глаза. Видимо, то, что она наблюдала, не веселило ее души, с каждым днем глаза все больше суровели. Она трудилась кассиршей в кинотеатре, расположенном в Меллужи, где пребывала с полудня до поздних лиловых сумерек. По-русски изъяснялась свободно, но неохотно и только по делу. Если бы я не платил за постой, я бы чувствовал себя оккупантом.

Впрочем, к такой манере общения я применился довольно скоро, привык и к новому распорядку. С утра после очень легкого завтрака я уходил на прославленный пляж и совершал свое путешествие по краешку берега, там, где дюны утрачивают свой бежевый цвет, становятся влажными, темно-коричневыми и дышат волной и сырým песком. В общем, проделывал путь электрички, соединяющий поселки, и тем не менее — не выдыхался. Маршрут был довольно однообразен — скамеечки, будочки-раздевалки, поблескивают на солнце круги на синем домишке спасательной станции, и снова — дюны, дюны, дюны — десятки загорающих тел, детских, женских, мужских — без счета! Все они постепенно сливались в единый образ открытой плоти. Я понемногу стал понимать странную невозмутимость нудистов — на пятый день я почти бесстрастно взирал на дамскую наготу.

Проделав поход, я обычно отыскивал местечко, не занятое чьим-нибудь телом, и, отлежавшись, бросался в воду. Она никогда не была слишком теплой, но это совсем меня не отпугивало. Я заплывал почти до буйка, вернувшись, сушился под юрмальским солнышком, потом одевался и шел обедать. Я представлял свое лицо свежему бризу, и мне не верилось, что в полусутках пути от

Риги исходит от зноя моя Москва. Лето семьдесят второго сжигало изнемогавших столичных жителей — слабые памятью старожилы даже и не пытались в ней вызвать нечто, хоть отдаленно похожее.

За эти годы в интриге моей судьбы исторических перемен не свершилось. Что вовсе меня не огорчало. Если не умом, то наитием я уж постиг, что стабильность бесценна (само собой, не стабильность трагедии), а завтрашний день должен быть предсказуем. Помню, как в детстве у букиниста попался мне один старый учебник, вышедший в самом начале века: Меня восхитила печальная фраза, которая подводила итог величественной истории Рима. «Этого потрясения (не помню, какого) Империя выдержать не смогла — она впала в смертельную агонию и через двести лет погибла под безжалостными ударами варваров». Какая прекрасная агония! Мне бы ее — хоть четвертую часть.

Вылавливал я в различных книгах другие приметы такой устойчивости, не столь глобальные и торжественные. Один основательный господин доверительно говорил другому: «Застать меня можете в кафе «Флора». Всегда бываю там с двух часов». Душа моя завистливо млела. И пусть в Москве я не смог бы найти что-либо сходное с этой «Флорой», сама возможность такой ритуальности таила бы безусловную ценность.

Но были и у меня свои радости. Я выиграл несколько сложных дел, и старые волки-цивилисты уже привыкали к моей фамилии. Не только отец, но и моя мачеха, прогрессивно мыслящая Вера Антоновна, признавала, что кое-чего я добился, хотя мне и следовало бы иметь побольше гражданского темперамента. Брюзжал только брат ее Павел Антонович, неповоротливый пухлый мальчик с очами затравленного оленя. То был патетический паразит, публиковавший раз в три месяца в одном из неведомых изданий, которых в Москве великое множество, заметку величиной в два абзаца. К сестре он приходил через день либо к обеду, либо к ужину, всегда с озабоченным лицом и очередным бюллетенем о состоянии его кишечного тракта.

Если Вера Антоновна имела пристрастие к ходким формулам вольнолюбивого свойства, то брат ее любил щегольнуть чуть запылившимся словечком. Сдается, этот вокабуляр поддерживал в нем л ю б е з н о е сердцу эзотерическое самочувствие. Вера Антоновна не забывала напоминать мне и отцу, что братец ее — инвалид эпохи, не давшей ему реализоваться. При этом она всегда добавляла:

— У него образцовая московская речь. Теперь уже так не говорят.

Я соглашался:

— Это печально. Никто из нас больше не скажет: «Чу!».

Меня он терпел с немалым трудом. С сардонической усмешкой подчеркивал милую ему свежую мысль: в сильном теле слабовата духовность. Как можно было понять из намеков, подтекст этой мысли был таков: если бы мой кишечник дал течь, возможно, я воспарил бы, как он. П о к у д а об этом нельзя и помыслить.

Шут с ним! Я редко бывал у отца. Да и вообще не стремился как-то расширить свой круг общения. Близких друзей не завелось. И полагаю, что не случайно. Дружба — высокая авантюра. Вклады, внесенные в этот банк, по большей части невозместимы и слишком дорого вам обходятся. Я уж не говорю о том, что близкие друзья посягают, возможно против собственной воли, на некую часть вашей тайной жизни. Я охранял ее слишком ревниво, чтоб допустить такое вторжение. Выяснилось, что ближе других мне были Богушевич и Випер. Возможно, что отроческим связям дается заряд мистической прочности. Но слишком уж разошлись наши судьбы. Борис находился в колонии, в Потье, Випер то уезжал куда-то, то вдруг появлялся и вновь пропадал. Он рассказал, что дважды сходил с какими-то мне не известными женщинами, надеялся даже создать семью, но так ничего и не получилось — тут ему не везет с юных дней.

О Рене он говорил мне коротко — она-де в поисках духовников и религиозных наставников. Где-то преподает. Без радости — мука следить за каждым словом. В педагогической среде ей суждено быть белой вороной.

Похоже, меня она сторонилась. И я догадывался, в чем дело. В том скверном дне, когда в первый раз (и, как выяснилось, в последний) она примчалась ко мне сообщить, что Богущевича замели.

Сам не пойму, отчего я завелся. Я точно забыл, что Борис уже там. Я только видел перед собою ее измученное лицо и ощущал неприличную злость.

— Все кувырком! — Я едва не кричал. — Все наперекосяк. Столько лет! Бориса оставили без диплома. Вы с Саней ни единого дня не работали по своей специальности. Кто над тобой не измывался?

— Молчи, — сказала она, — прошу тебя. Какое это имеет значение?

И заплакала. Я приблизился к ней. Она уткнулась лицом мне в грудь. Я поцеловал ее волосы, потом — ее мокрые глаза. А там — и в губы. Я понимал, что делаю то, что запретно и стыдно, но я уже не управлял собой.

Она выскользнула из моих рук, достала платок и утерла слезы.

— Бог посылает мне испытание, — сказала она. — Я должна его выдержать.

Я снова не мог себя приструнить:

— За что ж он его посылает тебе? Чем ты перед ним провинилась?

Она приложила палец к губам.

— Не надо. Так нельзя говорить. Надо веровать. Тебе будет трудно.

«Тебе зато легче», — подумал я.

Несколько секунд мы молчали, потом я негромко проговорил:

— Наша беда и наше проклятье в том, что будущее — наш идол.

На сей раз Рена не возразила. Она сказала подчеркнуто сухо:

— Мне нужен хороший адвокат. За этим я и пришла.

— Я понял. Я сведу тебя с даровитым малым. Он в этих делах понаторел.

— Спасибо тебе. Я не должна была сюда приходить. Не слишком порядочно.

— Зачем ты все это несешь? — спросил я.

— Могла наследить. Привлечь внимание.

Эти слова имели резон. И мысль эта уже мне являлась. Но я заставил себя усмехнуться.

— Ладно. Не бери это в голову.

У порога она остановилась.

— Ты уж прости, что я всплакнула. Клянусь, это было в последний раз. Слез моих они не дождутся.

Через оконное стекло я видел, как вышла она из подъезда, как побрела к остановке троллейбуса. Губы мои еще удерживали запах ее волос и щек.

Скорее всего, ее испугала та близость, что между нами возникла. Должно быть, ей она показалась не только запретной, но и кощунственной. С тех пор она меня избегает.

Быть по сему. Возможно, все к лучшему. С далеких мальчишеских лет я усвоил тот мельхиоровский урок: сила единственно в независимости. Но именно ее я утрачивал в присутствии Рены и восстанавливал ценой душевного напряжения. Я словно терял свое лицо. А ведь оно мне далось непросто. Теперь, когда наконец оно стало моим, уже не маской, а сутью, я должен беречь его естественность. Любое насилие над собой опасно и не проходит бесследно.

В тот августовский день я предпринял обычный поход после кофепития. Не торопясь, я дошел до Айвари, не торопясь, возвращался обратно. Однако, когда я вступил в пределы поселка Дубулты, в той части пляжа, над которой пирамидально высилась громада писательского Дома Творчества, произошло роковое событие.

Обычно я убыстрял свой шаг, когда проходил этот пятачок. Должен признаться, меня раздражало название этого обиталища. Дом Творчества! Боже мой, как торжественно! А почему уж не Дом Зачатия? Одно нерасторжимо с другим. А для особо лирических душ сгодился бы и Дом Вдохновения.

Кроме того, мне были несносны и сами творцы, со скромным величием коптившие городские бедра и — еще более — их супруги. Несхожие внешне одна с другой, они составляли некую общность с родственными видовыми признаками — все словно были проштемпелеваны печатью, удостоверявшей их избранность.

И вдруг я замер, прирос к песку, я превратился в столп соляной. Не хуже, чем Лотова жена. Или в электрический столб. Так будет не только посовременней, но и точней, ибо я был прошит мгновенным жизнеопасным током.

Прямо передо мною вытянулось, раскинулось срубленным кипарисом невероятное существо. Во время странствий по кушам Эроса мне еще не приходилось видеть такого совершенного тела. Пропорции были до миллиметра выверены Великим Чертежником и вылеплены по этому плану столь же Великим Гончаром. Не знаю, кто выносил этот шедевр — Бог или Дьявол, — но наконец-то воплощение отвечало замыслу. Ноги — от рафинадных зубов — являли мощь и таили страсть. Первого взгляда было довольно, чтобы понять их предназначение — уверенно топтать эту землю и тех, кто окажется на пути. Этот поистине царский чертог был триумфально увенчан куполом — головкою античной богини. Вся она — от чела до пяток — была одета кофейным загаром. Он не был таким, как у бедных дамочек, мечтающих затемнить им, как гримом, свои немилосердные годы, не пламенел и не стлался дымом, не рдел багряными островками, напоминая о неизбежном — шелушении, волдырях и струпаниях. На сей раз он был ровен и чист, он был естественным цветом мулатки, хотя в европейском происхождении этого чуда сомнений не было.

Рядом с задумчивой Афродитой на купальном махровом полотенце, смахивавшем на простыню, коптился гренландский тюлень лет пятидесяти. Понятно, что к ледяному острову он отношения не имел, но то, что он был не советской выделки, угадывалось без напряжения.

Продолжить свой путь я был не в силах. Не в состоянии. Не стоял на ногах. Я улегся на песке рядом с ними.

Вознамерившись завести знакомство, я мысленно перебрал варианты. Ничего интересного я не придумал — видимо, потерял равновесие. И без претензий на изобретательность спросил, отчего они не купаются.

Его безволосый овальный лик с мягким недопеченным носом и пухлыми розовыми губами просиял, словно своим вопросом я доставил ему живейшую радость.

Он объяснил, что балтийские воды для них, пожалуй, холодноваты. Впрочем, жена его хочет рискнуть. Как раз перед тем, как я к ним обратился с таким естественным интересом, они обсуждали эту возможность.

Так это не дочь его, а жена! Я горько про себя усмехнулся — нет справедливости на земле.

Меж тем, гренландский тюлень представился. Он был одним из руководителей союза чехословацких списователей. Я вопросительно прислушался, он тут же себя перевел: писателей. Впрочем, как выяснилось, они оба владели русским не хуже, чем чешским.

Я назвалса, они также назвались. Супруги Холики. Пан Яромир и пани Ярмила. Почти что тезки. «Мы словно окликаем друг друга», — с довольной улыбкой сказал пан Холик. Похоже, в его воображении их имена обретают жизнь в образе двух умильных пташек, обмениваются любовным клеветом. Тем не менее я решил про себя, что этот союз не в полной мере отвечает сей фонетической близости. Сколь бы трогательной она ни была.

Пани Ярмила решила купнуться. Чтоб поддержать ее морально, я пред-

ложил составить компанию. Пан Яромир поблагодарил меня. Либо он был образцово воспитан, либо в нем поселилось почти безотчетное, неуправляемое уважение решительно к каждому Старшему Брату. Пани Ярмила небрежно кивнула, встала, отряхнула песок и царственно направилась к морю. Я шел за ней, оглушенный зрелищем. Такие ноги могут привидеться лишь в отроческом огненном сне.

Море меня не охладило. Рядом со мной, с чуть слышным стоном, с трудом привыкая к температуре, плескалась заплывшая в наш затон Бог знает откуда волшебная рыба. Случалось, она ко мне прикасалась прохладной кофейной чешуей. Дыхание мое перехватывало, зато перед моими глазами плясали оранжевые круги.

Когда мы вернулись, пани Ярмила сказала:

— Я рада, что я решилась. Спасибо. Прекрасное ощущение.

Пан Яромир подхватил:

— Да, да. Вовремя сказанное слово лучше всего побуждает к поступку. Спасибо.

Я учтиво отказывался от их благодарности. Право, не за что. Заслуга моя не так велика. Пани Ярмила сама проявила необходимую отвагу.

Пан Яромир сказал, что надеется, что мы продолжим наше знакомство. Я понял, что оба изрядно скучают. Скорее всего, советские люди из Дома Творчества — люди бывалые — не торопились заводить лишние связи с забугорьем, от пражских гостей держались в сторонке.

Вечером мы сошлись в кафе на улице Йомас. Было уютно. Пан Холик разнежился. Он оказался очень словоохотливым малым. Либо он здорово намолчался.

Он дал мне понять — и без нажима, со средневропейским изяществом, — что руководство его страны весьма одобряет и его творчество, и деятельность на общественной ниве. Ценит товарищ Василь Биляк, ценит товарищ Алоиз Индра и даже товарищ Густав Гусак. Кстати сказать, большая удача, что в эти очень сложные годы страна получила такого лидера. Не только ясный ум реалиста, еще и гуманное светлое сердце. Но самое главное — он отличается прочнейшей идейной убежденностью, ничто не свернет его с пути. Этого важнейшего качества как раз и не доставало Дубчеку, который, возможно, и не злодей, но очень хотел быть общим любимцем, что, как известно, к добру не приводит. На этих-то струнах умело играло его ближайшее окружение. Он, Холик, в своей нелегкой работе — а отвечать за литературу в ее сегодняшнем состоянии — это весьма нелегкое бремя! — он, Холик, не искал и не ищет дешевых лавров и популярности. Он их и в творчестве не искал. Всегда он шагал своей дорогой.

Я ощутил, что тут он коснулся, как видно, незаживающей раны. Было ясно, что, если бы твердый Холик вдруг обнаружил слабину и стал популярности домогаться, он все равно бы не преуспел. Пренебрежение коллег и равнодушие аудитории не оставляли другого выбора, кроме идейной несокрушимости, так отличающей Густава Гусака от слабака Александра Дубчека. Я это понял еще янее, когда он заговорил о писателях. Пан Яромир порядком намаялся. Не так-то легко исполнять свой долг. Одни литераторы смотрят на Запад, они созрели для эмиграции, другие молчат, но молчат они с вызовом, такое молчание громче крика. Пан Яромир проявляет выдержку — пани Ярмила тому свидетель, — но терпение уже на исходе. Он прямо сказал этим Диогенам, рассчитывающим отсидеться в бочонке: «Спешите. Поезд может уйти».

Во время этого монолога пани Ярмила ела мороженое, отхлебывала рижский бальзам, при этом ни на гран не утрачивая надменной посадки головы. Она снисходительно принимала внимание всех, кто сидел в кафе. Ярмила была еще молода и, видимо, до сих пор не насытилась ни восхищеньем гла-

зевших мужчин, ни нервностью их уязвленных спутниц. Мысленно я удивлялся бесстрашию пана Холика — рыхлый, розовогубый, старше жены едва ли не вдвое, с трудом достигающий своей лысиной ее королевской лебяжьей шеи, конечно, он проявил безумие, решившись на этот опасный брак. Но этот трофей был так ему важен! Мне показалось, я понял условие, связывающее обоих супругов. Пан Яромир преуспевает, сметая с пути ревизионистов, а пани Ярмила являет собой свидетельство этого процветания, законный, заслуженный приз победителя. В этом качестве она и живет собственной вагинальной жизнью.

Это была, разумеется, схема, но схема, тешившая мой дух. Тем более что она помогала терпеть присутствие пана Холика. Он, между тем, не умолкал. И перешел к заветной теме. Все очевидные достижения в борьбе за командные посты не перевешивали потребности быть признанным в качестве мастера слова. Похоже, что я появился вовремя, я предоставил ему возможность сладчайшего самоутверждения, и в этот момент он почти любил меня, как тайно любит палач свою жертву.

Он рассказывал о своих книгах и замыслах. Должно быть, он был плодовит, как крольчиха — названия сыпались одно за другим. При этом он не терял головы. Он был не просто отцом своих книжек, он был их заботливым отцом. Он долго и подробно рассказывал об их тиражах, о разных изданиях, о переводах за рубежом. В запале он сообщил и то, чего говорить ему мне не следовало. Он часто ездит из Юрмалы в Ригу — туда приехали на симпозиум московские литературные боссы, а с ними и его переводчик. С боссами он укрепляет контакты, а с переводчиком он редактирует русский текст последнего сочинения и договаривается о новом сотрудничестве. Вот и завтра за ним прилжет машину.

Ценные сведения! Он мне их дал в уверенности, что они, бесспорно, выисят его в моих глазах. Я их выслушал с большим удовольствием. С громадным подъемом я пожелал ему успешно решить его задачи. Мы расстались, довольные друг другом.

Утром следующего дня я пил свой кофе почти в истоме. Картины, которые мне рисовались, были одна греховней другой. Сколько ни сдерживал я себя, на пляж я примчался раньше полудня.

Пани Ярмила уже возлежала — как и надеялся я — в одиночестве: Она приветно взметнула руку — это был жест патрицианки, лениво зовущей вольноотпущенника. Я приземлился рядом с нею — итак, пан супруг ее оставил. Она улыбнулась углами губ — обязанности, ничего не поделаешь. Вот и на отдыхе, а все то же...

Я отдал должное его динамизму и подвижничеству в служении обществу. Самоотверженные люди, увы, так редки, наперечет! После чего предложил окунуться. Она кивнула, и мы прошествовали под взглядами писательских жен.

Балтика не сразу вбирает купальщика в свое сизое чрево. Мы шли по воде довольно долго, пока не разверзлось под нами дно. И шли мы с ней и плавали молча. Должно быть, думали об одном. Слова были частью той одежды, которую мы только что сбросили.

Мы вышли на берег, обсушились и, так же молча, пошли облачаться в верхнее платье. Сей ритуал мы проделали в одной раздевалке, поделенной на два закутка фанеркой, не доходившей до влажной почвы. Натягивая брюки, я видел щиколотки кофейного цвета, крепкие ступни с прямыми пальцами — десять патронов и все в меня! Я словно валял ее перед собою в ее торжествующей наготе. Из раздевалки я вышел пошатываясь.

Когда мы с нею воссоединились, я только и сумел что сказать:

-- Я слышал очень много хорошего про ваш Дом Творчества.

--- Скромно, но славно, — сказала она, наклонив в знак согласия античную голову. Я вздохнул:

-- Хотелось бы взглянуть.

-- Приглашаю.

Мы медленно поднялись на пригорок и, обогнув нависший над морем монументальный творческий замок, вышли к его центральному входу. Пройдя сквозь холл, приблизились к лифтам и заняли одну из кабин. На нас поглядывали, но пани Ярмила, казалось, этого не замечала — все так же покойна и безмятежна.

Мы вышли из лифта на девятом. Она открыла свой номер — две комнаты, одна — поуже, другая — пошире. В углу стояло двуспальное ложе.

Пражский халат отлетел на стул. Я торопливо за ней последовал. Я уже видел пани Ярмилу в ее естественном состоянии, но были еще два кусочка ткани — последний редут, защищавший тайну. Теперь, наконец, предо мною открылись и белые грозди и темная рожица. В единый миг произошло великолепное превращение. Супружеская кровать показалась уж слишком комфортабельным полем сражения. Я чувствовал, что песок и трава — вот наше истинное ристалище. И сам я стал тем, кем и был задуман, — бивнем, клыком, костью в шерсти.

Мы молча ринулись друг на друга, готовые умереть в рукопашной. Мы склеились накрепко, наглухо, намертво. И оба радостно испускали какие-то лающие междометия на первобытном пещерном наречии. Черт побери, мы были неплохи.

Пани Ярмила отправилась в душ. Я к ней примкнул. Через пять минут она стала невозмутима, как в лифте. Мы условились повторить наш матч завтра же — пану Яромиру предстояло закрытие их сходняка и заключительный банкет, на который звана и пани Ярмила.

-- Я не поеду, — сказала пани, — могу представить, какая там скука.

Я заверил достойную даму, что здесь ей будет повеселей.

Это не было пустым обещанием. День Второй был не хуже Первого Дня. Возможно, и лучше — единоборство было таким же непримиримым, но в чем-то более утонченным. Мы не проскакивали мимо подробностей -- по первости это почти неизбежно, — мы открывали богатство детали и прелесть решающего штриха. Фантазия дополняла щедрость.

Заботило лишь неясное будущее. Пани Ярмила предполагала, что в Дубулты может прибыть переводчик для завершения совместной работы с автором славного оригинала. Как будто за ним забронирован номер. Значит, пока они будут трудиться, я должен принимать мою пани в своей клетушке — не слишком шикарно. Кассирша из кинотеатра «Меллужи» вряд ли предвидела, что ее комнате выпадет такая карьера.

Мы вышли в город пройтись по Йомасу и посидеть в том самом кафе, в котором мы ужинали в день знакомства. Усевшись за столиком у окна, мы начали восстанавливать силы.

Пани Ярмила была очень милой и ненавязчивой собеседницей. Мне стоило некоторых усилий вытянуть из нее две-три фразы о том, как текла ее жизнь в Праге и как она стала женою Холика.

Место их встречи вполне прозаичное. Впрочем, я меньше всего ожидал какой-либо романтической фабулы. Ярмила служила в Союзе писателей в области международных связей. Еще бы! Украшение фирмы. Подобный фасад и три языка, в том числе — совершенный русский. Пан Яромир на нее поглядывал, когда еще ничего не значил. Тем более -- для самой Ярмилы, — дополнил я мысленно эти сведения. Думаю, что стать ее мужем было для Холика столь же важно, как стать заправилкой в той гордой среде, где его прежде не замечали и в грош не ставили — сладкий реванш!

Как я и предполагал, пан Холик кинул ради нее семью, благо дети были старше Ярмилы. Наверно, он безоглядно влюбился, наверно, и самоутверждался, а может быть, первая пани Холик не отвечала его представлениям о

круге, в который он был допущен. Я предпочел последнюю версию. Она была наименее выгодной для этого прихвостня и куртизана.

Мы выпили бальзам с коньяком. Я извинился за скромность обеда, который не может идти в сравнение с отвергнутым ею банкетом в Риге. Она усмехнулась: банкет уже был. Я нежно поцеловал ей ладошку.

Ярмила презрительно сказала:

— Ну и публика там пирует, должно быть.

Я откликнулся:

— Должно быть, все та же. Люди передовой идеи.

Она процедила, наморщив лоб:

— Люди идеи ужасно плоски.

Эти слова прозвучали, как музыка. Я вспомнил Афиногена Рычкова, грозившего перегрызть глотку ради единственно верной теории. Уже давно я сделал открытие: ставить идею выше жизни — это ведь выбор в пользу смерти.

— Твое здоровье, — сказал я с чувством. — Скажи еще что-нибудь. Умоляю.

— Я знаю, — сказала она, — у вас любят слова этой фурии Ибаррури: лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Я не согласна. Жить на коленях не очень удобно, но, в конце концов, можно жить лежа.

— Смотри с кем, — сказал я. — Лучше подохнуть — стоя, сидя, в любой позиции — чем жить лежа с твоим Яромиром.

Бестактно. А самое главное — глупо. Но я постыдно возревновал. Ее-то! Спокойно решившую статью генеральшей при таком генерале. И все-таки трезветь не хотелось. Выяснилось, что Ярмила пронзила не только одну из моих желез.

Она поняла и не рассердилась.

— Всякая семья разрушительна. Я вычитала у одного ученого: близкие отношения рожают презрение.

Невероятно! Мы думаем сходно. Однако я бы не возражал, чтоб наши близкие отношения длились подольше. Как можно дольше.

В это время кто-то стукнул в стекло. Я поднял голову и поперхнулся. На улице Йомас стоял Випер.

Угораздило же нас сесть у окна! Хотел бы я знать, откуда он взялся. Впрочем, мне это предстояло узнать. Я сделал приглашающий жест. Он покачал головой — это я должен выйти к нему для переговоров.

Я извинился перед Ярмилой. Мой друг известен своей учтивостью. Воспитанность на грани болезни. Он никогда себе не позволит нарушить наше уединение. Я отлучусь на одну минуту — по-видимому, что-то стряслось.

Она улыбнулась. О, разумеется. В России ей еще не приходилось встречать подобную куртуазность. Такая интересная встреча обогащает ее наблюдения. И я не должен слишком спешить. Она пока выкурит сигаретку. Иначе говоря — пойдет пописать.

Випер пылко меня приветствовал.

— Сам бог послал тебя! — крикнул он.

Допустим. Я приготовился слушать.

Он сообщил, что здесь не на отдыхе. Нет, не московское адское пекло, не имеющее себе аналогов, вытолкнуло его из столицы. Есть сведения — его хотят замести. Не то в Вооруженные Силы, не то еще в какой-то силок. Он думал переждать это время у одного латыша, но не вышло. Теперь он направляется в Тарту. Эстонские друзья его примут. Суть в том, что, как гоголевский герой, он «сильно поиздержался в дороге». Итак, могу ли я его выручить?

В благостное томление Юрмалы ворвался отечественный Резистанс. Дохнуло угрозой, полярной стужей.

Я сказал, что, оторванный от Москвы, естественно, я стеснен в возможностях, однако, чем могу — помогу.

Он понимающе кивнул. Он уже видит мои обстоятельства — должно

быть, расходы мои непомерны. Совсем непросто поить и кормить столь сногшибательную особу. Я объяснил, что она сыта и без моего угощения.

-- А кто она? — спросил он отрывисто.

-- Пани Ярмила. Жена пана Холика. Это ответственное лицо в Союзе чехословацких писателей.

— И ты с ней сидишь за одним столом?

Я рассердился:

-- Не только сижу. Чем она тебя не устраивает?

-- Ты еще спрашиваешь? Потрясающе. Что ж, каждый по-своему отмечает четвертую годовщину вторжения. Прими поздравления с такой эволюцией.

Голос Випера зазвенел, а взгляд его устремился в сторону. Обиделся. Все как в пятнадцать лет.

Я сухо сказал, что об эволюции мне лично ничего не известно. Каков я был, таков я и есть. Что думал я раньше, то думаю нынче. А думаю я, что, когда встречаешь подобную даму, не обязательно дотошно выяснять ее взгляды, тем паче, вряд ли она их имеет. Зато у нее такие ноги, которые более чем прогрессивны. Что же до взглядов ее супруга, то это проблема Густава Гусака.

Он буркнул, что, пожалуй, не прав. Я в самом деле не изменился. Что ж, каждый идет своей дорогой. Есть одна старая поговорка: какой рекой плыть, той и воду пить. Но все же ему чего-то жаль.

Печально. Мне тоже чего-то жаль. Мне жаль, что он такой жакобен. У нас в коллегии есть старик-адвокат. Большой дуб, надо отдать ему должное. Его не выбрали в партбюро, и он ощутил себя оскорбленным. Теперь уже — все. Коли так, пусть знают — он уходит из политической деятельности.

-- Зачем ты мне это рассказал? — Випер зарделся и словно напрягся.

-- Не знаю. Он дурак, а ты умный. И все же последовал бы примеру. Пока не оскорбили тебя. А оскорбят гораздо серьезней.

Випер взглянул на меня сочувственно, однако ничего не сказал. Я дал ему денег. Он вновь повторил, что, право же, меня послал ему Бог. Вряд ли я мог ответить тем же. В кармане моем стало много просторней.

Мы простились. Я посмотрел ему вслед. Бедняга Санюля. Рыцарь бедный. Хвост на воле, а мышка в клетке.

Пора было возвращаться к Ярмиле. Только она поднимет мой дух. Она уже сидела за столиком.

— Надеюсь, с твоим тактичным другом не случилось ничего нехорошего?

-- Случилось. Он сшиблен тобою с ног. Но это скорей хорошо, чем плохо.

Я фантазировал самую малость. Назвал же Випер ее сногшибательной!

Над Юрмалой зажегся закат. Багровое солнце входило в Балтику, нащупывая лучами дно, так же неспешно и осторожно, как мы искали его ногами, когда возвращались из моря в дюны. Мы медленно побрели в Дом Творчества.

Я проводил Ярмилу до входа, но чувствовал — мне трудно проститься. Так уж и быть — провожу до номера. В лифте мы оказались одни и сразу же нас метнуло друг к другу. Из кабины мы выходили шатаясь. Она с трудом попала ключом в замочную скважину — мы вошли и замерли в яростном поцелуе. Она застонала. Моя десница скользнула вниз по ее спине, а шуйца устремилась к подолу.

И тут я услышал знакомый голос с его характерной интонацией — как будто до северных вод докатилось замшевое журчание Влтавы:

-- Как вы приятно проводите время...

Пан Холик вернулся намного раньше, чем мы с Ярмилкой предполагали. Его овальный румяный лик чернел на глазах — гренландский тюлень с загадочной мавританской окраской. Красное солнышко в миг затмения.

Непостижимо, но я вдруг вспомнил довольно популярную байку — советский клерк говорит сослуживцу: «Знаешь, а наш начальник — говно». И тут

же видит начальника рядом. Он тшится выправить положение: «Это я говорю в хорошем смысле».

Хороший смысл для пана Холика в столь недвусмысленной ситуации не отыскал бы и Шерлок Холмс. В связке с Эркюлем Пуаро. Но надо было что-то сказать. Я спросил:

-- Симпозиум завершился?

-- Как видите, — отозвался пан Холик.

Я осведомился:

— Удачный банкет?

— Кажется. Я быстро уехал.

Нечего было так торопиться. Сам себя наказал. Я вздохнул:

— Что ж, пора и домой. Доброй ночи.

Он промолчал. Не очень-то вежливо.

— До свиданья, — промолвила пани Ярмила.

На обратном пути я все время обдумывал эти прощальные слова. Не подает ли она мне знак? Не может быть, что занавес спущен. Об этом не хотелось и думать.

Но именно так обстояло дело. Пан Холик немало меня удивил. Прервав общение с переводчиком, законный отдых своей жены, покинул гостеприимную Латвию. Я выяснил это спустя два дня.

Осиротевший юрмальский пляж утратил все свое великолепие. Я мрачно бродил вдоль солнечных дюн в мечтах о пленительной коллаборантке. Где этот великокняжеский взгляд, где эти тополиные ноги цвета колумбийского кофе (мне привелось его как-то отведать, незабываемое воспоминание!).

Напрасные возгласы. Злата Прага вернула свою порочную дочь. О, Холик, распухшая протоплазма! О, Холик, розовогубая бездарь! (Наконец-то я разделил пафос Випера.) В чем смысл его пребывания в мире? Должно быть, лишь в том, что своей персоной он ярко пополнил мой bestiарий, а также привез сюда пани Ярмилу.

Однажды, гуляя у моря близ Дзинтари, я поднялся по мосточку на горку, откуда асфальт уже вел в поселок, и сел на первую же скамью. Рядом сидел пожилой мужчина в шляпе, надвинутой на глаза, с палкой со шегольским набалдашником. Я ощутил внимательный взгляд, цепко охватывающий меня и, пожившись, подумал о бегстве. С детства я отлично усвоил: когда на тебя пялят глаза, это кончается разговорами. Но я опоздал со своей ретирадой. Раздался простуженный хриплый голос, и этот голос был странно знаком:

-- Сикамбр! Ты со мной поздороваешься?

Я вздрогнул. И сразу, словно играючи, сбросил с себя небрежным взмахом почти полтора десятка лет. Снова — вторично за эти дни — со мной произошло превращение. На этот раз — в юное кенгуру, прыжками несущееся по улице в гостеприимный шахматный клуб.

— Учитель! — воскликнул я. — Это вы?!

-- Да, это я, — сказал Мельхиоров.

Тон его был полон достоинства и столь знакомой мне милой важности. Он утврждал незыблемость факта.

Я сам удивился тому, как я рад. Должно быть, стечение обстоятельств вздыбило температуру чувств. Все как-то сошлось — разлука с Ярмилой, встреча с Випером, занывшая память. Я думал о Рене, о Богушевиче. Бог знает, как он теперь далеко. Давно ли этот рябой наставник учил нас премудрости дебюта? Дебют давно уже позади.

-- Илларион Козьмич, как я рад!

-- Я тоже рад, — сказал Мельхиоров.

Я спросил его, как долго он здесь, когда возвращается в нашу столицу. Мельхиоров осветил ситуацию. Здесь он на отдыхе, вместе с женой, они снимают комнату в Пумпури. Но он не часто сидит под крышей. Во-первых, он

любит гулять в одиночестве, а во-вторых, в этом славном поселке с игрушечным аппетитным названием собрались на свой фестиваль комары. Причем для пребывания штаба выбрана именно его комната. Они почти ее не покидают.

-- Нахальные, беспринципные твари! — с презрением сказал Мельхиоров. — Уж я бы не стал бывать в том доме, где хозяйка меня ненавидят.

Воздав должное Пумпури и комарам, Мельхиоров коснулся ближайших планов.

— Да, в сущности, пора возвращаться. Август уже в предсмертных судорогах, близится осень, а с ней — дожди. И все же я медлю, я — в нерешительности. Я предпочту целодневный ливень этой взбесившейся сковородке, которую изображает Москва. Сто лет она не знала такого. Это — предвестие апокалипсиса.

Я слушал Учителя с наслаждением. Это был он, я узнавал его торжественную патетику, его поражающую нас способность к мгновенному самовоспламенению. Латышский комар, московский зной, случайная реплика, что угодно — могли исторгнуть этот огонь. В голосе начинали звучать трубные ноты, потом, постепенно, вдруг доносилось рычание льва.

-- Я ощущаю вульгарный голод, — неожиданно сказал Мельхиоров. — Как в крестопоклонную неделю Великого Поста. Запах моря действует на меня возбуждающе. Зайдем в одну харчевню поблизости. В ней, правда, нет вызывающей роскоши, но есть водка и пирожки со шпиком.

Что ж, вопреки обыкновению, в честь встречи я рюмочку раздавлю. Он привел меня в скромное заведение, где был встречен радушно и уважительно. Я сказал, что, должно быть, он — завсегдатай.

-- Да, — признался он, — я бываю здесь часто и растопил прибалтийский лед. Буфетчик меня удостоил дружбой. Не стану таиться, я выпиваю. Пианство есть саботаж судьбы. Таким макаром играешь с ней в прятки. Твое здоровье. Я рад нашей встрече.

Я задал два неизбежных вопроса. Первый — учит ли он еще отроков древней игре и что он думает о матче Спасского с Робертом Фишером. Этот драматический матч закончился несколько дней назад, и звание чемпиона мира, которое мы считали собственностью не меньше, чем кремлевскую стену, отправилось с Фишером за океан.

Мельхиоров молча смотрел на рюмки. Потом он наполнил свою, я — свою. Он выпил до дна, я отхлебнул. Затем он сказал:

— Да, я учу. Говорят, что тот, кто не может, тот учит. Учу этих розовых честолюбцев, мечтающих выиграть главную партию. Консультирую. Иногда тренирую. Даю сеансы. Поигрываю в турнирчиках. Пишу статейки о старых гроссмейстерах и новых идеях в защите дракона. Зарабатываю на завтрак, на ужин и даже на пристойный обед. Отбил местечко на пяточке. Стал частью шахматного пейзажа. Кроме того, со мной лучше не связываться. Язык мой остр, взгляд вездесущ.

Он осушил еще одну рюмку и посмотрел на меня с участием.

-- Перехожу ко второму вопросу. Ты, верно, оплакиваешь Бору Спасского, ты уязвлен, как патриот. Что делать, смири свою гордыню. Трезвость, мой мальчик, прежде всего. Я пью, не в пример тебе, но оцениваю и сужу о ситуации трезво. Наш чемпион был обречен. Плейбой не может играть с фанатиком. Спасский — жуир, бонвиван, красавец. А фанатик — потенциальный безумец. Нормальный жизнелюб тут бессилён. Скажу тебе больше: мне трудно понять, как Спасский с такими исходными свойствами стал даже гроссмейстером. Просто загадка. Как видно, уж слишком большой талант. Сильней генетического кода и биологической программы. Во всяком случае, рад за него. Он заработал приличные деньги. Насколько я знаю его характер, он не из тех, кто отдаст их державе.

— И все-таки вы могли стать гроссмейстером, — сказал я упрямо. — Могли, Учитель.

— Старая песня, — он отмахнулся. — Повторяю, у меня нет одержимости. И слава богу. Чем выше уровень, тем больше политики. Не выношу. Шахматы — это бомбоубежище, а не политический ринг. Шахматы — это укромный приют, в нем ты спасаешься от погони. В этом, возможно, их назначение. Но главное — жизнь на виду нестерпима. Я еще в юности сообразил: надо бежать сверкания люстр и сияния прожекторов. Не говоря уже о блеске, излучаемом медной группой оркестра. Нужно смотреть вперед, мой мальчик. Нет ничего грустнее старости некогда знаменитых актеров. Они не могут существовать без спроса на них, без аплодисментов. Но прежние зрители их забыли, а новым — неведомы их имена.

Я с чувством признал его правоту.

— Достойный повод, чтоб снова выпить, — сказал Мельхиоров. Он с изумлением видит печаль в моих очах. Поистине, от него не укроешься. Зрак его остр, а ум вездесущ.

Та настальгическая волна, которая на меня накатила, едва я увидел его рябины, теперь накрыла меня с головой. Горечь и хмель обожгли мою душу. Не узнавая себя самого, я начал стремительно исповедоваться.

Я рассказал ему о Богушевиче, о Рене, о том, что могло бы быть и не случилось, не стало явью. О гостях, которые появляются и покидают мое жилище. Какая-то пестрая карусель, а в сущности я один-одинешенек.

Но Мельхиоров не гладил по шерстке. Моя судьба его не растрогала. Он произнес с подчеркнутой жесткостью:

— Не жалуйся, каждому свое. Ты — Дон Иван, так носи свой крест. Все хорошо, ты в отличной форме. Боеготовность и боеспособность. Трудись. В должный срок ты сам почувствуешь, что число початых тобой дев перешло угрожающую отметку. Но до этого еще далеко.

Судьба Богушевича обожгла его.

— Я помню его, прекрасно помню. И Випера. С ними случилась беда. Они были веселы и легкомысленны. Качества редкие и счастливые. Однако их они тяготили. Богушевич изображал серьезность. Випер желал ему подражать. Они давили в себе первородное и прививали себе им не свойственное. Но это не приводит к добру. Даже если эксперимент удастся. Легкомысленным людям нельзя лезть в политику. Знаю по опыту моего тестя. Он считал себя политическим деятелем, был даже — представь себе — делегатом первого съезда Советов в семнадцатом. Сам услышал, что есть такая партия, но по своему легкомыслию не придавал этому факту значения. Почему и умер на Колыме. Бедный партизан Богушевич! Бедный печальник народного горя! Должно быть, в своей мордовской яме не может понять, почему население не встало стеной на его защиту. Есть легкомыслие, нету трезвости. Он — жертва распространенной болезни. Она называется — конфабуляция. Сиречь стремление выдать желаемое за действительное.

Злосчастный Борис! — вновь закручинился Мельхиоров. — Наверно, его городское сердце томили грубость и свинство власти. Но хозяин в сем обществе изначально должен быть крут и хамоват. Его суровость людей приручает, а неотесанность даже роднит. Всем ясно — он из нашего хлева! Без чувства родства вертикали не выстроишь. А вот сестра, как я понимаю, не в брата. Видать, серьезная женщина. Она — не из твоего альбома. Смирись. Ты еще встретишь ту, кого ты подсознательно ищешь.

Это суровое утешение совсем лишило меня равновесия. Кого я встречу? Я только теряю. Я рассказал ему про Ярмилу, про Яромира, про атомный взрыв, накрывший меня в этот дьявольский август. Я рассказал и про встречу с Випером на улице Йомас, про то, как я выслушал его громовые инвективы за то, что я пал с женой ренегата.

— Ах, Учитель, — вздохнул я, — если б вы ее видели!

— Я видел ее, — сказал Мельхиоров.

Я ошалел.

— Вас обоим я видел, — сказал он и снова наполнил рюмку.

Я пораженно смотрел на кудесника. Голос его обретал торжественность. Вот уж звучат знакомые трубы, предшествующие львиному рыку.

— Я видел вас. Я прошел в двух шагах. Ты возлежал на песке, как Катулл. Рядом с тобой покоилась Лесбия. Бесспорно грешная, но прельстительная. Ноги, струящиеся из шеи, такой же лебединой, как озеро, увековеченное Чайковским. Бронзовый языческий цвет жрицы солнца и жрицы страсти. Грудь ее заметно бугрилась от еле сдерживаемого желания. Не в силах умерить плотского жара, она касалась своей ступней, изгибом напоминавшей скрипку, твоей, напоминавшей лопату. Пупок ее был едва очевиден в отличие от моих рябин. Глаза ее были полуприкрыты, и я их толком не разглядел, но убежден, что они сочетали ярость тигрицы и вкрадчивость кошки. Нос был горд, а рот греховен и жгуч. Я сразу понял: ты — сын фортуны!

Сильная кисть! Не слабей, чем голос, рычащий в момент воодушевления. Но слова эти капали в свежую рану, словно расплавленное олово. И все же я не скрыл потрясения:

— Да вы же тайный эротоман!

— Явный! — отрубил Мельхиоров. — Хоть я и не был пригож собою и кавалерствен, как сей Белан, однако же за мой угол зрения и некоторую живость ума дамы вполне фертильного возраста охотно прощали мне мои впадины.

Не сомневаюсь, что так и было. Но как и все молодые люди, я с усилием представлял эти стати в человеке, перешагнувшем полвека. Даже юность таких пожилых людей кажется эротически пресной. С этим уж ничего не поделаешь. Каждая новая генерация с подъемом и гордостью переживает свои сексуальные достижения. Игры родителей, дедов и прадедов рисуются нам младенчески скромными. Приходят на ум знакомые строчки: «И предков скучны нам роскошные забавы. // Их добросовестный ребяческий разврат».

Но как для поэта скучны и ребячливы забавы предков, так и для нас скучна любовь его современников. Я помнил, что случилось с княжкою Мери, когда Печорин своими губами едва коснулся ее щеки. Бедняжка почти потеряла сознание. Стыдливое время, стыдливая проза! Я забывал, что той же рукой писаны «Юнкерские поэмы».

Мельхиоров естественно перешел к моей перепалке с неистовым Випером.

— В споре с подобным ригористом нужно точно отбирать аргументы. Они у тебя имелись, мой мальчик. Надо было ходить с козырей. Само собой, следовало начать с национальиой чешской традиции, воспетой еще незабвенным Гашеком. Тоже писатель не из последних. Он показал, что приспособляемость может достичь высот искусства, пародии, эффективной игры. Понятно, что люди бывают различны, хотя бы даже единый этнос навязывал общую философию. Да и время шлифует свои варианты и предлагает их людям на выбор. Гроссмейстер Филипп сидит себе смирно, гроссмейстер Пахман стал бунтарем. И все-таки Гашек знал, что писал. Но Яромир — не Ярослав. Писатель, так скажем, другого склада. И ты воздал ему по заслугам. Причем присущими тебе средствами. Таранный форвард не должен оправдываться, но стоило объяснить Сане Виперу, что скрежет его не имеет смысла. Именно ты поступил, как боец. Именно ты испортил отдых этому фурункулу Праги, этому жополизу власти, этому жирному комару (Мельхиоров еще раз свел счеты с инсектами). Ты посрамил этого квислинга. Ты и никто другой! Лето в Юрмале как продолжение пражской весны! За поверженную свободу слова ты поверг его жену на кровать. И, распятая на сладкой Голгофе, эта блудница на ней предала идеалы социализма — не помогли и братские танки.

Так возвышенно говорил Мельхиоров, и слова его полнили меня гордостью. Он проявил в моем личном сюжете его общественную основу, его социальное назначение. Я ощутил себя героем трагедии и чуть ли не субъектом истории. Мое возмущение подлым Холиком переросло в сакральную ненависть. Я произнес небольшой монолог, согретый ненормативной лексикой.

-- И эта вошь, — закончил я с жаром, — твердит, что исполняет свой долг!

-- Естественно, — кивнул Мельхиоров. — Вспомни старца Бернарда Шоу: «Когда идиот делает то, чего он стыдится, он всегда заявляет, что это — его долг».

-- Илларион Козьмич! — возразил я. — Ему неведомо чувство стыда. Он не идиот, а прохвост!

— Много общего, — сказал Мельхиоров, — прохвост чуть что прибегает к пафосу, и это ему не сходит с рук. Глупость есть свойство патетическое. В какой-то точке пересечения искренней и искусственной взвинченности глупец обретает черты проходимца, а тот становится мудаком. Что же касается стыда, то это понятие флукуативное, сиречь текучее, перетекающее — оно зависит от точки отсчета. Все относительно. Один гомосек, весьма изысканный и воспитанный, попав в незнакомое помещение, осведомился у своей приятельницы: не знаете, душенька, где тут сортир? Спросить у мужчин ему было стыдно. Возможно, и стервецу Яромиру пред кем-то стыдно. Очень возможно — пред юной женой. Или пред теми, кто мыслит и чувствует так же, как он.

-- Как бы то ни было, — пробормотал я, -- эта свинья увезла Ярмилу.

-- Смирись, сикамбр, — вздохнул Мельхиоров. — Смирись и пойми: пани Ярмила — это неутоленная жажда. Поэтому ты и впал в меланхолию. Если бы этот пражский придурок увез ее хоть неделей позже, ты бы простился с ней жизнерадостно, благодаря судьбу за подарок. Но нынче тебе еще хочется пить. Ну что же, ищи другой колодец. Так много единственных и неповторимых. Ищи и обрящешь. Твой путь тернист. Еще не раз и не два, мой мальчик, жены ближних твоих тебя пожелают. Иди и греши. Ни дня без ночи. Вперед, и помоги тебе Бог.

5

Июль семьдесят девятого года я горестно проводил в Москве. Худо, но возраст берет свое. Еще недавно в душной столице я находил очарование. Казалось, что летом она становится доступнее, в чем-то демократичней, чем в высокоградусный мороз. Естественно, эти живые краски вносили москвички — короткие платья, голые руки, голые ноги. Горячий воздух дышал соблазном.

На этот раз меня только злили урбанистические достоинства. Бессмысленно жарюсь на этой плите вместо того чтоб проснуться в Крыму, увидеть море до турецкого берега! Но так уж сложились мои обстоятельства.

Мой статус за последние годы повысился — я был нарасхват. Попасть ко мне считалось удачей. Наверно, я лучше других разобрался в судопроизводстве державы, в этом хороводе инструкций, которые, как ракушки к судну, лепились буквально к любому закону, с тем чтоб успешней его обесмыслить, уполовинить и обойти. Суть этой правовой системы была в перемене мест слагаемых, меняющей, однако, итог. Исключения становились правилом, правило, наоборот, исключением. Кроме того, иные коллеги хмуρο твердили, что мне присуща некая личная суггестивность, в переводе на русский — способность внушения, в переводе на житейскую речь — определенное обаяние, которое я-де пускаю в ход. Скорей всего, в этих лестных словах неволью сквозила досада соперников. Легче бубнить, что я — милашка, чем согласиться, что я наделен необходимыми дарованиями.

Профессиональные достижения не отразились на моей жизни, а если отразились, то внешне. Подобно многим я стал наконец моторизованным человеком, говоря проще, завел машину. С помощью сердобольных дам я внес в холостяцкое жильё некоторое тепло уюта — где коврик, где пуфик, где плотные шторы, прятавшие от холода ночи. Яркая желтая клеенка скрыла мой скучный кухонный стол, главное же, где только можно было, я понаставил всяких светильников. Я научился ими орудовать, как пианист клавиатурой, с тем чтобы они соответствовали настроению и состоянию духа. Я раздобыл электрокамин и в элегические часы посиживал в своем старом кресле, посматривая на красное пламя, едва озарявшее темную комнату. В голову лезли печальные мысли, но эта печаль была утешительной и будто умащивала душу. Эстетки, которые намекали, что креслу давно уже место на свалке, быстро смекнули, что мне — не в пример — легче и проще расстаться с ними.

Взрывчатая зыбкая жизнь, похоже, унялась, затвердела. Моя вулканическая страна явно показывала намерение застыть до нового извержения. Авось, оно случится нескоро.

Однажды зазвонил телефон. Я нипочем бы не смог объяснить, откуда я знал, а я это знал: тот самый звонок, которого ждешь.

Рена сказала:

— Борис вернулся.

Я даже не сразу разобрался, о чем она мне сейчас говорит, я просто вслушивался в ее голос. Он сам по себе и значил и весил больше, чем любые слова. Потом до меня дошел их смысл.

— Ну, поздравляю. Я страшно рад.

— Придешь?

— Сегодня же буду. До встречи.

До встречи с братом или сестрой? Ответить себе мне было непросто. Мы странно, не слишком понятно устроены. Чувствительны, жестоки, нелепы.

Богушевич стал суше, но и нервнее. Раньше он был, пожалуй, сдержанней. Может быть, больше следил за собою. Он представил мне сухопарую женщину, с очками на остром птичьем носу, с короткой стрижкой — Надежду Львовну. Это была его жена. Более года после колонии Борис жил в ссылке, в пыльном поселке — там-то их и свела судьба. Она была так же нервна, озабочена, но, видимо, немногоречива. Зато курила безостановочно — одна сигарета сменяла другую. В углу за столом сидел Саня Випер. Он сдержанно помахал мне рукой.

Но мне было трудно сосредоточиться на Випере, на Надежде Львовне и даже — покаюсь — на Богушевиче. Украдкой я все смотрел на Рену. Сердце мое болезненно ныло. Рена не просто стала старше на несколько лет, она постарела. В черных пушистых волосах были особенно заметны мелькавшие в них белые нити. И даже зеленый цвет ее глаз стал глуше, словно он потемнел. Но все это не имело значения. Передо мной стояла Рена, и этим все уже было сказано.

— Садись, — Богушевич пожал мою руку. — Рассказывай, как живешь-поживаешь.

— Все то же, — сказал я, — без важных событий.

Випер заметил не без яда:

— Все тот же. Некогда Бомарше распевал песенку о себе самом: «Все тот же он, дела его неплохи. Доволен он житьем-бытьем».

Я отозвался, немного помедлив:

— От параллелей с Бомарше грех отказываться, но не уверен, что я бы так о себе написал.

Випер сказал:

— Ты не так откровенен, а драматурги — открытые люди. Это связано с их публичной профессией.

Надежда Львовна, гася сигарету, проговорила:

— Все-таки странно, что автор «Свадьбы Фигаро» был таким гибким человеком.

— Потому он и был доволен жизнью, — сказал Випер, поглядывая на меня.

Богушевич угрюмо пробормотал:

— Гибкие выигрывают жизнь, прямолинейные — судьбу.

«Уж не о нас ли он говорит?» — подумал я, но не стал допытываться. Очень хотелось ему напомнить, что судьба проясняется, когда жизнь кончается. Но, разумеется, я промолчал.

Випер как будто меня услышал:

— Ну, что касается Бомарше, у него и судьба сложилась не худо. Был не последний комедиограф.

Богушевич сказал:

— Когда-то Саня страстно хотел написать комедию.

Я спросил:

— Отчего же не написал?

— Что-то сдерживало, — Випер вздохнул. — Хотя и не требовательность к себе.

Надежда Львовна негромко бросила:

— Видимо, вспомнил Лихтенберга. «Мы выведем немецкие характеры на сцене, а немецкие характеры закуют нас за это в кандалы».

Випер почему-то надулся и стал, как обычно, рассматривать стену.

Рена сказала:

— Грустные шутки.

Надежда Львовна пожала плечами:

— Ирония, говорят, спасительна.

— Я не большой ее поклонник, — сказал Богушевич со скрытой за-
пальчивостью. — Иронию любят пиротехники, а землекопы внедряются вглубь.
Я землю и копал и кайлил.

Я мысленно ему посочувствовал. Не скоро вернет он себе равновесие.

За ужином и после за чаем шел тот же судорожный, клочковатый, неуправляемый разговор. Випер прочел свои стихи. Сначала одни, потом другие. Но и на этом не остановился. Впрочем, он не часто имел и эту скромную аудиторию. Стихи были очень даже неплохи, но, как мне казалось, им сильно мешала старая виперовская болезнь — отсутствие должного покоя.

И для него последние годы прошли не бесследно — ему досталось. Конечно, не так, как Богушевичу. Когда он вернулся из Прибалтики, выяснилось, что о нем не забыли. Три месяца он провел «на работах». Тогда это называлось — «на химии». Но этим, в конце концов, обошлось. Он даже открыл в себе дарование, дремавшее со школьной скамьи, — стал хорошо чинить приемники. Не только чинить. Он их совершенствовал — пройдя его искусные руки, они лучше сопротивлялись глушению. Я заметил, что Випер таким манером борется за свободу слова. И добавил, что, наконец, диссидентство улучшает материальную базу — на Випера был немалый спрос.

Впрочем, стихи я тоже хвалил. Випер сказал, что это — впервые.

— Когда мы ходили в клуб к Мельхиорову и ты узнал, что я стихотвор-
ствую, ты предложил плоскую рифму: «Випер впал в поэтический триппер».
Думаешь, я это забыл?

Я миролюбиво покаялся:

— Не будь злопамятен, я был глуп. Теперь-то я понял, как ошибался.

Богушевич вздохнул:

— Где сейчас Мельхиоров?

— Здоров, — сказал я. — Мы перезваниваемся.

— Играет в турнирах?

— Почти не играет. Говорит, что политика обесчестила шахматы. Посягнула на главную их идею.

— Какую же?

— Идею укрытия.

Я нарочно сказал это Богушевичу. Цитируя нашего Мельхиорова, хотел воззвать к его здравому смыслу. При этом, не вступая в дискуссии.

Богушевич невесело усмехнулся:

— Береженого бог бережет, а небереженого конвой стережет.

Випер, естественно, прокомментировал мельхиоровские слова по-своему:

— Некоторая порция злости очерчивает индивидуальность.

Надежда Львовна слегка поморщилась:

— Это о Бунине можно сказать. Он, кстати, тоже коллег не жаловал. Что-то прочел, что ему не понравилось и записал в своем дневнике: «О Боже! За что ты оставил Россию?»

Похоже, что она поглотила печатное слово, почти как смолила — практически без интервалов.

— Это неправда, — сказала Рена, — Бог никогда нас не оставлял. Скорее, мы его предаем. Когда начинаем его делить. Растаскивать по народам и странам.

Что-то новое. Сам не пойму отчего, но эти слова меня растревожили. Куда-то снова ее швырнуло.

Перед тем как уйти, я успел улучшить полминутки и спросил:

— Все нормально?

Она взглянула не то удивленно, не то печально и бормотнула:

— Нормально уже никогда не будет.

— А ты довольна браком Бориса?

— Не знаю, — она повела плечом. — Она порядочна, образованна, кажется, предана ему. Не знаю. Оба они измучены.

«Ты больше их», — подумалось мне.

Я поцеловал ее в щеку и медленно зашагал домой. Нелегкий вечер. Но, бог с ним, с вечером — главное, Борис на свободе.

Что может быть радостней? И тем не менее столь утешительная мысль не исправила моего настроения. И встреча была невесела, а пуще всего свидание с Реной лишило меня равновесия духа. Меня преследовал этот взгляд, он стал еще большей и тревожной.

Неожиданно для себя самого я снял трубку и позвонил Мельхиорову.

— Что-то стряслось? — спросил Учитель.

— Вернулся Борис. Я от него.

— Как ты нашел его?

— Он женился.

— Это естественное последствие его передраг, — сказал Мельхиоров. И помолчав, со вздохом добавил: — О, счастье народное, много ты вешишь. Недаром народ от тебя уклоняется. И так уж кладь его велика. Но что до того народолюбцам? Все тащат этот камешек в гору.

— Грустно, Учитель. И скучно и грустно, — сказал я, дивясь себе самому.

— Уж не вспомнил ли ты пани Ярмилу? — спросил участливо Мельхиоров. — Не отрицаю, есть кого вспомнить. Женщина, созданная для страсти. Скажи мне, сынок, кем ныне ты полон, кто тешит тебя в часы досуга?

Я скорбно признался:

— Никем я не полон, ничто не тешит. И это тревожит.

— Я снова, выходит, попал в пересменку, — лирически вздохнул Мельхиоров.

Я сказал:

— Может, оно и к лучшему. Каждое новое знакомство связано с внезап-

ными взрывами — либо происходящими в мире, либо — в моей собственной жизни. Никак не пойму, что безопасней.

— Сикамбр, ты — мистик? Это приятно. Мистики — люди особого склада. Не буду скрывать — пусть это нескромно — и сам я не чужд такой констатации.

— Учитель, — спросил я, — что означает такая странная закономерность?

— Мистик не должен анализировать, — жестко произнес Мельхиоров, — мистик прислушивается к судьбе. Твоя удача или неудача — оценка зависит от взгляда на вещи — в том, что твоя психосфера сейсмична. Женщина — это тот сигнал, который тебе посылает почва, предупреждая о переменах и важных тектонических сдвигах. Но, может быть, не только сигнал. Возможно, что женщина — это твой щит. Приходит в предвиденье катастрофы и заслоняет тебя собой.

— Да, но она ее и притягивает.

— Такая двухполюсность тоже возможна. Важно лишь, какой полюс сильнее. Это как в шахматах — взрыв позиции может быть твоим шансом спастись.

Мы заговорили о шахматах. Я спросил, кто станет соперником Карпова.

— Соперником Карпова будет Каспаров, — уверенно изрек Мельхиоров. — Есть такой шустрый бакинский мальчик. Не завтра. Но каждый миг он усиливается. Да, Карпов могуч и ведаёт тайны, кроме того, он вошел в зрелость, читает позицию, как никто. Но в мальчике — адская музыкальность. Не только бесовское чувство ритма — он ощущает каждый мотив, который вдруг начинает звучать по ходу меняющейся обстановки. А музыка шахматной доски — я все внушал вам — особая музыка. Либо она в тебе отзывается и ты попадаешь в ее поток и не боишься ему довериться, либо ты глух и делаешь ход из здравых общих соображений. Но этого мало, трагически мало, чтобы извлечь из позиции корень. А в мальчике есть этот камертон, он резонирует непроизвольно. Ну и — само собой — Юг, кураж, молодость, колдовская молодость! Это не то, что твой собеседник, который превращается в пепел.

Я начал усиленно возражать:

— По-моему, вы — в отличной форме. А что касается тайны шахмат, то вы ее чувствуете лучше многих.

Мельхиоров покачал головой.

— «Отныне с рубежа на попроще гляжу и скромно кланяюсь прохожим», — продекламировал он печально. — Годы не проходят бесследно. Я больше умею, но меньше могу. Чертова старость! Она все ближе. Верхняя губа исчезает, словно уходит куда-то в песок, словно погружается в воду, словно всасывает ее злобно чвакающее болото. Не мне грустить о былой красоте, а все же анафемски это обидно! Ты помнишь, как жрали меня комары, я плакался о том тебе в Юрмале. Теперь они меня не едят, ушла из меня вся моя сладость. Что делать? Не зря говорят тинейджеры: мир — шар, а солнце — фонарь. Вот и все.

Так эпически говорил Мельхиоров, и я не знал, как утешить Учителя, вернуть ему боевой задор. Возможно, в том и был его умысел — слушая его скорбную речь, я вдруг забыл о своем нытье.

Утром следующего дня — солнце, впрочем, уже раскалилось — ко мне пришла журналистка З. Веская. Ее натравил на меня мой приятель, которому я не мог отказать.

Зоя Веская была долговяза, угловата, но весьма миловидна. Впрочем, девушке в двадцать три года от роду совсем несложно быть привлекательной. Ее напористость и решительность были много выше обычных кондиций. Ей занудилась моя консультация. Одна семья делила наследство. И — нужно ей отдать справедливость — оказалась незаурядным гадюшником. Зоя Веская точила перо, готовясь заклеить эту свору.

Я сказал, что история заурадная. При делении наследства звереют. Многие сохраняют достоинство. Особенно когда нет завещания. Но и оно не помеха разборкам. Я, разумеется, ей проясню, какие претензии справедливы, какие беспочвенны и бесплодны.

Она сказала, что дело не в этом. Права наследников ей — без разницы. Она бы хотела провентилировать принципиальную проблему. Эта история — только повод. В своей статье, даже в цикле статей, она собралась поставить вопрос об отмене института наследства.

Гром и молния! Я потерял равновесие. А вернув его, попросил разъяснений.

Зоя Веская, видимо, все продумала. Говорила она короткими фразами, заряженными порохом и энергией. При этом рукой рассекала воздух. Кажется, что она рубит головы тем, кто осмелился ей возразить. В желтых зрачках мерцал фанатизм.

Итак, институт наследства порочен. Оң мерзок и отвратителен всюду, но в социалистическом обществе он попросту смешон и нелеп. Общество, созданное в борьбе за социальную справедливость, узаконивает свое расслоение. Одни молодцы вступают в жизнь, имея автомобили и дачи, другие начинают с нуля. Такое неравенство нетерпимо. Стало быть, после смерти владельца его имущество переходит в полную собственность государства. В этом случае молодые люди будут на старте в равных условиях.

Оказывается, у наших правителей есть и еще одна оппозиция! Третья! И я о ней не догадывался. Она святее и папы римского, и генерального секретаря, и всей его закаленной компании. Святее Афиногена Рычкова, готового грызть чужие гортани за обожамый социализм. Полтинника не дам за того, кто покусится на дачку дочки, а также на все остальные цацки, которые ей однажды достанутся.

Но, если вдуматься, Зоя Веская бесспорно имеет свои резоны. То, что она сейчас изложила, это и есть социализм в чистом виде — здесь он освобожден от теоретической мути, дышит той самой могучей страстью, которая его породила, — бессонной испепеляющей завистью.

Я смотрел на нее почти с восхищением. В двадцать три года такая прыть! Неужто сама до всего доперла? Уж верно кто-то ее заводит. Так чей это социальный заказ?

Я спросил: Веская — ее псевдоним? Она страдальчески усмехнулась. Этот вопрос ей надоел. И кто бы выбрал такую вывеску? Во всяком случае, не она. Может быть, я имею в виду, что эта фамилия ей подходит? И это ей доводилось слышать.

Я сказал, что вряд ли ей стоит рассчитывать на публикацию этих мыслей. Конечно, дискуссия не возбраняется, однако должна же существовать какая-то правовая основа. Нельзя завещать? А просто дарить? Может она объяснить различие меж завещанием и подарком? В сущности, то, что она предлагает, есть конфискация имущества. За что? За какие же преступления? По приговору какого суда?

Она фыркнула: не опубликуют? Посмотрим. То, что вы говорите, возможно, убедительно для коллег-юристов. Но для меня это — казуистика. Главней всего — существо проблемы. И, если хотите, не так уж мне важно быть — в вашем понимании — правой. Я прежде всего хочу быть искренней.

Я улыбнулся. И в самом деле! Зачем быть правой, если можно быть Веской? Неукоснительной Зоей Веской! Дерзайте, дорогое дитя.

Когда социалистка ушла, я сознался себе, что она мне занята. Хочется надавать ей шлепков по голой попке — такое желание чревато известными последствиями.

Она явилась деньков через десять, торжественно протянула газету — статья ее была напечатана. Я согласился, что посрамлен, поздравил и пригласил

к столу, который накрыл к ее приходу. Нужно отметить такое событие. Мы с ходу выпили коньяку. Она, не умолкая, рассказывала о том, какой резонанс имеет ее сокрушительное творение («с одной стороны — восторг, с другой — злоба»). Я думал, кто же ей ворожит? Кому так важно посеять семя, грозящее опасными всходами? Я снова вспомнил шахматный клуб и четкие формулы Мельхиорова. Не тот ли здесь классический случай, когда угроза важнее исполнения?

Впрочем, не мое это дело. Мои интересы сейчас клубились в более важной и близкой мне сфере. Я выпил рюмку, Зоя — четыре. Она сказала, что стало душно. Я возразил: не душно, а жарко. И, как гостеприимный хозяин, заботливо предложил сбросить блузку. Зоины губки сложились в гримасу, высокомерную и ядовитую: само собой, ничего другого от вас я не могла ожидать. С презрительным вздохом она разделась.

Когда мы закончили наши игры, она сказала:

-- Не мните себя победителем.

Я заверил ее, что и в мыслях нет.

— Мне этого самой захотелось.

Я сказал, что это ей делает честь.

Оставшись один, я стал гадать, куда она от меня направилась. Должно быть, к какой-нибудь подружке. Сидит, покуривает сигарету и делится своим достижением: «Все состоялось довольно быстро». «Надеюсь, ты получила кайф?» — спрашивает ее наперсница. «Знаешь, он был совсем неплох».

Вычислить такой диалог было несложно. Труднее понять, с каким это трясением почвы связано явление Зои. Ясно, что тут есть вдохновители, подумывающие об экспроприации.

Я все-таки успел отхватить кусочек лета — на две недели мы съездили с Зоей к морю, в Гурзуф. Она была довольно мила, пока не заводила пластинки о социальном размежевании. Кто ж обучил ее этой музыке, кому она сейчас подпеваает? Она намекнула не слишком внятно, что есть молодые здоровые силы. Все это было весьма туманно, я только просек, что кремлевским старцам нужно держать ухо востро.

Бывало, что ее обличения обрушивались и на меня. Чаще всего такие приступы случались, когда она отдыхала после неумеренных ласк. Она разглядывала меня с каким-то пристальным интересом, походя давая оценку не то моей внешности, не то моим качествам.

При этом ее мало заботило, что я нахожусь в непосредственной близости — не только предмет, но еще очевидец и свидетель этой инвентаризации.

-- Да, — говорила она задумчиво, — Господь был на его стороне. От этого и точность пропорций. Взять рост. Такой, каким должен быть. Без нависающей долговязости. Узкобедрость подчеркивает мужественность, грудь внушительна, безволоса, бугриста. Ноги его длинные, мускулисты. У серых глаз серебристый отлив. Невелики они, но выразительны — смотрят холодно, нахально и нагло. Крылья носа отчетливы, ноздри очерчены и чувственны — точно так же, как губы. В подбородке читается беспощадность, если даже не скрытая жестокость. Медлителен. И во всей повадке — нечто ленивое и кошачье. Безусловно, он доволен собой.

Это последнее утверждение было откровенной натяжкой. Я не был доволен. И больше всего — тем, что она не давала уснуть. Моя естественная потребность отчего-то казалась ей оскорбительной. Растормошив меня, публицистка принималась за все те же исследования. Чудилось, что в своем тылу она обнаружила диверсанта.

-- Конечно, ты из этой породы, самоуверенный, самовлюбленный, умеющий зарабатывать денежки и покупать себе удовольствия. Ты можешь, конечно, все отрицать, но ты буржуазен во всех отношениях. Ты изначально недемократичен, ты чувствуешь себя выше других. Если у тебя будет сын, то имен-

но это самосознание внушишь ты и сыну, чтоб он понимал: есть он и другие. Другие ниже. Другим не положено того, что он имеет со дня рождения. Ты сделаешь все, чтоб он был таким же, как ты — сибаритом и обывателем. Что это? Кажется, ты засыпаешь?

Я отвечал, подавляя зевок:

— Ну что ты. Все слышу: рожу сибарита. И обывателя. Дай-то Бог.

Она вскидывалась, как от удара под зад:

— Не смей зевать! Не смей! Это хамство! Демонстрируешь, что ты заснул? Что ты снизошел? Прошу запомнить: я здесь потому, что мне так захотелось.

— Кто бы спорил?.. — бормотал я сквозь сон.

Нельзя сказать, что ее монологи очень уж сильно меня допекали. Да я и не придавал им значения. Мне уже пришлось убедиться, что новая Лаура Лафарг очень не прочь пошиковать и радостей жизни не отвергает. Большею частью я дремал, с трудом ловил отдельные фразы, дабы показать, что я ей внимаю, я не хотел ее обижать. Но прозвучавшие несколько раз сожаления о моем будущем сыне, которого я воспитаю плантатором, меня безусловно насторожили. Не хочет ли Зоя затяжелеть? Мне только этого не хватало! Я написал своему приятелю, чтоб он поскорей меня вызвал в Москву. В начале сентября мы вернулись.

Я сообщил ей, что сложное дело, которое так внезапно вторглось в нашу гурзуфскую сиесту, на некоторый срок разлучит нас. Как только я его расхлебаю, я сразу же ее извещу. Она удивилась, но воздержалась от выяснений и уточнений. Я был уверен — с ее-то норовом сама она паузы не прервет.

Осень прошла почти незаметно — моя клиентура лишь увеличивалась, и мне приходилось трудиться без продыха. Иной раз мне искренне представлялось, что вся страна — от Посьета до Кушки — только и делает, что сутяжничает. При этом — бессмысленно и бесплодно. Советский закон, что английский монарх — он представляет, но не правит. Мы с ним живем в занятом мире, он устоялся, он и подвижен. В нем все невозможно и все возможно. Создана цепкая система переливающихся сосудов — личных связей, взаимной выручки, сплетенных между собой интересов. Гражданский и Уголовный Кодексы не стоят и гривенника, если раздастся звонок из горкома или райкома. Либо из некоей грозной конторы. А тот, кто слишком много ораторствует про правовое государство, рискует однажды с ним познакомиться поближе и не в лучших условиях.

С Борисом я виделся несколько раз, но встречи были невнятные и короткие. Когда мы были наедине, казалось, что все приступаем к делу, но так и не соберемся с духом. Оказываясь среди людей, мы были как в оркестровой яме — вокруг настраивают инструменты, порхают в воздухе разные звуки, никак не сольются в один поток, что-то мешает им стать мелодией.

Мое колесо совершало круг, бесшумно я въехал на нем в декабрь, не предвещавший душевных гроз.

Однако в самый короткий день года раздался звонок. То была Зоя Веская. Голос ее звучал намешливо, но одновременно и требовательно.

-- Привет, Белан.

-- Ответный салют. Хочешь, должно быть, поздравить меня со столетием рождения Кобы?

-- Тебя — не хочу. Изволь объяснить, что означает это молчание? Принял монашество?

-- Вроде того.

После маленькой паузы она процедила:

-- Так. Чем это я не подошла?

-- Мировоззренческая нестыковка. По мне — ты слишком эгалитарна.

-- Так. Я давно тебя раскусила. Буржуазность не могла не сказаться.

Я согласился с этой гипотезой:

-- Видимо, так и есть. Сказалась. Боюсь, что ты станешь грабить награбленное.

Она сардонически рассмеялась.

-- Ты полагал, что ради тебя я откажусь от своих взглядов?

-- Даже и не мечтал, дорогая. Террор бесплоден, но так заманчив!

Она объявила с такою страстью, как будто приносила присягу:

— Еще не родился тот мужчина...

Я даже не дал ей договорить — заверил, что сразу же это понял. Естественно, принципы выше мужчин.

Зоя сказала не то с презрением, не то с угрозой:

-- Хорошо, что ты понял.

-- Что и говорить, моя прелесть. Будь счастлива, спасибо за все. Если я что-то тебе завещаю, не отказывайся в пользу державы.

— Прощайте, господин Кошелек. Вам больше нечем меня удивить.

Она с проклятьем бросила трубку. Может быть, даже ее сломала.

Намек на мою платежеспособность меня не особенно уязвил. Не скрою, я ощутил чувство легкости. Прощай! Надеюсь, что в час испытаний тебя поддержат и подопрут здоровые молодые силы. Надеюсь, однажды они погорят. Во всяком случае, очень хотелось бы.

Я вспомнил диалог с Мельхиоровым — вторжение женщины в мой быт всегда предвестие неких событий. Пусть даже встреча с пани Ярмилой. Когда я пылал в дюнах под Ригой, горели торфяники под Москвой, а Випер метался, ища убежища. Несколько дней я себя успокаивал — трезвые люди не суеверны — и все же позвонил Богушевичам.

Трубку взяла далекая Рена. Голос ее долетал до меня не из другого района Москвы, а из космического пространства. Я сказал: этот год вернул ей брата, и восьмидесятый будет спокойней.

— Ты, Господи, веси, — вздохнула Рена.

Мне показалось, тут есть подтекст. Но я не стал до него докапываться. Спросил только, с кем она будет встречать.

— С Борисом, с Надеждой — и только. Непразднично. Я тоже тебе желаю, Вадим, самого лучшего. Хоть и не знаю, что это значит на самом деле. Счастья? Его, наверное, нет. Удачи? Она у тебя уже есть. Желаю, чтоб не было новостей.

-- Немного, — подумал я про себя. Англосаксонский вариант. «Нет новостей — хорошие новости». Возможно, что так в их устойчивом обществе. Мне все-таки хотелось бы большего. Особенно когда молодость кончилась. Четвертый десяток — страшное дело! Но счастья нет, есть только удача. Чего же хотеть, коль она — с тобой? Но вот — со мной ли? Ты, Господи, веси.

Впрочем, еще через два денька я убедился, что Мельхиоров не ошибается по определению. Стоит лишь прорезаться женщине, и возникает катаклизм. Наши Вооруженные Силы вошли в сопредельный Афганистан.

Ну что так неймется нашим песочникам? Тоже ведь имеют детей. Но это вряд ли на них влияет. Эти один к одному. На подбор. Глупо звывать к их родительским чувствам. Тут я подумал, что Новый год мне предстоит встречать у отца, и окончательно приуныл. Не избежать политических диспутов.

Впрочем, на сей раз почти обошлось. Разумеется, отец растревожился: не рассориться бы со свободным миром... Но Вера Антоновна нас заверила, что разрядке нету альтернативы. На чем проблема была исчерпана. Выяснилось, что существует другая, более важная и волнующая.

Павел Антонович вновь пытался разжечь своими сырыми дровишками очередной семейный очаг. Но дама, для этого предназначенная, динамила его беспардонно, то мямлила что-то нечленораздельное, то по-русалочьи хохотала. Сулила встретить с ним Новый год, но неожиданно уклонилась. Вера

Антоновна возмущалась, да и отец осуждал кокетку. Я-то ее хорошо понимал, но все же советовал претенденту не отступать, проявить характер.

— Поверьте, однажды она убедится, что легче отдаться вам, чем втолковать, что ей не очень этого хочется.

Павел Антонович забурлил.

— Как вы надменны... какая желчь...

— Он не хотел тебя обидеть, — поспешно вмешалась Вера Антоновна.

— Нет, добрая сестра, он хотел. Мне надо было прийти в д р у г о р я д ь.

— Ах, Павел, — мягко сказал отец. — Когда вы привыкнете к его юмору?

— Я не позволю себе привыкать к тому, что ваш сын считает юмором, — гордо ответил Павел Антонович.

— Слова вам не скажи, — повздыхал я. — Горец какой-то... Чуть что — за кинжал. Наверно, вы просто ее запугали.

Он еще долго бурлил и булькал, но после пятой рюмки унялся. Мы выпили за его успех. Я сказал, что нисколько не сомневаюсь в том, что ветреница обречена и скоро он примет капитуляцию. Павел Антонович вздохнул озабоченно:

— Все зависит от моего здоровья.

Я понял, что любовная тема идет на коду, мощно вступает тема желудочно-кишечного тракта, и начал прощаться. Спокойной ночи! До новой встречи в новом году.

Я ехал мимо витрин магазинов, мимо опустевших контор, мимо знакомого кинотеатра. Непостижимое темное небо с яркими золотистыми крапинками висело над уснувшей Москвой. Казалось, что над столицей — вверх дном — плывет перевернутый океан, горят электрические медузы и нежно посверкивают актинии. Мелькали одинокие путники и тихо щебетавшие парочки, возвращавшиеся в свои постели. Неслись заштрихованные клетчатым поясом, призывно подмигивающие зеленоглазики. Мы жили уже в восьмидесятом.

Каким он будет? На всякий случай я дал себе слово — в который раз! — жить трезво и не читать самиздата. Равно как официальных изданий. Гребовать даже программой «Время». И пусть исторический процесс обгонит меня, как ночной автобус.

Я вспомнил, как любил Мельхиоров ссылаться на одного инженера, который последовательно отвергал любые заманчивые предложения. Известно было, какой он дока, за ним гонялись, но все напрасно. Нет, нет, с завода он не уйдет. У малого была своя заповедь: «Ни шагу вперед! Держись за трубу». Рассказывая о нем, Мельхиоров теплел лицом и все повторял: «Вадим Белан, держись за трубу».

И тут я словно увидел Рену. И словно услышал подавленный вздох: «Ты, Господи, веси». Что бы он значил?

Я верно почувствовал, что на доньшке предновогоднего диалога таились несказанные слова. В конце января она позвонила.

— Приди попрощаться. Они уезжают.

Видимо, я не сразу врубился.

— Прости, я не понял — кто и куда?

— Борис и Надя. Совсем. В Германию.

Выяснилось, что все это время на них оказывалось давление. В конце концов попросту предложили уехать подобра-поздорову. Предложение было не из тех, что можно принять или не принять.

Вечером я отправился к ним. В двух комнатах беспокойно томились какие-то незнакомые люди. Кроме Рены, простуженного Випера и Рымаря, я не знал никого. Борис был вздернут, взвинчен, растерян, все рассказывал, как нынче полдня его продержали на таможне. Надежда курила, по обыкновению, одну сигарету за другой, то и дело большим носовым платком протирала стекла своих очков. Клювик ее совсем заострился.

Люди входили и уходили. Я с любопытством на них поглядывал. Мне чудилось, что на каждом из них есть какое-то общее тавро, по нему они узнают друг друга. Внезапно в моей голове, как спичка, чиркнула странная мутная мысль: «Имеет ли кто-нибудь здесь отношение к Московской Чека?» — видеть, в моей памяти застрял тот телефонный звонок и то, с каким специфическим шиком представился мне тогда Бесфамильный. Я даже поймал себя на том, что я почти машинально принимаю — не донесется ли запах шипра, бесстыдный, как запах резины.

Я видел, что разговор не вяжется. Необязательные слова — одно к другому не притиралось. Фразы не склеивались меж собою, взлетали, на миг повисали в воздухе и тут же растворялись бесследно. Один Рымарь вел себя молодцом, пытался хоть как-то поднять настроение.

Он вспомнил, что, когда Федора Тютчева вдруг отозвали из Германии — тот служил по дипломатической части, — поэт на родине затосковал. Как раз в то время Жоржа Дантеса после его роковой дуэли выслали за пределы России. Тютчев сказал своим друзьям: пойду-ка я и убью Жуковского.

Випер громогласно чихнул и авторитетно добавил:

-- Неглупые люди давно уже поняли: весь мир — твой дом. Боккаччо писал, когда его выгнали из Флоренции, что мудрецу вся земля — отечество.

Богушевич поморщился и вздохнул:

-- Утешительный набор для изгоев. Должно быть, и Данте тем утешался, а тысячелетием раньше — Овидий. Но я не поэт. Не мудрец, тем более.

Рена ходила из комнаты в кухню, из кухни в комнату — все приносила какую-то снедь.

Она подошла ко мне:

-- Поешь хоть что-нибудь. Ты, верно, голоден.

Випер кивнул:

-- Он спал с лица.

Я посмотрел на него с удивлением. Его словно тянет меня укусить.

— Не хочется, — признался я Рене. — Что-то мне нынче не по себе.

-- Ну почему я должна уезжать? — внезапно спросила Надежда Львовна.

Все неожиданно замолчали. Богушевич холодно усмехнулся:

-- Ну что ж, мы — ритуальный народ. Помолчим. Из коллекции ритуалов советским людям легче всего дается как раз минута молчания. Она затягивается на всю жизнь.

-- Мы уже не советские люди, — резко сказала его жена.

--- Советские, — сказал Богушевич. — Мы были ими и здесь и в зоне. В Германии тоже ими останемся. Эта прививка неизлечима.

Я подошел к супругам с рюмкой, все еще на три четверти полной.

— Дай бог вам удачи, — сказал я с чувством. — Рена считает, что счастья нет, однако удача нет-нет и случается. Удачи. Я верю, что мы увидимся.

Випер полемически высморкался:

— Советские люди всегда оптимисты.

Я снова на него покосился. Только завидит меня — и взвизгивается. Я действую на него возбуждающе. Почти как на гордого Павла Антоновича. Надежда Львовна пробормотала:

--- Ну что ж, в связи с новой германской реальностью уместно вспомнить немецкого классика: «Нынче жребий выпал Трое, завтра выпадет другим».

«Кого она имеет в виду?» — подумал я и начал прощаться.

Рена спросила:

— Уже собрался?

-- Пока Випер не заразил своим насморком. Что-то я не в своей тарелке.

В прихожей она сказала:

— Ну, с Богом. Ты выглядишь и вправду усталым. Они улетают завтра в одиннадцать. Приедешь в аэропорт?

— Я надеюсь.

Я возвращался с тяжелой душой. Випер не прав — оптимистом я не был. И я не верил своим словам — я знал, что не увижу Бориса. В сущности, он летит на тот свет.

Впрочем, и нынче я побывал в мире ином. За один лишь вечер столько незнакомых людей. Как будто я оказался в театре. Снова повеяло запахом шипра, и я непроизвольно поежился.

Я не поехал в аэропорт — нездоровилось, да и до меня ли им там? Ближе к вечеру позвонила Рена.

— Что-нибудь произошло? Тебя не было.

— Ничего. Просто чувствую себя скверно.

— Я так и подумала. Сейчас я приеду.

Когда через полчаса Рена вошла, я колдовал над нехитрым ужином. Но Рена сказала, что есть не будет.

— Ты вчера отказался, а я сегодня. Догоняю. Так что с тобою? Хандришь?

— Расклеился, — сказал я ворчливо.

— Может быть, вызвать к тебе врача?

— Потерпим. Возможно, я обойдусь.

Она оглядела мое жилье и нахмурилась.

— Трудно жить одному?

— Как-то справляюсь. Привык, должно быть.

— Дамы могли бы и позаботиться.

Я посмотрел на нее с удивлением. Впервые она заговорила на эту деликатную тему. Забралась с ногами в отцовское кресло, прикрыла ладонями глаза.

Выдержав паузу, я осведомился:

— Как там все было?

— Лучше не спрашивай. Просто бессмысленная возня. Все вышло как-то дерганно, скомканно. Надежда твердила одно и то же: «Ну почему я должна уезжать?». Борис нервничал, задирает таможенников. Мы не успели толком проститься. Саня все время давал советы — вот уж не его это дело. Слава Рымарь старался шутить. Пушкин-де еще говорил: «За морем житье не худо».

— Пушкина туда не пустили.

— Что же, Борис заплатил свою цену за эту свободу передвижения. Но — без обратного билета. Односторонняя свобода.

Я осторожно сказал:

— Все наладится.

Она вздохнула:

— Кому это ведомо? Как они там приживутся в бюргерстве? Как они уживутся друг с другом? Чужбина должна бы сплачивать семьи, но слышно, что чаще она — разбивает.

— Думаю, не тот это случай.

— Дай Бог, — сказала она, — дай Бог.

Потом негромко проговорила:

— Ну вот, опять вокруг — никого.

— Это не так, — пробормотал я. — Тебе известно, что это не так.

Она ничего мне не ответила. Ни возразила, ни согласилась. Потом усмехнулась:

— Знаешь, Вадим — Випер сделал мне предложение.

Я был ошарашен. Потом прозрел. Вот почему он так задирался. Возможно, тут и старые счеты. Могла ведь и мудрая Арина что-то ляпнуть самоутверждения ради. Если это имело место, то он еще неплохо держался. Все же я ворчливо заметил:

— Мало тебе своих собственных бед.

-- Чужие беды меня не пугают, — сказала Рена. — Дело не в том. Из этого ничего бы не вышло. Поэтам нужно, чтоб их любили.

— «Поэтам нужно»...

-- Вадим, он поэт. Наш Саня талантлив. А это — редкость.

-- Не знаю, — сказал я. — Может быть. Легче встретить талантливого, чем умного. «Поэтам нужно, чтоб их любили». Скажите, пожалуйста... Мне тоже нужно.

Я был раздражен и не мог это скрыть. Она улыбнулась:

-- Ты ошибаешься. Быть любимым — достаточно обременительно.

Эти слова меня смугили. Я неуверенно пробурчал:

-- Мне лучше знать, что мне — не в подъем.

Она сказала:

-- Випер решил, что ты потому не пришел в Шереметьево, чтобы не попасть на заметку.

Я возмущился:

-- Вот это уж свинство!

Она не спеша осветила меня своими зелеными глазами. Когда-то давным-давно я шутил, что она удивительно напоминает ночное такси — зеленый глазок сигнализирует: я свободно. Но сколько бы ты его ни призывал, оно неуклонно проносится мимо.

-- Я сказала ему: ничего не требуй. Ни от кого и никогда. Пусть каждый живет так, как он хочет.

Я был задет и не мог это скрыть.

-- Благодарю за такую защиту. Что до меня, я иду еще дальше: никто не обязан мне делать добро, пусть хотя бы не делает зла. Кстати, коль речь зашла о Борисе — все, кого это интересует, знают о наших с ним отношениях...

Рена подергала меня за ухо:

-- Не сердись. Такая жизнь вокруг. Дурь, неприличие, бесовщина. Какие темы она подбрасывает...

Я чувствовал — что-то осталось несказанным. Помедлив, я взял ее руку в свою.

-- Спасибо, что ты меня принимаешь таким, каков я рожден на свет. Мученик из меня никакой. К мученичеству надо иметь необходимую предрасположенность. Я не уверен, что человек звучит гордо. Сам я так не звучу. Знаю, что не создан для счастья, как пташка божия для полета. Наоборот, обречен барахтаться в месиве, где все мне враждебно — микробы, вирусы, зной и стужа, все социальные негодяйства, все человеческие пороки — зависть, суесловие, злоба, бездарность, честолюбие, тупость — могу перечислять до утра. И, вопреки всей этой агрессии, я должен как-нибудь уцелеть. Так просто сдаваться я не намерен. Не хочется своими несчастьями радовать и веселить проходимцев. Моя задача и сверхзадача не поразят воображения — загнуться, по возможности, позже, в с в о е й постели, а не на плешках — как говорит Борис — не на нарах. Можешь на мне поставить крест.

Она легко провела ладонью сначала по моим волосам, потом — по моей щеке.

-- Успокойся. Мы условились — пусть каждый живет так, как он может и как он хочет. Поздно, Вадим. Пора домой. Хоть и страшненько — за несколько месяцев привыкла, что я не одна в квартире. К хорошему привыкаешь быстро.

Я обнял ее и сказал:

-- Ну вот что. Я никуда тебя не пушу.

Она не стала освобождаться, лишь проронила со странной усмешкой:

-- Ты нездоров. Тебе надо заснуть.

-- Прекрасно ты знаешь, что я не засну.

-- Послушай, — в глазах ее появился знакомый мне драматический от-

свет, — следует все-таки объясниться. То, что нас сильно тянет друг к другу, это еще не последняя правда.

— Нет, это и есть конечная правда, — сказал я, — а все прочее — чушь.

Она упрямо мотнула головкой.

— Есть правда, которая в нас и с нами, есть правда, которая выше нас. Она-то и решает судьбу. Не спорь и доверься мне. Кроме всего, родство со мной — не лучший подарок.

Слово «родство» могло отрезвить, но я продолжал, понимая, что втягиваюсь в очень опасную игру:

— Я ведь и сам способен думать.

— Женщина думает за двоих.

Все же она у меня осталась. Я понимал, что она права, но я не мог ее отпустить. Однако я понимал и то, что не дало ей шагнуть за порог. Вернуться сегодня в свое жилище было выше даже ее возможностей.

Я знал, что ее мне не удержать. Я знал это каждое мгновение, отбитое у ночи, у мира, отвоеванное и остановленное. Знал и не мог ничего с этим сделать, хотя все и было так бесконечно, так переполнено, так подробно и вдруг — так грозно и оглушительно, и вновь — так нежно, отец и мать не знают, что есть такая нежность, все заново — весь путь до исхода, пока я не понял, что то была первая женщина в моей жизни.

А когда утром она ушла, я понял и то, что значит разлука, не та, что приходит, потом уходит, растаскивается в грошовых куплетах, а та, долетевшая из старины, николаевская, бессрочная, вечная — рекрута взяли на царскую службу, на злую кавказскую войну, с которой ему домой не вернуться. Казалось, что не Борис Богушевич, что я это, я, уехал в Неметчину, в другую страну, в чужую чужбину, где буду я жить один-одинешенек.

6

В февральский день восемьдесят четвертого, расположившись у телевизора, смотрел я, как хоронили Андропова. Один за другим сменяли друг друга люди в почетном карауле. Лица их омрачала скорбь, но была она не высокой, не божеской, а нервной, суетной, напряженной, связанной с мыслями об их будущем. Эти заботы, вполне очевидные, мешали им разделить печаль осиротевшего семейства. Впрочем, должно быть, их донимал горький вопрос: так кто же следующий?

Среди ветеранских лиц я заметил каменные скульптуры Рычкова. Афиноген изменился заметно. Плешь его стала еще внушительней, а шея сморщилась в старческих складках. Но взгляд был, как прежде, грозен, страстен и выражал непримиримость.

Мысленно не раз и не два я возвращался к этому дню. Вот уже март пришел в Москву, в студеном воздухе я улавливал робкие весенние всхлипы, а все еще спрашивал себя: как будет связано это событие, вдруг передавшее страну в руки неизвестного канцеляриста, с обстоятельствами моей частной жизни? Слова Мельхиорова о сейсмографе, который торчит где-то во мне и время от времени подает приватный сигнал, не шли из ума.

Наше семейство все-таки дожило до исторического дня. Прекрасная Дама Павла Антоновича рухнула и ответила: да. Зря он на меня обижался, все вышло так, как я и предсказывал — она устала его отшивать. Вера Антоновна ликовала — двое благородных людей с их рафинированной интеллигентностью, к тому же, созданные друг для друга, соединились в конце концов.

Я засвидетельствовал свою радость — все же ее проняла его верность и образцовая московская речь. На самом же деле я понимал, что неприступное сердце дамы не столько прозрело, сколько смирилось. Но трезвый взгляд тут

был неуместен, да и отец был очень доволен — возможно, оттого, что визиты Павла Антоновича сократятся. Не было никакого резона делиться своими соображениями.

С невестой я свел знакомство на свадьбе. Это была осенняя астра с внутренним миром и диатезом. Волоокая, с правильными чертами круглого кукольного лица. Она, безусловно, могла рассчитывать на более завидный подарок, чем младший брат старшей сестры. Скорее всего, она слишком резко обнаруживала свои претензии. В итоге никого не осталось, кроме настойчивого зануды.

Напротив меня сидел пожилой серебряноголовый мужчина с большими развесистыми ушами, похожими на два спущенных паруса. Он беспрерывно мне улыбался. На всякий случай я отвечал ему такими же теплыми ухмылками. Он был гостем со стороны невесты, звали его Рубеном Ервандовичем. По предложению Павла Антоновича его и выбрали тамадой. Тосты следовали один за другим.

Настал мой черед, и обладатель поникших парусов дал мне слово. Я с грустью подумал о Мельхиорове — уж он бы сказал эталонный спич. Стараясь ни разу не усмехнуться, я произнес похвалу терпению. Оно и явилось тем белым конем, на котором (если быть точным — в котором) наш Одиссей (то есть Павел Антонович) въехал в Трою (сиречь — в семейную жизнь). Малодушные люди давно бы признали, что им орешек не по зубам. Но не таков наш Павел Антонович. Не отчаиваясь, с кротовым упорством, он прогрызал свой путь к твердыне. Его выдающиеся достоинства, скрытые до поры до времени, пробились и стали всем очевидны. Прежде всего — Розалии Карловне (именно так звали невесту). Бессмертные пушкинские строки о рыцаре бедном, в том нет сомнения, относятся и к Павлу Антоновичу. Однако на этот раз «свет небес, святая Роза» к нему снизошла. Счастливый исход увенчал его преданность.

Павел Антонович, как обычно, принял мои хвалы без восторга. Его пухлое щековое лицо хранило кислое выражение, глаза затравленного оленя были обращены к сестре, как будто просили ее защиты. Розалия Карловна мне внимала со смутной, еле тлевшей улыбкой. Зато тамада Рубен Ервандович слушал меня с энтузиазмом. От удовольствия он раздумялся и даже его паруса стали алыми.

После того как я закончил, он подытожил мое выступление, сказав, что мудрец никогда не торопится, и эта неспешность Павла Антоновича есть проявление его мудрости. (В другой обстановке я бы напомнил, что не спешила Розалия Карловна, но тут я предпочел промолчать.)

— Нужно уметь беззаветно ждать, — с чувством подтвердил мой отец.

— Мысль понятна, — сказала Вера Антоновна, — но, смею думать, у Павла Антоновича, помимо верности и терпения, есть и другие прекрасные качества.

Все хором, перебивая друг друга, заголосили, что эти качества давно уже пользуются признанием и, если начать их перечислять, просто не хватит ни слов, ни времени. Павел Антонович успокоился и одарил меня скорбным взглядом, в котором нетрудно было прочесть, что человека его калибра можно обидеть, но не принизить.

Немного позднее, улучив минутку, наш тамада подсел ко мне. Он сообщил, что давно меня знает. Сам он — одно из ответственных лиц в правлении Музыкального фонда. Так вышло, что несколько лет назад мы встретились в арбитражном суде — моя «превосходная аргументация» произвела на него впечатление. Да и впоследствии он не однажды выслушивал о моей особе самые лестные слова — таких цивилистов раз-два и обчелся.

Я сразу смекнул, что не зря он так щедр на эти цветистые периоды. И в самом деле, четвертый период начался с изложения просьбы. У Рубена Ер-

вандовича есть знакомая, очень известная скрипачка, не помогу ли я ей консультацией? Понятно, что после его восхвалений я с легкостью дал свое согласие, а заодно и телефон. Денька через два позвонила скрипачка, назвавшаяся Сирануш Бержерян (я в самом деле слышал ее имя) и пригласила меня на обед.

И вот я очутился в квартире, не только увешанной, но и заставленной ориентальными коврами. Они закрывали собою пол, они украшали собою стены и даже — вместительную тахту, занимавшую половину гостиной. Кажется, только обеденный стол обошелся без такого покрова, зато он был густо уставлен блюдами. Все они были, подобно коврам, сугубо восточного происхождения. Мне были сообщены их названия, но я не сумел удержать их в памяти. Кроме известного мне сациви, запомнил лишь сказочную долму и чечевичную похлебку, которую принесли на первое. Она была беспримерно вкусна. Я наконец-то уразумел, что за подобное объедение можно продать свое первородство.

Меня принимали две брюнетки — хозяйка Сирануш Бержерян и ее родственница — бакинка, гостившая у нее в это время. Надо сказать, кроме цвета волос и, разумеется, их родства, меж ними было не много общего. К тому же в яростно черной копне над мраморным лобиком Сирануш нежно белела снежная прядка, настолько эффектная, что мне подумалось об ее искусственном возникновении. Подстать этой прядке была ее кожа, вполне алебастровой белизны, носик был остренький, продолговатый, но поразительно симпатичный, ресницы — неимоверной длины, они почти закрывали глаза, взиравшие с истомой и негой. Фигурка была почти невесома, и чудилось, что она вся струится. Поистине — ручеек в алом платье, и голос журчал, как ручеек. Если б я должен был определить двумя словами свое ощущение, я выбрал бы — прохладу и влагу.

Напротив, родственница и гостья была высокой и крупнотелой, смуглой, как апшеронская ночь. Черные пятна глаз, как у панды, обильные бедра, полные ноги — Брунгильда, но в закавказской версии. Имя не слишком ей подходило — детское, девичье, хрупкое — Асмик.

Мы выпили за наше знакомство, о деле хозяйка не заговорила. Она казалась немногоречивой, предпочитала слову улыбку с непреодоленным подтекстом. Впрочем, ей говорить и не требовалось — тропическая красавица Асмик не замолкала ни на минуту. Вулкан, клокотавший в ней, был громозвучен — я мысленно спрашивал себя: не собрались ли под окнами люди? Даже когда под просительным взглядом томной загадочной Сирануш Асмик понижала свой голос, ее старательное пиано запросто могло бы поспорить с фортиссимо духового оркестра.

С необычайным воодушевлением она излагала, как проходила бакинская гастроль Сирануш.

-- Вай, это было что-то немислимое! Вся филармония чуть не рухнула. Люди находились в экстазе. Сирануш сыграла на бис «Муки любви», они помешались. Я думала, ее разорвут. Она — на сцене, стоит, как овечка, в белом платье, у ног — толпа. Что-то ревет, чего-то требует. Все в ее власти — скажи она слово, пойдут босиком по острым камням. Один ко мне подошел и крикнул: твоя двоюродная сестра может просить у меня все, что хочет. Я говорю ему: ей не надо. Ей уже Бог дал все с избытком. На следующий день у нас дома мы устроили обед в ее честь. Мой друг Лятиф сам готовил плов, клянусь мамой — никому не доверил. Такого плова никто не сделает (Сирануш авторитетно кивнула). Приехал еще на своей машине его ближайший товарищ Панах. Этот Панах — красавец, лезгин. И очень был хорошо одет — рубашка кремовая, брюки серые, носки такие оригинальные. Еще он с собой привез Менашира.

Я осведомился:

-- Тоже лезгин?

-- Нет, тот был тат, — сказала Асмик. — У нас в Баку все перемешалось. Мой Лятиф из Евлаха, азербайджанец. Панах — лезгин, Менашир — тат. Такой это город — какой-то ерш, так, кажется, говорят алкоголики. Мы тоже выпили в честь Сирануш. Вижу, Панах на нее смотрит. Не просто смотрит, а душно смотрит. Она, моя птичка, не знает, что делать, сидит — не дышит, глядит, как ангел. А этот лезгин в нее впился глазами, пожирает, словно голодный тигр. Мамой клянусь, такое пламя идет от него, нам всем стало жарко. И с каждой минутой он распалется все больше и больше, какой-то ужас! (Сирануш подтвердила это кивком.) Вай! Оглянуться я не успела, они ее вытащили во двор и начали вталкивать в машину. Сирануш зовет меня: «Асмик, спасай!». Я кричу: «Отпусти ее, проходимец!». Лятиф кричит: «Панах, ты мой гость!». Панах кричит: «Лятиф, клянусь честью, доставлю в целости, будет довольна!». (Сирануш серебряно рассмеялась.) Менашир кричит: «Не хватайся за руль! Всех раздавим!». Я кричу: «Сирануш! Теперь видишь, среди каких ишаков я живу?!». Едва-едва мы ее отстояли. Потом Лятиф мне устроил скандал, он из Евлаха, там все ненормальные. «Ты моих гостей назвала ишаками!» Я говорю: «Ишаки и есть. Даже за женщиной не поухаживали, сразу тащат ее в машину». Он мне на это отвечает, не отвечает, а рычит: «Каждый ухаживает по-своему». Вай! Что было! Он так взбесился, прямо на мне изорвал мою блузку, парень такой оригинальный... (Сирануш кивком согласилась с кузиной.) Тут я ему такое сказала... там была минута молчания.

Она вела свой рассказ вдохновенно, и было понятно, как все ей мило — и этот женский триумф Сирануш, и плов, который готовил Лятиф, друг сердца из пламенного Евлаха, и тат Менашир, и лезгин Панах, этот красавец и проходимец с оригинальными носками, пришедший в полную невменяемость. И даже то, что юный любовник порвал на ней блузку, ей тоже нравилось — все это было ее привычной, знойной, горластой бакинской жизнью, которая — кто бы это сказал — была в те дни уже на излете.

— Все хорошо, — сказал я лояльно, — что кончается хорошо.

-- Это кончилось, но не сразу, — с глубоким вздохом сказала Асмик. — У нас есть общий двоюродный брат. Он живет в Армении, в Ленинакане. Его зовут Гриша Амбарцумович. Он запылал, когда это услышал.

Такое занятное сочетание уменьшительного имени с отчеством я воспринял сперва как шутку Асмик, но она объяснила мне, что в Армении такая форма давно узаконена.

-- И что же сделал двоюродный брат?

-- Что он мог сделать — страшно подумать. У него есть близкий друг Аvasетик, мастер спорта и чемпион по штанге. Они клялись, что приедут в Баку, чтоб рассчитаться за честь сестры.

-- Но честь, как я понял, не пострадала?

Сирануш загадочно усмехнулась.

— Допустим. Но Гриша Амбарцумович смотрит со своей колокольни, — голос скрипачки звучал, как флейта. — Достаточно, что меня коснулись. Это не человек, а порох!

-- Если бы вы его увидели! — Асмик даже воздела к небу полные мучнистые длани. — Красавец! Талия, как у девушки. Размер ноги у него тридцать восемь.

Я сказал:

-- Интересно было б взглянуть.

Сирануш бархатно улыбнулась и благосклонно пообещала:

— Когда он появится в Москве, я вас обязательно познакомлю.

Финальный аккорд, венец застолья! — пышная Асмик сварила нам кофе, а Сирануш принесла бананы (они были редкостью в Москве) и крутобокие

гранаты. Отхлебывая из фарфоровой чашечки огненное густое зелье, она ввела меня в суть проблемы.

Из Лондона ей привезли концерт (не то Сибелиуса, не то Бриттена — я сразу забыл, окрестив для себя автора сонаты Бретелиусом по ассоциации с бретелькой — у каждого из нас свои образы). Она сделала собственную редакцию, которую и вручила однажды по легкомыслию и легковерию одному предприимчивому коллеге. Спустя довольно солидный срок этот честолюбивый малый издал сонату в своей редакции, но эта редакция ни чем, ни-чем (гром и молния!) не отличалась от редакции Сирануш.

— Мои штрихи! — восклицала она. Ее смиренные очеса, тихо мерцавшие под ресницами, непримиримо запылились. — Моя каденция! И аппликатура — тоже моя! Какое бесстыдство!

— Вор! Негодяй! Грязный подлец! — бешено выкрикнула Асмик.

Я попросил ее успокоиться и, обратившись к Сирануш, осведомился о значении терминов. Она пояснила мне, что штрихи — указания для смычка, аппликатура — то же для пальцев, а каденция — это самое главное, в известном смысле — личное творчество, предмет ее гордости, виртуозный экспромт меж разработкой и репризой!

Вулканическая Асмик заныла и трагически заломила руки. Я снова призвал ее к хладнокровию и спросил Сирануш, кто засвидетельствует, что эти художественные находки принадлежали именно ей. Она сказала, что, когда этот гангстер вернул ей ноты, листок с каденцией, написанный ею собственноручно, так и остался вложенным внутрь. Кроме того, немало людей, в том числе и сам дирижер, знали уже о ее редакции. Нет сомнений, они это подтвердят. Конечно, проще было позволить Грише Амбарцумовичу приехать в Москву. Гриша едва не сошел с ума, узнав об этой жуткой истории. Друг его, штангист Авасетик, дал страшную клятву, что он размажет этого хищника по стенке. Но Сирануш не хотела крови и просила их сдать билеты в кассу. Однако сама она не отступит. И пусть она родилась в Москве, она остается восточной женщиной.

— Один приятель меня называл Сирануш де Бержерян, намекал на Сирано де Бержерака, — сказала разгневанная гурия. — И был прав. Хотя я и очень тихая, я по своей натуре — бретер. И я не прощу ему этой обиды.

— Вор! — повторила Асмик. — Вассак!

Сирануш объяснила, что это слово означает по-армянски «предатель». В шелковой пери тайлась пантера. Бесспорно, неведомый мне Паганини затеял опасную игру.

Мало-помалу воспоминания, преобразившие на глазах мою элегическую хозяйку, ее отпустили, и к ней вернулось доброе расположение духа. Вновь стреловидные опала прикрыли дымчатые глаза и каждый жест стал царственно томен. Она не спеша отправляла в свой ротик нежно алевшие зерна граната.

Я следил за ее точеной рукой и, не сдержавшись, сделал признание: эти музыкальные пальчики, розовые, как туф Еревана, вызывают эстетический трепет.

Она сказала:

— Верю вам на слово. Я там была лишь на гастролях.

Я умолчал, что не был там вовсе.

— В Москве родилась и в Москве живу, — сказала она не то виновато, не то выражая покорность судьбе, — естественно, когда не в поездках.

— Она себя загонит, загонит, — горестно выкрикнула Асмик, — то на Камчатку, то в Аргентину. Всем нужна, ее рвут на части.

— Ешьте, ради Бога, гранат, — предложила мне прекрасная странница, — плод граната есть символ неподдельного чувства, цвет граната — цвет женского начала. Так утверждают на Востоке.

Я спросил, не потому ли она в красном платье? Она кивнула, и вновь я услышал звуки флейты:

— Да, это мой любимый цвет.

После чего взяла банан. Я с интересом следил, как долго она оглаживает его своими сумеречными зрачками, прежде чем вонзить в него зубки. Я был убежден, что фаллический образ этого фрукта в ней пробудил волнующий ее тайный мотив. И тут я почувствовал встречный взгляд. Ее полусонные очи вспыхнули. И снова я ощутил уверенность: она догадалась, о чем я думаю. Многозначительная усмешка вспорхнула на ее спелые губки — меж нами возникла смутная связь.

Я сказал, что обдумаю ее дело. Через несколько дней я ей позвонил и сказал, что в неизбежном процессе ее интересы разумней доверить весьма искусственному специалисту, занимающемуся авторским правом. Я с удовольствием ощутил, что Сирануш разочарована.

— Рубен Ервандович мне сказал, что вы лучше всех специалистов.

Я ей ответил, что очень польщен, но в каждой сфере всегда существует свой чемпион, свой главный дока, съевший в ней целую стаю собак. И у меня есть такой на примете. Я отдам ее в надежные руки.

— Слишком легко вы меня отдаете, — пропел флажолетовый голос флейты. — Я вижу, что я вам не понравилась.

Я ей сказал, что ее близорукость меня удивляет и удручает. Все обстоит как раз напротив. Это одно из обстоятельств, хотя, разумеется, не решающее, почему я призываю другого. Юрист на своем боевом посту должен иметь холодную голову.

— В таком случае я буду надеяться, — проворковала Сирануш, — что наша встреча была не последней.

Самой собой. Подобный финал отнюдь не входил в мои намерения.

Я свёл ее с «узким специалистом», которого знал со студенческих лет. Он сказал, что дельце — с явной гнильцой, темное, муторное, унылое (это я и сам понимал), но, если мне нужно, он не откажется.

Несколько раз мы с ней перезванивались, потом я снова был приглашен. У замшевой Сирануш, как я понял, было не так уж мало поклонников, но я полагал, что их оттесню. Она уже побывала замужем, и ей, должно быть, не слишком сложно определить, кто чего стоит. Я помнил этот пристальный взгляд, когда она меня изучала, точно готовясь со мной расправиться так же, как с початым бананом. Но помнил я и лезгина Панаха, который был слишком нетерпелив. Поэтому я не жал на педали и лишь на исходе второй недели признался ей, что покойная мама меня неустанно оберегала от армянок московского разлива.

Сирануш сказала с томной улыбкой:

— Ваша мама абсолютно права. Григорианство в Москве неизбежно смешивается с византийством.

Какова? Впрочем, она добавила:

— Но ваше дело небезнадежное.

Я ей сказал, что рад это слышать, хотя фраза эта больше приличествует юристу, поддерживающему клиента. Однако я сам нуждаюсь в поддержке и принимаю ее заявление со всей подобающей благодарностью.

Я побывал на ее концерте. Нельзя сказать, что я был меломаном, тем более — фанатиком скрипки. Но я без усилия слился с залом. Не было никаких сомнений: здесь каждый чувствует то же, что я. И осознав это, я испытал странную и смешную ревность. Неужто все эти пришлые люди считают, что между ними и мною нет разницы? Это уж просто наглость!

С трудом я пробился к ней в артистическую. Узкая неуютная комната изнемогала под грудой букетов. Пахло цветами, пахло духами, помадой, румянами, старой мебелью — банкетками, пуфиками и креслами. Порхали улыбки,

порхали слова. Я вел себя несколько по-хозяйски, даже сказал одному почитателю, что концертантка утомлена, пора бы ее отпустить на волю.

Она разрешила себя проводить. После триумфа ей было трудно остаться одной, как я и предвидел. Душа ее была переполнена — и музыкой и хмелем оваций. Ей нужно было все это выплеснуть, мое присутствие было кстати.

Она предложила мне поужинать. Я молча покачал головой. Она приготовила кофе с ликером. Я взял чашечку, не проронив ни звука. Она спросила, почему я молчу. Я вздохнул. Она мне тихо напомнила чье-то неглупое изречение: «Молчание — опасная бездна». Я призвал на помощь Марину Цветаеву:

— «Вы думаете, любовь — беседовать через столик?»

— Ах, так дело дошло до любви? — осведомилась Сирануш.

Я сказал, что этой насмешки я ждал. Но приму ее спокойно и кротко. Я не выпрашиваю любви. Недаром другой поэт написал: «Я сам люблю и мне довольно».

Она пожала хрупкими плечиками:

— Очень жаль, если этого вам довольно.

Только это и надо мне было услышать. Я барсом ринулся на Сирануш, чашечка с недопитым кофе свалилась на шекинский ковер. На нем же мы спалили мосты и исполнили увертюру.

Ночь эта не была истребительной, вальпургиевой, дерзновенно вакхической, и все же она осталась памятной, не затерявшейся среди прочих. Было особое очарование в том, как она струилась в объятиях, легкий прохладный ручеек, не иссякавший при всей своей щедрости. Не скрою, я был весьма утешен таким слиянием струны и смычка. Она оказалась похвально отзывчива — мне было даровано право на поиск и право на свободный полет.

У нас была жаркая весна и еще более жаркое лето. Мне даже почудилась пани Ярмила. Но прошлое скорее окликнуло, чем обожгло — ничего удивительного, промельтешило двенадцать лет. Где ты сейчас, мое пражское чудо? Неужто все еще рядом с тобой великий писатель чешской земли? Могу представить, как он раздулся и утвердился в своем величии.

Сирануш словно прочла мои мысли. Она спросила:

-- Ты вспомнил женщину?

Но я не пожелал исповедаться.

— Нет, вспомнил я одного писателя. Вернее, он был назначен писателем.

— И чем он подействовал на тебя?

— Тем, что поверил в свое назначение.

Она засмеялась.

— Да, так бывает. В нашей среде это тоже случается. Люди вдруг начисто забывают, что это игра, у нее — свои правила. Их награждают, они отработывают. Можно сказать — честная сделка. А они ни с того, ни с сего вдруг требуют уже не только официального, но и общественного признания.

Она была умненькая особа. Я удовлетворенно кивнул.

-- И в этом случае то же самое. Нуноша, ты радуешь мое сердце.

— Но почему о подобной прозе ты думал с такой поэтической грустью?

— Несовершенство рода людского всегда меня огорчало, любовь моя.

Она обиженно замолчала. Но уже ночью, устало потягиваясь, прижавшись щечкой к моей груди, промурлыкала:

— Ты со мной неоткровенен.

Я отозвался:

-- Как ты, Нуношенька.

Она проявила благоразумие и соскочила со скользкой дорожки. Не раз и не два я ощущал, что она многого не договаривает. Но я никогда не лез к ней с расспросами. Не спрашивал ни о бывшем муже, ни о других моих предшественниках. Тем более, я совсем не рассчитывал на обстоятельный рассказ.

Я осведомился, как продвигается ее процесс — Сирануш сказала, что дело идет ни шатко, ни валко, то уезжает он, то она, два раза судебные заседания отменялись ввиду неявки ответчика, один раз из-за неявки истицы. Но осенью все, конечно, решится.

Однако осенью Сирануш внезапно уехала на гастроли. Странно, еще неделю назад об этой поездке не было речи. Сначала она меня уверяла, что я был оповещен, но забыл, потом сослалась на безалаберность, укоренившуюся в филармонии — не знаешь, что состоится, что нет. Я вновь не стал устанавливать истину. Зато я понял, что к ней привязался. Мне не хватало ее журчания, ее колючего язычка.

Однажды мы говорили с Реной, и она выразила надежду, что католическая церковь все же способна к экуменизму. Я усомнился в этой способности. Я вспомнил, как в дни альбигойских войн легат Альмарик обратился к воинам: «Убивайте всех. Бог своих опознает». Рена сказала, что это лишь довод в ее пользу — она всегда говорила, что посредник меж Богом и человеком часто греховнее всех остальных. И страшный грех разделенья церковей прежде всего лежит на посредниках. Впрочем, мы все виноваты — соборно. Мы предали Бога, его растащив.

Неожиданно для себя самого я задал вопрос о григорианстве. Рена прочла небольшую лекцию. Начала ее со Второго Великого Христологического Спора. Спор этот шел о двуначалии — божеском и человеческом. Для всех христианских церквей двуначалие безусловно, Божеское и человеческое — неразрывно и неслиянно. Неслиянное существует слитно. Отсюда и идет утверждение: верую потому, что абсурдно. Но армяне — монофиситы. Для них Божеское начало — едино.

Я сказал, что армянская позиция выглядит более логично. Рена ответила: несомненно. Но возражение тоже серьезно. Коль существует только Божественное, то страдание ему недоступно. Бог страдал, ибо он был человек. Утверждая единое начало, монофиситы от нас отчуждают Бога.

Обдумывая все эти сведения, я вспоминал слова Сирануш о том, что на нашей московской почве византийство вкрадчиво проникает в григорианскую твердыню. С одной стороны, можно только приветствовать слияние Божеского и человеческого, что выразилось в самой Сирануш. Однако, с другой стороны, человеческое бывает, порою, своеобразно, а византийство, оно, тем более, имеет характерные свойства. Этот неоспоримый резон заставил меня погрузиться в раздумье.

В один дождливый октябрьский вечер, словно приняв неясный сигнал, я снял трубку и набрал ее номер. То было чисто сентиментальное и безотчетное движение, не знаю — пальцев или души. Чего я мог ждать, кроме длинных звонков из этой темной пустой квартиры с осиротевшими коврами? Но, к вящему моему изумлению, я услышал знакомый голос:

— Это я, это я.

-- Здравствуй, Нунуша, — сказал я со всей возможной бесстрастностью. Она поразилась:

-- Вадим?

-- Сколь ни странно. Когда же ты появилась в Москве?

Помедлив, она сказала:

-- Сегодня.

И быстро добавила, что застала невероятную неразбериху — какой-то клубок неотложных дел и накопившихся обязательств. В ближайшие дни она их раскрутит и мы, разумеется, повидаемся.

Повесив трубку, я призадумался. И должен был признаться себе, что не был оглушен неожиданностью. Я обладал достаточным опытом, чтобы почувствовать перемену еще до того, как она случится. Отношения не стоят на месте, они, как правило, развиваются в том или другом направлении. Лето

было их вершиной, их пиком — перевалив его, мы спустились в безрадостную московскую осень. И все-таки была же причина такого поспешного увядания?

Вытянувшись в отцовском кресле, я занялся унылой работой — систематизировал факты, анализировал ощущения и наводил порядок в мыслях.

Я возвратился к началу знакомства, вернее — к его первопричине. Я вспомнил, с каким ожесточением мой ангелочек хотел судиться, я словно увидел пышную Асмик, клеймившую подлого плагиатора и призывавшую для возмездия грозного Гришу Амбарцумовича. Пусть он и штангист-чемпион Аvasетик набьют предателю лживую морду!

— Предатель, — прошептал я, — предатель...

Слово блеснуло, как лунный луч, и будто высветило во мраке необходимую мне тропинку, оно будто стало ключом к разгадке, я даже сказал бы — скрипичным ключом.

Я позвонил своему коллеге, которому поручил Сирануш, и задал ему вопрос о процессе. Он рассказал мне, что дело закрыто по полюбовному соглашению истицы с ответчиком — слава Богу! Сам черт сломал бы свое копыто в этой непостижимой истории и непонятных отношениях. Я спросил его, а кто был ответчик? Он был удивлен моим неведением и, явно предвкушая эффект, с небрежным шиком назвал мне имя весьма знаменитого лауреата. Оно было хорошо мне знакомо — и по газетам и по афишам.

Туман испарялся с каждой минутой. Я уже мало сомневался, что сей обидчик доверчивой женщины, прежде чем похитить каденции, любил Сирануш любовью брата, а может быть, еще сильней.

И все-таки мои рассуждения были достаточно гипотетическими. Применение истицы с ответчиком не обязательно означало возобновление старой связи, тем более, я не мог быть уверен, что эта связь не родилась в моем подозрительном воображении.

Но тут мне представилась возможность проверить свой дедуктивный метод. Утром следующего дня мне на глаза попала афиша, из коей следовало, что в субботу, иначе говоря — послезавтра, в Большом зале консерватории великий скрипач дает концерт. Конечно, попытки достать билетик были обречены на провал, но я позвонил Розалии Карловне, которая мне дала телефон милейшего Рубена Ервандовича. Деятель Музыкального фонда великодушно пришел мне на помощь — меня включили в список избранных. К исходу дня я имел билет.

В день концерта я позвонил Сирануш и предложил ей вечером встретиться. Увы, она была занята. Ей предстояла гастроль во Владимире, куда она сейчас отъезжает. Вернется она через два денька и сразу же свяжется со мною — давно, давно пора повидаться! Я пожелал ей новых овец.

Вечером я не спеша отправился на улицу Герцена. Уже на углу Собиновского переулочка, где я не сразу припарковался, меня окружили несчастные люди, не получившие доступа в храм. За вечер в зале любая юница меня одарила бы своей нежностью, любая трепещущая старушка готова была заметить мне мать.

Когда, окруженный толпой меломанов, я медленно поднялся по лестнице, я сразу же углядел Сирануш в кольце ее преданных почитательниц и недобритых кудлатых юношей. Она стояла в углу фойе в том месте, где оно переходит в тот коридор, который ведет и в зал, и в комнаты музыкантов. Она улыбалась, сияла, раскланивалась, царица сегодняшнего бала. Глаза ее празднично сверкали, и празднично румянились щечки, из узкой горсти, как язык огня, тянулся букет багровых роз.

Я принял меры предосторожности. Встреча с ней, как легко догадаться, никак не входила в мои намерения. К тому же властно позвал звонок, и все поспешили занять места.

В сопровождении пианиста герой вечера взошел на эстраду. Высокий су-

туловатый малый с эффектной седоволосой гривой, с худым лицом — на нем выделялся нос грифа.

— Здравствуй, родственничек, — бормотнул я угрюмо.

Отделение принадлежало Бетховену. Сначала маэстро нас угостил четвертой сонатой (в изящном вкладыше, присовокупленном к программе, я прочитал, что музыканты ее называют малой Крейцеровой), и надо сознаться, что он поверг всех нас в тревожное состояние, после чего по закону контраста он взялся за пятую сонату (в том же вкладыше я узнал про нее, что она еще носит имя Весенней).

Он, безусловно, знал свое дело, фанатики чуть не сломали стулья. А девы и дамы бросали букеты, освобождая их от обертки — мне объяснила моя соседка, что гений имеет свои особенности и не выносит целлофана. В финале этого цветопода к эстраде приблизилась Сирануш и царственно отдала свои розы. Маэстро поцеловал ей руку, после чего аплодисменты приобрели штормовую мощь.

В антракте я зашагал в гардероб. Покойный Брамс — во втором отделении меня ожидали его сонаты — авось, извинит мне этот побег. Но я уяснил и даже увидел все, что мне нужно было узнать. Не было никакого желания изображать из себя персонажа поднадоевшего анекдота «опять проклятая неизвестность». И уж совсем меня не тянуло присутствовать при новом триумфе.

Я понимал, что у Сирануш и у достойного виртуоза была истерическая история долгих запутанных отношений. Трезво оценивал то обстоятельство, что музыка была главной сводней. Недаром Пушкин нас всех уверял, что и сама любовь — это музыка или, как он сказал, — мелодия — суть мысли от этого не меняется. Но, все понимая, я был разозлен. Женщины так со мной не поступали. Три дня спустя я ей позвонил и голосом, полным елеса и меда, сказал, что наша встреча откладывается — мне нужно отправиться в дальний путь в связи с одним сверхкляузным делом. Я сделал усилие над собой, чтоб не назвать город Владимир.

Она изобразила досаду — изобразила не слишком старательно. Затем она выразила надежду, что мы, в конце концов, повидаемся, и нежно пожелала успеха. Я — тоже нежно — поблагодарил. Мы попрощались. Ну, вот и все. Мой музыкальный момент пронесся. И — с Богом. Довольно. Стыдно мне пред гордою скрипачкой унижаться.

Я быстренько забил себе голову. Тем более, это было несложно. Бывает стечение обстоятельств, когда процессы и арбитражи буквально насакаивают друг на друга. Только в предновогодние дни я разобрался со всей круговертью.

Тридцать первого декабря мой телефон трудился без пауз. Отец прорвался ко мне не сразу. Зато он признался, что две мечты его окрыляют в рубежный день. Первая — что страна совершит шаг в направлении прогресса, вторая — что я создам семью. Славный пример Павла Антоновича должен меня наконец вдохновить.

Они ждут меня вечером — Розалия Карловна пригласила одну свою подругу, которая, как она полагает, заставит меня пересмотреть некоторые мои установки. Повесив трубку, я тихо выматерился.

Следующим был Мельхиоров. Он сказал, что звонит мне днем, а не вечером, с тем, чтобы я успел подготовиться к пришествию будущих испытаний. Эти слова не означают, что он запугивает меня. Наоборот, по его разумению, в новом году нас ждут перемены.

Я сказал, что недавно нечто похожее слышал от энтузиаста-отца. Слышать подобное от него, несокрушимого мизантропа, в высшей степени приятный сюрприз.

Мельхиоров буркнул, что я тороплюсь. Дело не в том, что он изменился. Год, приближающий к крематорию, не прибавляет ему оптимизма. Но все же

есть объективные данности. И аналитик, вроде него, умеющий считать варианты, не вправе отмахиваться от них. Позиция на доске изменилась.

— Пойми, сикамбр, — сказал Мельхиоров, — историческая ставка на тупость, которую сделала эта Система и которая сделала эту Систему, явно исчерпывает себя. Кто был ничем, тот стал никем. По всем моим замерам достигнута критическая масса бездарности — теперь ожидает нас либо взрыв, либо переходный период. Коротко говоря, мой мальчик, мы входим в год, в котором возможно некое странное шевеление.

Усевшись поглубже в отцовском кресле, я элегически шарил взглядом по темному слюдяному стеклу. Всего-то четыре часа по полудни, как выразился бы Павел Антонович, а улицы могучей столицы уже погрузились в тревожные сумерки, и кто разберет в их неверном свете, что ждет нас — радость или беда? В восемьдесят пятом году мне стукнет сорок — серьезный возраст. Именно после него и выходишь на этот новый виток спирали, когда начинаешь чаще оглядываться. Я словно физический ощутил, что молодость моя на исходе, и, может быть, в первый раз не испытывал большой благодарности к собственной трезвости. В эту минуту раздался звонок.

Я недовольно спросил, кто на проводе. Флажолетовый голос флейты пропел:

— Почему ж ты меня не поздравляешь?

-- Прости, в душе сумбур вместо музыки. Привет, мой пупырышек. С Новым годом.

-- Наконец-то. И я тебя поздравляю. Что ты делаешь?

-- Подбиваю бабки.

-- И каков же итог?

-- Стал старше на год.

-- Не ты один.

-- Справедливо замечено. По крайней мере, есть чем утешиться. А что заметного у тебя? Кончился наконец твой процесс?

Сирануш помедлила и сказала:

— Не спрашивай. Нет у меня охоты вновь окунаться во всю эту грязь.

Ах, вот оно что! Мне стало понятно — с гривастым гением вновь все расклеилось.

— Так что же — никаких новостей?

— Есть новость. Она и тебя касается, — загадочно произнесла Сирануш.

— Да что ты?

— Я по тебе соскучилась.

— Трогательно до слез, лепесток мой. Прими мою искреннюю благодарность.

— Послушай, — прошелестела она с многозначительной интонацией, — есть у меня одно предложение.

— Ты заинтриговала меня.

— Встретим вдвоем этот Новый год.

— Заманчиво, — вздохнул я, — заманчиво. Но это — лишь повторение старого. Попробуем обновить наши жизни.

Она сурово остерегла меня:

— Ты поступаешь сейчас опрометчиво. Второй раз я этого не повторю. Я гордая восточная женщина и музыкант.

— Я уже это понял. Не зря меня мама предупреждала...

Она сказала:

— Ты — негодяй.

— Не могу с тобой согласиться, газель моя. Хотя, может быть, Гриша Амбарцумович меня не одобрил бы. Допускаю.

— Гриша поговорил бы с тобою по-своему, если б он только был здесь, — гневно бросила моя собеседница.

Я понимающе отозвался:

- Пора бы ему наконец собраться в белокаменную.
- Не беспокойся. Он соберется скорей, чем ты думаешь.
- Жду его вместе с Авасетиком.

Я думал, она повесит трубку. Но Сирануш почему-то медлила. Потом нерешительно проговорила:

-- Рубен Ервандович мне сказал, что он тебе как-то помог попасть в консерваторию на концерт.

-- Было дело, мое фламинго. Ты приохотила меня к скрипке.

Она помолчала, потом сказала:

- Желаю счастливого Нового года.
- И я тебе также. С новым счастьем.
- Ну... до свиданья.
- Прощай, форель моя!

Минуло время и — должен признаться — я вспоминаю ее с благодарностью. Сладкая женщина, чудо господне! Надеюсь, что больше уже никто не посягнул на ее каденции.

7

В восемьдесят седьмом году эпоха совершила вираж. Впервые я должен был согласиться: восторженные клики отца и его возбужденной половины имели под собой основание. Фрегат столько лет стоял на мели, капитан не выходил из каюты, где спал и бражничал, команда спилась, и вдруг неожиданно все забегали, засуетились, пришли в движение. Палубу снова начали драить, снялись с якоря, отдали швартовы. Машина сдвинулась и поплыла. Куда? Неизвестно. Если бы знать...

Дел у меня не убавлялось, и самый характер этих дел свидетельствовал о переменах весомей и резче, чем вольные речи. Недавние тайные цеховики, производившие в темном подполье продукцию, имевшую сбыт, внезапно приобрели легальность. Ответчики превращались в истцов. Вчера еще наше достойное общество, гордясь своими белыми ризами, преследовало этих прагматиков, вчера еще выгода и предприимчивость были привычными мишенями нашего Уголовного Кодекса, в лучшем случае дурными болезнями вроде гонорей и сифилиса, которые принято скрывать, и вот они уже атакуют растерянную идеологию. Спрос на меня все увеличивался.

Но что из того? В свободный вечер я маялся в своем кожаном кресле. На пятом десятке характер стал портиться. А жизнь, свободная от обязательств, теряет в своем очаровании.

Вот тут-то и раздался звонок. Не странно ли? Меня вспомнила Рена.

Я никогда не звонил ей сам — так повелось, так она захотела, и я соблюдал наш договор. Она спросила, как мне живется. Я ей пожаловался: ум занят, душа пуста, в ней ветер дует... Она сказала, что это естественно — душа без веры всегда пустыня. Я спросил, в свою очередь, длится ль еще ее увлечение католичеством. Рена печально мне объяснила, что дело тут вовсе не в увлечении, это неподходящее слово. Католичество — свой особый мир.

— Возможно, — сказал я, — не мне судить. Тебя не смущает его театральность? И прихожане, совсем как зрители, сидят на скамьях, за рядом ряд.

— Ты полагаешь, — она усмехнулась, — что лучше стоять час, два и три, когда уже невозможно думать о том, зачем ты сюда пришел — ноги тебя уже не держат.

— Такой прозелитизм понятен, — сказал я, — в твоём подходе есть трезвость. Это различие, в самом деле, стоило бы давно устранить. Впрочем, и все

другие тоже. Ну, у нас вербное воскресенье, у них — пальмовое. Можно называть одинаково.

Она помолчала, потом вздохнула.

— К несчастью, разделение церковей имеет и другие причины. И в этом великая их беда. А стало быть — наша. Но я уже знаю, что это — вне твоих интересов. Прервем теологический диспут. Ты жив и здоров, это самое главное.

Эти слова меня задели, я спросил ее чуть суше, чем надо бы:

-- Ты по-прежнему в «Химии и жизни»? И все -- по-прежнему?

Слово «все» привычно обозначало Бориса.

-- И я в журнале, и все, как было.

Мы обменялись двумя-тремя фразами, она пожелала мне благополучия.

— Рена, когда я тебя увижу?

Она сказала:

— Я позвоню.

Однако я не был в этом уверен. Исчезнет снова — на год или два.

Ее звонок еще усугубил мое унылое настроение. А мог ведь его преобразить! Не жизнь, а бестолочь. Все, что в ней важно, мы ухитряемся упустить, а то, без чего могли обойтись, и составляет предмет заботы.

Когда телефон зазвонил опять, я с раздражением снял трубку и мрачно буркнул:

— Да. Я вас слушаю.

— Сикамбр, — спросил дальний голос, — ответствуй: почему ты так зол?

— Илларион Козьмич, вы ли это?

-- Ты уклоняешься от ответа, — торжественно произнес Мельхиоров.

-- А что тут ответить? — сказал я кисло. — Я зол, Учитель, на все человечество.

— Стало быть, и на себя в том числе?

— Само собой, ведь я его часть. И вряд ли лучшая его часть.

Мельхиоров помолчал и заметил:

— Сдается, я снова попал в пересменку.

— И слава Богу.

Он возразил:

-- Ты ошибаешься. Совсем тебе не нужно давить свою плодovitую природу и дарованные ею возможности. Противоестественно, неблагоприятно и бессмысленно. Оттого и хандрить.

Я непроизвольно пожаловался:

— Учитель, я никому не нужен.

— Опять ошибся. Ты нужен мне, — торжественно сказал Мельхиоров. — Ежели у тебя есть время, я изложу свое дохлое дело.

Дело действительно было дохлым. Всю свою многолетнюю жизнь вместе с доблестной Раисой Васильевной Мельхиоров провел в коммунальном террариуме в обществе десяти семей. Пришел его срок улучшить условия, и терпеливый очердник надеялся, что получит квартиру.

— Мои заслуги на шахматной ниве давали мне право на эту мечту, но депутатская комиссия ее умерщвила и закопала. Оставь надежду туда входящий! В сравнении с депутатской комиссией барак усиленного режима — навеки потерянный парадиз.

Хрипловатый мельхиоровский голос уже обретал трубную звучность. Не за горами был львиный рык.

-- Я был анафемски предупредителен. Со мною рядом был мой ходатай, пламенный почитатель Каиссы, Аркадий Данилович Шлагбаум, доктор наук и лауреат. Личность настолько почитаемая, что власти в знак особой любви хотели даже дать ему членство в Антисионистском комитете. Намеренье не было реализовано, ибо по странному совпадению Шлагбаума стало сильно тошнить вплоть до резей и острых коликов в желудке.

Мельхиоров набрал воздуха в легкие и продолжил правдивое повествование.

— Сначала мы долго сидели в очереди. То и дело входили свежие люди. И был их первый вопрос: кто последний? И каждый раз, слыша эти слова, я содрогался — под их мелодию минула вся моя долгая жизнь. И Шлагбаум, этот барс астрофизики, мамонт мудрости, гладиатор дискуссий, содрогался солидарно со мной. Прошел весь день, и лишь ближе к сумеркам мы были допущены в ареопаг.

Минута кульминации грянула, Учитель яростно зарычал:

— Сикамбр, если б ты только видел эту взбесившуюся мясорубку, заправленную коллективным разумом! Самую мерзостную фигуру являл председатель этого сборища, сутулый щетинистый кроманьонец, бренчащий медалями, как монистами. Мне стоило только взглянуть на него, чтоб безошибочно определить его природу и происхождение. Сын слобожанки и ахалтекинца со всеми следами тяжелого детства.

— Ахалтекинца? Но это же конь?

— Само собой. Разумеется, конь. Коня-то я и имел в виду. Когда Шлагбаум ему приводил непобедимые аргументы, он сразу же наливался кровью и говорил: «Даю отлуп». После чего излагал свои. Ни грана логики, ни буквы закона — лишь ненависть ко всему живому. Этим же качеством отличалась грудастая злобная старуха. Когда-то она видела Ленина, но более — ни одного мужчины, способного ответить ей взглядом. Я сразу понял: по этой груди никогда не ступала рука человека. Ты представляешь, какие миазмы скопились во всем ее естестве? Впрочем, все были один к одному. Никто из них не мог примириться с тем, что я получу две комнаты. У председателя был заместитель, преданно на него взиравший, одна из тех человеческих тварей, которые могут существовать единственно в чьем-то заднем проходе. Естественно, с его точки зрения, самое страшное преступление — чего-нибудь пожелать, захотеть, кроме своей режимной пайки. Был и еще один носорог, заслуженный табурет на пенсии. Но нет, я оскорбил табурет. Всякий предмет одушевленной этой красноречивой скотины. Отвратнее всех себя проявил какой-то вокалист, бывший тенор, некогда выступавший в опере. Он попросту исходил слюной. Когда сексуальное меньшинство влечет к социальному большинству, рождается гремучая смесь. А кроме того, все они вместе заводились, когда вступал Шлагбаум. Эти интернационалисты со стажем испытывают удивительно остро этническую несовместимость. Шлагбаум, возможно, и приобвык, но старого русского интеллигента, вроде меня, они отравили! Битый час они стряхивали на мою голову фекалии своего интеллекта. Причем вес первых, легко догадаться, был в обратной пропорции к весу второго. Поверь, я всласть надышался азотом! Единственный раз я там побывал, и больше ноги моей там не будет. Меж тем, уже через две недели они должны выносить решение.

Помедлив, я осторожно спросил:

— Чего же вы хотите? Судиться?

— А хоть бы и так! — сказал Мельхиоров. — Мое положение отчаянное. Но в очередь я больше не стану. Я обречен в ней быть последним. Поэтому при первой возможности, завидев ее, я убегаю большими прыжками кенгуру. Самое дьявольское изобретение осчастливившей нас Системы. Именно в этих очередях она превратила нас в животных. В очереди стоят пресмыкающиеся.

— Пресмыкающиеся не могут стоять, — я попытался унять лавину.

Но Мельхиоров проигнорировал эту редакторскую правку.

— Человек не может стоять в очереди, — сказал он со страстностью Галилея. — Тем более в очереди к депутатам.

Я произнес возможно мягче:

— Учитель, не стоит вступать в контакты с нашим отечественным правосудием. Особенно вам с вашей тонкой кожей. Я часто втолковывал моим

клиентам: законы поглощены инструкциями, инструкции поглощаются судьями. Благо развязывают им руки. Не следует так говорить юристу, но все же разумнее оставаться в границах исполнительной власти, не отдаваясь власти судебной. Естественно, коли не будет выбора, мы обратимся с вами к Фемиде, но этого лучше бы избежать.

— Что делать? — негромко спросил Мельхиоров. — Прости за этот свежий вопрос. Я не из тех, кто просит пощады, но пресыщенность общим унита-зом достигла критической отметки.

— Мне нужно обдумать ситуацию, — сказал я, стараясь скрыть неуверенность, — прошу вас дать мне несколько дней.

Я тщательно перебирал варианты возможных действий, но все отверг. Мой опыт подсказывал: первое дело — ухватить решающее звено. И не только решающее, но поддающееся. Советская жизнь меня научила, что в каждой стене бывают щели. Я должен понять, на кого надо выйти. Все прочее — это лишь трата времени.

Изучив дислокацию, я решил, что мне необходимо пробиться к Анне Ивановне Пономаревой. Ее секретарша мне сообщила, когда меня примут — число и час, — и я отправился на Лужнецкую набережную. Там размещалось спортивное ведомство.

Я шел по гудящему коридору, прислушиваясь к обрывкам фраз. Сколько подобных коридоров я навидался за эти годы, сколько наслушался диалогов! Мало-помалу они сливались в единый образ, в единый звук — истеблишмент не любил различий и утверждал свой общий стиль. Но здесь ощущалась своя начиночка — из учреждения все же не выветрилось густое дыхание стадиона. Мне то и дело попадались плечистые молодые люди, плечистые молодые женщины и пожилые здоровяки. За всеми, или почти за всеми, угадывались их биографии — кто бился, точно барс на «поляне», кто отстучал костями «в калитке», кто долго наматывал круг за кругом, пока наконец с него не сошел. Всем им по-своему посчастливилось — в спорте остались на новых ролях. Маленькими или крупными боссами. Не то что скисшие неудачники — одни спились, другие увяли, третьих Его Величество Спорт сожрал и даже костей не оставил.

Блондинка — ноги с могучими икрами — окинула секретарским взглядом пришельца из параллельного мира и медленно проплыла в святилище. Там, не щадя себя, денно и ночью трудилась вершительница судеб. Вернувшись, девушка объявила, что Анна Ивановна меня ждет. Я вошел в кабинет Пономаревой.

Сидевшая за массивным столом женщина средних лет поднялась и плавно тронулась мне навстречу. Я удивился такой учтивости. Обычно руководящие лица подобным образом выражали свое уважение к посетителю. Усаживались рядом на диване или в креслах, подчеркивая тем самым равновеликость обеих сторон. Но я был обыкновенным просителем, вернее, ходатаем по делам — знак внимания мне был непонятен.

Я искоса взглянул на нее. Цветущая козырная дама с внушительным разворотом плеч, что было, как я уже убедился, фирменной маркой этой конторы. Черты были несколько грубоваты, однако достаточно привлекательны. Чиновничья деятельность подсушивает, но опыт подсказывал мне, что в юности Анна Ивановна была хоть куда. В ней было бесспорное, ярко выраженное демократическое обаяние. Должно быть, оно послужило фундаментом ее впечатляющей карьеры.

Но самое странное — я был уверен, что мы с ней когда-то уже встречались. Что-то бесконечно знакомое мерцало в ее коричневых глазках, напоминавших дубовые желуди.

— Ну что? — спросила она насмешливо. — Не признаешь? На себя не похожа?

— Вот это сюрпризец, — сказал я негромко.

— Выходит, не знал, к кому идешь? А я-то, умница, сразу смекнула. Не может быть таких совпадений. И имя, и отчество, и фамилия. Не говоря уж о роде занятий.

Она основательно изменилась с тех пор, как предстала мне в первый раз свежим непочатым калачиком сальной выпечки, степного обжига. И все-таки это была она.

И Анна Ивановна, в свой черед, меня изучала, неспешно разглядывала, хотела узнать того молодца, которому некогда поднесла (тот ли я подобрал глагол?) свое незапятнанное сокровище.

— Ну что же, хорошо матереешь, — сказала она. — Теперь ты мужик.

— А ты расцвела, — ответил я в тон. — Уже не ромашка — махровая роза.

Лесть моя была незатейлива, но Анна Ивановна чуть зарделась.

— Ужас, какая я была провинциалочка. За то и досталось.

— Да, — я кивнул, — была умилительна. Помню — увидел: сидит Але-нушка. Скламши ручки и сжамши ножки.

Эти слова ее распотешили. Она снисходительно посмеялась. Потом озаченно проговорила:

— Нынче для девушки девичья честь — живо от девичьей чести избавиться.

Это сказала никак не Аня, это сказала Анна Ивановна, ответственная за нравственный облик вверенной ей спортивной массы.

— Все правда, — я солидарно вздохнул, — нынешним до тебя как до неба.

— А ты и не понял, не оценил, — произнесла она с укоризной. — Таковую девушку бортанул.

Я согласился:

— Был молод и зелен. Но ты не права. Оценить — оценил.

Этот патрон угодил в десятку. Память о своей дефлорации, как видно, была для нее священна.

— Что верно, то верно. Любились на славу. Конечно, я тебе благодарна. Нужно признать — твоя должница.

Я щедро сказал:

— Свои люди — сочтемся.

Она потрепала меня по щеке. Я мягко привлек ее к себе. Она неуверенно освободилась, опасливо покосившись на дверь.

— А знаешь, я маленько похвастаюсь. Вот-вот и защиту диссертацию.

Я восхитился.

— Ну ты у нас — сила!

Выяснилось, что, невзирая на бремя своих государственных обязанностей, она уже успешно заканчивает заочную аспирантуру Академии общественных наук. Ей даже выделили личную комнату в общежитии на Садово-Кудринской, чтобы семейные обстоятельства не отвлекали ее от работы. На финише нельзя расслабляться — уж это она знает с тех пор, как бегала средние дистанции. Что делать! Не ей привыкать к нагрузкам. Вся жизнь — сплошное преодоление. Но надо расти, нельзя останавливаться.

— А как на это смотрит твой муж?

— С пониманием. Сам под завязку занят. Бывает, что сутками с ним не видимся. Пономарев — генерал милиции.

Она вернулась к своей диссертации. Я чувствовал, что это и было ее дитя, предмет ее гордости. Впрочем, уже одно название говорило само за себя — «Нравственный кодекс советских спортсменов».

Я рассказал ей о Мельхиорове. Она закручинилась — не в подым! У разнесчастной Лужнецкой набережной просто ничтожный лимит жилья. Если б мой мастер был хоть гроссмейстер. Просто не знает, что и сказать.

С мягкой улыбкой я отвечал, что даже и десяток гроссмейстеров не стоят

одного Мельхиорова. Все они вышли из Мельхиорова, словно из гоголевской шинели. Как на Атланте, на нем стоит вся наша шахматная школа.

Медленно глядя ее ладонь, я рокотал, что она, разумеется, мыслит как государственный деятель. Но, помня с незапамятных пор ее беспримерную доброту, а ныне узнав об ее анализе нашего нравственного кодекса, я не испытываю сомнений в том, что ее золотое сердце подскажет ей правильное решение.

Алея, как горизонт в час рассвета, она сказала с лирической дрожью:

-- Умеешь, стервец, баб уговаривать.

Я удивленно развел руками — просто не знаю, как реагировать на незаслуженную хвалу. Но моя постная физиономия вряд ли ввела ее в заблуждение, тем более что я ее обнял.

Она с хрипотцой шепнула:

— Не здесь.

И, поймав мой вопросительный взгляд, выразительно усмехнулась:

-- Квартиры, братец, за так не дают. Бесплатный только сыр в мышеловке.

Я понял, что за моего подопечного мне предстоит рассчитаться натурой.

После недолгого раздумья она решила, что мы увидимся у нее, в общежитии Академии. Почему предпочла она соединиться под сенью Общественных Наук, а не в моем холостяцком приюте, мне не до конца было ясно. То ли боялась, что генерал пошлет следить за своей супругой какого-нибудь динамовца в штатском, то ли хотела остаться хозяйкой — я не углублялся в детали.

В назначенный час я был на Кудринской, неподалеку от Планетария. В будке восседала охрана. Старший, полистав свой реестр, выдал мне пропуск, сделал на нем надпись: «для совместной работы». Я поднялся по темноватой лестнице. На этом греховном пути мне встретились два аспиранта — приветливый негр кофейной африканской расцветки и смуглый афганский человек. Вот здесь их начинают взрывчаткой нашего передового учения и запускают в их дальние страны — из искорок там возгорится пламя. Я прошел по большому тенистому холлу, свернул в гостиничный коридор и постучал костяшками пальцев в пронумерованную дверь. Мимо чуть слышно прошелестел хрупкий миниатюрный вьетнамец.

— Можно, — услышал я ее голос.

Комната небольшая, а обстановка вполне аскетичной. Стол, холодильник, шкаф, телевизор, кроме того — кресло и стул. Кровать не широкая, но просторная — крепкое надежное ложе. Все условия для совместной работы.

Она спросила:

— Ну, как добрался?

— Бдительно тебя охраняют.

Она прыснула и начала раздеваться.

Стараясь от нее не отстать, я мысленно сравнивал Анну Ивановну с Аней, и сопоставлял ту и эту. Бегунья на средние дистанции несколько утратила форму, но все же смотрелась совсем неплохо. Мой сальский колосок, разумеется, потяжелел, но это была добротная урожайная тяжесть.

Она тоже оценивала меня. Похоже, что осталась довольна.

— Смотрю, ты послеживаешь за собой.

-- Так, для порядка, — пожал я плечами. — Гантельки, контрастный душ, отжимание.

-- И хватит с тебя. Спорт — вредное дело. На стадионе тебе не ломаться, а я, даст бог, медаль присужу.

Я отозвался:

— Будем надеяться.

Прижавшись ко мне, она шепнула:

-- Так, говоришь, охраняют меня? И есть от кого. Разве не правда? Ну, воры всегда хитрей сторожей.

— Так, значит, я — вор?

— Неужели нет? Даром, что ли, родители учат: чужую козну не молоти!

Если они меня и учили чему-нибудь этакому (в городском варианте), то их учење мне впрок не пошло. Я молотил чужую козну, не ведая угрызений совести. Два забега на среднюю дистанцию привели ее в грустно умиротворенное, созерцательное состояние духа. Прильнув головой к моей груди, она постальгически шепнула:

— Первенький мой...

И грустно добавила:

— Забыть не могу, как ты мне рассказывал, что мама велела тебе сторониться девушек из города Сальска.

— Да, — вздохнул я, — а я ее послушал.

Когда пришла пора мне отчалить, она сказала:

— Дай-ка свой пропуск. Отмечу тебе. А то не выпустят.

— Ты напиши, что работу мы сделали.

— И так поймут. Тут серьезные люди.

И впрямь, охрана, удостоверюсь, что пропуск отмечен, сказала отечески: «Все в порядке. Можете следовать». Я вышел из кузницы идеологов в густой муравейник Садово-Кудринской.

Я бережно намекнул Учителю, что перспективы его неплохи. Когда он узнал, что я зашел со стороны Лужнецкой набережной, он только горестно рассмеялся: лишь чистый, как певчая птичка, лирик может толкнуться в этот гадюшник. Теперь ему ясно, что он обречен.

Я кротко заметил:

— Там видно будет.

Через неделю раздался звонок. То был потрясенный Мельхиоров. Он прохрипел:

— Сикамбр, ты гений. Ты — хитроумный Одиссей. С тобой говорит индивид с орденом. Почтительнейше снимаю картуз. Немногословные англичане так говорят о таких, как ты: «Он из атторни стал барристером». Твой правовой интеллект всемогущ. Еще раз повторяю: шапó!

Должен сознаться, я был смущен. Не знаю, кто заслужил эту оду. Во всяком случае, не интеллект. Но Мельхиоров был в ажитации:

— Две комнаты! Совмещенный санузел. Есть и прихожая для вешалки. Территорию не окинуть глазом. Раиса Васильевна даже зажмурилась. Мою признательность, широкоу, как море, вместить не смогут жизни берега. За несколько дней мы приберемся, и я приглашу тебя на пианство.

Я был благодарен Анне Ивановне. На сей раз появление женщины, бесспорно, принесло мне удачу. Однако через несколько дней мне позволила Раиса Васильевна. Илларион Козьмич занемог, он бы хотел со мной повидаться. Она просит записать новый адрес.

Когда я катил по московским улицам, было уже совсем темно. Редкие тусклые фонари еле заметно освещали грязную вату талого снега. Душа моя ныла, а сердце скрипело.

Я вошел во вновь обретенное гнездышко. Оно было крохотным, власть не расщедрилась. Его еще не успели обжить, и домовой в нем не поселился. Мебель была расставлена наспех.

Бесшумная Раиса Васильевна меня проводила к Мельхиорову и тут же оставила нас вдвоем. Он полулежал-полусидел — подушки стояли почти отвесно. Лицо его стало еще худее, еще уже, и клюв старого ястреба теперь выделялся еще отчетливей. Он был небрит больше обычного, рябины его как будто попрятались в обильной темно-сизой щетине. И даже всегда молодые глаза, как показалось мне, поседели.

— Думал позвать тебя на новоселье, — сказал Мельхиоров, — а пригласил на макабрическое действо. Но мне хотелось тебя увидеть.

Я задал ему дурацкий вопрос о самочувствии. Он усмехнулся.

-- Хвастать нечем. Но все-таки я не теряюсь. Я убедил Раису Васильевну, что водка на орехах — надежнейшее и безотказнейшее лекарство от отложения солей. С тех пор каждодневно я получаю две ложки, и мы оба довольны.

Я выразил полную уверенность, что вскоре он одолеет недуг. Он вяло качнул белой ладонью:

-- Да, я бессмысленно не сдаюсь. Вроде комара в октябре.

(Тут меня посетила мысль, что комару суждено было стать навязчивым образом Мельхиорова, который он пронес через годы.)

-- Тем более, — добавил Учитель, — когда благодаря твоим хлопотам я начинаю новую жизнь.

Я скромно сказал, что искренне рад: теперь голова его освободилась и мысль опять готова к полету.

Он удовлетворенно кивнул, сказав, что я должен держать в уме один из важнейших уроков шахмат: может быть, самое главное в партии — сменить направление агрессий.

Потом он спросил меня о Богушевиче. Я подтвердил ему, что Борис еще работает на «Свободе» и призывает нашу общественность смелее идти путем перемен.

-- А Саня Випер? — спросил Мельхиоров.

-- Випер теперь какой-то прораб. Не то перестройки, не то духа. Во всяком случае, очень активен.

-- Вот как? Что ж, каждому свое.

-- Отец мой тоже вроде него, — пожаловался я Мельхиорову. — Хмель гласности помрачил его разум. Каждый очередной оракул выводит его на путь спасения.

-- Эффект плацебо, — вздохнул Мельхиоров. -- Дают витаминную таблетку, сказав, что она снимает боль. И ведь снимает — люди внушаемы. Не осуждай его, мальчик мой. Пусть даже деятельная старость еще смешней, чем ленивая юность. Просто напхни ему при случае, что говорящие не знают, а знающие не говорят. Так утверждал один китаец, который был не глупее нас. Надеюсь, сам ты не забываешь, что спрятаться — это не средство, а цель. Не доверяй российской свободе, ибо, чем выше она взберется, тем будет больней загреметь в неволю. Не изменяй себе, сикамбр. А стало быть — не валяй дурака.

Я сказал, что этого не случится. Не зря же я его ученик.

Немного помедлив, он произнес:

-- Я не из тех, кто кичится опытом. Он — не свод твоих знаний, а счет твоих дуростей. И все же прими стариковский завет: при всей трезвости не вздумай откладывать то, что считаешь действительно важным. Некий пайщик весь век собирал себе книги — «будет что почитать на старости». А дожил до хладных лет, и выяснилось: строчку прочтет — и клонит ко сну. Так оно всегда и случается.

Он признался, что последнее время все чаще думает обо мне.

-- Видишь ли, я не имел детей, — сказал он доверительным тоном. -- Возможно, что в этом есть свой смысл. По крайней мере, никто не вспомнит. Ведь память может и подвести, зато забвение безотказно.

Я пробормотал, что напрасно он думает о людях так жестко.

Он ответил, что здесь нет осуждения. Уборка — это естественный акт. Убирают жильё и тогда вытряхивают ненужные вещи, ненужные книги, ненужные письма, бумаги, справки. Вот так же идет и другая уборка. Вытряхиваешь из своего обихода ненужные лица и адреса. Он знает, что вскорости его имя вместе с его телефонным номером будет вычеркнуто из разных памяток и записных книжек знакомых, просто-напросто за ненадобностью. Возможно,

они уже это сделали. Ему и теперь нечасто звонят. В принципе это вполне понятно.

Он улыбнулся, хотя и с усилием:

— Узнаю тебя, жизнь. Но не принимаю. Все думаю: а что же в ней было? В конце концов, одни только шахматы. Но и они выходят в финал.

— Вы так думаете, Илларион Козьмич?

— Я так думаю, — подтвердил Мельхиоров со столь знакомой мне милой важностью. — Финал может затянуться на годы, при фарте — на несколько десятилетий. Но это уже ничего не меняет. Все-таки добрались и до нас. Сколько веков мы уходили от этого дерьмового мира, спасались от этой вечной погони и так гениально его дурили, так ловко прикидывались чудаками — знали, что чудаков щадят. И вот эти монстры сообразили, что мы их обманывали и — озверели. Нас вытащили из стен монастырских, где в наших партиях — наших молитвах, мы исповедовались друг другу, где мы тайлись от этой сволочи, от правил ее нечистой игры. Сперва они действовали подкупом. Самых талантливых обуздали богатством, признанием, сделали звездами, национальными героями, на деле превратив в гладиаторов, которые рвут друг друга на части под возгласы черни, ей на потеху. Тайна исповеди теперь нарушена. Она им враждебна. Как всякая тайна. Тайна объявлена вне закона.

Он шелестел, но в этом шорохе, в этом отлетающем голосе уже поднимался тот трубный звук, который всегда был так персонален, уже клокотал мельхиоровский рык. Мне стало страшно, что он не выдержит.

— Засранцы, они достали и шахматы, — горестно шуршал Мельхиоров. — Но этого было им недостаточно. Мало того, что они их вытащили под самые мощные прожекторы, заставили нас играть в их игры. Они посягнули на тайное тайных — на мозг, на последний приют человека, его последнюю цитадель. И если раньше до нас добирались скрытно и медленно — мы стояли в самом конце этой смертной очереди — то уж теперь мы ее открываем, взламывать мозг начинают с нас. С нас начинают его оккупацию — клетку за клеткой, клетку за клеткой. Компьютеры — это танки прогресса! Они вдавливают в чрево планеты живую жизнь живого духа. И в этот раз мы — первые в очереди, человечество нам дышит в затылок.

Я попросил его успокоиться. Это была смешная попытка, которую он сурово пресек.

— Начнут с перебора вариантов. Потом варианты отменяют вовсе, навяжут единственно верный путь, единственно правильное учение. Партии превратятся в табуи. Мы — кролики для эксперимента, и наша клетчатая доска стала трагическим полигоном. Обесмысливание всей популяции будет однажды завершено. Людей построят в одну шеренгу, заставят шагать под одну команду — мозг станет плоским, безжизненным стендом, способным лишь принимать сигналы и беспрекословно их исполнять. Возможно, что мы это заслужили своим холопством, жестокостью, завистью, своей ошеломительной тупостью, возможно, что мы себя исчерпали, возможно — страшно произнести! — что мы этого сами хотим, и все же, все же, какое счастье, что я успеваю опять увернуться, что я опять успеваю спрятаться до воплощения этого Замысла, который и был мечтой Сатаны. А шахматы, мои дивные шахматы, стали его победным оружием, рещающей гирькой, склонившей весы в финальной схватке Дьявола с Богом.

Он помолчал и усмехнулся.

— Теперь ты понял? Я не боюсь. У всех у нас тайный роман со Смертью. Сначала он достаточно вял, но в некий час набирает силу, жизнь становится нестерпимой, и ты произносишь сам: «Смерть, выручи!». Есть такая расхожая фраза: «надежда умирает последней». Вздор. Я умру еще до нее. Не страшно. Мне шестьдесят восемь. Как пишут спортивные корреспонденты: «Эта партия завершилась на шестьдесят восьмом ходу». И — *Felix opportunitate*

mortis! Счастлив, кто умирает вовремя. Хотя, разумеется, и обидно, что мало я прожил в новой квартире, которую ты для меня отстоял.

Я почувствовал, что сильно волнуюсь.

— Учитель, — сказал я, — все обойдется. Вы будете жить. Нам всем на радость.

Он насмешливо посмотрел на меня и сказал:

-- Сенсация! Поп яйца снес.

Я осторожно улыбнулся. Он рассмеялся и объяснил:

-- Это такой палиндром. Не пугайся. Попробуй прочесть справа налево.

То же самое, что слева направо. Все едино, мой мальчик, все едино! Спасибо тебе, что пришел. Иди.

Я чуть слышно сказал:

-- До свиданья, Учитель.

Он внимательно меня оглядел смелыми седыми глазами.

-- Прощай, сикамбр. Держись за трубу.

Спустя три дня Мельхиоров умер.

8

В летние дни девяносто первого держава все еще пребывала в аудиовизуальной горячке. Период длительной летаргии сумел-таки накопить в ее недрах шизофреническую энергию. Запасы оказались громадны.

Я тоже отдал дань лихорадке. Правда, голубому экрану я предпочел мой старый приемник, когда-то прошедший сквозь руки Випера. По крайней мере, не созерцаешь многих великолепных лиц. Тем не менее, если б Вера Антонова узнала о моем увлечении, она бы уверенно заявила, что я оказался не безнадежен.

Фатально, но именно игры с приемником вернули проснувшуюся гражданственность в ее исходное состояние. Однажды, странствуя по эфиру, я вдруг набрел на Марию Плющ.

Она была диктором радиостанции. Я не берусь судить и рядить о столь специфической профессии. Каждый возделывает свой сад. Но в голосе этой невидимки таился некий манкий секрет. Голос был так богат оттенками, так многокрасочен и щедр, что заменял саму Марию. Была в нем особая доверительность — о чем бы она ни сообщала и с кем бы она ни говорила, с политиком, рокером, акушеркой — она беседовала со мной.

Суть этого странного диалога была мне решительно безразлична. Я, словно в дачном гамаке, покачивался на знакомой волне. То было победой звука над смыслом. Я принимал условный сигнал, который будто спускал с поводка мое разогретое воображение. Отчетливо видел ее лицо и различал все ее стати.

Конечно, я хорошо понимал, что дама, которая вещает, пряча при этом свои черты, имеет немалые преимущества перед любой телезвездой. Она оберегает загадку. Это же нужно делать и мне.

Разумные мысли! Но проку в них чуть. Ограничители не в почете. Даже и трезвый человек испытывает против них раздражение. Мои связи помогли моей цели — я свел знакомство с Марией Плющ.

Я был наказан и — по заслугам. Не то чтобы мне предстала медуза. Напротив, вполне недурна собой, румянолица и черноброва. Но почти сразу же мне был явлен сокрушительный командирский нрав. Амбициозной категоричностью она мне напомнила Зою Вескую, но если непримиримая Зоя была радикальной социалисткой с сочной прудоновской начинкой, то сладкоголосая Мария — стойкой подвижницей феминизма. При первой же встрече она подчеркнула, что женщина может решительно все, ну а мужчина — остальное. И

только. Я согласился, что это так, однако добавил, что остальное тоже имеет известную ценность.

Она фыркнула:

— Сексистский стилек.

Эти два слова я слышал часто. Почти любое мое замечание сопровождал такой комментарий.

Она просила меня соблюдать безукоризненную корректность, не называть ее «дорогой», помнить, что за подобный эпитет в цивилизованной стране сажают на скамью подсудимых. О том, что ей приходится быть предметом разнузданных домогательств, нечего даже и говорить.

Я сказал ей, что в этом не сомневался. Она небрежно махнула рукой — одно дело об этом догадываться, совсем другое — пройти сквозь строй. Чего ей не пришлось испытать? Разве только не били шпицрутенами.

-- Кто же были эти подонки?

Она угрожающе ощетижилась.

-- Не дать ли вам явки и адреса?

Я даже удивился, узнав, что Мария Гавриловна была замужем. Брак ее, впрочем, длился недолго.

-- Муж был идиот. Я жила невестребованная.

Я выразил ей свое сочувствие и предложил меня навестить. С горьким всеведеньем усмехнувшись — другого она и не ждала, — она приняла мое приглашение. Едва кивнув, прошла по квартире, критически ее изучая. Сначала забралась с ногами в кресло, потом постояла перед тахтой, сверля ее рентгеновским взором. Проинспектировала и ванную, пощупала мой махровый халат. После чего саркастически бросила:

— Типичная берлога самца.

Впрочем, бывала она в ней часто. При этом, не дожидаясь зова. Истинная либертарианка не ждет, когда ее позовут. Меня даже несколько озадачивала целенаправленность наших встреч. Когда однажды я предложил ей сходить на прогремевший спектакль, она мне живо дала понять, что выпавший ей свободный час не станет тратить на культпоходы.

При этом она неизменно терзалась по поводу моей бездуховности. И впрямь, к чему ей ходить в театр, она с успехом творила свой — я был назначен на роль плебея, который топчет аристократку. Со вкусом она со мной обсуждала мои очевидные несовершенства.

Естественно, я старался понять, что же ее ко мне привязывает. Она отвечала неопределенно, либо с надменным ликом отмалчивалась. Изредка, впрочем, не то страдальчески, не то патетически бормотала:

— Если б не эта бабская слабость...

Мне вспоминались слова Мельхиорова о том, что феминизм — не теория, он, в сущности, иммунный гормон, рожденный сегодняшней амазонкой в борьбе со склонностью к нимфомании. Учитель всегда тяготел к системности.

Смиренно и грустно я ей покаялся, что притомился на сладкой барщине. С презрением она дала мне вольную. Я и на этот раз унес ноги.

Мое беспросветное холостячество сильно травмировало отца. Он повторял, что в сорок шесть лет уже пора мне определиться. Горько, что я не ищу ничего, кроме очередных впечатлений. Конечно, я мог бы ему сказать, что вековечный страх рутины лежит в основе любого поиска, но наша дискуссия завела бы в метафизический лабиринт — мы из него не скоро бы выбрались. Я лишь заметил, что образ жизни — в каком-то смысле лицо судьбы. Возможно, есть некая неизбежность в том, что живу я именно так. Он кипятился и уверял, что всякий передовой человек не ссылается ни на внешние силы, ни на собственную природу, ни на генетику, ни на рок — он осуществляет свой выбор. Я соглашался: да, разумеется, но этот выбор детерминирован. Отец хва-

тался руками за голову: какая младенческая уловка — вот так уклониться от личной ответственности.

Он, безусловно, меня любил, один только он на всем белом свете, и я это хорошо понимал, но, думаю, что на этом же свете не было еще двух людей, столь непохожих, как я и он. И дело тут не в чередности поколений, ни даже в этом фатальном отталкивании сына от своего отца, которое, верно, берет начало в таинственную минуту зачатия, просто-напросто мы были сработаны из разнородного материала. Должно быть, неведомый мне Шутник всласть поразвлекся, когда вдруг выбрал в мои родители энтузиаста.

В последнее время он был невменяем. Не так давно оформилось сборище, этаким элитарный клуб, в котором московские златоусты оттачивали языки и предлагали наперебой свои проекты расцвета отечества. Не знаю как, но отцу удалось проникнуть на вече свободолобцев, где пенилось вольное русское слово. Отец возвращался оттуда в угаре, молитвенно твердя имена новых мыслителей и пророков. Сейчас он пребывал в эйфории от дамы по фамилии Веникова. Однажды он позвонил поздно ночью. Он просто захлебывался от возбуждения.

— Сегодня я познакомился с ней, — крикнул он после первой же фразы.

— Искренне радуюсь за тебя. Но и сочувствую Вере Антоновне.

— Ну, у тебя одно на уме. Послушал бы, как она нынче выступила. С таким подъемом, с таким огнем. Просто невероятная женщина. Такая яркость и сила мысли! Действительно, светлая голова. Я выразил ей свое восхищение. Слово за слово, и что же ты думаешь?

— Секунду. Ты взял у нее телефон?

— Уймись, наконец. Она тебя знает! Когда выяснилось, что я твой отец, она буквально затрепетала. Просила тебе передать привет.

— Как зовут ее?

— Арина Семеновна.

— Ну, разумеется. Где же ей быть? Эпоха нашла ее и затребовала.

— Ох, и умна, — повторил отец.

— Да, этого у нее не отнимешь, — я громко зевнул.

Отец встревожился.

— Ты, верно, лег? Извини, пожалуйста. Надо было дожидаться утра.

— Не страшно. Я тебя понимаю.

Вздохая, я погасил ночник. И чем она его проняла? А впрочем, лишь расхожие мысли и, кстати, лишь расхожие фразы имеют влияние на умы. Поскольку наши умы — ленивы.

Дня через два она позвонила.

— Белан, это ты? Говорит Арина. Свела знакомство с твоим отцом.

— Я знаю. Он от тебя в восторге.

— Он — необыкновенно живой, мобильный, мыслящий человек.

— Что и говорить...

— Ну а ты? Не киснешь?

— Держу себя в рукавицах.

— Женился? (Я внутренне напряжился. Такие вопросы всегда — прелюдия.)

— Представь себе, еще не собрался.

— Не можешь меня забыть? (Начинается.)

— Естественно.

— Ой ли? (Опять это «ой ли»? Вот уж истинно — пронесла через жизнь.)

Вслух сказал:

— В этом нет ничего удивительного.

— Белан! А ведь надо бы повидаться. (Ну да. Только этого не хватало.)

Я спросил ее:

— Как твой контрабасист?

- Мы расстались. Я уходила к Курляндскому.
- В самом деле? Кто же это такой?
- Белан! Ты что — газет не читаешь? (Вот горе. Ну откуда мне знать?)
- Прости. А что про него написали?

Она призвала меня к порядку.

- Белан! Он — Курляндский. Он пишет сам.
- Ах, вот что. Действительно, я отличаюсь. Постой, а почему же ты — Веникова?

- А я ушла от Курляндского к Веникову.
- Черт побери. За тобой не угонишься.
- Еще бы! Ты это должен знать. (Внимание. Опасное место. Возможен лирический поворот.)

-- А Веников тоже где-нибудь пишет?

-- Он — архитектор. И — не последний.

-- Опять я дал маху. И что ж он возводит?

Она вздохнула, потом сказала:

-- Сейчас для него — не лучшее время. Всюду — такая неразбериха.

-- Во всяком случае, ты довольна?

-- Более-менее. Он, разумеется, хотел бы, чтоб я сидела дома.

-- Еще чего! — я возмутился. — Стоило уходить от Курляндского!

Она озабоченно проговорила:

-- Курляндский, в сущности, очень с ним схож. Тоже не мог понять — в наше время мыслящий деятельный человек не смеет остаться в стороне. Ты видишь, как помудрел народ? Как он социально отзывчив?

Я с чувством заверил ее, что вижу. Она сказала, что хочет встретиться. Я понял, что нужно скорее слинять из разгоряченной столицы. Не зря учил меня Мельхиоров: спрятаться — это цель, а не средство. Если б я мог ему позвонить, услышать его хрипловатый голос: «Здравствуй, сикамбр!» Но в нашей юдоли этого больше уже не будет. Бедняга! И двух недель он не пожил в своей автономной конуре, казавшейся ему царским чертогом. Всякий раз, когда я об этом думал, я чувствовал, как некто безжалостный, искусный мастер пыточных дел, проводит прямо по сердцу бритвой.

Августа я ждал с нетерпением. Я сильно устал. Душой, а не телом. Мне плохо удавалось укрыться от девяносто первого года, хотя я старался ему показать, что не хочу с ним иметь отношений. И все-таки он меня доставал. С первого дня своего воцарения год разговаривал на басах, и в этом угрожающем тоне слышалась сдавленная истерика. С первого дня сотрясалась почва. И вот она заходила в Вильнюсе, и вот уже вздыбилась в Баку. Сначала лилась армянская кровь, потом — азербайджанская кровь, а чем одна от другой отличалась, пусть населению объясняют авторы заказных откровений.

Бездарный конец семьи единой! Я вспомнил тропическую Асмик. Где она? Где ее юный Лятиф? Навряд ли я узнаю о нем, о его страстном друге Панахе и, уж тем более, — о Менашире.

Охотней всего я б уехал в Юрмалу, в которой когда-то увидел Ярмилу, но Латвия уже стала недружественной и, в сущности, закордонной страной. Поэтому — в один день с Горбачевым — я отправился на полуостров Крым. Но он — вместе с Райсой Максимовной — в Форос, а я в одиночку — в Мисхор.

Август не обманул ожиданий. Почти девятнадцать оранжевых дней истомы и неги, без всякой печати. История дала передышку. И вдруг за сутки она спрессовалась, ускорила свои обороты, и сразу же хрустнули на весь мир косточки трех московских мальчиков, попавших под ее колесо. Столица вошла в Мисхор, словно танк, и все стало шатким, почти что призрачным — и запах моря, и свет луны, бегущий золотистой полоской по смуглой черноморской волне, и крутолобая сибирячка, приехавшая в Крым из Инты с надеждой отмерзнуть и оттянуться.

В конце августа я вернулся в Москву. То было своеобразное время — знакомые люди не столько ходили, сколько порхали, даже парили. Лица приобрели выражение новой значительности — в ней ощущалась сопричастность к небывалым событиям, второму великому перелому. Даже в глазах, мутневших от старости, можно было легко прочесть пьяную юношескую восторженность. Отец меня обнял и сообщил, что может теперь умереть спокойно. Павел Антонович, уже не похожий на загнанного в угол оленя, выразил стойкую уверенность, что та с е д м и ца — начало эры истинно мыслящих людей. Розалия Карловна, всегда молчаливая, была непривычно оживлена и больше не выглядела жертвой, смирившейся со своею долей. Вера Антоновна резюмировала общее настроение родственников: похоже, что наконец страна находит настоящего лидера.

Я обнаружил немало просьб, записанных на автоответчике, чтоб я отозвался, когда приеду. Первые дни я только и делал, что накручивал телефонный диск. Было и следующее обращение, озвученное голосом Випера: «Прошу советского Пелама, сбежавшего на юг Белана, Чтоб сей достойный озорник, Мне позвонил в свободный миг».

Эти стихи мне не слишком понравились. Не ощущал я себя ни Пеламом, ни беглецом, ни озорником. И вообще это слово — «сбежавший» — звучало достаточно уничижительно. Поэт несомненно давал понять, что я намеренно удалился под сень кипарисов, пока он сам вышел на randevу с Историей. Уже не в первый раз я почувствовал, что Саня не прочь меня уколоть.

Однако, когда я ему отзвонил, он был достаточно лаконичен. Выяснилось, что он припас действительно незаурядную новость: Борис Богушевич намерен вернуться. Об этом ему сообщила Рена. Кстати, она и просила Випера при случае меня известить.

Наш разговор во мне поселил самые смутные ощущения. Прежде всего, меня удивила его сдержанность — ни слова о том, как он провел боевые дни. Было не слишком приятно и то, что Рене понадобился посредник, могла бы и сама позвонить. Да и Борис меня огорошил. Он был одним из немногих людей, не затерявшихся в эмиграции. Напротив, стал заметной фигурой. А главное — из его выступлений следовало, что он распротился с неласковой родиной бесповоротно. И вот — пожалуйста! — что его ждет? Я вспоминал слова Мельхиорова: «Российской свободе не доверяй».

Эфир буквально бурлил и дымился — он был заряжен речами, исповедями, беседами, новостями, сенсациями. Частенько до меня доносился воркующий голос Марии Плущ, но он — я отмечал это с грустью — не вызывал ответной вибрации.

Вдосталь перекормившись словами, охотней всего я слушал музыку. Возможно, сегодня я бы поладил и с этой изменницей Сирануш. Теперь бы я не свалил в антракте из богомольной Консерватории. Тем более, был обещан Брамс. Я вспомнил вопрос Франсуазы Саган, ставший названием романа: «Любите ли вы Брамса?». О, да! С удовольствием послушал бы Брамса.

Впрочем, и музыка не избежала отчетливых гражданских мотивов. Ахматовский «Реквием» вдохновил композитора. Он был сыгран — и с немалым подъемом — оркестром Министерства внутренних дел.

Когда в мою звучащую Нирвану ворвался телефонный звонок, я выругался — всегда не вовремя. Естественно, это была Арина. Она осведомилась с обидой: в порядке ли мой автоответчик? Я буркнул, что иногда он буксует, пасует перед мощной энергией. Этот уклончиво льстивый ответ был принят — Арина сообщила, что в августе она мне звонила. Здоров ли я? Да, более-менее. Она сказала:

-- Я думала, что тебя встречу.

-- Где это?

-- У Белого дома.

- Ах, ты там была?
- Ты меня поражаешь. Где же мне быть?
- Извини, ради Бога. Глупый вопрос.
- И кого я там встретила?
- Контрабаса?
- Белан!
- Тогда — Курляндского.
- Ну что за шутки?!
- Ельцина?!
- Випера! Саню Випера! Можешь себе представить?

Я выразил свое восхищение:

- Замечательно. Место встречи — эффектное.

Арина прочувствованно объявила:

- Он очень созрел за это время.
- Что и говорить.
- Сильно вырос. Я очень обрадовалась ему.
- А он — я убежден — еще больше.
- Ой ли? Почему ты так думаешь?
- Мой ум аналитика мне подсказывает.

Арина была безмерно довольна. И одарила меня хохотком.

- Ну, ты от скромности не умрешь.

Я сказал:

- Слава Богу. С этим успеется.

Она вернулась к приятной теме:

- Встретиться через столько лет... И где! В самом деле — тут что-то есть.
- Что и говорить. Просто здорово. Веников уже знает об этом?
- Белан! Не выходи из границ. Я ведь могла с тобой не делиться. Очень

уж было мне занимательно, как примешь ты такой поворот.

Я заверил, что все от нее приму. Хоть пулю в лоб. Она снова пришла в доброе расположение духа.

На этом стоило бы проститься, но ей, как видно, хотелось подробней промаковать всю ситуацию. Она спросила:

- Ты очень занят?
- Как никогда. Вершится история, а люди продолжают сутяжничать.

— Тебе бы стоило однажды прийти на наш «Форум». Там звучит истинная музыка будущего.

В списке любимых моих изречений было одно — чрезвычайно уместное — и я ввернул его в нашу беседу:

— Я вовсе не против музыки будущего, если только меня не заставляют слушать ее в настоящем.

- Ах, вот как? — проговорила она недовольно. — Сам придумал?
- Ну, куда мне?.. Князь Вяземский.
- Вот уж нашел, на кого сослаться. Он был убежденный консерватор.
- Возможно. Но далеко не глупый.

На этом наш живой диалог умер естественной смертью. Но на прощанье она посулила, что приобщит меня к прогрессу.

В последней декаде ноября в Москву вернулся Борис Богушевич. Вечером, приглашенный Реной, я снова вошел в знакомый дом.

Давно же я не был под этим кровом! Тогда я пришел проводить Бориса. Народу здесь было гораздо больше, теперь явились лишь я да Випер. Рена сказала мне, что ее брат не пожелал шумной компании. Он хочет сам присмотреться к людям.

Он изменился, и очень заметно. Черные волосы посерели, они приобрели непонятный, какой-то промежуточный цвет, кроме того, их стало меньше. Костистое лицо округлилось, пожалуй, и не только оно, под бежевым пушистым

пуловером уже угадывался животик. В глазах, однако, спокойствия не было, стоило ему бросить взгляд — и сразу возник былой Богушевич.

Он взял мои плечи двумя руками — не то подержал их, не то потряс. Этакий скуповатый жест, обозначающий дружелюбие. Мужчины обходятся без сантиментов. Я спросил его, где же Надежда Львовна. Он сказал, что она осталась в Мюнхене — привыкла к новому ритму и стилю. С возрастом становится трудно резко поворачивать жизнь. Но он убежден, что все образуется. Время обладает способностью выделить приоритетные ценности.

Он протянул мне ее фотографию. Я нипочем бы ее не узнал. Куда подевалась ее сухопарость? И где ее короткая стрижка? В плетеном кресле близ розовой клумбы сидела полная рыхлая дама, на лоб ее падали куделечки. Даже профиль ее не выглядел птичьим. И вся она, подобно Борису, сделалась овальной, круглее, подстать очкам с притемненными стеклами. Я вспомнил растрепанную синичку, которая без конца повторяла: «Ну почему я должна уехать?». Похоже, она нашла ответ.

Я подкрепил оптимизм супруга. Бесспорно, мы скоро ее увидим. Слишком значительно то, что их связывает. Ее биография перевесит привязанность к новому очагу, который она сумела построить.

Он бодро кивнул — она поймет. Он объяснял ей, что просто обязан вернуться на освобожденную родину. Страна на решающем рубеже, и место его сегодня — в Союзе.

Я заметил, что такое решение, естественно, делает ему честь. Свидетельствует не только о мужестве, но и о верности идеалам. Накануне я прочел о скворцах, не пожелавших вернуться в Россию. К ужасу почтенных голландцев, они остались жить в Нидерландах.

Випер поморщился. Он сказал, что Богушевич, должно быть, отвык от моей ернической манеры. Я удивился: какое ж тут ерничанье? Это орнитологический факт. Борис посмотрел на меня с подозрением. Мягко и подчеркнуто внятно, совсем как терпеливый учитель, сказал, что, как видно, ему надлежит ясней изложить свою позицию. Пятнадцать лет выходил он в эфир, как дятел стучался своей головой в чугунную стену непонимания, в советский клишированный уклад. Есть и его капля крови, частица разума и души в том, что в конце концов произошло. И он отвечает за новый век. Не мог он остаться в уютном убежище, издалека посылая советы. Можно и доживать жизнь, но это — как дожевать пайку. Однако дело не в нем, а в нас. В отличие от него, мы не видим, в какую западню мы стремимся. Соблазн вестернизации явен, мы можем выплеснуть вместе с водой социалистического младенца.

Я спросил его, должен ли я понимать, что он приехал сюда сражаться за распределительный идеал. Он подтвердил, что именно так. Отечество, можно сказать, в опасности. К власти зовут монетаристов, а он эту публику знает отменно. Они одержимы и немилосердны, он просто обязан раскрыть нам глаза.

Я осторожно его остерег. Мне кажется, что ему после Мюнхена будет непросто войти в магазин, где можно купить одних продавщиц, что, впрочем, небольшая отрада. Но Богушевич лишь отмахнулся. Уж он-то знает реальную цену рекламной прелести изобилия. Витрина — это Большой Обман. Я напомнил, что именно эти речи его довели до резистанса. Он снова нетерпеливо поморщился. Само собою, что в экономике были существенные изъяны. Но можно поставить ее на рельсы, не нарушая великих принципов. Он прочитал мне длинную лекцию о некоем испанском священнике, не то из Бильбао, не то из Севильи, апостоле групповых предприятий. Коллективистское начало — неоспоримый залог процветания! Он спросил, отчего это я улыбаюсь? Я буркнул, что мне сейчас не до улыбок. Один знакомый мне парикмахер любил говорить своим клиентам: «Берусь вам сделать красивую голову, умную голову — не берусь». Все политические цирюльники, даже если они и севильские, божатся, что сделают нас умнее, а не сделают и красивой витрины.

Випер заметно заскучал. Он сказал, что сейчас в большом ходу экономические бенефисы. Но лично ему от того не легче. Стихи никогда никому не нужны, но раньше, когда вся мощь державы глушила свободную речь Богушевича, он, Випер, так оснащал приемники, что это давало прожиточный минимум. Теперь же, когда эфир очистился, эта статья дохода ушла.

Я сказал ему с неподдельным участием:

— Занятно. Ты способствовал гласности, но именно гласность тебя разорила.

Невинная шутка, но Випер обиделся. Все то же, что тридцать лет назад. Его закручинившиеся глаза сразу же обратились в сторону. Потом, драматически посопев, сказал, что ни о чем не жалеет. Нет ничего невыносимей, чем укрощенный голос поэта. Пусть я богат и пусть он беден, теперь он свободен, а значит — счастлив.

Я спросил его, откуда он взял, что мой бумажник набит так туго. Богатством я никогда не хвастал, считаю это такой же пошлостью, как хвастать бедностью. Он замолчал и снова уставился на стену.

Рена решила снять напряжение. Она торжественно оповестила о скорых и важных переменах — на сей раз не в обществе и не в мире, а в личной жизни нашего друга. При этих словах Випер зарделся.

Вот это сенсация! Саня женится. И разумеется — на Арине. Нежданная встреча у Белого дома и героическое стояние соединило тела и души. Немного смущенно он объяснил, что, в сущности, этот союз предначертан. Все его страсти кончились крахом. Ей тоже не слишком везло в ее жизни. Пусть поздно, но оба нашли друг друга.

Я от души его поздравил. Трудный затянувшийся путь. Но я с ним совершенно согласен — счастливый исход был неизбежен.

Стало быть, Веников разгримировывается и сходит со сцены — его отправляют на встречу с Курляндским и контрабасом. Все трое будут делиться опытом. Мы чокнулись за жениха и невесту.

Наша беседа утратила стройность, все обаятельно перепархивали с темы на тему, как с ветки на ветку. Борис рассказал, что в прошлом году был на Земле Обетованной и повидался там с Рымарем. Слава грустит по ушедшей молодости, но, в общем, настроен вполне благодушно. В делах — порядок, в семействе — мир. Вспомнили они и меня. Слава Рымарь даже расчувствовался.

— Приятно, — вздохнул я, — хоть кто-то на свете сказал обо мне доброе слово.

Рена медленно меня оглядела своими внимательными светильниками. Ночное такси спешит на выручку ко мне, одинокому пешеходу — шутил я бывало, когда ловил эти зеленые огоньки. Сегодня она совсем не участвовала в спорах, куталась в свой платок, то уходила, то появлялась — подпитывала наше застолье.

Господи, как поработало время над этим пленительным лицом! Поблекли щеки, одрябла кожа, страдальческое выражение глаз еще отчетливей и тревожней. Пользуясь тем, что Борис и Саня заговорили о Кейнсе и Фридмане, она отозвала меня в уголок к маленькому круглому столику и усадила на хрупкое креслице — оно уже рассыхалось от ветхости.

Она сказала, что, как ей кажется, я нынче был не в своей тарелке. Ей хочется знать, что происходит.

Я никогда не мог с ней лукавить. Не больно мне весело, это правда. Боюсь, что Борис нас всех удивит. Что он привез из всех своих странствий? Какого-то баскского аббата с экономическим фаланстером. Европа ему не пошла на пользу.

— Жизнь ему не пошла на пользу, — сказала Рена. — Как всем остальным.

Она помолчала, потом вздохнула:

— Он благороден и простодушен.

Простодушен? Недурной эвфемизм. Но вслух я этого не произнес. Попросил ее рассказать о себе. Я уже знал, что последние годы Рена работала в «Мемориале». Но оказалось — она ушла. Слишком сгустилась там атмосфера, возникли противостоящие группы. Как я понял из ее сбивчивых слов, ее потрясло, что достойные люди, столько изведавшие на свете, меченые одной судьбой, никак не могут ужиться друг с другом. Везде и всюду — не только религии — и души ближних не экуменичны. Бог разделен и мир разделен — в этом-то все наше горькое горе. Печально, но я оказался прав — в конечном счете и католичество немногим терпимее православия. И все-таки она не жалеет, что занималась им столько лет. Все это не прошло бесследно, а в католическом катехизисе есть замечательные слова: «Каким я родился — это дар Бога мне, а каким я умру — это уж мой дар Богу».

Мне захотелось ее ободрить. Очень возможно, все дело в том, что и христианская церковь не стояла на месте — в процессе развития неизнаваемо изменилась. Она ведь начиналась с того, что не знала пафоса государственности. Но вот уже сколько веков она служит государственности вернейшей опорой. Коммунистическая диктатура дала ей, по сути, счастливый шанс — стать снова прибежищем гонимых. Куда там! Ее служители сразу же ухватились за кусок пирога.

Она невесело улыбнулась. В моих рассуждениях есть зерно. Сердце религии — это тайна. Просто ужасно, когда она входит в этот политический рынок, становится предметом бонтона, козырем в шулерской колоде. Тут сразу и пошлость и фарисейство. А может быть, все это неизбежно. Однажды она прочла об исследовании, написанном шесть столетий назад двумя отчаянными монахами. Они изучали с великим тщанием договор, заключенный Богом и Дьяволом. В нем при известных обстоятельствах Бог попустительствует Сатане. Размеры этого попустительства определяются соглашением. Вот так и подумаешь, что в синтоизме есть свой резон — обещание счастья в этой, а не в загробной жизни.

Випер сказал, что прочтет стихи. Он написал их совсем недавно. На этом и кончилась наша беседа. После литературной части я почти сразу уехал домой.

В первой декаде декабря три новоявленных президента собрались на свою тайную вечерю в укромном охотничьем заповеднике и объявили, что мы суверенны. Отец авторитетно сказал, что это решение нам во благо. Он сослался на Арину Семеновну. Эта недюжинная женщина поставила все на свои места. Для светлого будущего демократии подобный развод будет только полезен. Я был безутешен. Веселое дело! Сначала у меня отняли Юрмалу. Теперь у меня отбирают Крым. Некуда будет поехать летом. Арина и Випер, конечно, устроятся. Они проведут свой медовый месяц на заседаниях прогрессистов, а что прикажете делать мне? У каждого есть свои привычки, они-то и составляют плоть жизни.

Естественно, что для отца мои речи были дегтярной каплей в цистерне, наполненной упоительным хмелем. Он лишь дивился причудам генетики, подбросившей ему странного сына. Нет даже капли сходства с отцом! Досадно. Но — мне бы его заботы.

Насыщенный год катился к финишу. Морозным вечером я устроился удобнее в старом отцовском кресле — была обещана речь Горбачева. Как можно догадаться — прощальная. И вдруг прогремел дверной звонок.

Я недовольно побрел в прихожую. Кого это черти ко мне несут в столь судьбоносную минуту? К тому же я просто терпеть не мог, когда меня ставили перед фактом. За дверью, цветущая от мороза, но сильно взволнованная, стояла Анна Ивановна Пономарева.

Она оттеснила меня плечом, быстро вошла и, сбросив шубу, сказала:

— Прости, что я — без звонка. Душа горит. Авось не прогонишь.

Когда-то она у меня побывала. Диссертация о морали атлетов была завершена, нам пришлось отдать кабинет для совместной работы. Но мне удалось ее убедить, что милицейский генерал явно почуял запах паленого — дымится его очаг, его тыл! Я даже намекнул, что, по-моему, он дал своим сыскарям задание. Мне наплевать, но она — не я. Она и жена, и общественный деятель. Я не прощу себе, если вновь стану причиной ее печалей. Мой альтруизм ее растрогал. Больше она не появлялась. И вот она здесь — сама не своя. Ох, Нюра, не зря я тебя уверял, что мама меня остерегала от девушек из города Сальска.

— Душа горит, — повторила она и вытащила из сумки бутылку. — Разлей быстрее, хочу надраться. Какую страну пустили на ветер...

Мы выпили и по второй, и по третьей. Она стащила с ног сапоги.

— Пономарев пьет третью неделю, — вздохнула она. — Ах, будь ты неладна... Колготка поехала... кто их делает?..

— Когда же он охраняет порядок? — спросил я.

Она махнула рукой.

— Да он уж три месяца — отставник. Все — прахом, а ты говоришь -- порядок... Какой там, к едрене фене, порядок...

Она еще шумно сокрушалась, выпрастывая из юбки и свитера жаркое нетерпеливое печево. Рядом вещал наш бедный Горби. Но было уже не до него. Ни даже до того, что сейчас на наших глазах испускает дух непостижимейшая империя.

9

В том роковом девяносто пятом меня ждала юбилейная дата. Стремительно приближался полтинник. Впервые я стал подмечать за собой какую-то старческую брюзгливость. С утра выводило меня из себя обилие рекламных проектов и разных газеток такого же свойства. Каждое утро я выгребал из своего почтового ящика листовки неведомых зазывал. Не меньше меня раздражала и пресса, которую я по привычке выписывал, — мутная смесь зловещих прогнозов, глупых скандалов и криминала. Мало-помалу я перешел на чтение одних заголовков. В сущности, теперь я читал лишь специальные издания, имевшие связь с моей профессией. И сны мои были подстать этой яви — решительно ни одного из них не хотелось досмотреть до конца. Да это было и невозможно, все они были дробные, рваные, к тому же совершенно бессмысленные — как говорится, ни ладу, ни складу.

А между тем, я совсем не имел каких-либо видимых причин жаловаться на свое положение. Все еще был достаточно крепок, гляделся моложе собственных лет, я уберегся от седины, тучности, скучных недомоганий. Когда наш лифт выходил из строя, легко взбегал на шестой этаж, не чувствовал коварной одышки. Да и дела мои шли отменно, круг моих повседневных занятий и расширялся, и обретал все более уважаемый облик. Теперь я способствовал и подготовке учредительных документов, и получению лицензий, и регистрации корпораций. Я то и дело погружался в конфликты разноплеменных фирм и их отношения с державой. Я наблюдал за оформлением продажи и купли земельных участков — потом на них возводились дома, иной раз и настоящие виллы. Я близко увидел богатых людей — характеры их были несходны, но все они источали энергию и непреклонную готовность принять условия новой игры. И в самом деле были способны отдать за свое обретенное жизнь.

Глядя на этот суровый мир, в котором внешняя непроницаемость искусно скрывала азарт и страсть, я часто испытывал тихую радость при мысли, что

сам-то я не таков, что мой предел и мой потолок — стать во главе адвокатской фирмы. Но даже и эти скромные замыслы я не спешил осуществить, я не желал подвергать испытаниям свой устоявшийся образ жизни. Надежнее плыть, держась за трубу.

Я все еще оставался холост. Не то чтобы я дорожил свободой, — пугала необходимость общения независимо от состояния духа. Я рисковал угодить в ловушку. Тем более, опыт мой был невесел — как правило, мои милые гости не были сильны в диалоге. Одни — по необоримой склонности к чисто монологической форме, другие — по скудости их ресурсов. Должно быть, мне не слишком везло — то гневный камнепад обличений по схеме Марии Гавриловны Плющ, то псевдосмиренные ламентации — на них была особенно падкой одна лирическая юница. Она кокетливо сокрушалась: «Я только кукла в твоих руках». На куклу она была похожа не больше, чем на Орлеанскую девственницу.

И все-таки привычная жизнь так же исчерпала себя, как прежняя жизнь всего отечества. Я понимал — и вполне отчетливо — даже насильственные меры уже никогда ее не восстановят. И если бы с помощью репрессалий вернуть ей старую униформу — под ней бы таилась другая плоть. И даже — совсем другая душа. Та, что когда-то в ней поселилась, незрячая, непонятная, темная, не то облетела, не то изошла. Нет, новой еще не народилось, но место, хоть и не было свято, все же оказалось не пусто. Там kloкотало нечто пульсирующее, неутомимое, как кровоток. Чем обернется? Да кто ж его знает!

В ночь на двадцать второе июня слетел ко мне необычный сон. В отличие от дурацких обрывков, которые меня донимали, в нем был и сюжет, и протяженность, и ощущение полной реальности. Не знаю, что было тому причиной. То ли что наступивший день считается самым длинным в году, к тому же он был зловещей датой начала давно минувшей войны, то ли что уже долгое время томила меня душевная смута и сон вобрал ее в свой состав — суть в том, что я увидел его, и он, как нож, вошел в мое сердце.

В том сне я отчетливо видел себя в промывтый дождем предзакатный час. Я шел по Кутузовскому проспекту, а в небе над Триумфальной аркой горела небывалая радуга — еще две арки, одна над другой. Я был сокрушен неистовством красок — фиолетовой, зеленой, лимонной, синей, карминовой, голубой. Между этими воздушными дугами не то колыхалась, не то дрожала темная дымчатая кисея. Казалось, что волей искусного зодчего над улицей выгнулся виадук.

Я еще не успел себе объяснить, что предвещает воздушное чудо, когда на самом углу квартала увидел стоящего человека. Встречные его обтекали, он не двигался, точно кого-то ждал. Он обращал на себя внимание счастливой притягательной внешностью — строен, высок и хорош собою, — а между тем это был Мельхиоров. Помнится, я сразу подумал, что он одет не по погоде — в черном застегнутом пальто. Кроме того, меня поразила бледность лица, мне показалось, что Мельхиоров густо напудрен. Я тщетно пытался найти рябины, не мог понять, по какой причине он так отчаянно похорошел.

Он посмотрел на меня смущенно, будто хотел попросить прощения за то, что задал мне эту загадку. Потом негромко проговорил с несвойственной ему неуверенностью: «Вы разрешите мне вас обнять? Я уже больше не ваш учитель».

Станный вопрос, странная фраза. И почему он со мной на «вы»? Но я ни о чем его не спросил. Я просто сказал ему: «Разумеется». И мы обнялись. В этот миг я проснулся.

Все утро мой сон не отпускал меня. Я то и дело к нему возвращался, скорее даже — душой, чем мыслью. Я был взволнован и его связностью, и тем, что он меня посетил. Должно быть, не так я неуязвим, как кажется это моим знакомым. Но главным, что из него я вынес, было сознание одиночества.

Что ж, значит, так Бог распорядился: живым закрывать глаза мертвецам, а мертвым открывать их живым.

В полдень пришли Богушевич с Випером — «держать совет», как они объявили. Я все еще был в непонятной власти ночного сна и не сразу врубился в проблему, поставленную на обсуждение. Зато я был рад, что она у них — общая. После того, как Борис вернулся, у них начались серьезные трения. Тут было нечто парадоксальное — Борис, проживший двенадцать лет в комфортной мюнхенской повседневности и относительном достатке, носился с аббатом-социалистом, а вечно неблагополучный Випер твердил о трагедии России, которая однажды пошла за соблазнителем-крысоловом, сыгравшим на дудочке свою песенку о том, что равенство выше свободы. Долгое время они ограничивались послеобеденными дебатами, но в октябре девяносто третьего было два шага до рукоприкладства. Борис защищал Верховный Совет, а Випер выражал свою радость по поводу его поражения. Я присутствовал при исторической соре и должен сознаться, что в этот день они ненавидели друг друга. В какой-то момент мне показалось, что дело дойдет до рукопашной.

Весь белый, Богушевич кричал, что Випер — враг парламентаризма, а депутаты — это избранники отдавшего им голоса народа.

Випер спрашивал его, с каких это пор дурдом называется парламентом, а эти придурки — депутатами.

Богушевич напоминал, что Випер не знает никого из них лично и, стало быть, не имеет права огульно всех окрестить придурками.

Випер насмешливо отвечал, что, слава Богу, он не глухой, слышал божественные звуки их эллинской речи, а был бы глухой, тоже имел бы все основания, чтобы назвать их именно так — достаточно посмотреть на их лица.

Богушевич торжественно объявил, что Саня Випер — не демократ. Випер сказал, что быть демократом и быть дебилом — разные вещи.

Богушевич крикнул, что интеллигенция оплакивает разгон парламента. Випер ответил, что климактерички не представляют интеллигенции. Борис назвал Випера бардом диктатора, а Випер Бориса — бойцом Макашова.

Скверный был день! Глядя на Рену, я попросту испытывал страх — вот-вот и потеряет сознание. Казалось, она на глазах стареет. Я вспомнил, как, уезжая в Германию, Борис сказал, что они «советские», что эта прививка неискоренима. О, да! Извольте понять людей, чья связь была больше и крепче родственной, готовых теперь изувечить друг друга из-за неведомых им актеров политического аттракциона. Просто какое-то наваждение. Впрочем, они были не одиноки. Клуб ораторов — однодумцев Арины — тоже, перекалившись, взорвался от собственных запальных речей.

Чуть ли не год они не общались. Потом, после некоторых усилий — моих, Арины и бедной Рены — их отношения восстановились. Парламентские сражения стихли, зато оппонентов заметно сблизил наша кавказская война — оба ходили как в воду опущенные. Да и, как выяснилось, привычка — все-таки не последнее дело.

И вот они появились вместе. Ко мне их привел безумный проект, внушенный, как я полагаю, Реной. После разлуки с «Мемориалом» она посвятила свою энергию реформам в пенитенциарной системе. Был создан центр с благою целью внести перемены в жизнь за проволокой. Рена то ездила по колониям, то заседала на конференциях и жаловалась, что дело не движется. С одной стороны, не хватает средств, с другой стороны, мешают косность и откровенная предубежденность. Общество потеряло сочувствие к людям, томящимся в заключении, — оно устало от криминала.

Поэтому Богушевич и Випер замыслили издавать журнал, названный ими «Открытая зона». Привлечь внимание читающей публики к осужденным, или осужденным (именно это ударение делалось в правоохранительных органах). Реформирование этой системы — по мнению Випера и Богушевича —

единственный путь сократить преступления, ибо сегодня система и есть их питательная среда, институт повышения квалификации.

Все это было вполне разумные и общеизвестные рассуждения, изложенные с чрезмерной горячностью. Я предложил им по чашке кофе — и как безобразно они его пили! Давясь, торопливо, наперегонки, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Они совершенно не понимали, что это минуты священнодействия, которые нельзя упускать. Я спросил их, чего они ждут от меня. Оказывается, они рассчитывали, что я помогу им найти доброхота, который рискнул бы их поддержать. И тот и другой были свято уверены, что все магнаты — мои приятели.

Я поблагодарил за доверие и лестное мнение обо мне. Но несколько остудил их пыл. Переизбыток различных изданий порядком насторожил меценатов, и обольстить их будет непросто.

Мои сомнения огорчили создателей нового рупора права. Богушевич не преминул заметить, что он никогда не питал иллюзий, он знает цену всей этой публике, остервеневшей от легких доходов. Випер был более благодушен, сказал, что Борису стоит умерить свой классовый пафос, дело есть дело, они надеются на мои связи.

Должен признать, что союз с Ариной явно пошел на пользу поэту. Он выглядел спокойней, беспечней, а главное — не в пример ухоженной. Арина вертелась в каком-то фонде и как-то втянула туда и его. Он был при деле, оброс знакомствами и начал наконец зарабатывать. Теперь в его манере держаться, острить, делиться соображениями сквозила напористость человека, берущего у жизни реванш. Впрочем, обидчив он был как прежде. Шутки по собственному адресу воспринимал еще нетерпимей, даром, что сам был колюч на язык. Что же касается Богушевича, то, если бы не его сестра, он оказался бы одиноким старым монахом с дырявым зонтиком, как называл себя Мао Цзэдун. За все эти годы Надежда Львовна гостила в Москве четыре раза, и то не слишком длительный срок. И всякий раз она удивлялась, как это все мы тут можем жить. Мне было искренне жаль ее мужа.

В том грустном растроганном состоянии, в которое меня погрузило ночное свидание с Мельхиоровым, я не сумел ответить отказом, хотя абсолютно не понимал, чем я сумею быть им полезным. Однако в последующие дни я добросовестнейше расспрашивал знакомых и малознакомых людей, нет ли какого-либо охотника облагородить свое богатство.

Прошло две недели, и ранним утром один мой клиент, гибкий блондин, похожий просто до неприличия на композитора Раймонда Паулса, поднял меня телефонным звонком. Гордясь собою, он объявил: «Вы знаете, дело может проклюнуться. Вас примет генеральный директор могучей фирмы «Русский кристалл». Он ждет вас сегодня в десять тридцать». Я спросил: «А как его величать?». Последовал очень странный ответ: «Он сказал мне, что хочет вам сам представиться. Вы назоветесь его референту, ассистенту, секретарю — забыл, как он ее именует — и скажете, что генеральный вас ждет».

Любопытно. Однако не было времени наводить необходимые справки. Надо было принять душ и побриться, выпить утренний кофе, zapравить машину. В назначенный срок я был на месте.

Фирма «Русский кристалл» помещалась на первом и цокольном этажах старого здания на Палихе. Дирекция, видимо, не поскупилась, фасад вызывающе подтверждал успех, процветание и надежность. Все было блестящим, чистеньким, новеньким, как только что выпущенная монетка. И девушка за столом подстать — такая же свежая, отполированная. Меня она встретила полуулыбкой, являвшей своеобразную смесь приветливости и высокомерия. Я представился и был извещен, что генеральный меня ожидает. Я распахнул дубовую дверь — сначала в тамбур, потом — в кабинет.

Еще я не сделал и двух шагов, а ноздри мои затрепетали, почувствовали

знакомый запах. Не то это шипр, не то с ним сходный неведомый мне дезодорант. Бесшумно ступая по чудо-ковру скользящей гуттаперчевой поступью, навстречу мне шагал Бесфамильный. Он сжал мою руку двумя своими, внимательно меня оглядел промытыми чистыми глазами и произнес своим утрецим голосом:

— Хотелось сделать вам этот сюрприз. Просил не называть меня загодя. Можно меня еще узнать?

— Не сомневайтесь, — сказал я щедро.

На самом деле он был не тот. И полысел, и сильно раздался. Но выбрит, как всегда, идеально.

— Вы тоже почти не изменились, — сказал он, ошупывая меня взглядом.

«Врешь, парень», — подумал я про себя, но спорить не стал.

— Приятно слышать.

— Очень забавное совпадение, — сказал доверительно Бесфамильный, — я сам собирался к вам обратиться.

Мы сели за столик, стоявший в углу.

— Хотите кофе?

— Не откажусь.

Отполированная девица внесла две чашечки и конфеты. После чего удалилась. Директор достал коньяк и рюмки. Хозяйски наполнив их, он сказал:

— Хотя я и знаю, что вы не пьете (все знает, помнит — крепкий работник), и все же — со встречей. Я очень рад.

— Взаимно, — сказал я. — Так я вам западобился?

— И даже очень, — вздохнул Бесфамильный. — Я ведь слышан о ваших успехах. Видите ли, я ушел от супруги. Я начинаю новую жизнь.

— Стало быть, вас можно поздравить?

— С одной стороны, — сказал Бесфамильный. — Но вот с другой — взбеленилась жена. Не может расстаться цивилизованно. Такие имущественные претензии... я даже несколько ошарашен. Просто не узнаю человека. А очень возможно, что и не знал.

— Сочувствую, — сказал я лояльно. — У нашего брата-идеалиста случаются такие промашки.

Он посмотрел на меня с благодарностью. Снова вздохнул и развел руками.

— Я уж объяснял моей новой — она шокирована ситуацией, — что люди, к несчастью, несовершенны. В теории нам это известно, однако же, когда с этим сталкиваешься... В общем, она мне и посоветовала к вам обратиться — она вас знает. Очень тепло о вас отзывается.

Я напряжился, как пограничник.

— Вот как? И я ее тоже знаю?

— Да, вы однажды ее консультировали. Она — журналистка. Зоя Веская.

Ах! Консультировал. И не однажды. Господи, велик твой зверинец. Но вместе с тем достаточно узок. Я жизнерадостно улыбнулся:

— Было дело. Она тогда занималась как раз имущественными отношениями.

— Что-то такое. Ваши познания произвели на нее впечатление.

— Моя профессия. Но мне это лестно. Доброе слово и кошке приятно.

Я выразил Валентину Матвеевичу («Вы помните мое имя-отчество?» Еще бы!) искреннее сочувствие по поводу его затруднений. Досадно, что эти медовые дни отравлены денежными расчетами. Новое время не лучшим образом отразилось на нравах и на характерах. Я посулил ему свою помощь. После этого мы перешли к сути дела, из-за которого я явился.

Я рассказал о журнальном проекте, о благородной цели издания и, наконец, о его учредителях. Тут была кульминация диалога. Некогда Випер и Богушевич, и не подозревая об этом, меня познакомили с Бесфамильным. И

вот они вновь нас соединили. Естественно, я не упомянул об этом забавном витке сюжета, но я ни минуты не сомневался, что профессиональная память не подведет моего собеседника. И в самом деле, по легкой улыбке, по цепкому взгляду я сразу понял, что он и вспомнил, и сопоставил, и сразу же оценил ситуацию. Он посмотрел на меня с интересом. Потом задумчиво произнес:

— Я думаю, что лучше меня никто не оценит важности замысла. Ваши друзья безусловно правы. Чтобы переломить обстановку, лучше всего начать с колоний. Все мы побывали в марксистах, знаем, что в основе всего — экономические причины. Но это, так сказать, базисный фон, а есть повседневная конкретика. Именно закрытая зона воспитывает и поставляет преступников. Стало быть, надо ее реформировать.

Я выразил чувство живейшей радости и от того, что он смотрит в корень, и от того, как он формулирует — ясно, скупое, предельно четко. Конечно, и Випер, и Богушевич разделяют такое мое впечатление. Особенно ценна его потребность участвовать в гуманистической акции.

Эти слова Бесфамильный принял с признательностью, со скромным достоинством. Пожалуй, он несколько даже расслабился. Тень благородной меланхолии возникла на одутловатом лице. С интонацией, согретой интимностью, он признался, что хоть роптать ему грех — работа в коммерческой структуре дала ему новые возможности, бесспорно, несравнимые с прежними, — но так он воспитан: дела страны всегда для него на первом месте. Такому человеку, как он, мучительно день за днем наблюдать вялость разжатого кулака. Иной раз проходишь по милой Лубянке, болезненно сжимается сердце. Вспомнишь — вздохнешь: хлеб ели не даром. Какие подвижники тут пахали! Титаны, нынешним не чета. А главное — кристальные люди. Утопия требовала романтиков.

— Да, штучный товар, — сказал я с чувством. — Это уж точно — русский кристалл.

Но Бесфамильный не улыбнулся и при названии собственной фирмы. Попав в лирическую струю, он явно не хотел с ней расстаться.

— Помните Афиногена Мокеича? — вздохнул он. — Исполин. Илья Муромец.

— Что и говорить, монумент. Просто матерый человечиче. Ладно уж, не рвите мне душу.

— Пять лет, как помер, — сказал Бесфамильный. — Вскоре после Анастасии Михайловны. Так вы и не женились на Нине. Я думал, что вы ее уведете от этого рахита, а нет... Должно быть, вы сильно переживали.

Я согласился:

— Большая драма.

Он посмотрел на меня внимательно, потом истерически захохотал. Я терпеливо переждал столь непосредственный взрыв веселья. Отсмеявшись, он покачал головой.

— Здорово схожено. Ну, вы — орел. Зажмурились крепко, когда решались?

Я сказал, что особые обстоятельства встречаю с открытыми глазами. К тому же не следует преувеличивать ни моей сметки, ни моей доблести. Этна не всякому по зубам, но по-своему она притягательна. Что же касается смены эпох, нужно принять ее неизбежность. Валентину Матвеевичу, столь преуспевшему, есть полный смысл смотреть вперед. По грозному закону истории империя всегда центробежна.

— Зато полиция центростремительна, — сказал он с неожиданной жесткостью.

Я вдруг подумал, что «Русский кристалл», возможно, своеобразная фирма, имеющая широкий спектр. Но я предпочел поменьше внедряться в столь прихотливые соображения. Тем более что они слишком расплывчаты.

Наш диалог подбирался к финишу. Директор сказал, что он был рад

увидеть меня в образцовой форме, в особенности он рад тому, что в новой жизни нашлось мне место. Я подтвердил, что к ней притерся.

Договорились перезвониться и встретиться, так сказать, в полном составе. На прощанье Бесфамильный сказал:

— Вам надо бы повидаться с Ниной. Она сейчас тоже — в серьезной фирме. Вот, кстати, ее визитная карточка. При случае — звякните. Будет рада.

Я вежливо поблагодарил. Но, выйдя на улицу, весь пропахший его пронзительными духами, подумал, что вряд ли я так рискну. Такое решение, в самом деле, потребовало бы известной отваги. Нельзя возвращаться туда, где бражничал, нужно беречь сады своей юности. «Мир памяти — особый мир». Такой элегической строкой начинались какие-то вирши Випера. Особый мир. Запретная зона.

Да что говорить про эту паузу длиной в тридцать лет! Совсем недавно я встретил на улице Сирануш. Боже мой, как она изменилась! И впрямь, южанки быстро седеют. К пленительной серебряной прядке прибавилось еще столько других. Кроме того, Сирануш пополнила.

Она сообщила, что собирается на многомесячные гастроли. Сначала она едет в Австралию, а после — и в Новую Зеландию.

Я сказал, что искренне ей завидую. В Новой Зеландии, как я слышал, на два миллиона населения почти шестьдесят миллионов овец. Она загадочно улыбнулась, спросила, все ли еще я один. Я ответил, что одинок, как памятник. Это доставило ей удовольствие, которого она даже не скрыла. Потом она выразила уверенность, что одиночество мне подходит.

— Асмик мне о тебе сказала: «Ревнив, как Лятиф».

— Мне это лестно.

— Вот как?

— Я и не знал, что так страшен. А где он, Лятиф?

— Бог его знает. Может быть, он погиб в Арцахе. (Она пояснила, что именно так и называется Карабах.) Асмик теперь живет в Гюмри. (Так назван бывший Ленинакан.)

— Спасибо Гришеньке Амбарцумовичу.

— Да, он оказался на высоте. А ведь там было землетрясение.

Помышавшись, она все же затронула острую, огнеопасную тему. Речь зашла о разлучнике-виртуозе. Она рассказала, что эта история возникла еще в консерватории и развивалась весьма драматически. Им изначально не повезло, они по характерам оба — лидеры. С печальной улыбкой она спросила:

— Ты думаешь, он меня обольстил? Совсем не он, а его талант. Потом мне стало это понятно.

Мы очень сердечно с ней попрощались. Еще раз скажу: отличная женщина! И все-таки я сожалел, что мы свиделись. Было бы приятней ее вспоминать хрупкой пташкой с беломраморным личиком, с белой кудряшкой в черной копне. Как славно тешили мы друг друга.

Да и Мария Гавриловна Плющ тоже разительно изменилась. Стала аудиовизуальной дамой в полном смысле этого слова — ее пригласили на телевидение. Растаяла тайна, пропал секрет — уже не надо было прищипывать разбуженное воображение и мысленно рисовать портрет. Она предстала недавним слушателям слишком уверенной, слишком шумной, всегда заполнявшей собой пространство.

Нет, я не стану тревожить Нину поздним звонком — поберегусь! Я не хотел бы сегодня встретить даже прекрасную пани Ярмилу — пусть она останется в памяти той шоколадной неистойвой львицей, пахнувшей солью морской волны, хвоей, прибрежным сырým песком.

Вернувшись, я сел за телефон и сразу же позвонил Богушевичу. И он, и Рена куда-то делись. Тогда я набрал номер поэта, но напоролся на автоответчик: Сначала, как это было заведено, он угостил меня свежими рифмами.

Голос Випера с чувством продекламировал: «Большие вокруг перемены, Другие коровы священные», после чего деловито добавил: «Теперь, насладившись стихами хозяина, вы можете сообщить информацию». Я попросил связаться со мною, заметив, что он изыскал возможность продвинуть свое творчество в массы. Жаль, что у масс в распоряжении какая-то жалкая минута.

Он отзвонил мне через часок, я порадовал его новостями. Випер сказал, что он был уверен, что для меня это плевое дело, напрасно хотел я сперва уклониться. Я восхитился тем, как изящно он выразил свою благодарность, и попросил разыскать Богушевича.

Весь день работали телефоны. Бесфамильный предложил пообедать в ресторации «Арлекино» и там не спеша обсудить проект. Но Арина настояла на том, что встреча состоится в их доме, где только что был закончен ремонт. После брака они решили съехаться, и под моим контрольным оком длиннющая череда переездов замкнулась, к общему успокоению, в опустевшей коммуналке на Вспольном. Ее-то оба молодожена драили, красили, обустроивали. Арина вложила в создание Дома всю нескудеющую энергию. Теперь она жаждала продемонстрировать свои беспримерные достижения.

Бесфамильный и не подумал спорить. Мне кажется, он с большим интересом готовился к исторической встрече. Ведь с этими людьми его связывало одностороннее знакомство. Он знал их уже немало лет, они же и слыхом о нем не слыхали. Я продиктовал ему адрес, и он подтвердил, что ровно в четыре придет со своей нежной подругой — нет никаких проблем с парковкой? Я успокоил его:

— Никаких. Вы — на японце с раскосыми фарами?

-- Нет, на «вольво». А вы?

-- Приду пешком. Придется выпить.

— Да, вы же один. Зоя всегда меня подменяет, — сказал он с видимым удовольствием.

— Вам хорошо. Ничего не скажешь.

Квартира Випера и Арины, отчищенная, отмытая, выскобленная, сияла, словно над ней трудилась целая орава айсоров. Едва уловимый запах мастики приятно щекотал мои ноздри. Обеденный стол ломился от блюд и пропотевших бутылок с водкой. Впрочем, хватало и коньяку.

Зоя Веская была так же длинна — Бесфамильный был ниже ее на голову — однако уже не угловата, ключицы больше не выпирали, время стесало резкие линии. В общем, смотрелась она неплохо, но настораживал злой огонек, плясавший в ее желтых зрачках (когда-то она с шаловливой ухмылкой называла их своими топазами). И разговаривала она — с вызовом, с напором, с апломбом. Хотелось сказать ей: приди в себя. Передохни. Дыши спокойно.

Зато Бесфамильный был ровен и весел. Он источал доброжелательство и острый запах своих духов. Прозрачные честные глаза сочувственно, с лукавой симпатией, оглаживали гостей и хозяев. Для всех он нашел доброе слово.

Богушевич, явившийся вместе с Реной, несколько выпадал из ансамбля. Он был не в костюме, как все остальные, а в старых джинсах и черном свитере. Арина, без устали всем улыбавшаяся, завидев его, слегка посуровела и даже несколько напряглась. Оплывший бюст угрожающе вздыбился, мучнистое лицо потемнело. Немного осталось от Лорелеи! Я почувствовал, что идейный конфликт еще не исчерпан, что Богушевич подчеркнуто маргинальным обликом выводит Арину из равновесия. Все, что с ним связано — жест или слово, — огнеопасно и может вспыхнуть. Верно, и Рена это заметила — вся она и сникла и сжалась.

Но за столом все подобрели. Сперва чокнулись за успех проекта, потом Бесфамильный поднялся с рюмкой и, преданно уставясь на Зою, потребовал выпить за наших дам. Должно быть, я тоже малость размяк. Я оглядел трех этих женщин, столь не похожих одна на другую, с меланхолической благодар-

ностью. В меру отпущенной им природой способности к самоотдаче каждая из них согревала мою одинокую тахту. Каждая в свое время откликнулась на трубный сигнал моего сейсмографа. Я тут же подумал о Мельхиорове. Это ведь он растолковал мне, что, ощутив колебания почвы, я призывал на выручку дам.

Все оживленно анализировали и взвешивали перспективы журнала. Активнее прочих были Арина в качестве профессионала трибуны и Зоя Веская как публицистка. Мужчины, впрочем, не отставали. Лишь Рена была немногоречива, смотрела грустно и озабоченно.

Площадку захватил Бесфамильный. Сказал о насущной необходимости такого человеческого органа (у меня сочетание этих слов вызвало странные ассоциации). Затем генеральный директор с болью вернулся к своей генеральной теме — падению общественных нравов. Больше всего его угнетал не только бесспорный закат духовности, но и агрессия против нее.

— Все изменилось, — сказал он скорбно, — все дозволено и ничто не свято.

Он сказал, что может понять посягательства на банкиров, на учредителей фирм, хотя он сам — деловой человек и подвергается этой опасности. Но как объяснить криминальный поход на представителей культуры? В дом академика Мужчинкина на самой заре вошли подонки. Пока уважаемый старец спал, его супругу едва не зарезали. Позднее академик рассказывал, что сон его был поистине вещим — ему приснилось, что он — вдовец. Потом, увидев жену живой, он попросту испытал потрясение.

Зою Вескую этот сюжет не растрогал. Сказала, что жены бывают разные. Я понял, что это опасная тема. Потом она наклонилась ко мне:

— Знаешь, ты выглядишь молодцом. Как это тебе удается?

Я сказал:

— Благодаря воздержанию. Но и ты не сдаешь своих позиций. Твой друг влюблен в тебя до неприличия.

Она улыбнулась, как Клеопатра.

— Понимает, что ему повезло. Если б ты знал, какая стерва его мадам! Не хватает слов. Хочет его ободрать, как липку. Чтоб он ушел от нее в рваных брюках.

— Бедняга! Каково это выдержать...

— Я очень рассчитываю на тебя. По старой памяти.

— Буду стараться. По старой памяти ты все борешься с институтом наследования?

Она рассмеялась. И вдруг, нахмурясь, повысила голос:

— Валентин Матвеевич, остановись. Ты выпил уже шестую рюмку.

Бесфамильный попробовал было сослаться на свои национальные корни, на веселие русского человека, но это ему не помогло. И вместе с тем ему было приятно вновь убедиться: любимая женщина следит за каждым его движением. Забота Зои его полнила гордостью. Он нежно пожал ее локоток.

Этническая страсть Бесфамильного к высокоградусному нектару подвигнула обсудить за столом самую актуальную тему. Богушевич поделился надеждой, что просвещенный национализм заполнит идеологический вакуум. Подобно большинству неофитов, он обнаружил завидный жар. Он посулил, что в скором времени в родимом журнале «Открытая зона» четко докажет связь криминальности с этой трагической утратой национального самосознания.

— Начал болеть расистской корью? — саркастически осклабился Випер.

Я увидел, что Богушевич напрягся. Это всегда ему было свойственно в слишком горячих точках полемики. Он заявил, что хотя человечеству истина и дается с кровью, именно мы сумеем вернуть этой идее ее чистоту. Когда-нибудь мы еще поделимся не только отрицательным опытом.

— Вправим мозги, — отозвался Випер. Он уже не скрывал раздражения.

Я пересел поближе к Рене. Было тепло, но она отчего-то все куталась в пуховый платок. Я тихо спросил, здорова ль она? Она кивнула.

— Ты все молчишь.

— Просто я устала от споров. Устала от слов. На всю жизнь устала. Ты тоже не больно словоохотлив. Скажешь фразочку, потом отдыхаешь.

Я сказал:

— Ты помнишь стишок про сову? «Чем дольше она молчала, тем больше она замечала».

— «Чем больше она замечала, тем крепче она молчала».

— Вот-вот. Наконец-то ты улыбнулась.

Она озабоченно вздохнула.

— Только бы Саня и Борис не разодрались необратимо.

Я грустно вздохнул:

— Люди, как церквя. Не слишком склонны к экуменизму.

Она улыбнулась, потом нахмурилась. И с той восхитительной обстоятельностью, что постоянно меня умиляла, сообщила, что существуют, однако, и вдохновляющие примеры. Некто Баха-Улла, последний пророк, создал столетие назад объединяющее учение. Баха собрал под единым куполом все лидирующие религии — христианский крест, индуистскую свастику, а также исламский полумесяц и иудейский могоендовид. Ни единая вера не отрицается. Число бахаитов все время растет.

— Дай-то Бог, — сказал я. — Давно пора.

— Валентин Матвеевич, — крикнула Зоя. — Прощайся с хозяевами. Опаздываем.

Этим она дала понять, что магната призывают обязанности.

Мы пожелали друг другу удачи. Бесфамильный шепнул мне, что он доволен. Богушевич произвел впечатление. Трогают и его увлеченность и патристическое чувство. В общем, он очень ему понравился. Я сказал: «Лучше поздно, чем никогда». Бесфамильный подумал и громко прыснул. Зоя вновь попросила его поторапливаться.

Мы вернулись из прихожей в столовую, обмениваясь на ходу ощущениями от обеда и от новых знакомых.

— Живой человек, — сказал Богушевич.

Випер добавил:

— Все же отрадно, что появляются люди дела. В этом примета иной России. Раньше я видел одних симулянтов.

Этот антисоциалистический выпад предназначался для Богушевича. Но тот не успел на него возразить. Я авторитетно заметил:

— Хорошая лубянская школа.

— Что ты сказал? — спросил Богушевич.

Вскочил и Випер:

— Ты имеешь в виду...

— Имею в виду, что прежде чем стать украшением нового славянства, Валентин Матвеевич трудился в органах. При этом не за страх, а за совесть. Такой уж характер. Русский кристалл.

— И ты привел его к нам? — произнес Богушевич грозным шепотом.

— Черт знает что, — сказал и Випер. — О чем ты думал?..

Но Арина остудила их гнев:

— Думать надо прежде всего о журнале.

— Bravo, женщина! — Я кивнул одобрительно. — Истинно мужской интеллект. Не то что эти трагики в брюках с их ложноклассической декламацией. Я уж не говорю о том, что Бесфамильный не меньше прочих имеет право на покаяние. Дайте Бесфамильному шанс.

— Вадим прав, — негромко сказала Рена.

Я с чувством поцеловал ее руку. Можно было только представить, как бы

они оба взвились, если бы я им рассказал, какой персональный интерес они вызывали у мецената в далекие шестидесятые годы.

Випер наморщил свое чело. Я понял, что являюсь свидетелем мощного творческого процесса. Наконец он одарил нас экспромтом:

– Страна прошла немалый путь. От Колчака до Собчака. Теперь пора и отдохнуть Под теплым крылышком Чека.

Арина, сочась материнской гордостью, взъерошила кудри озорника. Так она отдавала должное моцартианским шалостям мужа.

– Ну, Випер, — сказал я, — разодолжил. Вечно молодое перо.

– Совсем молодое, — кивнул Богушевич. — В постмодернисты примут с восторгом.

Випер покраснел и набычился. Чтобы не дать разгореться искре, я быстро сказал:

– Борис, ты не прав. Отнюдь не жанр и не объем определяют место в поэзии. Сошлюсь на нашего Мельхиорова. Его поэтическое наследие и вовсе состоит из двух строк, но это не умаляет их ценности. Однажды после четвертой рюмки он сообщил их мне между делом. И что же? Я их запомнил навек. Послушайте, что сотворил наш учитель: «Как хорошо сбежать от мира В мистический уют сортира». Лучшего я не читал в своей жизни. И тем не менее, милый Саня, стоит прислушаться и к Богушевичу. В твои годы пора подумать об эпосе.

Випер небрежно пожал плечами.

– Не делай этих телодвижений, — сказал я мягко, — это серьезно. Если б я так владел стихом, я создал бы что-нибудь гармоничное. Могу подарить тебе сюжет о некоем страннике Данииле. Кто-то мне о нем рассказал, а кто, не помню, не в этом суть. В самом начале этого века, когда повеяло керосином и появились песни о птичках — о буревице и о соколе, — он упаковал свои вещи, выехал из пределов отечества и весь свой срок на земле пространствовал. Причем не из любви к путешествиям. Просто-напросто ему не везло. Стоило ему где-то устроиться, там почему-то вдруг начинался подъем общественного сознания. При первых же признаках энтузиазма он сразу укладывал чемоданы. Ты только подумай, какого героя дарю я твоему вдохновению! Сменил биографию на географию. Всю жизнь хотел убежать от века, а век все время его догонял. Эпос двадцатого столетия. Название «Даниилиада».

Випер скептически усмехнулся. Богушевич высокомерно сказал:

– Есть другое название. «Гимн дезертиру».

Я возразил:

– Мое — величественней. К тому же, когда человек дезертирует из лагеря или из психушки, можно назвать его по-другому.

– Я собрал чемоданы, вернулся сюда «при первых признаках энтузиазма», — сказал Богушевич, — как раз для того, чтобы покончить с психушкой и лагерем.

– Борис, — поспешно сказала Арина, — Белан не хотел тебя уязвить.

Я подтвердил:

Наоборот. Я восхищаюсь его отвагой.

– Знаю я, как ты мной восхищаешься, — непримиримо сказал Богушевич. — Но я должен делать и буду делать то, что считаю необходимым. Нужно, чтобы те самые люди, которых принято называть населением, начали бы и правильно мыслить, и правильно чувствовать.

Я присвистнул.

– Работенка на десять тысяч лет, как выражаются китайцы.

– И все-таки начинать надо снизу.

– Вполне марксистская установка, — я поощрительно кивнул. — Однако лишь в сумасшедшем доме начинают мыть лестницу с нижней ступеньки.

– Я тебя понял, — сказал Борис с весьма драматическим подтекстом.

— Что ты понял? — нервно спросила Арина.

— Он хочет сказать, — возвестил Богушевич, — что вся моя жизнь была бессмысленной.

Я не успел ему возразить. Меня опередила Арина:

-- Рена, уберем со стола.

Пока они уносили тарелки, Богушевич медленно закипал. Наконец он осведомился:

— Значит, я чокнутый?

О, Господи! Я безнадежно вздохнул:

— При чем тут личности? Сам понимаешь — перекушали политических блюд, настал благородный период отрывки. Я уважаю энтузиастов, и все же мне бы хотелось понять: нужно было красавице Вере Фигнер провести четверть века в каменной клетке, чтобы сегодня все либералы оплакивали государя императора и каменную десницу Столыпина?

— Все новые друзья Богушевича! — непримиримо выкрикнул Випер. — Сплошь просвещенные патриоты!

— Нет даже смысла тебе возражать, — презрительно отозвался Борис. — Ты ради красного словца не постыдишься плюнуть в историю.

Випер обиженно засопел и, как обычно, устался в стену.

Я тихо спросил:

— Когда вы уйметесь? Борис, ты безумствуешь, как двоеперстец. А ты, Санюля, тоже хорош. Веди себя более благодушно. И перестань донимать Богушевича какими-то новыми друзьями. Новых друзей больше не будет. Мы уже старые мудаки. И очень скоро нам всем песец.

Я утомленно прикрыл глаза. Меня вдруг одоела усталость. Сквозь набежавшую дремоту я слушал, как спорят Борис и Саня. Теперь они звонко скрестили копыя по поводу Государственной Думы. Я вдруг увидел почти во сне губернский город в начале века, за ужином в либеральном доме собралась местная интеллигенция. А украшение стола — только что избранный депутат. Уже успел побывать в Петербурге, делится свежими новостями, рассказывает о Витте, о Муромцеве и об интригах придворной партии. И все его завороженно слушают, полны надежд и верят в подъем общественной мысли, общественной совести. А где-то в углу и мой Даниил. Он ясновидчески видит их будущее — война мировая, война гражданская, а там и совсем пути разбегаются, кому — эмиграция, кому — лагеря. Аминь. На каком они нынче небе, все эти многомудрые головы, эти визитки и скрутки? Вот и опять заседает Дума, опять на слуху имена депутатов. А что впереди? Кто его знает? Возможно — кровь, а возможно — мор. Как ведомо, у России — свой путь.

-- Согласен, — донесся голос Бориса. — Все верно: размахивают флагами. Старые несчастные люди. Но размахивать вместо флагов жульем — лучше? Достойнее? Только честно.

-- А честно играть в популистские игры? — яростно домогался Випер.

Кажется, я и впрямь вздремнул. Вот что значит — лишняя рюмка. Надо помнить: не мое это дело. Пора и домой. Я стал прощаться. Рена меня проводила в прихожую. Она озабоченно сказала:

— Молю Бога, чтобы у них наладилось.

Я вздохнул:

— Мы зовем на помощь Бога, когда и слесаря не дозовешься. Им надо отдохнуть друг от друга.

Я нежно поцеловал ее в щеку. Ну почему это лучшей из нас выпала пиковая дама? Нет, не пойму. Ты, Господи, веши.

Я вышел на улицу. Духота. Я повернул на Большую Садовую. Мысли мои сбивались в кучу, наскакивали одна на другую.

Застолья становятся все тяжелей. А между тем — в первый день августа — ждет непосильное испытание. Отец уже объявил, что намерен отметить

мой пятьдесят лет. Сбежать бы от этого торжества куда подальше, но невозможно. Нет, не могу я его обидеть. Он хвор, добывает восьмой десяток, наша разлука не за горами.

Сердце мое заскрипело, заныло и, чтобы унять колючую боль, я стал думать о юбилейном ужине. Будут, естественно, Павел Антонович с Розалией Карловной, сильно пожухшей, будет и еще одна дама. У Веры Антоновны есть приятельница, у приятельницы — племянница Алла, меня все упорнее с нею сводят. Ей около тридцати пяти, выглядит достаточно молодо. Успешно работает супервайзером.

Впервые я серьезно задумался. Свобода становится одиночеством. Похоже, с племянницей можно ужиться. Она не чрезмерно меня раздражает, спокойна, умеет себя держать. Смотрит, как преданная буренушка. Возможно, моя судьба — супервайзер. Очень возможно. Ты, Господи, веси.

Я добрался до Триумфальной площади. Она утратила имя поэта, но памятник по-прежнему высился. Окаменевший трибун смотрел на уважаемых потомков. Всего тридцать лет с небольшим назад здесь декламировал Саня Випер свои зарифмованные призывы. А четырьмя годами раньше мы трое — я, он и Богусевич — спешили в шахматный клуб к Мельхиорову. Тогда еще век был в полной силе. Теперь он отбрасывает копыта. Но ими он многих еще достанет. Не век, а какая-то скотобойня. Попробуй увернись от него.

На углу, перед тем как свернуть направо, я оглянулся на Маяковского. Сколько извел он писчей бумаги, а все же добывал из руды строчки, которые не ржавеют. «Ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость».

Шафрановый цвет неба истаивал. Вечер накатывал на столицу. Тверская врубила свои огни. Новый, почти незнакомый город незряче обтекал пешеходов.

1995 — 2000

Юрий Казарин

Колодезный лёд

* * *

В поле вода набивается в валенки
И запекается к пятке ледком.
Тянутся с неба
 скворечников спаленки —
Словно в детдоме —
 казённым рядком.
Кучу звезды истребляют лопатами —
Веером вымах черёмухи. Стоп —

Здесь хорошо проживать бородастыми,
Дабы сиял, как поленица, лоб.
Взгляд у тебя как тропинка попятная
С бабыим копытцем по кругу рожна.
Месяцев девять — тоска необъятная,
Чтоб Рождеством разродилась она.
Дабы стелилась вода аккуратная —
Как океан — от окна до окна.

* * *

Наливаются яблоком срубы,
разлупив ледяную лузгу
у колодца, где голые губы
бритву ветра берут на бегу.
Изнутри нагреваются шубы
и над снегом пылают в снегу.
Проходи, говорю, — не проходишь,

налегаешь с другой стороны:
только к северу зенки отводишь,
так что красные жилки видны.
Не уходишь, дуришь круговертью
и — со скоростью крови на кровь —
продолжаешься жизнью и смертью
как последняя в жизни любовь.

* * *

1. Колодец исподлобья как труба
подзорная, где сорвана резьба,
где видишь, как, сомкнувшись,
 отмерцали
два острия Господней вертикали,
и близится, как воздух из метро,
безумных взглядов полное ведро.
2. А дома по жестянкам без стыда
каракулем заломлена вода
и гнутся на червонной сковородке

3. А за окном стеклянная щепка
на проводах, скворещен черепа,
осенний сад, отдавшийся погрому,
пустое прилагательное к дому,
как будто повелительный глагол
из речи в непогоду перешёл.

Юрий Викторович Казарин родился в 1955 году в Екатеринбурге. После окончания школы работал фрезеровщиком на Уралмашзаводе. Служил на Северном флоте. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Преподавал русский язык в Каликуттском университете (Индия). Защитил кандидатскую диссертацию по специальности «русский язык». В настоящее время является доцентом и докторантом кафедры современного русского языка Уральского университета, работает над докторской диссертацией по теме «Поэтический текст как система». Первая публикация стихотворений состоялась в 1976 году. В дальнейшем стихи публиковались в различных альманахах и антологиях (Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Москва), а также в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «Юность», «Октябрь», «Roscia» (Милан, Италия). Первая книга («Погода») вышла в Средне-Уральском книжном издательстве в 1991 г., книги стихотворений «После потопа» — 1994 г., «Пятая книга» — 1996 г., «Поле зрения» — 1998 г.; а также издана научная монография «Поэтический текст как система» (1999 г.). В 2000 г. в журнале «Урал» (№№ 4, 5, 6) опубликованы «Записки. Пловес: Куда ж нам плыть...». Живет в Екатеринбурге.

Щёлкает полный клюв — кончился выключатель,
Тьма прочищает зрение, вóздуха потроха.
Поздно уже. Давно знает тебя Создатель
Света, земли, небес, дерева и стиха.
В городе видишь ты только деревья — средний
Лиственный лес и хвойный, смешанный с высотой.
Даже когда луна выбита, как передний.
Даже когда она всюду, как золотой.

* * *

Первое слово — последнее слово,
суши и тверди ночное родство.
Сумерки. Сретенье места пустого
с полным отсутствием места сего.

Лепится в черепае шар законный,
было бы ныне и присно — темно,
кабы не знать, что в углу, за иконой —
светлое на штукатурке пятно.

* * *

Из могучего растенья
этот дом построен, чтобы
уводить стихотворенье —
по наличники — в сугробы.
Чтобы золотопогонник —
месяц — встал на полчаса,
продлевая подоконник
белым полем в небеса.

Чтобы глазу было узко,
как лыжне, из запустенья
птицу скорости и спуска
запирать в стихотворенье.
Чтобы с неба стёжка взгляда,
пробегая по кольцу,
сообщала профиль сада —
сада зимнего — лицу.

* * *

Прозрачна тьма, хрустальна жердь,
луной вмороженная в воды,
как остов света или твердь
меж позвонками непогоды.
Отдельны воздух и мороз
и тень глубокая на плитах
равнины, выпуклой от слёз,

где пахнет спиртом волчий выдох,
где звёзды гуще, чем слова,
набитые в стихотворенье,
где монотонная лихва
снежинок, слышимых едва —
как вечный ужас повторенья.

* * *

Упирается глаз в темноту,
Убывает ворсинка во рту,
Словно. Сердцем набитый по плечи,
Ты во сне приближаешься к речи.
И разрыв и опора твоя —
Вертикали торцы, колея
Высоты, а не смерти, наука

Поспешать за царапиной звука
В золотую тоску бытия.
Так работает в грядках навоз:
Запуская под кожу мороз,
Выврешь с воздухом луковку света
И прочистишь до боли и слёз
Самовольное имя предмета.

* * *

На пороге тьмы просторной
шаровая дрожь,
ты побелки коридорной
на плечо возьмёшь.
И почувешь за спиною
зеркало, бельё
или крылья, ледяное
рубище своё.

Словно сон во сне — мороку
выпитой луны —
ты себя увидишь сбоку,
с левой стороны:
как вдоль пыли-паутины
под лопатку всажены
золотые хворостины
из замочной скважины.

* * *

1. В золотых ободках без колёс
Покатился, как слёзы, мороз —
От щеки до колодца, в края,

Где подкована солнцем ресница, —
Между небом и мной — колея
Воскресения, взгляда и птицы.

2. Холода. Холода. Холода.
 Как пчелиного строя орда
 Или скатка — кругляк древесины,
 Где в пружину ужаты года,

Как душа накануне Суда,
 Недомятая мышцами глины, —
 Провернувшись на три половины,
 Разрывает кадушку вода.

* * *

У белки под мышкой тепло,
 когда она в позе моленья
 ломает о птицу сверло
 растущего в ужасе зренья.
 Заглазные, дружно стоят
 в открывшемся воздухе слёзы,
 и, встретившись, взгляды звенят —
 такие сегодня морозы.

Изябла земная семья.
 До дырочки съедена ложка.
 От вечности обшей моя
 на север отброшена стёжка.
 Налево, где сердце растёт
 в угодьях любви и страданья.
 Где медленно снег придаёт
 всему, что прошло, очертанья...

* * *

Натянул морозец кожу,
 Словно яблоня — рогожу,
 Словно щёки — стеклодув
 Или голод — щучий клюв.
 Иль срослись ресницы в узел,
 Кровный иней очи сунул

До размеров бытия —
 Очень острые края.
 Где холодная погода —
 Как бессмертье — на полгода.
 И любого без труда
 Держит твёрдая вода.

* * *

Простенок зимы, полустанок
 толпящихся к югу погод,
 и лодка идёт как рубанок
 по древу твердеющих вод.
 И жёлтое лунное поле
 с доской обрезного пруда

ложится столешницей воли
 под тёмные локти труда.
 И вдоль берегов приумытых —
 застигнуты глазом врасплох —
 деревья застыли, как выдох,
 уже перешедший во вдох.

* * *

Золотой доской мороза
 мёртвый пруд прихлопнут косо —
 разъезжается настил,
 где прямой аршин вопроса
 чёрный лебедь проглотил.
 Он стоит — черней перчатки
 на снегу, где после схватки
 снегу выкусил поэт,
 где не сделал опечатки
 пестик, ступка, пистолет.

У зимы всё гладь да поле,
 полынья без алкоголя
 и в малине сапоги,
 молодая старость, воля,
 Божья скорость, страсть и доля
 делать полные круги.
 Золотой озноб азарта,
 у осины бита карта,
 и пора бы наконец
 из промёрзшей бакенбарды
 волчий выгрызть леденец.

* * *

Так устал, что запнулся
 об тень от столба. Тяжело
 выходить из себя — из озноба в тепло:
 надышали берёзы — без снега бело,
 и меня, как дупло —
 утолщением капли, к земле повело
 ремесло —
 в пятаке застревает сверло,
 русло речи в устах закруглилось:
 алло, —

наклоняюсь — лопатка торчит,
 как весло,
 выгребает душа, просыпаюсь назло
 смерти. Снова седьмое число
 января. От окна отнесло
 ветку выдохом. Воздух прошёл
 сквозь стекло
 легче взгляда
 в область Космоса, Бога
 и Зимнего сада.

* * *

Время года у нас — Рождество,
и дома до небес дотянулись.
Этот снег изготовлен из улиц,
и прекрасна поверхность его.
На морозе я петь не могу —
хороши поцелуи железа.

Этот снег изготовлен из леса,
из деревьев на чистом снегу.
Этот снег изготовлен из платья,
из пылающей льдинки во рту.
Этот снег целиком из объятья,
чтобы не перейти в пустоту.

* * *

Кончается сигарета.
С востока растёт окно.
И видно, пока темно,
Внутри, в пустоте предмета
Под скорлупой — вино,
Прозрения половина,

Даритель и вор — словарь.
В башке моей — свет кувшина,
Как ночью в окне фонарь.
Морозы. Метель. Овчина.
Седьмое число. Январь.

* * *

По старому-новому году
за русский декабрь в январе
ты долго вдыхаешь свободу —
и твой воротник в серебре.
Зелёных синиц кувырканье,
пернатый шумок камыша.
Видна по обрывкам дыханья,
по низкому ветру — душа.

По крапу овечьих горошин,
по склону с тяжёлой слюдой,
где, словно в икону, заморожен
берёзовый лист испитой.
И чёрная, как за обозом, —
дорога с деревней в бока, —
любимая чистым морозом
на юг ускользает река.

* * *

След на снегу что заглавная буква:
Зверь или птица? Откуда нажим —
С тверди иль с суши? Которая клюква —
Артериальная — лопнула в дым...

Все мы живые до смерти охочи —
Рвёшь придорожную снежную жесть,
Коли найдутся и слёзы, и очи
Полную муку твою перечесть.

* * *

Озеро озирает себя. Бежит,
чувствуя на плече своём плоскодонку,
прячется от себя, как любовь и стыд,
как молоко — в воронку.
Если посмотришь из-под земли — оно
вмято в себя, в потаённую чашу, небом,

как на поминках моих вино —
хлебом.
Столько в нём взглядов стиснуто —
потому
смотрит оно в себя и стоит валетом,
как человек, запрокинув лицо, во тьму
входит — и остаётся светом.

* * *

Не слово, не речь, не звук,
не тёмная суть огня —
любви моей сходит с рук
пропажа всего меня.
Но прежде чем в глину лечь
поверху родных голов,

скажу, как прекрасна речь —
до речи, до первых слов.
А мысль о тоске огня,
творящего черновик,
додумает за меня
невьтопанный тростник.

* * *

С той ли реки, с перегиба,
Крепнет навыворот дыба,
И, с глубиною поврозь,
Падает, пятится рыба —
В твёрдое небо — лосось.
Я ль с острогою по краю

Не баловал на краю.
Имя своё забываю —
Так имена раздаю.
Там-то такое-то это —
Именования стыд.

Исчезновение предмета
Имя ему сохранит.
Очи я выбелил, выбил

Жидкостью жизни, её
Жаждой, и новая гибель —
Полное имя моё:

* * *

Я высмотрел глаза до формулы воды,
До смерти тополей, до ангельского взора.
Теперь мне всё равно — я знаю суть беды
И счастья перебор в просторах разговора.
Лети и стой, вода, лежи наверняка
И лодку попирай большой античной попой.
И сладко поутру голландский нож конька
Как первую любовь, любимая, попробуй.

* * *

Не вербу поставили в банку
водицы глотнуть ледяной,
а вывернут свет наизнанку
пушистой своей стороной.

Болят от мороза такого —
с печатью простуды — уста,
когда произносится слово
и слышит его пустота.

* * *

М. Чупряковой

1. Вознеси ты меня, воробей,
выше Боговых белых бровей:
там вода замерзает в шары,
там у пламени груди остры,
там не вспомню себя, хоть убей
меня перышком, воробей...

2. Покажи, водолей, по порядку
появление толкучего льда,
в чистом поле постройку и кладку
снегопада — уже навсегда.
Чую глины оплот и скольженье,
и озноб, и заплечную смерть.
И печальной души умноженье
без деленья на сушу и твердь.

* * *

Зимний день весны пропащей.
Снег летит, переходящий
В кожу, в глину, в чернозём.
Пахнет смертью настоящей
Или рыбой водоём.
У любви чернорабочей
Речь темнее многоточий
И за пазухой ожог —
Пережаренный снежок.

В мягком воздухе ушибы —
Окись яблока и рыбы,
И прикуса, и крючка —
То ли взгляда перегибы,
То ли ямка от зрачка.
Не пощёчина — щекотка,
Коль водою стала водка —
Только щиплется чуток
На пятнадцатый глоток...

* * *

Когда рыбак идёт по стрелке волноруба
и борода его в сухой морской моче,
пустая сеть колышется, как шуба,
как женщина живая на плече.
А море за семь вёрст над степью мнёт голубку
и множит за кормой знакомые персты,
меня глубину, сворачиваясь в трубку
и разворачиваясь картой высоты.
На суше хорошо, когда под боком лодка —
у неба, у земли, у хлябей дорогих,
где долго сквозь стекло выпотеваает водка
в садах — от яблока нагих.
Шмелиное руно роится золотое:
ромашка, глина, кровь и бронзовый навоз —
как предложение простое,
распространённое до слёз.

* * *

Я здесь любил, когда земля качалась.
Посмотришь в небо — та же синева.
Где молодая лошадь повалилась,
там долго пахнет лошадьё трава.
Да повторится этот день не вечный,
когда горох зелёный сахарист

и пахнет виноградом огуречный
ворсистый и почти кленовый лист.
И косогор в золотоносных дырах.
И перебор пространства на полях.
Картошка, как положено, в мундирах.
Собака, как положено, в репьях.

* * *

Птица не отбрасывает тени,
потому что в воздухе она —
всюду, как небесное растение,
полное и взгляда, и зерна,
и тебя, летящего навстречу
если не ключицей с узелком,
то — с лихвою — лепетом и речью —
ангельским и птичьим языком.

Чуешь, солнце съедено предметом,
ставшим напоследок — как предмет —
оболочкой света, или светом,
коли он вынашивает свет.
Так тепло слоняется створкой —
крепкое, как стенка и горох,
зависая прямо над воронкой
слова, совершающего вдох.

* * *

Холодное тряпье,
Осенняя погода,
Сегодня у неё
Похлёбка пешехода,
Рыдающего, в бровь
Поймавшего снежинку,

Кусающего кровь
В губах — её горчинку,
Как тёплый пузырь —
Воздушный — в булке хлеба,
Растущий поперёк
И лезвия, и неба.

* * *

На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом,
где осень в листопад оглаживает дом.
В эпоху между пеклом и потопом
мы хорошо, душа моя, живём.
С утра скрипит от инея фрамуга —
и дышит чернозём, подножный лёд круша.
А ровно в полдень к нам погода с юга
придёт — и улыбается душа.
И дочь моя легко поёт и горько плачет.
И мать моя несёт развешивать бельё.
И в пять минут меня любовь переиначит
на времена безмерные её.
Теперь не уступлю ни пеклу, ни потопу
моей души рабочий монастырь,
мой азиатский дом с воротами в Европу
и огород с простором на Сибирь.

* * *

Осечка зрения — чутьё,
не сила Божья, а её
от вышнего движения
в ресницы дуновенье.
Когда ты смотришь в небеса —
ты в небе. Видишь: полоса —
твоих очей работа,

а — не от самолёта.
И, глаз на воздух положи,
ты режешь воздух без ножа
на снег и на водицу.

На ангела и птицу.

* * *

Трешотка царская, цифирь —
Кузнечик, номер телефона,
Запущенный из Альбиона

Дочери
В мою морозную Сибирь.
Где счастье — ростом с щучий клюв —
Щемит и жмёт во всю оскому.

Где книга, воздуху глотнув,
Как птица, привыкает к дому.
Где не окно, а наволока —

Чеканка соли и росы.
И скучный запад у востока
Крадёт полные часы.

* * *

1. После оттепели — враз
незаметно разразится
стужа: выпадут ресницы
на всклокоченный алмаз
промороженной водицы.
И до лета, про запас,
прозябает выше птицы
взгляд, оторванный от глаз.
2. Как стопка водки с горкой —
замёрз глубокий пруд.
Вот-вот за мглой прогорклой
снега произойдут.

И в замкнутости дома
налипнет на зрачок
оконного проёма
ооследний синячок.

3. Лужение лунки в окне —
с теплом и морозцем — вдвойне
сужает округу и сад,
короче становится взгляд,
короче становятся дни,
как будто на свете одни
трамвай и снег — западня,
стальная двойная лыжня.

* * *

Помнишь ли время, когда я ходил без пальто:
чтобы забыть земляное объятие шинели:
ночью стоял высоко в безвоздушной метели
и понимал, убывая как снег, в решето:
смерть — это воздух, которым не дышит никто,
воздух, который с балкона — как с неба — одели
в белое, шире подножной державы, пальто.

* * *

Пространство просит зги и сглаза,
горы и моря с костяком
из крови, снега и алмаза,
как чайные зрачки Кавказа,
разбавленные коньяком,
как равновесие полёта
и взглядом полные поля,

уже без птицы и шмеля,
как тьма, и очи звездочёта,
ус виноградный и зевота,
и мысли мёртвая петля,
и поздней осени работа,
где небо длится, как пехота,
когда кончается земля.

* * *

Приедешь из города — хлеб привезёшь.
Картошку почистит на ужин посёлок.
Гуляет по радио хор комсомолок.
И окна бросает в стеклянную дрожь.
Но вечером ты от любви не умрёшь,
а смену белья пронесёшь огородом,
где сивый Урал припадает к воротам
и ветхий парник на автобус похож.
Ты голая выйдешь из бани на снег —
и ночь наполняется ветром и взглядом,
когда, как совсем молодой человек,
морозец огладит тебя снегопадом.
А утром, когда повторяют кино,
ты прямо на юг разведёшь занавески.
До моря опять далеко и темно:
дорога, забор и шлагбаум в черкеске.

Екатеринбург

Нина Горланова

Метаморфозы

Вчера соседка сказала:

— Меня рано замуж-то мать выгнала! После развода с отцом она завела любовника, и я ей мешала. А теперь маме семьдесят — просится жить ко мне. Но после развода я завела любовника... она будет мешать.

(Я собиралась эту историю озаглавить «Песочные часы», но потом решила, что тут ничего нельзя добавлять — она и так говорит много. Я, услышав это откровение соседки-раскрасавицы, почувствовала такое же волнение, какое испытала после первого прочтения «Евгения Онегина». Шаламов писал: «Евгений Онегин» волнует не потому, что это энциклопедия русской жизни, а потому, что там любовь и кровь». А я думаю иначе! «ЕО» волнует не потому, что там любовь и кровь, а потому, что Онегин наказан за свое пренебрежительное отношение к любви Татьяны — он ее же и полюбил, но поздно (она другому отдана и пр.). Есть, видимо, в человеке тоска по справедливости в этом мире, ну а про другой мир не нам судить...)

Я гостила у родителей. А мой отец в это время гостил где-то, может, у друга — я забыла. А тут нужно отметить, что он из детского дома. Родителей раскулачили или разорили, он только помнит, что мать его умерла после этого от разрыва сердца... А что такое выросший в детдоме человек? Крайне сдержан. Даже суров. Его в отроческие годы взяли в семью из детдома, но характер уже сложился. И вот, будучи в гостях, отец нам шлет телеграмму: «Доехал нормально. К. купил машину целую». А нас было в квартире семнадцать человек! У меня три брата, их жены, дети... И мы недоумевали: купил машину целую, а разве по частям машины продаются? Деньги частями отдавал? Шифр какой-то тут? Но ни о чем не договаривались... Исказила что-то телеграфистка?

И вот настал день приезда отца. Сразу мы спросили: какую машину целую купил К.?

— Это было «целую», — отвечал он.

Нас было семнадцать человек, и ни одному не пришло в голову, что это «целую»! Ну не мог — никогда — написать так такой человек. И мама моя наклонилась и побежала в другую комнату, и у нее слезы падали перпендикулярно лицу — на пол. А я бросилась к записной книжке и записала: «О, Чехов! Ты прав — люди с годами меняются к лучшему!».

Отцу тогда было шестьдесят лет, и он уже перестал так сильно походить на Михаила Афанасьевича Булгакова...

●

В наше время в «Войне и мире» мы любили Наташу, Пьера, Марию... Моя дочь Даша, правда, уверяла, что ее любимым героем стал Денисов. А вот в 1999 году ученица десятого класса написала в сочинении, что ей больше всех нравится... Элен! Да-да! «Я люблю, как она несет свое тело». Вот времена! В нашей юности представить было невозможно такую фразу в сочинении... За что боролись, на то и напоролись... И все же очень интересно было бы узнать, как же сложится судьба этой девочки.

●

Я шла по улице Клары Цеткин. И вдруг вижу огромную грудку книг! Выброшены. Штук так пятьсот. А я двадцать лет собирала книги, каждый день посещала по 5–7 магазинов. И я решила посмотреть эту грудку. Сверху лежали альбомы с фотографиями, «Евангелие» и записная книжка. Листанула альбомы: на фотографиях молодые люди, видимо, муж и жена, потом она беременная, наконец втроем с ребенком. Почему же хозяева все выбросили? Вот том Шиллера — библиотечный штамп. Даже не сдали обратно... Читали люди. В книге издательство «Мысль» исправлено на «Мысля» (ручкой). Острили люди. Вот сразу две книги «Молодым супругам». Зачитанные обе! Можно предположить, что одна была у жениха, а другая — у невесты. Когда сошлись, стало две.

Так что же случилось такое, что выбросили все: даже фотографии и записную книжку с адресами? Погибли все в катастрофе? Может, записная книжка даст ответ? Листаю. Нет алфавита, видимо, записывали номера телефонов в порядке поступления. Где-то после Щербаковой, конечно, больница, а после нее — Яковенко... и т.п. Вдруг: «Соседи по даче». Может, разбогатели и дачу купили? И вдруг меня осенило: развод! Если развод, то вполне могли все выбросить. И фотографии.

Но листаю дальше, и новый поворот сюжета! Последняя запись: «Следователь Денисов». Неужели разгадка судьбы? Их что — посадили? Может, сначала они разбогатели, а потом сели в тюрьму... Ну а бывают же друзья-следователи!? Но тогда бы в записной книжке написали просто: Денисов... Но если все так, то это лучше, чем смерть. Могут воскреснуть душой, как Раскольников.

Я еще порылась и взяла себе книгу Вересаева «Гоголь в жизни». Когда-то я ее купила по знакомству, и мой друг Смирин говорил: «Буржуазия!». Он всегда так говорил, когда видел редкую книгу в доме. Если же — редчайшую, то говорил так: «Так вы не просто буржуазия! Вы — империализм!». Но потом были у нас трудные времена, и мы «Гоголя в жизни» продали.

●

Позвонил друг юности (из другого города).

-- Что делаешь?

-- Пишу свои «Метаморфозы».

-- Ну сколько можно! Есть русское слово «Преображение»... не так уж много нам осталось жить, может быть, пора переходить на все свое!

(Но для меня ПРЕОБРАЖЕНИЕ — это что-то высокое, а МЕТАМОРФОЗЫ — просто изменение.)

●

Подруга дочери: всегда стрижена под мальчика, всегда в джинсах, резкие движения, ничего девичьего словно. И вот она подвернула ногу. Стала очень женственной! Ходит плавно, красиво...

Двадцать с лишним лет я хожу мимо окна на первом этаже, где форточка всегда открыта. Женский голос:

— Дима, сколько сантиметров в одном дециметре?

Через несколько лет тот же голос:

— Как узнать площадь трапеции? По формуле...

Недавно:

-- Ты умеешь различать оперативную и постоянную память компьютера? Дима! Я же вчера объясняла...

Голос словно ни капли не устал за все эти годы! Неутомима материнская любовь.

Я со студенческих лет всюду за собой вожу фотографию Цветаевой. Она одна у меня висит. И вот в начале перестройки прочла в книге Виктории Швейцер о том, что у Марины был период лесбийской любви с Софьей Парнок. Резко я изменила свое отношение — сняла со стены фотографию. Убрала с глаз долой. И снится мне сон: ищу занять десятку, никто не дает. Подходит Марина Ивановна (в плаще с капюшоном), достает из кошелька десятку и говорит:

— У меня последняя, но... вам ведь очень нужно! Берите!

Я проснулась — достала фотографию и повесила снова на стену. Она, эта фотография, все годы такой страшной бедности со мною была, пусть и дальше висит!

У меня в молодости был приятель, который так учил дочку избавляться от скванности на уроках: надо добавлять к каждому слову мысленно ругательство «какашка».

-- Наша — какашка — Родина — какашка — богата — какашка...

Потом было обсуждение на литобъединении моей прозы. Приятель выступил против издания книги:

-- У Нины нет любви к Родине, она всюду видит какие-то трущобы!

Мой муж говорит:

— Я понял вовремя, как сделать мир удобным для себя: нужно населить его такими же Букурами, как я! Через жену я это делаю. Она рождает одних Букуров. А они ведь тоже Букуров родят потом, можно высчитать, сколько их будет на земле лет через сто... Урбанизация, компьютеризация и букуризация действительности.

Друг мужа сказал:

-- Стареют наши жены! Вчера моя десять килограммов картошки с рынка принесла! Это меня сразило. Раньше бы она ни за что не понесла десять килограммов — от силы три. Это уже проявление такого рукоймахизма на себя...

Для В.К. культура — это путь к преодолению культуры. Он мечтает потом замолчать, как Гоголь. Интересно, получится?..

8 февраля 2000 года я пошла на моноспектакль по пьесе Кокто «Человеческий голос». Хотела получить удовольствие, вспомнить молодость. Мы же зачитывались ею двадцать с лишним лет тому назад! Но — увы — пьеса на этот раз мне показалась очень скучной (хотя актриса была хороша!). Шедевры делают мелочи, а тут — одни перчатки любимого, про которые она по телефону врет, что их нет (а сама надела). Я всегда говорила, что читатель-зритель не будет сочувствовать герою, если мало про него знает. Кем работает ее возлюбленный? А она кто по профессии? Как началась их любовь? Почему не было детей и пр.? Но тогда в чем дело — мы-то за что в молодости любили эту вещь? А любили, потому что она была не про КПСС, не про ВЛКСМ, не про стройку... фон был хороший! Все, что не про партию — правилось: мол, тут человек в центре внимания, его жизнь...

Искала в записях фамилию для героя. Выбрасываю много в мусорное ведро. Жизнь так быстро меняется. Уже ни у кого нет советских телевизоров с их вечными капризами, и записи типа «Сейчас этого снега не будет (по экрану белое метельное нечто)», «Телевизор плохо показывает: молоко» — уже устарели, не пригодятся. Или еще: «Заплакал ребенок — голос из него пошел какой-то резиновый, как из резиновой куклы». Кукол резиновых больше нет. И запись летит в мусор.

Однажды я прочла в журнале прозу Александра Володина («Записки пьющего человека»). Это было время пустых полок, и последняя фраза там была такая: «Англия, Америка, Япония, Франция, помогите нам!». Я заплакала и стала писать автору восторженное письмо. А надо сказать, что я не так уж часто пишу письма авторам! Но тут меня сильно проняло...

Было это часов так в одиннадцать вечера. Дети уже спали. Муж взревновал меня и вдруг бросился будить детей.

-- Соңя, Соня, вставай! Знаешь, какая самая гениальная фраза во всей русской литературе? «Англия, Америка, Япония, Франция, помогите нам!»

-- Папа, ну дай поспать!

-- Даша, вставай! Ты знаешь, какая самая гениальная фраза в русской литературе?

-- Какая?

-- «Англия, Америка, Япония, Франция, помогите нам!»

-- Ну и что? Успокоился? — спросила я.

Славка не успокоился! Он нашел в холодильнике бутылку спирта «Рояль» — наполовину пустую уже. Написал крупно: «Для Володина, автора «Записок пьющего человека!»».

Я в письме Володину про это написала тут же: мол, вот муж смеется надо мной, а я все равно пишу, потому что ваша проза меня так поразила... и пр.

Вскоре от Володина пришел ответ: спасибо, что написали! «Я хотел снять вещь — уже в гранках, а вот — вы плакали...» На конверте был его адрес. Я снова пишу письмо! Мол, сама тоже пишу прозу. И больше Володин не стал мне отвечать. Понятно: я сразу для него ПРЕВРАТИЛАСЬ из простой читательницы в собрата по цеху, а это уже скучно. Но на самом деле только собрат и может оценить по-настоящему. Или критик...

Как в годы советской власти изменилась фраза Толстого про счастливые семьи, которые все похожи друг на друга! Все несчастные семьи стали похо-

жи друг на друга: ночной арест, неизвестность, очередь перед тюрьмой для передачи посылки и т.д. А все счастливые семьи были счастливы по-своему. Кто скрывался, переезжая с места на место... Кто-то менял фамилию, выйдя замуж...

1977 год. В деревне Ш. Мне сказали:

-- Племянник секретаря горкома здесь купил дачу, вот и сделали к нам хорошую дорогу! Была грязь, а теперь чисто — асфальт...

1999 год. В той же деревне Ш. Мне сказали:

-- Один новый русский ездит к нам — теща у него здесь. Вот и отремонтировал в прошлом году дорогу!

Десять лет тому назад я сидела за столом и раскладывала по кучкам зарплату мужа: это за квартиру, это за свет, за газ, вот еще — вернуть долг... А в гостях был Женя Филенко. Он сказал: «Спорим, что не пройдет и десяти лет, как Нина будет тыкать неверным пальцем в компьютер и так рассчитывать свой бюджет». Прошло десять лет, но Нина все так же по кучкам раскладывает зарплату мужа: вот это за телефон, это — вернуть долг... В чем же здесь метаморфозы? А в том, что Женя Филенко уже давно к нам не ходит! А жаль...

Когда я выходила замуж, в моде были такие свадебные тосты:

— Экзюпери писал: «Любить — это не значит смотреть друг на друга, это значит — смотреть в одном направлении» (понимай — в светлое будущее).

Потом, во время перестройки, когда все хотели социализма с человеческим лицом, я на одной свадьбе слышала такой тост:

-- Любить — это не значит смотреть в одном направлении, а значит — смотреть друг на друга! Ценить друг друга, личность каждого уникальна!

Наконец настала эпоха рынка. На серебряной свадьбе нам сказали:

— Любить — это значит и смотреть друг на друга, и в одном направлении, и на деньги тоже посматривать!..

Сосед по квартире засорил туалет. Я ему сказала: «Больше так не делай, прошу тебя!». А он в драку! Кричит:

— Я тебе живот распорю! Я тебя сгною! Вы все у меня будете ноги целовать!

-- Вот все твои мечты: чтоб ты животы распарывал, а у тебя ноги целовали! Боже мой! (вызываю милицию).

Но милиция не приехала. А муж был на сторожевой ночной работе. Я лежала и читала. Набрела на слова Славы Курицына о Тютчеве: «Как будто не было страшной жизни, не выл ночной пронизывающий ветер...». Вот-вот! Моя страшная жизнь, и ветер, и вода с потолка... И стало легче (слово исцеляет).

Муж Слава учил дочерей ивриту, но они плохо успевали в этом.

-- Хотите выйти замуж за евреев, а не учите иврит!

-- Мы будем, будем!

-- А я буду к вам в Израиль приезжать. Скажу: «Что-то я давно не лупил своих еврейских внуков!».

Прошло пять лет. Он выучил арабский. Вozил девочек на уроки (он

преподавал арабам русский язык в Фарминституте). Арабы полюбили моих девочек, водили их в театр, кормили конфетами.

Слава: «Ладно, выходите уж за арабов. А я буду к вам приезжать, скажу, что давно я не лупил своих арабских внуков». (Ему бы — на самом деле — лишь приезжать туда, где можно тренировать свое знание языка.)



Один мой знакомый изобрел прибор (лазерный), который продлевал жизнь раковым больным. Он его возил по пермским больницам и продавал.

-- И каждый раз на моем пути встает еврей — старается обмануть!

Мы с антисемитами не поддерживаем, конечно, никаких отношений. Порвали и с этим. Прошло лет семь. Встречаю его в автобусе. Жалуется:

-- Вот твой муж выучил всех пермских евреев ивриту, они и уехали! А русские на их месте знаешь какие — они не хотят вообще покупать мой прибор! Мол, зачем продлевать жизнь больным... Еврей-то понимали, что надо, они просто платили мало... А теперь я вообще без прибыли.



Наш «Роман воспитания» не вышел — в «Новом мире» он очень сокращен. Я стала говорить дома: вот, Наташа просила у меня прощения, я не простила ее... испугалась, что она снова будет к нам ходить, доводить меня. А теперь роман-то не идет. Пока я не прошу ее. (На самом деле я давно простила, но надо ей сказать.)

И вот мылась у Люды Чудиновой. Давление подскочило, назад еле иду. Весна, гололед, едва я держусь на ногах. Читаю вслух Бродского. Меня Бедиков научил: если читать стихи, то время незаметно проходит (он так Каму переплывает: то под Бродского, то под Рубцова — единственный, может, случай, когда эти два поэта сошлись...).

А пермский весенний гололед особенный: лед внизу, а сверху, поверх льда — жидкая грязь. Мне Марина Абашева рассказывала, как иностранцы прилетели в Пермь и уже в аэропорту ее спросили: «Это что внизу?».

-- А что?

-- Коричневое что?

... Грязь.

Так и иду-плыву. У одного пермского поэта Кама — темнолицая. И я тоже, значит, переплываю другую темнолицую «Каму» — улицу Куйбышева. Наконец к дому подхожу. Лежит на льду женщина пьяная. У стены дома. Я мимо. Сил нет поднять. Но стыдно — замерзнет, ночь уже наступает! Я вернулась и стала ее поднимать. А поднять не могу. Наконец она сама закорячилась, встала на четвереньки, и я дернула ее — подняла! Ура!

-- Спа-си-ба... еще доведите меня вон до того дома (соседнего).

А это значит, еще одну темнолицую «Каму» переплыть — улицу «Комсомольский проспект»! Но у меня сил нет. Но уж как-нибудь, Ниночка!

-- Со мной еще две ссо-бач-ки.

Крикнули собачек. Пошли. И дошли до дверей ее дома. Она мне вдруг интеллигентным таким голосом говорит:

-- Может, Господь вас наградит за меня!

Думаю: надо же, пьяница, а говорит точно, как я, когда кто-то мне поможет... Повернулась: прямо на меня по тротуару едет иномарка. Остановилась. И из нее выходит... моя Наташа! Без шапки, в модной дубленке, которая словно балет такой танцует вокруг ног. Я сразу радостно:

-- Наташа!

-- Что?

- Я тебя простила! — беру ее за руку, теплую такую.

-- Спасибо огромное, тетя Нина!

Тут вышел из машины Наташин спутник — посмотреть, не обижают ли его подругу. Я говорю: «Все в порядке». И радостная поворачиваю к своему дому. За углом шепчу: «Все, теперь роман-то наш пойдет!» и как-то поскользнулась! Упала, ноги обе подвернула, на четвереньках поползла по грязи и добралась до своей квартиры. Вся в грязи. Домашние в ужасе:

-- Мама, что с тобой?!

Говорю: вот, Наташу простила, только подумала, что роман наш сейчас пойдет — упала...

— Зачем ты торгуешься! — схватился за голову муж. — Вечно ты с Богом торгуешься! Так нельзя... Сделала доброе дело — это само по себе. Не проси ничего взамен.

-- Да я уж поняла... мне уже показали.

Но в ту же ночь позвонил Томас, немецкий переводчик. Мол, хочет перевести наш роман. Я уж не стала ему говорить, что мне на Буковском банкете английский переводчик жаловался: хотел перевести наш роман, но две недели бился над именем «Цвета»... есть у англичан имя Флер, цветок. Но «Цвета» — это еще более слоеное тесто (в нем и цветок, и свет — из имени «Света»).... Вдруг да у немцев найдется что-то подобное...

Однако муж оказался прав. Доброе дело — само по себе. С небесами торговаться нельзя! Издатель отказался печатать «Роман воспитания», мол, там все, как в жизни.

Так и наши критики писали: «замшелый натурализм». А одно имя «Цвета» я два месяца искала! Наташа путала «С» и «Ц» (звали Цветаеву «Светаевой»). Когда она говорила: «У Матисса такой свет... такой свет», то это «цвет» имелся в виду. А моя бабушка свою невестку Свету звала Цветой, не могла выговорить... Я уж молчу о том, что каждую страницу по 14 раз перепечатывала! Ритм не тот, а ритм тот — юмора не хватает и т.п.



Одинокая подруга решила родить, когда ей было под сорок. Говорила:

-- Детей не люблю, нет, но ведь кто-то должен под старость подать мне стакан воды! Только ради этого...

Она родила. Я пришла ее навестить сразу же. Плачет:

-- Что делать? Сосок весь воспалился!

-- Я сейчас сбегаю — куплю тебе эритромициновую мазь. А почему так случилось — ты же сегодня только родила?!

-- Ну, принесли кормить... я как приложила к груди, так час и не отрывала!

-- Ты с ума сошла! Разве можно так!

-- Но он такой голодный, такой родной... Как его оторвать? Не могла.



Мои подруги совпадают с разными блюдами: одна приходит, когда я чищу картошку, другая во время стряпания пельменей. А Люся Гашева бывает почему-то в те дни, когда я пеку-пеку блины (много нужно на мою большую семью). И вот она сидит, я пеку на двух сковородках и что-нибудь рассказываю. Проходит лет десять, я уже пеку на одной сковородке. Без нее — на двух, но с нею — уже на одной. Потому что не могу печь на двух и разговаривать. Проходит еще десять лет. Приходит Люся, я наливаю блин и молчу.

-- Ну и дальше что?

-- Подожди, испечется!

-- Так он печется, а ты рассказывай.

-- Уже не могу... не та я. Раньше могла печь и говорить, а теперь могу или печь — или говорить.

Одна близкая подруга вдруг перестала ходить к исповеди. Год не ходит, два. Я разволновалась. И стала ей врать: мол, странно, видела во сне, что ты пошла к исповеди. И так пару раз: опять видела во сне... Она наконец пошла к исповеди. И стала ходить. И чаще, чем я. И вообще так переменялась, что стала меня презирать. Говорит:

-- Зачем вы пишете? По сравнению с молитвой литература — такая чухня!

Это кто, чухня — Толстой? Достоевский — чухня? Ничего себе!.. Еще недавно я врала, чтобы направить ее к исповеди, и вот... завралась я, нагрешила, получила по грехам. Включаю вчера телевизор. Патриарх выступает на вручении призов молодым исполнителям: мол, чем больше мы будем поддерживать юных, тем богаче будет Россия талантами. Патриарх не говорит, что все искусство — чухня!.. И слава Богу.

Юра пришел пьяный, в десятый раз рассказал историю, как отец его высмеивал «Анти-Дюринг» еще в годы застоя (смелость, конечно). Я завелась:

-- Всегда приходишь пьяным, днем, не даешь работать! Для разнообразия хотя бы иногда приходи трезвым, не днем... — в общем, такой «Анти-Юринг» сочинила.

А не было совсем денег. И меня в то утро осенило, что можно продать мою книгу «Вся Пермь». Был дома один экземпляр. Но когда есть нечего, то все можно продать. Я пошла в магазин «Юный техник». Там я всегда, когда есть деньги, покупаю досочки для рисования. И мне сама заведующая выбирает на складе те, что полегче (тяжело нести, если много куплю). Вот к ней я и пошла. «Хотите купить мою книгу?» — «Очень!» Она дала двадцать рублей и попросила надписать. Я, конечно, с радости пожелала всего: близких людей, здоровья, ангела нарисовала тут же внизу. Заведующая растрогалась:

-- Хотите вышить вина?

А мы без денег насиделись, нервы горят. Говорю: «Хочу!». И она достала портвейн «три семерки». Это последнее, что я помню. Говорят, что домой я пришла с двадцатью рублями и трехлитровой банкой маринованных помидоров. Домашней закатки. По стеночке шаря руками, прошла в детскую и легла поперек кровати, не раздеваясь — была зима, я в куртке. На все вопросы: «Где была, что пила, с кем?» отвечала только одно: «Все обойдется». Да, еще я принесла целлофановый пакет, полный досочек для рисования, но они были грязные! Муж ушел на ночное дежурство, а в гости пришла Света, моя подруга. Девочки ей сказали: «Мама напилась», Света решила, что я напилась, конечно, таблеток от давления (я же не могу спиртное пить!). Она говорит: «Тогда я уйду».

-- Да нет, мама не таблеток напилась... Вы проходите, может, она ради вас встанет...

Но я не встала, а на все вопросы подруги отвечала, что «все обойдется». Утром я с ужасом обзвонила всех живущих в нашем микрорайоне друзей: никто не признался, что дал мне банку помидоров! Где я их взяла?! Почему досочки были грязные?

-- Наверное, Нина, вы на них ехали (слова милого Колбаса).

Да, была холодная зимняя погода, но уже к весне дело шло, снег весь просел, и грязь выступила...

А все потому, что мне нельзя никого осуждать! Напала на Юру, вот мне сразу показали, что я сама не лучше. Стыд! Стыд у меня в ноге: начинаю запинаться на каждом шагу и на ровном месте. Хожу и запинаясь!

Муж:

— Ты ведь всегда хвалилась: ах, мне никогда не хочется выпить!

Я:

— Мне не хочется выпить — это правда, но иногда хочется напиток...

Таня, соседка снизу, говорит мне: «Кто из вас топает? Так бы и сломала ноги тому топальщику!». Но, отвечаю, тогда на костылях будет он ходить. «И костыли бы переломать!» — «А ты представь, что он на коляске инвалидной будет ездить... еще больше у тебя раздражение возникнет...»

Приятельница сказала: «Ты что, еще читаешь журналы? Но сейчас ведь никто не читает!». Кальпиди так прокомментировал, когда я пересказала сие: «Вот она и есть НИКТО! Вдумайся — что она сказала! Никто не читает, и я».

Мой друг — старый холостяк, все ему лишние сантиметры чудились в женском организме! У той все на месте, но в талии восемь лишних сантиметров, а у другой подбородок имеет лишний сантиметр. И вот в сорок лет он влюбился и женился на юной девушке, полнушке такой. Говорит:

— Вчера жена ходила устраиваться в модели, но не взяли — ее талия на десять сантиметров уже, чем им нужно. Слишком стройна моя Надя...

(А Надя весит восемьдесят килограммов! Но любовь все меняет.)

Другой случай. Подруга всегда говорила, что, когда она видит толстую женщину, единственное, что ей хочется сделать — дать той в руки пистолет, чтоб застрелилась. Теперь у нее обе дочери — полнушки выросли. Она восторгается: «Настоящие русские красавицы! Кустодиева на них нет!».

Нинка хорошо устроилась: не изменяет мужу якобы! Нравственная очень. Но Букур каждый день разный — она живет с разными мужиками, а говорит, что с одним. Хитрая...

На дне рождения один завсегдатай сказал моей подруге:

— Хорошо, что ты пришла. Сегодня я тебя удивлю!

А он гений, поэт, при этом поет, импровизатор классный. Подруга мне раз петь сказала: «Б. сегодня обещал меня удивить».

Но Б. к тому же алкоголик. Бывает, что он успеет всех развлечь до того, как напьется, а бывает — не успеет. В этот раз не успел. Упал в кухне на пол и заснул.

Утром подруга звонит, я поднесла Б. трубку.

— А ты вчера обещал меня удивить!

— А разве я тебя не удивил?

У нас есть приятельница, известная журналистка, любит вести себя непредсказуемо. То молчит в ответ на наше «Здравствуй!», то летит с объятиями, то снова с надутым видом мимо... Мы решили в ответ тоже вести себя непредсказуемо. Она подбегает: «Как дела?» — «Пятнадцать». — «Что пятнадцать?» — «Все». С тех пор она стала всегда предсказуемой.

Когда Сарапулов разбился, Юра Власенко поехал к Славе на работу. А муж нес японский телевизор прямо через торговый зал (он там грузчиком был). Юра ему сказал про смерть друга, Слава так в центре зала и уронил телевизор «Сони» — прямо экраном вниз.

— Все, вычтут стоимость, — сказал Юра.

Телевизор включили — он отлично работал.

— Вы мне должны премию выписать — за дополнительную рекламу, — сказал муж директору (не выписали, конечно).

1976 год. Зачем только Некрасов не потерял навсегда рукопись Чернышевского! И не было бы в нашей литературе «Что делать?»!

1996 год. Хорошо, что Некрасов не потерял навсегда рукопись Чернышевского! А то бы Набоков «Дар» не написал!

Т. увел жену известного в Перми артиста:

— Она сама говорит, что хотела уйти... у нее не было турбулентных завихрений, жизнь текла ламинарно.

Через шесть лет она ушла от него. Т. в горе — в горе, но слова все те же (ни одного в простоте):

— Она говорит, что слишком много турбулентных завихрений, ей нужно, чтобы жизнь текла ламинарно!

Врачи сказали, что Марине осталось жить три месяца. А ей до шестнадцати лет три месяца как раз оставалось. О. первый год работал в школе для больных детей. К Марине он пошел на дом, так как она уже не могла выходить из дома. О. решил, что программа уже... Бог с ней! И дал Марине читать «Трех товарищей» Ремарка. Она два раза подряд прочитала... И началось: Белль, Хемингуэй, Сэлинджер, хокку Басё... Через два года Марина закончила школу. О. помог ей поступить в педучилище...

Слово, литература — исцеляют! Но... Не сам том Ремарка пришел и вылечил Мариночку! Нужен был О., который увидел девочку — да, она вот-вот умрет — спасу, может, книгой «Три товарища»? Люди — это почва, на которой книга, как целительное растение, каждый раз должна снова взойти...

В Усть-Качке мне в конце санаторного срока сделала такое признание соседка по столу:

— Когда ты пришла к завтраку в своем потрясающем бархатном пиджаке, я подумала: это в чем же она к обеду — в декольте придет?! Писательница! Врет, наверное, может, валютная это... эта... Но к обеду ты в том же пиджаке. Думаю: не врет, может, вправду пишет, не суетится. В чем же на танцы? На танцы не пришла ты — да, точно — пишет, читает, наверное... На другой день — в том же пиджаке. На третий... Ну, думаю, в субботу съездит в Пермь и привезет другой. Но не привезла. И так все 24 дня в одном пиджаке! Никакая не писательница, а домохозяйка, может... в одном пиджаке все 24 дня... (а это мне Лариса Ванеева подарила пиджак — его я и носила, пока не износила).

Мой друг З., видя какой-нибудь привлекательный уголок в Перми, обычно говорил: «Как будто не ступала сюда нога коммуниста!».

З. поздно женился, у него сейчас двое маленьких детей. В их дворе сплели деревья — новый русский купил эту землю и строит там гараж. В то время как по закону двор дома — его санитарная зона! Но З. как ни боролся с произволом, так ничего не смог поделывать! Теперь он, видя в Перми какой-нибудь привлекательный уголок с деревьями, говорит:

— Как будто не ступала сюда нога нового русского!

(Сравни про кота! Раньше З. говорил про нашего кота: «Кот, как обкомовец, сытый!». Нынче про него же: «Кот у вас такой, словно у него есть счет в банке».)

●

-- А моя профессия начинается на букву «б» и заканчивается на мягкий знак.

Библиотекарь! Так я с нею познакомилась в санатории (в Железноводске). Она все возмущалась, что муж проверил ее чемодан и... нашел там презервативы. «А то смотрю: все в чемодане перевернуто... а он в аэропорту был такой задумчивый!» Мы сидели за одним столом. Я подумала: много мне придется узнать за двадцать четыре дня! Но я ошибалась. На следующий день соседка пришла к завтраку задумчивая (как ее «старый муж» -- так она его звала). В чем дело? В кольце. Она вчера на танцах сняла обручальное кольцо и положила за манжет блузки. И потеряла. Сегодня встала рано, уже во всех корпусах повесила объявление, что обещает вознаграждение тому, кто вернет. Двадцать три дня прошли в поисках кольца. Я на день задержалась (ждала телеграфный перевод). Внизу, где всегда смотрели почту, на имя библиотекарши появилась телеграмма: «Жду, волнуюсь, люблю». Подпись: Боря (это имя ее мужа). Но дело не в этом. А в том, что телеграмма начиналась словами: «Аленький цветочек!». Я сначала и понять ничего не могла... А для мужа она -- аленький цветочек!

Аленький цветочек, несмотря ни на что.

●

Неделю назад мы отмечали выход книги моей подруги. Лина Кертман написала о Марине Цветаевой сквозь призму любимой книги Марины Ивановны (Сигрид Унсет -- «Кристин, дочь Лавранса»). Отмечали у нас (так захотела подруга). Я говорю: «Вот Аля закрыла архив матери до двухтысячного года, ждали мы, ждали, слава Богу! -- дождались. Так интересно, что там -- в дневниках Мура! Сколько мы узнаем нового? Пролетит ли свет на страшную гибель Марины?! Уже бы могли цветаеведы московские в архиве побывать и нам сообщить в ЛГ, мол, так и так -- то и то новое, ребята! Но никто ничего не сообщает нам».

И тут Лина, мой муж и Света (еще одна моя подруга) стали надо мной смеяться: куда спешить, чего ты хочешь, пройдут годы, пока люди осмыслят...

-- Какие годы! -- спорила я. -- Неизвестно, сколько протянут старики -- из тех, кто сейчас занимается, интересуется судьбой Цветаевой... Надо спешить! Но нет, никто не спешит нам сообщить что-либо...

-- Брось, Горланя, куда спешить! Все всё узнают в свое время...

И вот вчера звонит мне Лина: умерла Софья Николаевна Клепинина! А она так ждала: после операции пойдет в архив, прочтет дневник Мура... Они вместе жили в Болшево на той даче, с которой увели и Алю, и Сережу. Софья Николаевна говорила, что Мур был такой хороший, задавленный деспотичной матерью -- они вместе с ним плакали под мостом, считали, что не нужны своим родителям, те такие строгие...

-- Лина, я вам говорила, что надо спешить! Мы так устали от версий, нам так нужна истина! Если в самом деле НКВД вербовало Марину в стукачи, то мне как христианке легче принять самоубийство ее... А вы: куда спешить! Это с колбасой можно не спешить, а с истиной лучше поспешить к людям.

-- Ниночка, ты тут оказалась права. Да. Признаю (плачет -- Лина очень любила Софью Николаевну, они вместе делали книгу).

Московские цветаеведы! Поспешите -- напишите нам, что там -- в дневнике Мура?

Пермь

Татьяна Вольтская

Любовные песни

Ожидание в плохую погоду

Раскисший луг, похожий на кошмар.
Неубранное сено из колдобин
Топорщится; земля черна, как мавр,
И дождь напоминает о потопе.
Шуршит вода. Молчит ковчег избы,
А праведники умерли, наверно,
Не то спились; и нам, чтобы избыть
Всю эту грусть, не хватит безразмерной
Прохладной жизни, — как её согреть,
Не думая — куда! — хотя бы вымыть.
Счастливой здесь бывает только смерть,
Но не любовь, чему виною климат:
Она не зреет здесь, как виноград,
А чуть налётся — так её прихватит
Таким морозом — будешь сам не рад,
Что затевал. И корчишься в кровати
Личинкой — разумеется, один,
И молишь непостыдные кончины.
А те, кто доживает до седин,
Видать, имеют веские причины.

И всё-таки я жду тебя. Смешон
Мой мерный шаг по чавкающим лужам,
На голове шумящий капюшон.
А мрачный шёпот никому не нужен.
Но глупость — эта местная чума —
И мне досталась, как вода, в избытке
(На всех хватает: с ней — её сума,
Любовь к стихам и крепкие напитки).
Так вот, я жду. Ты явишься — и что?
Да ничего, поскольку тел слиянье,
Внезапное, как выстрел из кустов,
Ещё не есть ни грех, ни воздаянье.
Но я увижу слабое сиянье

Из-за спины и голого плеча
(Не северное) — видимо, за гранью;
А за какою — ты не отвечай.

Мудрец живёт, ну а безумец — ждёт;
Чего? Допустим, сумрачного света.
Так — я брожу от поля до ворот,
С руками за спиной, по воле ветра,
Который, словно днище кораблю,
Дырявит тучу — превращая в кашу.
Я знаю, что не скажешь мне *люблю*;
Бог милостив —

и не *люблю* не скажешь. —
И, значит, жизнь продолжится: игла,
Протянет нить — ещё стежок —

покуда
Окрестности заглатывает мгла,
Как бы готова наступленья чуда,
Хотя его не будет — просто плащ
Дождя оденет нас, и запах кислый
Погибших трав окутает. *Не плачь*, —
Не скажешь ты, но, может быть,
помыслишь.

И многого ещё не скажешь ты,
И долго, прежде чем улечься рядом,
Куришь мы будем, на забор, кусты
И грязь глядеть остекленелым взглядом.
И мы не скажем, отведя глаза,
Щадя друг друга,

не справляясь с дрожью,
Что здесь, в краю полночном,
жить нельзя,
Но жить не здесь и вовсе невозможно.

Сенокос

Последний луч
Пересчитывает чугунные ёлки,
Как школьник, сбежавший с уроков, —
Прутья садовой ограды.
Засыпая,
Ворона шелестит, как бумага,
Сложенная вчетверо,
В ящике письменного стола.

Сено! Сено вывозят с лугов,
Выхватывая его, сонное,
Из-под одеяла тумана.
Это — Босх: цвета бледного пламени,
Воз, распухший, как мозг,
Облеплен нагими грешниками,
Обнимающими друг друга,
Кладущими руки на причинные места,

Проникающими друг другу в рот
Сладкими, как леденцы, языками.
Кто где: кто в клюве у птицы,
Кто в яичной скорлупе,
А мы с тобою — в стеклянном шаре,
Живом, как вторая кожа,

Не пропускаюшем ни проклятия,
ни молитвы.
Воз, дрожащий, как студень,
Медленно едет к закату,
Где последний луч в руках у ангела
Вспыхивает, как спичка.

* * *

Далеко от дома заставший меня врасплох,
Изобильно проросший с небес — не иначе, впрок,
Виноградный ливень поймал меня сетью лоз,
Забросал меня тучными гроздьями — и пришлось
На асфальте тотчас месить их, давя, топча,
И сияла каждая ягода, как свеча.
И горела кожа — казалось, то ветер мял
И давил меня, превращая в вино, и мал
Был зазор между ячеями, густой лозой,
Оплетавшей небо, и ягодой, и слезой.
Всё теряло цену в глубоком точиле; дом
Расплывался; насквозь пропитанное вином,
Тяжелело платье, растерянную листвою
Прилипая к ногам. И слышался голос твой.

* * *

Ты обнажён и светишься, часы.
Остались на руке — и вот весы
Тончайших стрелок взвешивают наши
Плывущие тела в воздушной чаше,
Где каждое движение твоё
Во мне болит, как стрелки остриё,
Отсчитывая жизнь, и тонкий стрёкот
Взлетает на висок, колено, локоть,
И каждое движение в ответ —
Разъято, учтено на сотни лет,

Плоть смотрит в плоть,
свечой меж зеркалами
Оплавлен день, дрожащий меж телами,
Луч пьёт из рюмки, но не утолён;
Неутолим, ты пахнешь миндалём,
Тень на лопатки льёт рисунок плоский,
Течёт, желтея, облако из воска
В окне, вдали, куда из пустоты
Кладёт сирень лиловые кресты.

* * *

Болота и картофельные грядки.
Над ними Бог взрастил такое небо,
Что ангелы весь день играли в прятки,
Забыв про чаши горечи и гнева.
Луч не искал нас зрячею рукою,
Дождь не кропил водою ревнованья,
Поэтому нам выпал час покоя —
Адам и тот не дал ему названья.
Мы стали проницаемы, как воды,
Как влажный лес, и, утерав границы,
Влетали под мерцающие своды
И вылетали с криками, как птицы.
Нам были губы — воздухом и кормом,
Опорою — чердачная каморка,
Где мы, струясь, меняли цвет и форму,
Как облака; как духи Сведенборга.
Горела за окном трава забвенья.

Движенье стало светом, кожа — мыслью,
Слюна — водой
до первых дней творенья,
И каждый пил, пока не утомился
И не уснул. Но я проснулась первой —
Чтобы, склонясь, позвать тебя с печалью:
Сон рвался на тебе пучками вервий,
Стекал со лба и смуглых скул ручьями.
Завистливое время каплей пресной
В груди повисло. Нас могли хватиться.
В оконных бликах — жителей небесных
Почудились расплющенные лица.
Мы вышли. Загремело небо — краем,
Пролиться нам на головы готовым.
Две ласточки метались над сараем.
Я, с губ твоих сорвавшись, стала словом.

Санкт-Петербург

Лев Смирнов
Ода сантехнику Редькину

Редькин, сантехник, прими похвалу мою, братец!
Шёл ты по жизни, не храбрствуя, но и не птясь.
Два всего класса — а вот не пропал на Руси.
Жизненный путь твой с его суматохой нещадной
Славно увенчан роскошною дачкой дощатой.
Выдь в райский сад свой и яблочков нам натруси!

Милый очаг твой, в небесные вписанный сферы,
С запахом войлока и с дребезжаньем фанеры,
Всё-таки путника манит сердечным огнём.
Двери раскроешь — и сразу же всё станет ясно:
Хоть на столе и отсутствуют пышные яства, —
В тёмном подвале не сякнет бочонок с вином.

Славен хозяин не видом, не ладом, не ликом,
А худобою в плечах и раздумьем великим,
Сетью морщин и рубцами от классовых драк.
— Гости родные! На общий разор не сердитесь,
Дружной ватагой за стол, коль так вышло, садитесь, —
Всё-таки дача, родимые, а не барак!

Поднят бочонок из погреба... — Первую чарку
За твою дачку, за райский твой сад, за овчарку!
Радость сдержать в этом разе душе — несутерпеть!
Сколько протопал ты вёрст по житейской дороге,
Сколько узлов покидал за чужие пороги,
Всех тех землянок, видать, не забудешь по смерти!

И хошь в стакан мой, налитый для первой разминки,
Прям с потолка на изяшной своей паутинке
Ножкой мохнатой запрыгнул нахальный мизгирь, —
Так я скажу, не дивясь очевидному хламу:
Домик твой тесный подобен роскошному храму,
Где на столе рассиялась бутыль, как псалтырь!

Предков помянем... Твой дед смыт волной окаянской,
То ли японской какой; то ли тьмутараканской,
Батя в Карпатах крестьянскою кровью истёк,
Старший братаня загинул навеки под Вязьмой,
Младший сторел в один год от болезни заразной,
Дарью-сестрицу пронзил электрический ток.

Сколько во всю твою жизнь понабилося лиха.
Редькин родной! Хоть уже и не вяжешь ты лыка,
Всё же дослушай душевный мой тост до конца.
Жалко жену твою, жертву нужды и похмелья,
Так и не дожила, бедная, до новоселья,
У своего и на миг не замлела крыльца!

Чада твои в круговерти пропали метельной,
Кто от ножа присмирел, кто — от дозы смертельной,
Всех раскидало — кто был и кто не был в уме.
Редькин! За тех, кого нетути с нами сегодня!
Мукой твоею прославится станция Сходня,
Памятник будет тебе на высоком холме.

Если ж и холм не удержится в мире проклятом,
Имя твоё, несмотря на бушующий атом,
К Богу дойдёт, обязательно, Редькин, дойдёт.
Слава тебе! Слава нашей России бесщасной,
Войлоком заткнутой, бедной, фанерной, щелястой, —
Как от вина, обалдевшей от звёздных высот!

В жите перепёлки

В жите перепёлки жать заывают

(из народной песни)

Наши ночи долги — вдоль Оки да Волги
Ходят, ходят толки

Всё про то, как волки съели на просёлке
Мужика в мурмолке.

Гибельные слухи — это всё с сивухи,
С маковой макухи.

Это всё Марухи — злые шопотухи,
Злые бормотухи.

С волока на волок — ни родных иголок,
Ни грудных наколок.

И притих посёлок — нету для прополок
Прежних комсомолок.

Всё одни старухи, прежние стряпухи,
А теперь горюхи.

Ни кусочка в брюхе, ни колечка в ухе.
Лишь коты да мухи.

А в ларьке у нас-то — чудище зубасто.
Вот такая каста!

А в карманах — ясно — ветер свищет часто.
Умирай — и баста!

Но зато — где ёлки, на любом просёлке,
Вдоль Оки да Волги:

«В жите перепёлки, в жите перепёлки,
В жите перепёлки...»

Николай Шмелев
Curriculum vitae

Думал, ну наконец все: отмучился, отделался, ничего больше не осталось за душой. Не о чем больше писать...

Так нет же! Если не пишу — опять не нахожу себе места, маюсь, хандрю безо всякой на то, казалось бы, причины, часами сижу, смотрю в одну точку. А чего в нее смотреть? Все равно ничего нового, существенного, кроме приближающегося откуда-то конца, ни в себе самом, ни во всем пространстве вокруг не увидишь... Но проходит время, и как-то оно так вдруг обнаруживается, что, оказывается, не все ты еще написал, что еще в тебе что-то такое есть, что вроде бы достойно бумаги. А, может быть, и нет, может быть, и недостойно. Но ведь это, к сожалению, не тебе, это другим решать.

**Гусиное перо
в исторической ретроспективе**

Разбуди меня сейчас кто-нибудь посреди ночи, спроси, что решили на вчерашнем заседании ученого совета и о чем было это заседание — убей, сразу не скажу. Нет, долго буду сидеть на кровати, тереть рукой лоб и мычать, качаясь как от зубной боли, прежде чем вспомню наконец, что же оно там вчера было и было ли оно вообще, это вчера.

Но вот спроси меня при любой погоде, в любое время суток, какой номер телефона был у нас дома в детстве, эдак лет пятьдесят — пятьдесят пять назад, отвечу сразу, без малейшей запинки: Центр-3-81-63, или, по-другому, К-3-81-63. А сколько их, телефонных номеров, с тех пор в моей жизни поменялось, и были среди них и такие, на которые, казалось бы, пришлась самая примечательная, самая активная ее полоса — нет, напрягайся, не напрягайся, не помню ни одного. Свой-то сегодняшний — и то временами забываю! И, подозреваю, забываю отнюдь не только потому, что память ослабла. А еще, видать, потому, что ничего радостного, духоподъемного ни от одного телефонного звонка, откуда бы он ни исходил, теперь уже больше не ждешь.

А тут еще подарили какого-то урода, с которым я никак не могу сладить, — домашний факс. И не хочешь, а вздрогнешь, когда автоопределитель на телефоне начинает вдруг что-то бормотать своим противным скрипучим голосом. И на тумблер охраны нужно не забыть нажать, когда уходишь. И автоответчик надо проверить, что он там такое записал, пока тебя не было дома. И отводную трубку надо, сняв, непременно потом обратно опустить, чтобы домашние, не дай Бог, не подумали, что то ли ты их, то ли они тебя подслу-

шивают. И они же — деликатно, но настойчиво — давно уже намекают, что и пейджер тебе, профессор, видите ли, нужен, и мобильный телефон не повредит, и какая-то совсем уж новая непонятная сволочь под этим гавкающим, отрывистым, как собачий лай, названием: *и-мэйл*.

А как хорошо было, когда все только начиналось, когда в коридоре нашей коммунальной квартиры повесили наконец на стене черный ящичек с двумя белыми, сферической формы звоночками у него наверху и свисающей на крючке длинной, тоже черной трубкой. И как мелодично, по-домашнему дружелюбно до сих пор отдает в ушах чей-то неведомый голос из той трубки... «Алё! Барышня? Три семерки, три ноля, пожалуйста. Мне Казанский вокзал, будьте добры». Или МХАТ, или кинотеатр «Метрополь», или булочную, или ближайшую аптеку на углу — какая теперь разница, что...

А потом на этом ящичке на стене появился диск, и, уверяю вас, крутить его, всовывая палец в цифровые дырочки, а потом смотреть, как диск сам собой откручивается назад, было куда интереснее, чем тыкать, как сейчас, во все эти новомодные пластиковые кнопки. Конечно, спору нет, крутить — это медленнее, чем тыкать. Но, говоря по-нынешнему, кайф-то, кайф-то ведь, согласитесь, не тот!

И, бывает, задумываешься иногда, и чем дальше, тем все чаще: а что такого в умственном и нравственном смысле дала людям вся эта новая и новейшая супертехника, до чего бы они не додумались раньше, поколения, а то и века назад? Когда от Петербурга до Москвы было не час лету, а неделя неспешной езды на перекладных, и люди писали друг другу длинные, обстоятельные письма, и читали толстые книги, сидя в кресле у камина, и ходили к соседям в гости, и пили чай, и долгими вечерами рассуждали друг с другом о вечном, о божественном, о добре и зле... Как это ни печально, но техника, похоже, в состоянии породить лишь новую технику. А ни ума, ни доброты она человеку не добавила ни на грош.

Разве в душах людских что-нибудь изменилось с тех пор, как, скажем, открыли цепную реакцию атома, или генетический код, или придумали все эти электронно-программно-компьютерные чудеса? Нет, если и изменилось что, то только в худшую сторону. И никогда таких глубин жестокости и нравственного одичания человек не достигал, как тогда, когда окружил он себя со всех сторон всеми этими мониторами и осциллографами.

Ну, а про искусство и говорить нечего: здесь абсолютный тупик, «конец истории», конец всему, что еще можно было бы называть искусством, и этот конец очевиден, по-моему, всем. Если, конечно, сознательно не пудрить мозги и людям, и самому себе.

Мой старый товарищ, известный наш телеведущий Владимир Познер когда-то, в первые свои послестуденческие годы, работал литературным секретарем у замечательного русского поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршак.

— Самуил Яковлевич! А что ж нынче все стихи-то такие плохие пишут? — спросил он как-то у него.

— А это, голубчик, все от того... Все от того, что на машинке печатают! — насупившись, на полном серьезе ответил ему мэтр.

Так то на машинке! А и машинок теперь уже нет, все одни сплошные компьютеры... Именно! Именно, Самуил Яковлевич. Именно все от того, что стихи не пишут, а печатают. А писать стихи надо гусиным пером! Может быть, тогда и стихи станут опять на что-то человеческое похожи.

Но вот беда: где ж его сегодня найдешь, это остро очиненное, с длинным белым хвостом гусиное перо? Гуси-то вроде бы еще есть. А вот пера гусиного, боюсь, как ни старайся, не найдешь уж больше нигде.

Вы действительно хотите это знать?

Что такое смерть — высшее благо или проклятье — люди спорили всегда. И будут, вероятно, спорить до скончания всех времен, пока человек жив.

Но вот то, что никто из нас не знает ни дня, ни обстоятельств своего конца — это, по-моему, самое верное свидетельство, что грозный верховный Судия не так уж грозен, не так уж и безжалостен, как кажется, к роду человеческому. Ко всем этим суетливым муравьям, что шастают, мечутся взад-вперед где-то там так далеко внизу, что сверху-то их всех не сразу и разберешь...

Только представить себе, что бы с нами со всеми было, если бы каждый знал за совершенно определенное, когда, где и по какой причине он окончит свой бренный путь! Жить бы, убежден, было невозможно. Чего бы люди только не натворили, торопясь уложить все свои страсти и желания в точно для каждого отмеренный и не подлежащий никакому обжалованию срок. И до каких бы пределов низости и злодейства они не дошли, зная, что, пока означенный день не наступит, возмездия им ниоткуда не будет... Нет, что ни говорите, а это, считаю, высший знак бесконечного милосердия Божия — ничего определенного человеку про себя не знать.

Хотя, признаюсь, так я думал не всегда. Так я думаю лишь после одного никак не выдающегося во вселенских масштабах события, свидетелем которого я был.

Это было в Индии, в Дели, на какой-то пыльной окраинной площади, а вернее, даже не на площади, а на огромном, до бетонной твердости утрамбованном человеческими ногами пустыре — с пальмами вокруг, флаштоком посредине и красноватой, растрескавшейся от зноя, усыпанной повсюду всяким мусором и отбросами землей. Пыль, адская жара, сизый чад, машины, рикши, велосипеды, юркие мотоциклы, трехколесные, размалеванные ядовитояркими картинками такси, люди, крики торговцев, звонки, клаксоны, ослики с корзинами, худющие круторогие коровы, либо неподвижно лежащие прямо поперек потока машин и людей, либо меланхолично жующие все, что вывалилось из ими же опрокинутых мусорных ящиков и урн, — окурки, бумажные пакеты, обрывки старых газет...

Мы с моим товарищем, известным нашим индологом, стоим и смотрим на всю эту крутоверть. Скоро должна подойти машина, которой велено нас отсюда забрать. Вдруг кто-то трогает моего спутника за локоть: рядом с ним стоит до черноты смуглый, высохший весь, как щепка, индус. Старик бос и гол (на нем только набедренная повязка), на груди у него какой-то, вроде акульею зуба, амулет на шнурке, темные, с сильной проседью, никогда, похоже, не стриженные волосы, достающие ему до плеч, борода, посох в руке, маленькая обезьянка на плече — что еще? Кажется, все. Больше я, по крайней мере, ничего другого про него не запомнил. Ну, разве что еще его блестящие, чуть навывкате карие глаза, выражение которых я передать, однако, не берусь. Одним словом, «садху», т.е. святой, отшельник, бродяга, мудрец, факир, йог: все диковинное и таинственное, что мы с вами знаем про Индию — все по отношению к нему было бы, думаю, в самый раз.

— Господин, хотите скажу вам вашу судьбу? Это недорого. Всего десять рупий, — обращается он к моему спутнику.

-- Мою судьбу? А почему... А почему, старик, я должен тебе верить, что ты знаешь мою судьбу? — улыбаясь чуть, как мне показалось, снисходительно, отвечает ему тот.

-- Вашу матушку звали Элизабет?

-- Д-да...

-- Она умерла в далеком северном городе, семнадцать лет назад?

-- Д-да...

-- Она умерла от удара? И похоронена в одной могиле с вашим отцом?

-- Д-да...

— Ну, так как, господин? Хотите знать вашу судьбу? Хотите знать, когда и где вы умрете? Недорого, всего десять рупий.

-- Старик, н-н-не надо... Возьми свою десятку... И иди, иди с Богом!.. Я не хочу знать свою судьбу. Прощай, я не хочу...

И сейчас же этот старик, сунув куда-то в набедренную повязку протянутую ему бумажку в десять рупий, растворился в толпе, как будто его и вовсе не было. Мы продолжали стоять молча. Только изредка, глядя перед собой диким, полубезумным каким-то взглядом и отирая пот со лба, мой спутник еле слышно, ни к кому не обращаясь, повторял:

— Елизавета Васильевна... Семнадцать лет назад... В Ленинграде... От инсульта... В одной могиле с отцом... О, Боже, Боже мой...

Ни тогда в Дели, ни после, уже дома, я так и не решился ни разу спросить у него, почему он не захотел больше слушать того индуса. Хотя встречались мы потом с этим человеком нередко... Да и зачем было спрашивать? Все было ясно и так.

А интересно все-таки узнать, много ли среди тех, кто сейчас меня читает, нашлось таких, кто осмелился бы спросить у этого босоногого святого день и место своей смерти? На словах-то и в мыслях таких смельчаков среди нас, конечно, сколько угодно. Но не на словах, не в мыслях, а на деле?

А на деле, думаю, все-таки не нашлось бы, наверное, ни одного.

Путь всякой плоти

Говорят, что один из самых успешных за послевоенные годы премьер-министров Италии начинает каждый свой день с того, что, стоя в одиночестве перед зеркалом, много-много раз подряд повторяет:

— Я себе нравлюсь. Я себе очень нравлюсь!

И вполне возможно, что делает он это вовсе не зря. Вера в себя, как известно, удесятеряет человеческие силы. А своей энергией и напором этот премьер, по отзывам многих, превзошел всех своих предшественников, включая даже и самого дуче.

Но что же делать, если ни в юности, ни в зрелые годы, ни тем более сейчас язык твой не поворачивается да так и не повернулся ни разу сказать: «Я себе нравлюсь»? А видя себя сегодня в зеркале — особенно: Господи, неужели то, что смотрит на меня оттуда, это и есть я? Да ты, ты... И сомневаться нечего — ты! Конечно, не всегда ты был такой. Раньше, надо думать, из зеркала выглядывало что-нибудь более привлекательное для глаза, чем сегодня. Но где оно, это «раньше»? Да и в прежние годы, помнится, сколько бы ни вглядывался в зеркало, никогда особого восторга то, что там видел, не вызывало. Какой там восторг! Скорее, право, сочувствие. А бывало, что и просто сострадание, чего уж там скрывать.

Нет-нет, объективно никаких оснований для чрезмерной приниженности в моей жизни вроде бы не было. Начать с того, что на самом деле я, похоже, не урод. Мало ли, что сам себе внешне никогда не нравился! Многие барышни, например, так не считали. А голос их во всем этом, как известно, должен быть признан решающим... Что еще? Бедствовать никогда всерьез не бедствовал, по наукам своим всегда был продвинутым, в первых, так сказать, рядах, событий в жизни — больших и малых — было предостаточно, людей знал выдающихся, путешествовал много, дом, семью, друзей своих всегда ценил...

Недаром известная многим у нас Анна Самойловна (Ася) Берзер, возмущившись, отчитала по телефону после встречи со мной ту даму, которая попросила ее помочь пробить в печать мой маленький роман «Пашков дом».

-- За кого вы заступаетесь? — сердилась она. — Приехал ко мне на

машине, в шикарном костюме, сам гладкий, сигареты курит какие-то длинные, иностранные... И я должна ему помогать?!

По ее понятиям, помочь можно было только тем, кто пришел к ней, нахлобучив на глаза кепку и втянув голову в плечи, в какой-нибудь рванине, а еще лучше — в лагерном бушлате, и не днем пришел, а ночью, с условным стуком в дверь, озираясь по сторонам и прячась за каждым столбом от филеров НКВД — КГБ. И непременно чтоб худой был, небритый, чтобы глаза были ввалившиеся, чтобы кожа светилась! А тут, смотри ты, разлетелся — румянец во всю щеку...

Одним словом, приняла меня покойная «крестная» А.И. Солженицына с порога за какого-то важного советского начальника. Ну и, естественно, с порога ошетибилась. А надо сказать, зря приняла и зря ошетибилась. Начальником-то как раз я никогда и не был. Почему? А сам, честно говоря, не очень знаю, почему. Скорее всего, я же сам и виноват: это, думаю, была своего рода плата за собственную независимость, которую я всегда ценил и отстаивал так, как, может быть, ничто другое в жизни. Прав был, похоже, мой родитель, изрекший однажды глубочайшую, убежден, по своей житейской значимости мысль: «Кто не имеет почтения к начальству, сам начальником никогда не будет».

И все же, при всем недовольстве собой, а зачастую и просто неприязни и даже отвращении к себе, самомнением, должен признаться, Господь Бог меня никак не обделил. И касалось это прежде всего внутреннего самоощущения: кому я не равен, что я не могу, кто в этом мире выше меня? Конечно, это все было не наяву, а в мечтах, в мыслях, то есть, по выражению Марка Аврелия, «наедине с собой». Но замахивался я в подобных сравнениях и сопоставлениях всегда на наивысшее: в науках это были никак не меньше, чем Адам Смит или Альберт Эйнштейн, в литературе Толстой или Достоевский, в политике, в общественных делах — Рузвельт или де Голль и т.д., и т.п.

Умом-то я, конечно, понимал, что на этот уровень мне никогда не вытянуть. Но в самых своих потемках, в подсознании, где-то там глубоко в печенках или в спинном мозгу? Нет, там я был всегда первым. И вторым себя признать не соглашался ни в чем.

Гордыня? Конечно, гордыня. Конечно, тщета и безумие человеческие. Но в своей гордыне я дошел, помнится, до того, что посягнул и на самого Бога: а на каком таком основании я обязан считать, что я Его раб? Выходит, мир устроен так, что есть Он — Господин и Вседержитель — и есть я, человек, червь, тварь ничтожная, на веки вечные распростертая во прахе перед ним? Нет, что-то тут не так! Если Бог есть добро, есть любовь и справедливость, то зачем Ему эта сверхавторитарная система мира, зачем ему самому эта должность всеобщего начальника и надсмотрщика над мириадами бесправных, бессловесных Его рабов? Эдак, пожалуй, любой тиран, деспот, любой Сталин или Гитлер будет прав в своем устройстве земных дел: ведь он лишь повторяет тот порядок, который установил в мироздании Творец! Нет, с чем с чем, но с этим моя от рождения, видно, демократически-либеральная душа никак смириться и не хотела, и не могла. Долго, признаться, не могла.

Это сейчас я улыбаюсь тому вопросу, который лет эдак в тринадцать-четынадцать я как-то задал своему отцу:

— Слушай, а как ты думаешь, каждый человек считает себя умнее всех на свете? Или нет?

Отец тогда лишь пожал плечами: что толку тратить силы и слова на этого неуклюжего ершистого подростка, пусть и собственного сына, который все равно ведь ничего не поймет. Но потом, помолчав немного, видимо, решил: хотя бы для очистки совести ответить что-то нужно.

— Нет, не каждый. Далеко не каждый... А под старость, думаю, так не считает, наверное, никто.

Не понял я тогда его или не поверил — сейчас уже не помню. Но долго

еще потом, годы целые и десятилетия, в глубине души я был все же уверен, что на самом-то деле все так оно и есть, как я предполагал. И что я каким-то верхним чутьем отгадал чуть не главную тайну про людей, которую они почему-то всегда скрывают если не от себя, то по крайней мере от всех других.

А вот когда пришло нечто прямо противоположное — хоть убей, не заметил...

Прометей, вызов богам, величие человеческого духа — Господи, какая же все это чепуха! И ума у тебя на самом деле не больше, чем у других. И не знаешь ты в действительности ничего, и даже то, что вроде бы когда-то знал — и это все давно забыл. И силенок у тебя, оказывается, всего-то кот наплакал. Да и вообще, и тебе самому, и жизни твоей цена лишь грош в базарный день. Не больше! И не обольщайся: когда тебя не станет, никто в мире, будь уверен, всерьез даже и не заметит твоего исчезновения. У всех на другой же день окажется масса куда более срочных дел, чем помнить о тебе.

Смирение, дорогие мои! Смирение. Это, похоже, и есть она, мудрость. И это и есть «путь всякой плоти». Независимо от того, что человек сам когда-то думал или все еще думает о себе.

Но и гордыня, и смирение — они одинаково тяжелы. Может быть, смирение даже тяжелее, ибо в конце его — только конец. И больше, боюсь, ничего.

Болгарский след

Нет, об этом не написать я не мог! Все-таки для меня это открытие. Причем такое открытие, которого я ждал чуть не половину своей жизни. И даже, признаюсь, с некоторых пор и вовсе бросил уже было надеяться, что оно, это открытие, когда-нибудь произойдет.

А дело все в том, что я, международник по профессии, с 1973 по 1986 годы, тринадцать с лишним лет, был, как тогда говорилось, глухо «невъездной», т.е., называя вещи своими именами, «профнепригодный». И никак не мог понять — почему? Что я натворил, что я такого сделал, чтобы советская власть так уж насмерть осерчала на меня? Ну, не любил я ее, это было, наверное, не только мне ясно. Да подумаешь — не любил! Да она сама себя не любила, чего уж тут говорить про других. Не шумел, кулаками не махал, правила игры знал, на рожон не лез — так, казалось бы, чего ж вам еще? Нет, запечатали так, что даже в какую-нибудь там Болгарию — и то не смей, и то не мочи ни ногой.

И вот недавно, спустя без малого тридцать лет, вдруг неожиданно произошло — почему. Один ныне отставной, а в те давние времена весьма крупный чин из всей этой таинственной сферы все мне досконально объяснил. И теперь, кроме как к Господу Богу, у меня, похоже, больше уже в жизни вопросов не осталось ни к кому.

Случилось это в Вене, в кафетерии ЮНИДО — Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, которая тогда, осенью 1973 года, пригласила меня на месяц в качестве консультанта. Был как раз «кофейный перерыв» («кофе-брейк») во время какого-то очередного долгого заседания. Вместе с одним моим добрым приятелем, тоже из русских, мы стояли с подносами в руках в длиннющем хвосте, выстроившемся вдоль стеклянного прилавка с разными венскими вкусностями, в конце которого молоденькая пухлощекая фройляйн разливала в протянутые ей фирменные ооновские кружки кофе или чай — кому с молоком, кому без. Очередь двигалась медленно, неспешно: в ООН, как известно, вообще куда-либо торопиться — это в высшей степени дурной тон.

А перед нами с приятелем стоял в этой очереди очень странного вида (я бы сказал — страшноватого вида) человек: горбатый, низкорослый, с огромной, вдавленной в плечи головой, с длиннющим носом и необыкновенно урод-

ливными чертами лица. Одним словом, истинный Квазимодо, каким его обыкновенно рисуют в книжках. А когда он еще обернулся к нам и прохрипел моему спутнику что-то приветственное, но так сдавленно прохрипел, что сразу стало ясно, что у него вместо обычного человеческого горла трубка, вставленная в трахею, да еще по-русски прохрипел, но с каким-то таким небывалым акцентом, которого мне и слышать-то ни у кого прежде не доводилось — я понял, что передо мной, похоже, совсем уж уникальный экземпляр человеческой породы: может, последний еще оставшийся на земле гений, а может быть, и самый главный что ни на есть злодей.

— Генри, познакомься, профессор Шмелев. Мы с тобой, помнишь, говорили на днях о нем, — отрекомендовал меня мой спутник.

— Генри Шпеттер, представитель Болгарии в ЮНИДО. К тому же, прошу учесть, большой и давний друг Советского Союза, — протянул мне руку в ответ Квазимодо. И улыбнулся, а вернее, соорудил гримасу, очень похожую, наверное, на ту, с какой несчастный горбун взбирался когда-то на колокольню собора Парижской Богоматери, унося на плече свое бездыханное сокровище.

Ну, сели втроем за столик, попили кофейку, покурили, поговорили минут десять — пятнадцать о том, о сем: как жить человечеству дальше, и о тяжелой судьбе «третьего мира», и о только что случившемся первом «нефтяном шоке» — резком, в несколько раз, взлете мировых цен на нефть. Наверное, и еще о чем-нибудь поговорили. Поговорили и разошлись в разные стороны, предварительно, как и полагается воспитанным людям, обменявшись визитками: «профессор, доктор экономических наук Николай Шмелев» — «профессор, доктор оф экономикс Генри Шпеттер». И, конечно, тут же забыли друг о друге: мало ли с кем, и когда, и где сводит людей по случаю жизнь?

А спустя год или немного меньше того включаю я как-то не то «Би-Би-Си», не то «Голос Америки» и слышу: «Люди, спасите Генри Шпеттера!» Диктор читает обращение Международной Экономической Ассоциации ко всему всемирному человечеству с призывом спасти выдающегося болгарского ученого-экономиста Генри Шпеттера... от чего бы вы думали? От виселицы, от повешения! Вот те раз... За что ж его так, беднягу, а? И кто ж это его так приговорил? А Верховный суд Болгарии — за шпионаж в пользу американской и израильской разведок. И приговор вот-вот должен быть приведен в исполнение...

Оказывается, его уже несколько месяцев как схватили в Вене, переправили каким-то образом в Софию, судили и приговорили вот к такой-то высшей мере наказания. Шум, конечно, в мировой прессе поднялся оглушительный! И шум, надо сказать, отнюдь не безрезультатный: в конце концов обменяли этого болгарского профессора на болгарского же шпиона, провалившегося в Израиле. И, насколько я знаю, профессор Генри Шпеттер и по сей день живой и здоровый преподает в Тель-Авивском университете и там же и живет.

Ну, а ты-то, ты-то тут при чем, спросите вы? Уверяю, я и сам почти тридцать лет думал, что ни при чем. Ни с какого бока ни при чем... Ан, оказывается, нет, оказывается, при чем! И при чем вроде бы напрямую: как теперь выяснилось, при обыске у несчастного Генри Шпеттера в пачке хранившихся у него дома визиток от разных людей болгарская сигуранца нашла и мою визитку. И, естественно, тут же сообщила об этой находке своим коллегам в Москву, на Лубянку. Ну а они-то, как понимаете, дальше уж сами, без подсказок, знали, кто к чему при чем, а кто ни при чем.

И вот смотрю я сейчас на коробочку передо мной, в которой лежит стопка недавно только отпечатанных моих новых визиток, и думаю: а может, все-таки сжечь их все к чертовой матери, от греха подальше? Сжечь, пока не поздно? «Перестройка», реформы, демократия, общечеловеческие ценности... А ну опять где-нибудь станут вешать очередного Генри Шпеттера? И что же, я опять за него отвечаю? Не очень-то я, признаться, верю во все эти новые времена.

О широте русской души

Широк русский человек? Да вроде бы общепризнано: широк. Надо бы его сузить, как говаривал когда-то Достоевский? Да надо бы, наверное. Судя по тому, что мы натворили в XX веке, очень бы это, похоже, не помешало — подтесать его немного, подузить хоть чуть-чуть под какой-нибудь более или менее приемлемый ранжир.

Однако и тут есть заковыка. И тут, положи руку на сердце, далеко не ясно, отчего на самом деле это все с нами произошло. Я имею в виду этот самый XX век. Вправду ли все от широты? А может, нет, может, как раз наоборот, как утверждают некоторые — от узости? И тогда выходит, это еще один миф, еще одна легенда, в которой мы убедили и самих себя, и других, — легенда об этой не сравнимой якобы ни с чем в мире широте загадочной русской души?

А задумался я об этом, должен сказать, еще много-много раньше, чем все-рез начались новые времена. И много раньше, чем «новые русские», толка-сь и тряся наворованными своими миллиардами, бросились завоевывать, а попросту говоря; скупать мир — от Гавайских островов до богохранимой Эллады и Швейцарских Альп.

Задумался я тогда, когда в конце 70-х — начале 80-х годов попался мне случайно в руки некий заграничный иллюстрированный журнал, добрая половина которого была посвящена только-только состоявшейся свадьбе наследницы недавно умершего греческого судовладельца и миллиардера Аристотеля Онассиса (к тому же многолетнего любовника божественной Марии Каллас, а потом мужа Жаклин Кеннеди) со скромным служащим какого-то советского морского агентства, правда, с офисом в Париже, — Сергеем Каузовым.

Впечатляющая, помню, была повесть в картинках! Начиналось с большого панорамного снимка яхты Кристин на фоне бескрайних морских просторов — эдакое многоэтажное ажурное сооружение под сине-белым греческим флагом, причем сооружение размерами, наверное, не меньше, чем «Титаник». Дальше шли подробности: гостиная на верхней палубе вся в зеркалах, гобеленах и старинной бронзе, курительный салон с Эль Греко, Веласкесом, Гойей и прочими столь же великими, запросто так, по-домашнему развешанными по стенам, потом накрытый в столовой стол на двенадцать кувертов из хрусталя, серебра и северского фарфора, а рядом со столом — вытянувшийся столбом, как истукан, дворецкий во фраке и белых перчатках, потом спальня а-ля не то *Луи Каторз*, не то *Луи Кенз*, потом ванная из мрамора и, точно помню, специально крупным планом — массивные краны из золота, да еще, чтобы не было никаких сомнений, и подпись под снимком, что они, эти краны, действительно из чистого золота, а не из чего-нибудь там еще... После яхты же целый журнальный разворот или даже больше был посвящен вилле Кристин на каком-то, уже забыл каком, острове, где молодая чета собиралась провести первые недели совместной своей жизни. Тоже, конечно, одно сплошное великолепие, только помимо мрамора, золота, хрусталя и музейной живописи повсюду было еще и море всяких изысканнейших цветов, большинство из которых я лично и на картинке-то видел в своей жизни первый раз...

Ну, а потом — Москва! Невеста в вуалетке и чем-то воздушно-розовом (брак этот у нее был не первый, и потому, видимо, решено было обойтись без белого платья и без фаты), пожилые, несколько растерянные, но очень-очень приличные по виду родители жениха, наконец, сам жених — бравый такой, сухощавый парень лет тридцати с небольшим (и с каким-то странным, стеклянным, как мне показалось, отблеском глаза на фото его в профиль) в окне собственной «Волги», на которой он самолично подвез молодую и своих родителей ко Дворцу бракосочетаний в Большом Харитонии, съезд машин, гости, цветы, друзья, выстроившиеся в два ряда при входе в зал. А последний снимок...

А последний снимок был такой: с усилием, перегнувшись пополам через

радиатор своей «Волги», припаркованной им у самого входа во Дворец, Сергей Каузов стягивает щетки-«дворники» с лобового стекла машины. А Кристина, еще даже не приоткрыв дверцы с той стороны машины, где она сидела, смотрит во все глаза на него — человека, женой которого она станет через десять — двадцать минут.

Сволочи папарацци! Одно слово — сволочи. Но ведь в точку попал тот сукин сын, кто этот последний снимок сделал! В самую что ни на есть точку. Чтобы там ни говорили тогда про жениха, какие бы слухи ни распускали о том, что он женится не сам по себе, а выполняя задание каких-то таинственных советских служб, о «дворниках»-то все-таки можно было бы, наверное, хоть на минутку да забыть. Учитывая грядущие, так сказать, семейные перспективы... Ну, в крайнем случае, сперли бы их, эти «дворники», сдернул бы их кто с машины, пока свадьба топталась там, во Дворце. В те годы это у нас был, как известно, любимейший промысел мелких московских воришек. Но ведь на миллиардах человек женится, на самой по тем временам богатой невесте мира! Если уж не у самого жениха, то во вновь создаваемой семье Онассис — Каузовых нашлось бы, думаю, на что в случае чего эти самые несчастные «дворники» купить. Ан нет! Выше себя, выходит, не прыгнешь: что не дано, то уж не дано, хоть ты расшибись.

Нет, как это ни печально, но не получился у Кристины и этот брак, хотя несколько совместных лет они все-таки вроде бы протянули. Не получился у нее, говорят, и следующий. А в 1988 году, в ноябре, будучи в Буэнос-Айресе, я в какое-то ничем не примечательное серенькое утро вдруг узнаю по местному телевидению, что только что в одном из самых шикарных отелей города, у нее в номере, в ванной, обнаружено тело Кристины Онассис. Ей было всего тридцать восемь лет, и, по первоначальной газетной версии, она умерла от передозировки транквилизаторов... А Каузов, говорят, ничего, жив и процветает до сих пор. Он теперь солидный нефтетрейдер и живет, по слухам, на острове Мэн — в известном европейском офшорном раю.

А может, и правильно? Может, и не надо нам никакой широты? Одни печали да расстройства, да катастрофы от нее. Где теперь, к примеру, все эти наши пресловутые «олигархи» со всем их размахом и широтой? А так, «дворники» побережем здесь, «дворники» побережем там, и еще что-нибудь по зернышку прихватим, и еще что-нибудь полезное, нужное в хозяйстве приспособим — глядишь, и получится что-нибудь эдакое надежное, крепенькое, и детям еще хватит, и внукам останется...

Как хотите, дорогие соотечественники, но, взвешивая и размышляя, что лучше, а что хуже, я лично все-таки с Достоевским согласен: лет по крайней мере этак на двести — на триста широта не про нас. Ну а дальше... А дальше там видно будет, что оно и как.

Два пишем, три в уме

Иногда, когда я бываю среди людей моего круга и моего возраста, я до сих пор не могу отказать себе в удовольствии чуть поддразнить своих собеседников вопросом, который всего лишь десять — двадцать лет назад вызывал обычно бурю возмущения, а теперь порождает только горестные вздохи.

— А зачем людям идеал? — спрашиваю иногда я. — И зачем нам идеальная личность наверху? Ни от идеала, ни от идеальной личности никогда ничего доброго не исходило. Все мгновенно превращалось в свою противоположность... По мне, лучше уж цинизм и циники, они хоть предсказуемы. И живут по большей части по принципу «живи сам и жить давай другим»... И вообще: милосердие — самая лучшая политика отнюдь не по моральным, как люди думают, а чисто по шкурным, коммерческим соображениям. Эффекта от

милосердия больше, прибыль выше, чем от злодейства — вот в чем все дело. На это и вся надежда. Надежда на то, что и у нас это тоже когда-нибудь поймут... Не надо никаких вериг. В веригах в политике делать нечего. Политика, прямо скажем, занятие не для брезгливых...

Родитель мой покойный любил, помню, повторять: «С жуликами — не с дураками! С жуликами жить можно». По тем, по прошлым временам, ничего не скажешь, выдающаяся была мысль. Жаль только, что как кончились прошлые времена, так оно вскоре и обнаружилось, что в наших российских условиях и она, эта мысль, не срабатывает: у нас и жулики, и дураки — это, как оказалось, близнецы-братья. А вернее, не братья, а вовсе нечто единое, что-то вроде насмерть сросшихся «сиамских близнецов».

Так что сам-то я, когда поддразниваю эдаким манером своих собеседников, конечно, знаю, что цинизм нам тоже не гарантия, что это тоже вопрос меры и степени: может быть такой цинизм, что ничего живого вокруг него не останется, а может быть, если повезет, и такой, что от него людям все-таки станет чуть-чуть легче. Ибо все, к чему подобный умеренный цинизм сводится, есть лишь спасительная «золотая середина» да обыкновенный крестьянский здравый смысл. Но это именно тогда, когда действительно повезет!

И насчет вериг — это я тоже, признаюсь, так, больше для полемики: на самом-то деле никого еще в истинно белых, непорочных ризах и в тяжелых веригах на изможденных чреслах я лично ни в нашей истории, ни тем более в нашей нынешней жизни не встречал. А встречал преимущественно либо мошенников разной степени наглости, либо вконец заучившихся дураков разной степени упертости. И вся эта вековая российская дискуссия (начиная еще с Сергея Михайловича Соловьева) о том, что же лучше — цинизм попа Сильвестра, автора «Домостроя» и главного консультанта юного Ивана Грозного, или святость Нила Сорского, — к нашему времени, убежден, превратилась лишь в пустое сотрясение воздуха, в беспредметный спор, который за безнадежностью его давно уже пора нам всем кончать.

Впрочем, нет. Одного человека в нашей российской жизни, которого можно было бы отнести к почти святым, я, думаю, встретил. Это покойный академик Андрей Дмитриевич Сахаров — представлять его в России, уверен, пока еще, слава Богу, не нужно никому.

Перед этой фигурой я всегда преклонялся и преклоняюсь вплоть до сегодняшнего дня. И он вроде бы ко мне тоже относился неплохо. Так что да простит мне его верный друг Елена Георгиевна Боннэр, если мои воспоминания о нем покажутся ей не совсем хрестоматийными. Все мы люди! И я тоже, надеюсь, имею право на свой суверенный взгляд на мир — пусть даже если он ошибочен или по меньшей мере далеко не во всем совпадает с тем, что стало у нас общепринятым.

Мое убеждение: Андрей Дмитриевич последние десятилетия своей жизни сам, сознательно просился на крест. И это при том, что он, насколько я знаю, всегда гордился той ролью, которую он сыграл в создании советского ядерного оружия и, соответственно, в достижении нашего военно-стратегического равновесия с США. Но, судя и по его поступкам, и по тому, что было им написано, чувство вины перед чем-то или перед кем-то Высшим ему, видимо, тоже было присуще. Раньше бы, я думаю, сказали: кается человек, грехи свои замаливает, прощенья просит и у Бога, и у людей: «Распните, православные! Грешен, каюсь, виноват я перед вами...». Сейчас, конечно, так не скажут. Но, на мой лично взгляд, так именно оно на деле и есть.

А вот почему я написал не «святой», а «почти святой», думаю, само собой, без особых разъяснений, будет понятно из тех двух эпизодов, о которых я здесь дальше собираюсь рассказать.

Последние числа мая 1988 года. У главного редактора «Московских новостей» Егора Яковлева в его квартире в Староконюшенном переулке собра-

лась небольшая вечеринка: помимо, естественно, хозяев, еще Андрей Дмитриевич с Еленой Георгиевной, историк Юрий Афанасьев с женой, известные наши кинорежиссеры Тенгиз Абуладзе и Элем Климов и мы с женой.

Расходились поздно, уже полночь. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна должны были на своей машине подвезти до дома Тенгиза, а я на своих «Жигулях», как уговаривались, — Афанасьевых и Климова.

Первыми в лифте вчетвером спустились Сахаровы и мы с женой. Спустились, надо сказать, не без приключений: где-то между третьим и вторым этажами лифт вдруг встал, и Андрей Дмитриевич долго тыкал пальцем наугад в разные кнопки на панели, прежде чем, задрожав и заскрежетав, лифт снова тронулся вниз. Неприятное, должен признаться, ощущение! И, думаю, любому будет понятно то чувство свободы, воли, освобождения, что охватило нас, когда мы все-таки выбрались на улицу и парадная дверь с каким-то хитроумным кодовым замком, врезанным в нее, захлопнулась у нас за спиной.

Но, как оказалось, это еще было далеко не все. Проходит минута, другая, пятая, десятая, двадцатая, а из подъезда за нами больше не выходит никто. Нет, что-то тут определенно не так! Там, в подъезде, явно стряслось что-то неладное. Они же, наши друзья, все вышли от Яковлевых вместе с нами и спокойно оставались ждать на лестничной клетке, пока лифт снова не поднимется за ними вверх. А если этот проклятый лифт, только лишь поугав нас, их-то как раз и прихватил всерьез? И они там висят теперь, беспомощные, между этажами, а дом уже весь спит непробудным сном, и они так и будут вчетвером, плечо к плечу, висеть в этой крохотной клетке-кабинке до утра, пока народ не повалит из дома по делам?

Андрей Дмитриевич своим аналитическим умом мгновенно просчитывает ситуацию, и вывод его однозначен: да, это, несомненно, авария лифта. Но как их оттуда высвободить? Открыть дверь подъезда мы не можем — нам неизвестен код замка. И позвонить Яковлевым мы тоже не можем: никто не помнит наизусть их телефон, а записной книжки, как на грех, ни у кого из нас с собой нет. Остается, похоже, одно:

— Ну-ка, выгребайте из карманов все двушки и гривенники! — командует Елена Георгиевна. — Вон на углу Арбата будка. Я иду звонить. Полиция, пожарная часть, справочная служба, наконец — должен же кто-нибудь знать, что в таких случаях надо делать?

Минут через пять — десять она возвращается: дозвонилась-таки до «Лифтремонта»! Говорят, скоро будут. Что ж, подождем...

Но проходит еще полчаса, потом сорок минут, потом час — никакими ремонтниками и не пахнет. А вечер душный, тяжкий, все еще накаленный дневным жаром, и, похоже, скоро будет дождь, а может быть, и гроза. Мы же толчемся у этой чертовой двери уже никак не меньше, чем полтора часа, у меня, чувствую, даже ноги стали отекают. А каково Андрею Дмитриевичу? Он ведь лет на пятнадцать постарше меня, и сердце, и вообще здоровье у него совсем не в лучшем состоянии (между прочим, жить ему тогда оставалось всего полтора года). Вон как он, и без того обычно бледный, еще побледнел. Видно даже в темноте...

— Андрей, ты как? — слышу, тихо, вполголоса, спрашивает Елена Георгиевна.

— Ничего, Люся! Ничего. Я только очень, очень хочу пить...

— Андрей Дмитриевич! — вмешиваюсь я. — Да поезжайте вы, ради Бога! Не беспокойтесь, я дождусь ремонтников. А потом я их, наших, развезу всех по домам. Тенгиз же хрупкий, маленький, они вполне все уместятся у меня на заднем сиденье вчетвером.

— Нет-нет, что вы! Мы с Люсей обещали. Нет, я так не могу...

Так они с Еленой Георгиевной и не сдвинулись никуда с места от этого дома, пока не подъехала наконец аварийная машина. Ну, конечно, как мы и

предполагали — висят, бедолаги, между этажами, совсем уж было настроились терпеть до утра. Но зато какой восторг, какая неподдельная радость была, когда они увидели нас всех на улице:

— Не уехали! Ждут! Это надо же — ждут!

И другое воспоминание: без малого через год мы с Андреем Дмитриевичем стоим в кулуарах Кремлевского Дворца съездов и беседуем о какой-то очередной перебранке там, в зале, где идет заседание съезда народных депутатов СССР. Я спрашиваю его:

— Андрей Дмитриевич, а вообще — кто такой Гдлян? И что такое Гдлян? Вы ведь, кажется, знаете его...

— Знаю... И должен вам сказать... Должен вам сказать, что это очень опасный человек. Это человек, который готов бороться с 37-м годом методами 37-го года...

— Андрей Дмитриевич, ну так сказали бы людям об этом! А то никто уже совсем не понимает ничего. Что хорошо, что плохо — поди теперь разберись. Вон какой вокруг него ажиотаж!

— Видите ли... У Гдльяна действительно есть серьезная поддержка в народе... И у меня тоже есть в народе определенная репутация... И я не думаю, что я должен ею рисковать...

«Ах, вон оно что! — думаю я. — Как же так, Андрей Дмитриевич? Два пишем, три в уме. Так и я тоже умею... А вериги как же? А крест? А абсолютный моральный авторитет?»

Но в дискуссию с ним я, конечно, не вступаю. Я слишком его люблю. Да и что это даст мне, что это даст ему, что это даст, наконец, нашему с ним, как я надеюсь, общему делу, если я сейчас вот, не сходя с места, докажу ему, что он, оказывается, слаб так же, как и я и как слабы мы все?

Должен сознаться: когда я собирался написать об этих двух эпизодах, я настолько был не уверен, что это надо было делать, что я решил предварительно посоветоваться с человеком, очень много значившим в ту эпоху, да и сейчас тоже широко известным в стране — с Александром Николаевичем Яковлевым. Как я и ожидал, он меня не одобрил.

— Не надо, Петрович. Не пиши. Или по крайней мере пока не пиши. Оставь людям хоть что-нибудь святое. И так уж ни у кого веры нет, считай, ни во что.

И все же нет, убежден — надо было написать. Ведь вера в чью-то святость, в мессию, который всех своей святостью когда-нибудь спасет, — это тоже своего рода эскапизм. Это тоже в первую очередь оправдание во всем самого себя, собственной никчемности — переложить ответственность со своих плеч если не на Бога, то на кого-то другого, кто больше, умнее и сильнее всех нас. Но и это тоже иллюзия: на самом деле, человек, ни больше, ни умнее, ни сильнее конкретного тебя — нет нигде никого.

О битых и небитых

Может, она все же когда-нибудь ослабнет в нашей стране, эта всеобщая, почти религиозная вера в «организацию» и в «организованность»? Дескать, стоит какому-нибудь ушлому, расторопному «организатору» вместе с какой-нибудь крепкой «организацией» все «организовать» — и все наши горести и печали тогда исчезнут, и всем станет хорошо, и вот тогда мы и заживем наконец, как люди живут и как все не получается у нас.

Признаюсь, когда мне плохо, я думаю: нет, не ослабнет эта вера. Как-то изменится, конечно, трансформируется, но не ослабнет. Вон даже и такой, казалось бы, умный человек, как мой студенческий друг Гавриил Харитонович Попов, — и тот все продолжает твердить об «организации», о необходимости перебросить левый фланг на правый фланг, а правый фланг на левый фланг, а авангард в арьергард, а арьергард в авангард...

А вот когда настроение получше, то иные мысли приходят в голову: «Да нет, не глупее мы других! Да еще имея за спиной все, что приключилось с нами в XX веке... Нет, и мы тоже не безнадежны, и мы тоже обучаемы. Ну, может, малость только потруднее, чем другие».

Многие у нас, конечно, еще помнят, не забыли Егора Кузьмича Лигачева, одного из виднейших деятелей эпохи «перестройки». И в то же время — одного из главных организаторов злосчастной «антиалкогольной кампании», а потом не менее злосчастной борьбы «против нетрудовых доходов». Это тогда, летом 1986 года, над Краснодарским краем, например, летали вертолеты, каждый с чугунной «бабой» на цепи, и крушили этой «бабой» все какие были частные теплицы внизу на земле. Сколькo ж, помню, возмущался я тогда всей этой дикостью! И устно возмущался, и в печати. Даже и сейчас еще оторопь берет, до какой степени идиотизма тогда могли дойти и доходили наши эти выдающиеся «организаторы».

А весной 1995 года на одном из так называемых «круглых столов» подошел он, Егор Кузьмич, ко мне в перерыве, отвел в сторону, взял за пуговицу и, к моему удивлению, весьма даже дружелюбно так изрек:

— А вы, уважаемый, вчера по телевизору высказали одну очень важную мысль. Должен сказать, мудрую мысль...

— Я? Егор Кузьмич, что-то не припомню, чтобы я вчера что-то такое уж особенное сказал. Право, не припомню...

— Ну, как же! Вы сказали: «За одного битого двух небитых дают». Очень, скажу я вам, верная, своевременная мысль...

А что, в самом деле? Может быть, и мы научились хоть немного да извлекать все-таки какие-то уроки из того, что мы раньше наворотили. Уж если до таких твердокаменных, как Егор Кузьмич, дошло — что ж тогда говорить о других?

А насчет битого-небитого... Нет, битому все же легче не наступить на одни и те же грабли. Когда небитый, когда «на новенького», да еще душа полна азарта, нетерпения, бьющего через край энтузиазма, — тогда ни про чужой, ни про свой опыт думать некогда. Тогда только бы успеть дорваться до кормила и до кормушки. А там — хоть потоп! У нас в России, по крайней мере, оно всегда, похоже, получается именно так.

Пипл хавает

Про то, что глупость человеческая от века правит миром, писал, как известно, еще Эразм Роттердамский. А вот про то, что пошлость, вульгарность, дурновкусие лежат в основе если не всех, то большинства людских несчастий — про это, кажется, не осмелился еще сказать никто.

Так что я претендую в этом смысле на роль своего рода первооткрывателя или, по крайней мере, первозаявителя. И утверждаю, что пошлость в ее многообразнейших проявлениях есть мать всякого злодейства и всякого зла в мире — как личного, так и общественного.

О! Поручите мне написать об этом всерьез — и я напишу целый трактат, где неопровержимо докажу, например, что все зло и все бредовые претензии Наполеона на мировое господство происходили оттого, что он позволял себе нередко даже не отстегивать шпагу, когда валил на постель очередную из чем-то приглянувшихся ему придворных дам; что незадавшийся художник и архитектор Гитлер никогда не стал бы Гитлером, если бы имел хоть какой-то художественный вкус; что вся inferнальная натура Сталина с наибольшей силой, на мой взгляд, проявлялась именно тогда, когда он, похихикивая, подкладывал торт под задницу кому-нибудь из своих гостей-собутельников, даром что, как правило, они, гости, и составляли Высший Государственный Синклит страны.

Нет-нет, не пугайтесь: ничего толстеного, неудобоваримого я здесь, конечно, писать не собираюсь. Увы, этот жанр уже, видать, не для меня. Я просто расскажу о двух-трех сценках из моей жизни, которые, если немного напрячь воображение, в конечном счете, как мне кажется, объясняют собой все или почти все.

Почему, скажем, столь бездарной и неэффективной была вся большевистская пропаганда, особенно в последние десятилетия советского режима? Не знаете? А я знаю, почему. Потому, утверждаю, что один из ее шефов — не буду называть его имени — любого из почему-либо опоздавших на работу своих сотрудников встречал неизменно одним и тем же вопросом:

— Ты дома где всегда спишь? С краю или у стены? Небось, у стены? Понятно: задержался, значит, пока через жену перелезал. Поменяйся местами, тебе говорят! А то, смотри, объяснение писать заставлю...

Или другое: почему такой чугунно-неповоротливой, неадекватной была в те же годы советская экономическая наука? Тоже не знаете? А я и на это знаю ответ: потому что ее лет пятнадцать, не меньше, курировал в ЦК перед концом советской власти человек, и мозгами, и внешностью, и всей манерой поведения напоминавший скорее не живое существо, а какую-то до бровей заросшую мохом геологическую окаменелость. И были у этого человека две особенности: во-первых, он был свояк К. У. Черненко, а во-вторых, известен он был еще и тем, что, когда создавалась очередная «дачная команда» по написанию какого-то важного документа и отправлялась на безвылазное, неделями, сидение куда-нибудь в Волынское, Серебряный Бор или на дачу Горького, он был единственным, кто умудрялся по пятницам оттуда удирать домой.

— Прошу меня сегодня отпустить домой. Сегодня пятница, — насупившись и вперив глаза в пол, говорил он очередному руководителю такого сидения. — По пятницам я обычно выполняю супружеские обязанности...

И ничто — ни жеребячий хохот собравшихся вокруг сотоварищей, загодя уже предвкушавших этот спектакль, ни недовольная гримаса руководителя, и уж тем более ни грандиозная, прямо-таки вселенская пошлость самого такого его обращения, — никогда не смущало его. И своего он, как правило, добивался. Как, следует подчеркнуть, добивался он неизменно своего и в основном своем деле — в удушении экономической мысли и экономической науки где подушками, а где и просто голыми, так сказать, руками.

А знаете, почему я ни на минуту не поверил в успех ГКЧП в том недоброй памяти августе 1991 года? И всего лишь через три дня оказался прав? Потому, отвечу, что этот самый ГКЧП возглавил — по-крайней мере формально — человек, которого я знал еще лет за двадцать до того. И при одном упоминании имени которого у меня всегда всплывала в памяти одна картинка, нимало не потускневшая с тех давних пор.

Начало 70-х годов. Делегация советской молодежи в Хельсинки на какие-то, уже не помню, европейских масштабов посиделки. Естественно, в делегации все как полагается по тогдашним временам: одна ткачиха, одна доярка, одна актриса, один фрезеровщик, один студент, один зять М. А. Сусллова, один фрайер-профессор, т. е. я, два чекиста-порученца... И, конечно же, во главе вождь — крепко сбитый, напористый, уверенный в себе партийно-комсомольский функционер лет тридцати трех — тридцати пяти.

Надо сказать, что со всеми в этой делегации у меня с самого начала сложились доброжелательно-ровные отношения. А с очень красивой и веселой актрисой из Киева сразу, уже чуть ли не с вагона от Москвы до Хельсинки, возникло даже что-то похожее на взаимную приязнь, приятельство или дружбу — называйте, как хотите.

Первый наш день в отеле в Хельсинки. Время позднее — уже полночь. Вдруг стук ко мне в дверь. Открываю: на пороге она. Разъяренная, как тигрица: молнии из глаз, ноздри раздуваются, кулаки сжаты, голос хриплый...

-- Прости, это я. Выпить у тебя есть?

— Есть, конечно. Проходи. А что случилось? Ты сама не своя.

-- Да понимаешь — сволочь. Ух, какая сволочь! Ну хорошо, ты мужик, я баба. Я тебе понравилась, ты меня хочешь. Ты в своем праве... Но посылать за мной порученца?! Нет, ты понял — за мной порученца!! Ну, что ты застыл? Наливай... Боже мой, какой же пошляк! Нет, с ума можно сойти — какой пошляк!..

Должен сказать, я глубоко уверен, что от новых времен в памяти народной останутся, наверное, всего лишь две фразы. Одна — великого нашего златоуста Виктора Степановича Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Но это бы еще ничего, это по крайней мере честно, по справедливости. К сожалению, останется, вероятно, и еще одна, брошенная вскользь каким-то патлатым, удушенным пошляком с экрана телевизора: «А что? Пипл хавает!». И возразить-то ему, пошляку, нечего: несчастный этот пипл — он действительно теперь хавает все, что ему ни поднесут.

Впрочем, и это тоже, если подумать, по-своему честно, тоже справедливо. «Пипл хавает!» А раз хавает — значит, ничего другого он и не заслужил.

Канат над пропастью

Всю мою жизнь с самого детства я боюсь высоты. Боюсь слишком высу- нуться из окна, боюсь подойти к краю крыши любого московского дома, даже если этот край огорожен перилами — так и тянет, до холодного пота по спине тянет шагнуть вниз. Боюсь даже обыкновенного «чертового колеса» в парке — смущаюсь, стыжусь себя, браню, но знаю: это не для меня.

В юности мне довелось когда-то немного побродить по горам: по Алтаю, по Кавказу, по Северному Уралу. Доводилось и карабкаться в тяжелейших ботинках и с полной выкладкой за плечами куда-то туда вверх, где сияли на солнце снега, и ночевать в палатках в спальных мешках на ледниках, и по каменным осыпям, и по краю пропасти иной раз идти, глядя в чью-то спину впереди... Но кончилось все это очень быстро. Однажды на Кавказе я не смог пересилить себя, не смог даже вступить на дрожащий, отчаянно раскачивающийся из стороны в сторону канатный мостик, перекинутый через узкое ущелье, по дну которого, где-то там далеко внизу, с ревом и грохотом катился поток, вздымая над собой целые облака брызг. Не смог, хотя рядом и немного выше этого мостика была перекинута еще и веревка, чтобы при переходе держаться за нее рукой. Четверо моих друзей так и ушли вперед без меня, а мне пришлось с позором возвращаться назад, на базу, понуриив голову и задыхаясь от жгучего стыда за себя.

Нечего и говорить, что с тех пор мнение мое о собственной персоне было основательно подорвано и никаких геройств от себя в жизни лично я уж, конечно, ожидать не мог. Зато с каким неподдельным восхищением я потом долго смотрел на тех, чье мужество, отвага, способность рисковать жизнью были очевидны: на тех, кто прошел войну, или взбирался на Эверест, или в одиночку переплыл все моря и океаны, или взлетал, падал и вновь взлетал под куполом цирка здесь же вот, рядом с моим домом, у нас на Цветном.

Но однажды, еще в студенческие годы, меня как-то посетило одно наблюдение, которое до сих пор не только никогда не исчезало, а, наоборот, вновь и вновь укреплялось по мере того, как рос, ширился круг людей, с которыми меня сталкивала жизнь. Как же так? — спрашивал я. Вот сидит мой однокурсник, и у него на выцветшей, застиранной гимнастерке на левой стороне груди места свободного нет от орденских планок, и я знаю, что в войну он был разведчиком и не раз ходил в тыл к немцам, и не раз врвался впереди всех на бронетанка в горящие села и города, и рисковал жизнью, и погибал, и по госпиталям валялся, и вновь возвращался в строй, и прошел всю войну, и кончил ее в Бер-

лине, или в Кенигсберге, или в Праге — не помню точно, где. А теперь вот он сидит рядом со мной, мальчишкой, на одной скамье, и все его уважают, и нет никаких сомнений, что он и есть тот самый идеал, каким должен стремиться быть вообще всякий достойный человек, а не только я, шкет-школяр... Но, Боже мой, я-то ведь знаю, насколько труслив этот человек в жизни, как он боится, до дрожи в коленках боится всякого начальства, как он готов исполнить любую подлость, если ему прикажут, и предать, и продать любого, и даже не за тридцать полновесных сребреников, а вообще ни за что — за благосклонный взгляд кого-нибудь из деканата, или за должность старосты курса, или просто так, потому лишь, что группа крови у тебя, видите ли, не та.

И он отнюдь не один такой! Их таких было много, очень много. И они, эти бывшие орлы-фронтовики, и составляли, похоже, ту опору, на которой жила вся окружавшая нас тогда система лжи, насилия и предательства, все это тщательно — камушек к камушку, кирпичик к кирпичику — выстроенное здание несвободы, в котором мы были обречены жить... Но все-таки: как же так? Такой героизм, мужество там и такое унижительное, постыдное малодушие здесь? Это-то все как совместить?

Или другой мой близкий знакомый, уже в пору более или менее зрелых моих лет. Умен был человек, красив, талантлив, ироничен! И отважен был порой донельзя, до полного безрассудства: какие только пороги и стремнины он не преодолевал на плотках и на резиновых лодках, какие реки и в какие холода в одиночку не переплывал, на какие горы не взбирался, по каким торо-сам, по каким безлюдным, бесконечным снежным пространствам не ходил на лыжах! Однажды даже, помнится, чуть до Северного полюса не дошел в компании двух своих друзей, да что-то там у них все-таки не заладилось. И любая, предложенная неважно кем, авантюра, лишь бы в ней была хоть капелька риска — для жизни риска! — тут же вызывала в нем новый азарт, новый прилив энергии, желание бежать, действовать, завоевывать, побеждать... И в морду, между прочим, тоже мог с легкостью дать кому угодно...

Но я знал и другое. Они с женой работали вместе в одном очень престижном тогда учреждении. И начальник этого учреждения (по виду — боров, а по натуре — обыкновенный советский хам, окончательно обнаглевший от полнейшей своей во всем безнаказанности) на глазах у всех жил с его женой, и не только когда отсылал его самого в какую-нибудь выдуманную командировку, но бывало, что и почти в его присутствии, затребовав после работы ее к себе в кабинет для подготовки якобы какого-то срочного документа или для чего-то там еще. И я знаю, что этот везде и всюду отважный человек только лишь молчал, сопел и терпел — терпел вплоть до того дня, когда начальника однажды хватил вдруг в кабинете удар и его потом отправили на инвалидность.

А может быть, он, мой приятель, и в горы лез, и в ледяную воду кидался, и на лыжах по тундре пробивался сквозь снега лишь потому, что хотел доказать и себе, и другим, что он отнюдь не такое ничтожество и размазня, каким он не только выглядел, но и на деле был для тех, кто знал про этот злосчастный «треугольник»? Не знаю, возможно, и так. Загадку эту я так и не разгадал никогда. А теперь его уже и на свете нет.

Так что же оно такое есть, истинное мужество, истинная отвага в жизни? Не раз и не два мне приходилось решать этот вопрос с самим собой. Кажется, это Владимир Высоцкий когда-то пел: «Бить человека по лицу я с детства не могу...». Вот и я тоже не могу. Но были и в моей жизни моменты, когда другие не могли — пугались, не выдерживали — а я мог. И шел напролом, не оборачиваясь и не думая о последствиях...

А если все же правы те, кто утверждает, что легче лечь в прямом смысле на амбразуру, чем выдержать, не сломавшись, самую жизнь во всей ее трагической обыденности? Не знаю, дорогой читатель. Честное слово, не знаю. Реши сам.

Нет, на это есть другой судья

Нередко меня сегодня упрекают: ну что, доигрался? Видишь, к чему привели ваши бредни, твои и таких, как ты, кто поднял весь этот шум о реформах в 1987 году? Как, по-прежнему считаешь, что ты прав, или все-таки есть какие изменения?

Есть. Конечно, есть. Да их и не может не быть. В 1987 году я полагался на инстинкты самосохранения правящей партии, на здравый смысл ее руководителей, особенно высшего звена. И я полагался на высокую мораль, профессионализм, воображение и опять-таки здравый смысл «демократического крыла» нашего тогдашнего общества. Мне виделось в те годы, что вот-вот во главе России вместе с М.С. Горбачевым встанут люди типа А.Д. Сахарова и А.И. Солженицына, и все у нас тогда станет хорошо. А оказалось...

А оказалось, что, во-первых, большевики в массе своей настолько «зажирили», настолько утратили всякую способность думать и всякие инстинкты самосохранения, а во-вторых, так называемые демократы проявили такую невероятную безответственность, жестокость и алчность, что к концу 1991 года все мои надежды на что-то разумное, щадящее для России сами собой рассыпались в прах. Кто-то, не помню, пустил в то время шутку: «Одна шпана сменить другую спешит, дав воле полчаса». Горькой, но, надо признать, во многом справедливой была та шутка.

Да и весь XX век в целом стал, на мой теперешний взгляд, для России веком регресса, а не прогресса. Я не верю в обязательность, в неотвратимость человеческого прогресса во всех областях и для всех без исключения стран и обществ. Можно сослаться, к примеру, на искусство и литературу: всеобщий регресс и вырождение в этих областях, по-моему, очевидны сегодня для многих. Или, скажем, на такие всемирные теперь явления, как терроризм, наркотики, организованный криминал, обесценение отдельной человеческой жизни, рост жестокости, необратимое разрушение окружающей среды и пр.

Что же касается России как страны, как некоей своеобразной цивилизации, то о каком прогрессе можно говорить, если всего за один век Россия выдержала шесть революций, восемь войн и бесчисленное число чуть не поголовных голодовок? В самом деле: революция 1905 года, две революции 1917-го, коллективизация и раскулачивание 1929–1933 годов, массовый революционный террор 1937–1938-го, (куда там Робеспьеру с его гильотиной!) и, наконец, нынешняя революция, правда, с другим уже знаком, но от этого ничуть не менее болезненная, чем все предыдущие. И войны: японская, Первая мировая, гражданская, польская, финская, Великая Отечественная, афганская, а теперь и чеченская. Сколько же российского народу было перебито за все эти революции и войны! И все это был лучший народ, цвет нации, цвет страны. И сейчас мы живем, грубо говоря, на охвостье, на том, что осталось от этого лучшего, а остался, по всем законам природы и общества, так, в лучшем случае третий сорт.

Нет, о прогрессе России в XX веке можно сегодня говорить только лишь сугубо с технократических позиций. Конечно, вместо конки мы сегодня ездим на метро и трамвае, а каждый четвертый-пятый россиянин уже сидит в собственном автомобиле, и у нас тоже теперь есть и компьютеры, и сотовые телефоны, и Интернет, и прочие подобные забавы. Но это все теперь и у бушменов в Африке есть! По-моему, если и можно говорить сегодня о прогрессе России, то не как итоге XX века, а только о надежде на XXI век. Но надежда, как известно, — это прежде всего вопрос веры, а не логики. Можно верить, а можно и нет.

Ну, а в последние-то, в последние 15 лет XX века — в годы реформ — как по твоему мнению, стала жизнь лучше или хуже? Зря это все было или не зря?

Отвечу: как все и всегда в жизни — откуда посмотреть. Бесспорно, многое за эти годы изменилось к лучшему. Страна распрощалась с прошлым,

изуродовавшим жизнь и судьбу как минимум трех поколений россиян. Гражданские свободы, исчезновение страха перед властью, возможность иметь собственность, жить как хочешь, верить во что хочешь, ездить куда угодно, проявлять свои таланты и свою предприимчивость, наконец, насыщенность рынка, исчезновение дефицитов и изматывающих душу очередей — разве можно всего этого не замечать и не ценить?

Но с другой стороны: катастрофический развал еще недавно великой и могучей страны, бессилие и унижение ее перед лицом всего мира, кровавые вспышки слепого местного национализма, позорная зависимость от внешних подачек, беспардонное разграбление национального достояния в ходе воровской приватизации и столь же беспардонная конфискация государством сбережений населения в начале 1992-го и в августе 1998 года, распад экономики, распад даже тех отраслей, где наши достижения в XX веке были неоспоримы, — науки, образования, здравоохранения, культуры, высокотехнологичных производств, обнищание порядка 80% населения, искусственно ускоренное вымирание стариков, миллионы бездомных, беспризорных и беженцев, невероятный размах коррупции и преступности, всеобщий упадок морали и пр., и пр.

Что и говорить, велика была цена, уплаченная Россией за расставание с прошлым! И, конечно, вполне естественным сегодня кажется вопрос: а стоило ли огород городить?

Может быть, и стоило, не знаю: брать на себя роль судьи я отказываюсь, на то, надеюсь, есть Верховный Судья. А вообще... А вообще-то, как известно, «царство Божие внутри нас». Или по-другому, по-уличному: везде хорошо, где нас нет.

Лично мне, должен сказать, новые времена принесли много хорошего. Но ведь душа-то все равно болит.

«Отчим» российских реформ

Человек я в общем-то легковозбудимый и завожусь обычно с пол-оборота. В пылу полемики могу и черт-те чего наговорить — сам буду жалеть и сокрушаться потом. Но вот в отношении ругани и нападок в свой адрес в печати у меня принцип: не отвечать. Никому не отвечать и ни на что. Почему не отвечать? А за полной бесполезностью! Ругают-то у нас чаще всего не для того, чтобы отстоять истину — ругают для того, чтобы обругать. А заодно и себя показать: а то иначе, не дай Бог, забудут люди, что ты на свете есть.

Так было и тогда, годы назад, когда я находился в самом что ни на есть центре наших общественных дискуссий. Так оно обычно бывает и сегодня, когда «мода» на меня в основном прошла, но время от времени кто-то все-таки нет-нет да вспомнит обо мне и о том, что я когда-то говорил или говорю сейчас.

Но, видимо, нет и не может быть принципа без исключения. Недавно одна весьма, скажем мягко, горластая газета («Советская Россия», 6 апреля 2000 г.) вновь вдруг, в который раз, обрушилась на меня, присвоив мне, между прочим, звание «Отчим российских реформ». Нет, что ни говорите, а это что-то новенькое! И, надо признать, очень нестандартное и по-своему даже довольно точное: каждому ясно, что отчим — это не родитель. Родитель может быть только один, а отчимов — этих, в зависимости от того, как сложится жизнь у новорожденного, может быть, как известно, сколько угодно. И, услышав в свой адрес такие проникновенные слова, да еще от профессиональных, так сказать, «борцов за человеческое счастье», показалось мне уместным хоть раз да что-то все-таки возразить на всю эту брань. А то ведь, бывает, даже и обижаются на меня за молчание, и говорят, что я сноб и не уважаю никого.

Так вот: не только в «родителях» российских реформ, но даже и в «отчих» было бы мне ходить явно не по заслугам. По одной простой причине: еще в самом начале 1992 года между мной и молодыми ельцинскими реформаторами обозначилась пропасть, и с тех пор она, эта пропасть, никак не уменьшилась, а только лишь расширялась. А причина была в том, что даже в самых кошмарных своих снах я и вообразить себе не мог ту невероятную степень жестокости и презрения к людям, к «человеку с улицы», которую проявили эти юные «дарования» в чистеньких костюмчиках и модных очках, когда они от слов перешли к делу. Признаюсь, поначалу я даже не поверил, что это все не какое-то недоразумение, что они всерьез решили действовать именно так, а не иначе, и будут действовать и дальше так, что бы им кто ни говорил.

— Егор Тимурович! Как же так? Ну нельзя же так грабить людей! Так даже Сталин в 1947 году не делал. Освободили цены — хорошо. Но государство в таком случае обязано проиндексировать и вклады людей в Сбербанке. Ну, в крайнем случае, проиндексировав, заморозить их. Но просто так отнять? Не объяснив ничего и даже не извинившись? Вы понимаете, что вы так всю Россию одним махом из сторонников реформ превращаете в ее противников?

Молчит, сопит, потеет... И всем своим видом выражает всяческое презрение к бестолковым этим «шестидесятникам», которые ничего не понимают и только путаются у серьезных людей под ногами. Или же и того хуже — начинает нести ужас какую ученую околесицу о какой-то там «брутально-экзистенциальной экспоненциальности» и черт знает о чем еще.

— Анатолий Борисович, ну что же вы делаете? Что ж вы Россию-то всю задаром раздаете кому ни попадя? Вы что думаете, люди дураки? И ничего в ваших этих «ваучерах» не поймают?

— Неважно, Николай Петрович! Неважно. Главное — раздать все за год-полтора, чтобы назад возврата не было. А кому раздать, как раздать — это уже вопросы второстепенные.

Или еще:

— Борис Григорьевич! Ну, как же вы так: получается, что у вас никакого другого способа победить инфляцию нет, кроме как не платить никому и ни за что — ни зарплату людям, ни пенсии, ни предприятиям по государственным заказам. На это ведь много ума не надо! Эдак, знаете, и я тоже могу... Это же, простите, уголовное! Чистой воды уголовное!

— А вы что предлагаете, профессор? Деньги печатать? А на это, по-вашему, много ума надо? — сказал и победоносно этак смотрит на меня: уел!

— Почему ж только печатать? Вы бы вот хоть водку в бюджет вернули. А то отдали все самогонщикам и контрабандистам, а теперь плачетесь — денег нет...

И так далее, и так далее — результат известен. Как обронил как-то в сердцах академик Леонид Абалкин: «Мамай прошел!». Да хорошо еще, если только прошел и ушел. Сколько там монгольское иго длилось? Двести пятьдесят — триста лет? Не приведи, как говорится, Господь!

Первыми, надо сказать, опомнились зарубежные наставники наших младореформаторов. И быстренько, незаметно так исчезли из поля зрения — подальше от греха: мы-де тут ни при чем, это все сами они, русские, виноваты, вот и спрашивайте с них. Честнее всех из них оказался, пожалуй, главный одно время гуру наших преобразователей — профессор Гарвардского университета Джеффри Сакс, признавший во всеуслышание: «Мы положили больного на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку... А у него, представьте, оказалась другая анатомия!». Очень скоро к нему присоединился Джозеф Штиглиц — первый вице-президент того самого Международного валютного фонда, на который у нас принято сегодня валить все и вся. Ну, а потом пошло-поехало... В 1997 году был даже какой-то короткий период, когда возникло впечатление, что и наши реформаторы, ужаснувшись содеянному,

тоже выкинули лозунг: «Ребята, кончай воровать! Пора и о стране подумать». Продолжалось это, однако, недолго — до 17 августа 1998 года. Последствия которого, надо думать, нам придется расхлебывать еще не один десяток лет.

А о моих отношениях с реформаторами лучше всего, по-моему, свидетельствует один небольшой, но в общем-то весьма характерный эпизод. Стокгольмский университет в самом начале наших реформ, когда «шоковая терапия» еще только разворачивалась, устроил очень представительную международную конференцию по российской проблематике. От России на конференцию пригласили фактически всех заметных людей из тех, кто имел тогда отношение к реформам. Может быть, из уважения к сединам, а может, по другой какой причине, но меня попросили сделать на конференции первый, вводный доклад. Что ж, сделал. В нем, между прочим, я, в целом поддержав общую линию на рыночные реформы, в то же время предостерег реформаторов от чрезмерной жестокости в проведении преобразований. Осторожно так предостерег, безобидно — тогда я еще и сам не верил даже просто в возможность жестокости таких масштабов, свидетелями которой мы все вскоре стали. Но и этого осторожного предупреждения оказалось достаточно: через год доклады конференции были изданы в Лондоне на английском отдельной книгой, но вводного, т.е. моего, доклада в ней не было.

Нет, не подумайте, что я очень уж расстроился. Какая в конце концов разница! Одной публикацией больше, одной меньше — у меня их и так сотни. Огорчило другое: что прежние, что новые, что западно- что восточноевропейские, что старые, советские, что новейшие русские — все вы, ребята, оказывается, одним миром мазаны. И все действуете в общем-то одинаково.

Так что, на мой лично взгляд, дорогие соотечественники, самый главный закон мира давным-давно еще открыли французы. Помните их поговорку: «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому»? Похоже, что оно действительно так и есть. И у нас так, и у них.

Диалог с Левитаном

Если иметь хоть какую-то склонность к мистике — а я, кажется, ее имею, — то необходимо будет признать, что само рождение мое сопровождалось какими-то напутственными словами, что груз их мне приходится ощущать вплоть до сегодняшнего дня. Причем ощущать именно в себе самом, а это на деле, наверное, даже еще хуже, чем любые напоминания и понукания извне.

Покойный мой отец — старый русский инженер, геодезист, картограф, исходивший из конца в конец всю Россию со своим теодолитом — не раз, бывало, вспоминал:

— Шесть утра. Только что родился ты. Я стою у дверей родильного дома на Самотеке, а на столбе напротив висит черный, раструбом, громкоговоритель. Ну радио то есть: такие громкоговорители тогда на всех углах и площадях Москвы висели. Вдруг захрипело в нем что-то, ударили куранты. А потом диктор — наверное, Левитан, кто же еще? — в этот раструб и отчеканивает на всю площадь: «Сегодня ночью, в два часа столько-то минут, после тяжелой продолжительной болезни скончался великий пролетарский писатель Алексей Максимович Горький». Не знаю, что на меня нашло, но повернулся я эдак гордо к этому столбу, к громкоговорителю, и говорю: «Ну, и ладно, ну, и пусть! Горький умер — Шмелев родился!». Вот так-то, друг. Учти. Как-никак, то были первые слова, с которыми к тебе обратилась жизнь...

Действительно, я родился 18 июня 1936 года, в ту самую ночь, когда скончался А.М. Горький... Нет-нет, речь здесь, конечно, не о каких-то сравнениях и сопоставлениях. Не настолько уж я самонадеян и не настолько всерьез отношусь к самому себе. Речь всего лишь о тех словах, которые по какой-то

прихоти судьбы были произнесены при моем рождении. А могли бы быть и не произнесены.

Писал же я потом, так уж получилось, почти всю свою мало-мальски сознательную жизнь. В раннем детстве это были пьески для домашнего кукольного театра. Потом, в юности — это уж как водится — стихи. Потом, годы долгие и десятилетия, писал прозу. А теперь вот, под старость, пишу и сам толком не знаю, что: рассказы — не рассказы, заметки — не заметки, мемуары — не мемуары. Одним словом, «фитюлечки» — что-то, в общем, такое-эдакое, что вроде бы даже и не подходит под какой-нибудь установившийся канон.

А писал я... Писал я, пожалуй, обо всем. Про любовь писал? Писал. Про растерянность, тоску, про одиночество человеческое от колыбели до могилы? И про это тоже писал. Человек и власть, человек и общество, человек и люди вокруг него? О, об этом-то я писал, наверное, больше всего. Можно даже сказать, что основным мотивом того, что написано мной, всегда было именно это извечное и неразрешимое: «один и все, один и мир, один и небо». Рок, судьба, господин Случай в жизни человека? Конечно же, и об этом тоже писал... Что еще? Роса на траве по утрам, вишни под окном в цвету? Ночные улицы, фонари, щемящая пустота городских бульваров? Ну, как же можно было обойтись без этого? Так ведь оно и не обошлось.

Мало, но я писал и о добре и зле, о злобе человеческой, о ненависти двуногих существ друг к другу. А мало писал потому, что все это было не очень интересно для меня. Грех Бога гневить: судьба (по крайней мере до сих пор) была довольно милосердна ко мне, людская злоба прошла по моей жизни лишь по касательной. А о трагедиях вселенского, так сказать, масштаба я в основном лишь знал, слышал, но напрямую втянут в них никогда не был.

Точно так же всерьез я не писал и никогда не буду писать о кажущемся абсурде человеческого существования и всего того, что происходит в мире. А не буду писать потому, что я просто не верю в абсурд. Абсурд — это слишком легко. Это лишь верхний слой жизни (и смерти). А за ним стоит Замысел. И что бы в мире ни произошло, но люди и через сотни и через тысячи лет будут недоумевать и мучиться, в чем же он все-таки был и есть, этот Замысел. Именно, повторяю, Замысел, а не абсурд. Слишком это легкое дело — сказать, что все абсурд, что, как говаривал когда-то еще Ф.М. Достоевский, все на свете есть только «нуль да синильная кислота».

Как я имел уже возможность неоднократно убедиться, для большинства читающей нашей публики до сих пор все еще существуют два совершенно разных, не имеющих никакого отношения друг к другу человека: Н. Шмелев — писатель и Н. Шмелев — экономист. Что ж, наверное, по-своему прав был когда-то мой редактор из «Нового мира» Анатолий Стреляный, настаивавший тогда, когда мы с ним готовили мою сильно нашумевшую в свое время статью «Авансы и долги», чтобы я взял псевдоним.

— Смотрите, — говорил он. — Иначе вас все время будут путать. Такого двойного бремени вы, ваше имя, можете и не потянуть. Это, понимаете, слишком уж сложно для читателя — двое в одном. Ему ведь некогда разбираться, кто из вас кто.

Двойное? Строго говоря, даже не двойное, а пятерное. Или даже больше того. В свою биографию я с достаточно серьезными основаниями мог бы, наверное, вписать еще, к примеру, и такие профессии, как парламентарий, политолог, историк, университетский профессор, международник-журналист. И что, каждый раз для каждой такой ипостаси брать новый псевдоним? Нет уж, как решила судьба и как естественным порядком сложилась она, жизнь, так пусть оно и будет. Имя человека не выстраивается, оно складывается само собой. И искусственно прятать в глазах людей одного себя от другого себя, по истинному, а не мнимому счету, не сделает человека ни на йоту больше, чем он на самом деле есть. Даже при том, что в наше время ярлык «энциклопедист» давно

уже несет в себе скорее привкус пренебрежения, чем хвалы, и от него лучше бы сразу отделаться, если уж всерьез настраиваешься на житейский успех.

Вот почему я так никакой псевдоним все-таки и не взял. Хотя, признаться, искушение было велико: многое, вероятно, это изменило бы для меня к лучшему и в литературной, и в академической, да, похоже, и в любой другой среде.

Так кто же я на самом деле есть? Не знаю. Я есть я — это я знаю точно. А больше мне, пожалуй, и нечего сказать. Может быть, кто другой или другие знают, кто я есть. Но это другие, не я.

Впрочем, нет. Все же, по-видимому, не совсем так... Однажды, помню, года два назад команда разбитных телевизионщиков снимала у меня дома очередное интервью со мной. Ведущий что-то спрашивал, я, сидя в кресле, что-то отвечал. Камера все время переходила от кресла к заваленному бумагами письменному столу, от него к многоярусным стеллажам моей библиотеки, к картинам, к коллекции трубок и корабликов на полке, ко всяким грошовым заморским безделушкам, расставленным и рассыпаным повсюду по кабинету... А уже уходя, оператор — лохматый такой джинсовый парень лет тридцати — на секунду вдруг остановился в дверях и, оглянувшись еще раз напоследок вокруг себя, сказал, обращаясь то ли ко мне, то ли к себе, то ли вообще неизвестно к кому:

— Да... Квартира «старого русского»... Хорошего, то есть, русского. Это редко теперь...

Конечно, я понимаю, это не профессия. Но должность такая на земле, видимо, все-таки есть: быть «старым русским». И если это так, я этой должностью очень горжусь.

В то лето я жил один

Кажется, уже все — мыслимое и немислимое — написано в мире про любовь. И если, конечно, не обманывать себя, то ничего особенно нового, неизвестного, о ней больше уже не скажешь. И про Ромео и Джульетту написано, и про всепоглощающую, всежигающую чувственную страсть, и про муки ревности, и про измену, и про разлуку, и про верность друг другу до гробовой доски — про все. И по серьезному счету добавить к тому, что уже было испытано, а потом написано про любовь другими, мне, признаться, тоже нечего. Впрочем... Впрочем, нет. Все-таки, кажется, есть чего. Немного, конечно, да и не так уж это все, по-честному говоря, и красочно, и завлекательно. Но все же, похоже, заслуживает некоторого внимания: что-то в том, о чем я собираюсь сейчас рассказать, есть такого, что, по-моему, еще не окончательно затерто ни в слове, ни на бумаге, ни в обычном житейском, так сказать, обиходе.

В то лето я жил один. Совсем один — старики мои были в отъезде, и раньше начала сентября я их не ждал. Жизнь тогда я вел вольную, беспечную: лет мне было всего ничего, позади был развод (кстати говоря, довольно тяжелый), а впереди было все: свобода, независимость, размах, надежды, мечты и творчество, письменный стол — это уж, конечно, в первую очередь. Ну, и конечно, друзья, гульба, театры-рестораны, мимолетные, ни к чему не обязывающие встречи, а то и романы — когда в шутку, а когда и всерьез...

Сейчас, оглядываясь назад, иногда думаешь: и чего еще человеку надо было. чего еще ему было желать? Почему даже этого казалось тогда мало, и все сосала-сосала изнутри душу и сердце какая-то червоточина, томление духа, печаль, недовольство жизнью, недовольство собой? Но ни тогда, ни сейчас не было и нет у меня на это ответа. Да, наверное, его и не может быть: это вопросы к Богу, не к людям. Так уж оно, видно, заведено в мире. И не трепыхайся, не думай — все ведь такие, не ты один такой.

И, помню, что-то этакое очень уж захватывающее я тогда писал. Писал

азартно, истово, с утра до вечера, не разгибая спины. Я даже и в свою Академию наук перестал тогда ходить: не до нее мне было, а режим работы в ней в те давние времена такие «творческие запои» позволял, надо было только придумать подходящий и хотя бы малость похожий на правду предлог.

А она, Гюли (в ту пору аспирантка Института истории искусств), отсидев перед этим свое с утра в библиотеке, приходила ко мне часа в 4-5 дня, бросала куда-нибудь в угол свои книжки и тетрадки, забиралась с ногами на диван, разворачивала какой-нибудь ерундовый журнал, что-то спрашивала раз-другой у меня, а вернее, у моей спины, изгорбатившейся над столом, я, не оборачиваясь и не отрываясь от бумаги, ей отвечал, а потом...

А потом, заметив наконец, что сзади меня в комнате давно уже не слышно ни звука и молчание, с самого утра царившее в ней, приобрело в себе что-то новое и стало еще полнее, еще глуше, чем оно было, когда я был один, я тихонько отодвигал от стола своей скрипучий стул и поворачивался назад. Ну да, ну конечно! Она опять уснула на диване, подложив под щеку ладошку, и опять позабыла хоть чем-нибудь укрыться, и надо набросить на нее либо мой халат, либо плед, чтобы ей не приходилось так поджимать под себя зябнувшие при открытой балконной двери ноги, для которых, поджимай не поджимай колени, а юбки все равно не хватало — тогда как раз только начинали их, юбки, носить выше колен. Намаляся, видно, с утра человек! Встала, небось, ни свет, ни заря, чашка кофе на ходу, транспорт туда — транспорт сюда, всякие там книжные полки, толстенные фолианты, скука, архивная пыль... И не ела, наверное, ничего как из дома вышла. Характер такой — предпочтет с голоду умереть, чем проглотить хоть что-нибудь в этом мерзком, насквозь пропахшем отвратительным каким-то запахом библиотечного буфете. Нет, лучше пока не будить, лучше пусть спит, отлеживается себе от всех печалей и скорбей у меня за спиной. Вечером отыграемся, закатимся куда-нибудь в ресторан, опять маленький пир устроим. Опять будем смеяться, ухаживать друг за другом, глазеть по сторонам...

А пока она спит, пока все так тихо, можно и еще немного перышком поскрипеть. И вроде я тут не просто так сижу, извожу бумагу в свое удовольствие, а сижу при деле: сторожу от всякого зла это беззащитное, милое мне существо, свернувшееся калачиком на диване, которое доверяет мне так, как, пожалуй, никто еще в моей жизни не доверял.

И так и живем мы с ней дальше, до вечера: я за письменным столом, она тихой мышкой, на диване у меня за спиной под моим махровым халатом, и что-то там улыбается, что-то там видит себе во сне. А за открытой балконной дверью лето, тополь шелестит листвой у самого окна, стрижи со свистом носятся по двору взад-вперед и верх-вниз, легкий сквознячок тянет от балкона по ногам... Хорошо! А через час-другой она проснется, сядет, выпрямится на диване, сбросит с себя халат, потрет кулаком глаза: «Ой, я опять, кажется, заснула... А ты все сидишь? Который, кстати, теперь час?».

Конечно, и это в конце концов тоже прошло, как проходит в жизни все — и то лето, и те стрижи. Да и тот старенький, уже тогда расплывшийся халат, которым я укрывал ее, тоже вскоре куда-то исчез. И все-таки... Прошло, да не прошло! Нет, скорее, не прошло, а другое стало: конечно, тяжелее, мрачнее, привычнее, и уже, конечно, без того легкого, ласкового ветерка, который тогда, казалось, не только от балкона, а отовсюду обвевал нашу с ней жизнь. Но главное-то все же осталось! Я знаю, что как и тогда, тем летом, так и сейчас, спустя тридцать с лишним лет, она может так же тихо заснуть на диване за моей спиной, и я так же буду что-то карябать на бумаге у себя за письменным столом, и так же, как и тогда, она, проснувшись, спросит: «А ты все сидишь? Который, кстати, теперь час?». И как и раньше, я знаю, что за моей спиной ей, по крайней мере, куда как менее страшно в этом мире, чем это было бы без меня.

А бывает и так... А бывает и так, что, когда мне не спится — хоть ты

тресни — не спится, а таблеток я терпеть не могу — я, накрутив сверху на ночничок еще что-нибудь дополнительное, чтобы не разбудить ее, чтобы свет никак не бил ей в глаза, сижу в кресле и чего-то думаю там себе, и смотрю, как она спит. И как тридцать лет назад, спит она калачиком, только укрывшись до подбородка теперь уже не моим халатом, а стеганым одеялом, и дышит ровно, и никакой тревоги на лице я у нее не вижу, и, как и тогда, она даже иногда улыбается во сне.

Что я думаю в эти долгие минуты, а бывает, что и часы? А ничего. Ничего особенного не думаю. Наверное, думаю то же, что и все, кому просто так, без всякой причины не спится ночью: что жизнь прошла, а я и не заметил, как; что человек я вроде бы не самый плохой, и грехов на мне не больше, чем у других; что на самом-то деле это и есть, наверное, то, что называют счастьем, что мы прожили вместе с ней теперь уже, считай, почти всю жизнь...

И еще. Сидя так, при притушенном свете, в кресле, я слышу, как в доме кто-то открыл кран и вода прошумела вниз по трубам, и почему-то сама собой скрипнула в коридоре рассыхаясь половица, а за окном во дворе пронзительным детским голоском опять заорал выпущенный кем-то на волю гуляка-кот. Звуки все, как видите, привычные, понятные. Да и мысли все тоже привычные. Но вот только, в отличие от звуков, непонятные, а потому и, похоже, вполне бесполезные: Бог, жизнь, люди, любовь, смерть. Такими они, эти мысли, были всегда, такими они, видно, и останутся, пока человек на земле вообще жив.

А самая большая просьба у меня к судьбе — если, конечно, они, эти просьбы, принимаются — теперь, пожалуй, одна: умереть так, чтобы не разбудить. Умереть ночью, разом, в полном молчании, чтобы ее, кто когда-то так доверился мне, не разбудить. Пусть спит.

Кто, где, когда

Старики мои лежат на московском Даниловском кладбище. Уютном, добротном, зеленом кладбище, издавна почитаемом в Москве: хоронили там раньше преимущественно духовное сословие, купцов всех трех гильдий, мещан, мастеровых и разный другой домовитый, обстоятельный замоскворецкий люд. Потом, конечно, пошла самая разношерстная публика, преимущественно московская интеллигенция, но и простого народа тоже лежит там достаточно. Причем, что характерно, без всякого разбору: русские, малороссы, армяне, евреи, даже, судя по именам, и татары попадают — всем здесь место нашлось, никто не мешает никому.

А церковка кладбищенская просто замечательная! Кажется, начала XIX века: строгая классика с белым куполом и одиноким золотым крестом наверху — что-то такое, что пошло и почти на век утвердилось на Руси в екатерининско-александровские времена, особенно в помещичьих усадьбах и по губернским городам. А рядом через забор от кладбища — Алексеевская больница для душевнобольных («Канатчикова дача»): тоже, что ни говори, место «злачно и покойно», где измученные души человеческие хоть и временно, ненадолго, но тоже обретают какой-никакой, а покой.

«И вожденное отечество подай мне, Господи, вновь сотворяя меня жителем рая...» Почему-то именно эти слова из заупокойной молитвы, какой православная церковь провожает в последний путь усопших, каждый раз вновь и вновь звучат у меня в ушах в те несчастные (ох, несчастые!) дни, когда я прихожу сюда проведать моих стариков и стою у поржавевшей уже во многих местах решетки и большого черного камня, на котором выбиты их имена. В них, в этих словах, все: и печаль, и усталость от земных тревог и суеты, и надежда на то, что все у Бога устроено мудро и милосердно, и все для человека будет в конце концов хорошо.

А для меня в этих словах еще слышится некое обещание скорого прощения мне, лично мне — нерадивому, невнимательному сыну, который столько недослушал, недопонял, столько не ответил вовремя своим старикам, не навесит их лишний раз, не посидел с ними лишний час, не выспросил, не выслушал от них чего-то такого самого важного, самого последнего, что накопилось у них за жизнь и что, может быть, и было самой ее сутью. А уж про резкие слова, что иногда срывались у тебя с языка в ответ на их упреки или недоумения, и говорить нечего...

Ну что ж, все в мире справедливо. И всему и за все, видать, есть свое воздаяние. Теперь вот уже и твоя поросль отвечает тебе тем же самым, и ты испытываешь то же, что когда-то испытывали твои старики, а этой поросли, в свою очередь, когда-нибудь будет точно так же отвечать ее собственная поросль, и т.д., и т.д. И все потом будут сожалеть и сокрушаться, как и ты, и это будет уже их плата за собственные грехи, как платишь теперь за свои грехи ты, стоя вот так у могилы родителей с опущенной головой.

Обычно я прихожу сюда поздней весной или в начале лета. Но особенно покойно и умиротворенно бывает мне здесь в начале сентября, в день рождения отца: желто-красные клены, рябины, березы, тополя, трава чуть не по пояс вокруг многих, не очень, видно, посещаемых могил, тишина, молчание, разве что ворона вдруг ни с того, ни с сего каркнет хрипло где-то там наверху, в ветвях, а так ни звука ниоткуда, даром что все это чуть не в центре Москвы. И дорожки-тропинки между могилами все мне уже знакомы до одной, так что мог бы, наверное, и с закрытыми глазами тут пройти, и здешних соседей моих стариков я давно уже знаю почти всех, по крайней мере, по именам, и невольно, конечно, шевелится в голове тусклая, смутная, но давно уже ставшая привычной мысль: положат ли тебя самого тоже здесь или пристроят где-нибудь еще?

Ну, а за ней уже неизбежно всплывает и другая, столь же невеселая мысль: а к тебе-то будет кто ходить, хотя бы изредка? А если будет — то как долго?

И некуда порой от этой мысли, похожей на наваждение, деться. Вон, в глухой траве, в десяти шагах от могилы твоих стариков — простенькая, на деревянной палочке табличка из жести, появившаяся здесь семнадцать лет назад и ни разу, похоже, не подновлявшаяся с тех пор, с почти уже неразличимой надписью на ней от руки: «В.С. Тандит». Знал я когда-то в молодости человека с таким уникальным для Москвы именем: Владимир Семенович Тандит. И жития его, если верить табличке, было всего лишь пятьдесят один год. Шумный, веселый, невероятно доброжелательный ко всем был человек, блестящий знаток китайского и нескольких других языков, всем помощник, всем советчик, гуляка, задира, заводила... И были у него, помню, жена и двое детей. Так что если судить просто по факту, то в принципе ведь есть, наверное, кому и бурьян с его могилы повывергать, и табличку подновить. Не говоря уже о чем-нибудь другом, вроде памятника или хотя бы самого скромного цветника... А, лучше не думать!

Но не думать нельзя. Не получается никак.

* * *

Нет, не понимаю! Ничего я не понимаю. И не понимал никогда. В этом, похоже, и заключается она, вся моя жизнь — от начала ее и до конца. И если разбираться, то ничего, кроме недоумения, в ней, по сути дела, и не было. Не много? Конечно, не много. Но что поделаешь? Так оно, к сожалению, и есть.

«Боже, как грустна вечерняя земля...»

Г. Ратгауз
Как феникс из пепла

Беседа с Анной Андреевной Ахматовой

Жизнь Ахматовой была подарком для всех нас, хотя мы далеко не сразу это поняли. Каждый, кому довелось беседовать с Анной Андреевной, с особым чувством вспоминает эти беседы. И, мне кажется, каждый вправе о них рассказать. Но Анна Андреевна не терпела лжи и громкой фразы, и каждому пишущему о ней вменена в долг строгая правда.

У меня был единственный, но очень долгий и серьезный разговор с Ахматовой в январе 1961 года. В этой беседе Анна Андреевна сказала, как мне кажется, много такого, что должно стать общим достоянием. Поводом к встрече были мои юношеские стихи. Но во время самой беседы я сделал все возможное, чтобы речь шла об Ахматовой, а не обо мне. Здесь я тоже опускаю большую часть сказанного Анной Андреевной о моих стихах, оставив лишь немногие суждения, ярко характерные для самой Ахматовой. Это дает мне право рассказать все, как было.

Я сознательно избираю форму кратких заметок, как бы «мгновенных вспышек». Она позволяет передать лишь самое важное и только то, что я твердо помню из этого разговора.

* * *

В конце 1960 года, через несколько лет после окончания университета, я работал учителем немецкого языка в Ярославской области, в старом фабричном поселке, где было несколько кирпичных домов, а большинство деревянных, зачастую украшенных затейливой резьбой. География здешних мест известна по стихам Некрасова, который провел детство в Грешневе, километрах в семи отсюда (среди моих учеников были и грешневские ребята). Там я получил письмо от моего близкого друга, художника Эрика Булатова (теперь он уже давно живет в Париже и завоевал высокую репутацию как живописец, а тогда, наряду с живописью, много работал и как иллюстратор детской книги). Эрик писал, что со своими друзьями-художниками он недавно был у Ахматовой. Анна Андреевна вначале немного удивилась их приходу («Разве художники любят стихи? Вот только Осмеркин любил Пушкина»). Но дальше все прошло очень хорошо. Именно в эту встречу Эрик оставил ей мои стихи (я сочинял их уже давно), и вскоре мне было передано приглашение навестить Анну Андреевну. В то время она жила у В.Е. Ардова на Ордынке. Я смог там появиться только месяца через полтора, во время зимних школьных каникул.

Когда я позвонил Анне Андреевне из уличного автомата в Уланском переулке (это название хорошо перекликалось с первыми стихами Ахматовой), веселый и молодой голос ответил мне: «Здравствуйте...». Я представил себе Ахматову очень бодрой, но в назначенный день был удивлен. Помнится, мне назначили на два часа дня. Но Виктор Ефимович Ардов, отворив дверь, вежливо, но решительно сказал, что Анна Андреевна спит и надо зайти часа через полтора... Я тогда еще не знал, что Ахматову постоянно мучила бессонница.

Но вот из-за двери низкий, протяжный голос говорит мне: «Прошу вас». И вот я сижу в крохотной комнатухе, за окном тесный московский двор, чахлый тополек, «свидетель всего на свете», на стене — знаменитый впоследствии рисунок Модильяни, двумя-тремя резкими штрихами изображающий молодую Ахматову. И напротив меня — сама Ахматова, с необыкновенными, живыми и молодыми глазами, седая, неряшливо одетая, в каком-то допотопном халате и тапках (как-то даже не верится, что она тоже может быть старой!).

Анна Андреевна сразу же начинает меня расспрашивать о моих стихах: давно ли я их пишу, много ли их у меня, кто мои любимые поэты... Честно скажу, я был изумлен таким оборотом дела и отвечал как можно короче. Но все же упомянул в числе любимых Пастернака и Ахматову (как оно и было).

— Анна Андреевна, — сказал я, — мне даже неудобно, что мы говорим только о моих стихах. Очень хочется поговорить о Вашей «Поэме без героя».

И я заговорил о поэме, которая тогда относилась к числу «сочинений, презревших печать» (А.С. Пушкин), — но уже была известна любителям поэзии и всех нас глубоко волновала. Я сказал, что «Поэма без героя» поразительно воскрешает прошлое — в черед беглых, эскизно набросанных и как бы мало связанных между собой ярких подробностей и эпизодов. И одновременно она жестоко судит его (здесь есть и нота самоосуждения): возникает неотступное «предчувствие рассвета», которым и должна завершиться «полночная гофманиана» видений из прошлого.

— Вы хорошо поняли поэму, — заметила Ахматова.

Но вскоре оказалось, что похвала поэтессы — преждевременна. У меня в руках до этого был ранний вариант поэмы. Хорошо понимая, что не в этом суть, я все-таки не устоял от соблазна погадать, «who is who». Половина из моих догадок не подтвердилась. — «Полосатой наряжен верстой» — это Мандельштам?... — спросил я. — «Пожалуй, — без охоты согласилась Анна Андреевна. — Но откуда вы знаете, может быть, это просто Образ поэта, опрокинутый в вечность?».

Моя наивная догадка про «демона» (Гумилев?) оказалась вовсе неверной. Анна Андреевна прочла еще неизвестные мне строфы поэмы, не оставлявшие сомнения в том, кто такой «демон».

Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором,
Он ли встретится с командором,
В тот пробравшись проклятый дом?

Вообще, хотя поэтесса подемеивалась над моими догадками, она явно сочувствовала моему стремлению понять поэму.

— Сколько ерунды говорили об этой поэме, — жестко отметила Анна Андреевна. — И особенно люди из бывшей знати. Например, кто-то из них мне сказал по поводу Фонтанного Дома: «У нас тоже был дом на Фонтанке». Помню, какая-то женщина похвасталась: «В меня тоже был влюблен Блок». Всех лучше был простодушный молодой человек, тоже дворянского происхождения. Желая польстить мне немного, он сказал: «Знаете, **пьяный поет моряк**» — это здорово.*

Речь зашла об исправлениях в поэме. Анна Андреевна правила ее неистово, и, честно скажу, мне и сейчас кажется, что некоторые поправки «замазывают», ослабляют первоначальный хороший текст. И все же на примере одной строфы я получил урок, что значит настоящая правка.

Вначале эта строфа звучала так:

От того, что по всем дорогам,
От того, что по всем порогам
Приближалась медленно тень,
Становилось темно в гостиной,
Жар не шел из пасти каминной,
И в кувшинах вяла сирень.

Эта вянущая в кувшинах сирень мне показалась выразительным знаком близкой гибели, и я удивился, почему она исчезла из поэмы.

* «Молодой человек» имел в виду такие строки из поэмы:

Все уже по местам, кто падо.
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет... Пьяный поет моряк

-- Все должно быть еще жестче, — сказала Анна Андреевна, и своим глухим трагическим голосом прочла новую строфу, которая на этот раз кончалась так:

Ветер рвал со стены афиши.
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень.

-- Долой гостиные, — сказала Анна Андреевна, — моя поэма **должна быть бездомной, как бездомны мы сами.**

И я не мог не согласиться, что «сирень, пахнувшая кладбищем», — сильнее.

В следующей строфе Анна Андреевна выделила обороты «Достоевский и бесноватый» (объяснив, что это — определение Петербурга) и народное словцо «старый питерщик».

— Вы знаете, кто такая «царица Авдотья»? — спросила она. — Евдокия Лопухина, первая жена Петра. Она заклала Петербург словами: «Быть пусту месту сему».

Я спросил про строки из финала поэмы:

А веселое слово — дома
Никому теперь незнакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький
Как отравленное вино.

-- В Нью-Йорке в годы войны оказались некоторые русские эмигранты, беженцы из Европы. Вы о них говорите?

— Вовсе нет. Это сказано о немецких антифашистах, бежавших в Америку от Гитлера.

Действительно, в годы войны в Америке оказались Оскар Мария Граф, и Томас Манн, и Брехт, и Фейхтвангер, и множество безвестных немцев, противников Гитлера. Я любил Ахматову, знал наизусть десятки ее стихотворений, но и я был тогда отуманен представлениями о ее мнимой близости к эмиграции. Это сразу выяснилось, когда разговор зашел о замечательном стихотворении из «Anno Domini», которое начинается такой строфой:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Я был убежден, что речь идет о красных, но Анна Андреевна только усмехнулась.

— С этой стороны никогда не было и подобия «грубой лести». В 1925 году, вскоре после появления моей «Новогодней баллады», меня впервые «осудили» и я надолго исчезла со страниц печати.* Но ведь я могу просто по-человечески пожалеть изгнанников, не так ли?

Анна Андреевна напомнила мне выразительный финал стихотворения:

Но знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час.
И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

— В этом стихотворении, — добавила Ахматова, — сказано самое главное: **какне — мы.** И (после паузы, веско): — Это — патриотическое стихотворение.

В первый (и, кажется, в последний) раз за весь разговор я услышал от нее слово «патриотизм», которое она явно не любила употреблять попусту. Стихотворение еще

* Мне запомнилось лакопичное замечание Ахматовой о том, что после появления «Новогодней баллады» в журнале Горького и Замятина «Русский современник» было принято негласное постановление, преграждавшее Ахматовой дорогу в печать.

больше выросло в моих глазах, и я не удивился впоследствии, встретив эпитафию из него в одном из самых впечатляющих поздних ахматовских признаний, обращенных к родной земле:

...Но ложимся в нее и становимся ею.
Оттого и зовем так свободно: «своею».

* * *

Конечно, все равно в ее поэме оставалось немало загадочного, так это и было задумано. И как бы желая еще запутать меня, Ахматова прочла небольшой прозаический отрывок, задуманный как вступление к поэме. После этой «экспозиции» все последующее действие неожиданно представало, как своего рода балет...

— Вы любите нас дурачить, — заметил я.

— Никого я не дурачу, — улыбнулась Анна Андреевна, но эта улыбка ясно говорила другое: что я попал в точку.

* * *

«Поэма без героя» тогда все еще ходила в списках; тот, который был у меня, любовно оформленный в виде машинописной книжечки и переплетенный в коричневый переплет, мне подарил мой друг Миша Толмачев (филолог, впоследствии защитивший первую советскую диссертацию о Марселе Прусте и много сделавший для изучения творчества и биографии Ахматовой).

— Есть ли надежда напечатать поэму целиком? — спросил я.

— «Петербургская повесть»* скоро появится в больших отрывках. Недавно я узнала, что вся поэма напечатана в Нью-Йорке. Не знаю, кто и зачем ее туда послал. Меня чуть инфаркт не хватил: этого мне только недоставало...

* * *

— Мне нравятся не все Ваши стихи, — откровенно признался я. — Например, есть стихотворение, которое мне кажется просто слабым:

Я сошла с ума, о, мальчик, странный.
В среду, в три часа,
Укусила палец безымянный
Мне звенящая оса.

— Господи, — отмахнулась Анна Андреевна, — должны же Вы понять, что мне было двадцать лет и я была **круглой идиоткой**. (Эту фразу я запомнил буквально.) После такого недвусмысленного сурового суждения я полагал, что автор откажется вновь перепечатывать эти стихи, однако они остались и в последующих изданиях. Ахматова всегда была непредсказуемой.

Я имел мужество признаться и в прохладном отношении к Гумилеву (которого я — в отличие от моего друга, замечательного филолога, «стихолоба» и стиховеда Гаспарова — полюбил лишь много лет спустя).

— Гумилева просто *не знают по-настоящему*, — твердо сказала Анна Андреевна. — Все вспоминают «Капитанов», брабантские манжеты и кружева. Николай Степанович сам, возможно, стеснялся бы этих стихов, если бы он только прожил хоть немного подольше. Прочтите то, что он написал после революции, в свои последние годы: «Костер», «Огненный столп». Там такие глубокие бездны... И о жизни и смерти там сказано самое главное.

О чем бы разговор ни шел, он непрерывно возвращался к поэзии. Своим глухим, трагическим голосом Ахматова прочла свою недавнюю «Мартовскую элегию» и несколько мрачноватых «песенок», явно примыкавших к поэме. Особенно одна поразила меня своей почти «блатной» окраской. В печатном тексте поэмы она звучит так:

* Первая часть поэмы. — Г. Р.

За тебя я заплатила
Чистоганом.
Ровно десять лет ходила
Под наганом.

Помнится, то, что я услышал, было еще резче:

Да, тебя я называла
Хулиганом...

Думаю, что эта грубость была очень дорога Анне Андреевне своей жестокой, неприкрашенной выразительностью, — так же, как письмо, присланное каким-то «эзком» из лагеря, с которым она меня познакомила. Оно начиналось примерно так: «Здравствуйте, уважаемая поэтесса Анна Ахматова. С приветом к Вам такой-то», и т.д. Анна Андреевна обратила внимание на штемпель письма: оно было отправлено из лагеря строгого режима. Автор письма прочитал в журнале не так давно напечатанную «Мартовскую элегию», в которой его задела за живое, как он выразился, «**раненая простота чувства**». Этот первозданный оборот очень понравился Ахматовой: она несколько раз повторила его и сказала с уважением: «Ни один профессиональный критик такого не придумал бы».

Жестко и настойчиво Анна Андреевна потребовала, чтобы и я читал свои стихи по очереди с ней. Я согласился, хотя такое соревнование мне показалось странным. Неожиданно для меня почти все стихи Анна Андреевна одобрила, но были и замечания. Я их привожу, потому что они характерны для «эстетики» Ахматовой.

По поводу моего стихотворения «Лермонтов» Анна Андреевна сказала: «Хорошо, но чересчур длинно. Впрочем, Вы не огорчайтесь, мне сейчас все стихи, в том числе и мои, кажутся очень длинными».

В заглавии стихотворения «Песенка юродивого» ей не понравилась самоуничтожительная нотка (так как намечалось нечто общее между автором и «юродивым»).

— Назовите его просто «Песенка».

Среди прочитанных она особенно выделила стихотворение «Прощание».

— Очень страшные и очень современные стихи.

— Поэтому я боюсь их читать.

— Ну, Вы не бойтесь, — отбрила меня Анна Андреевна, — ведь от них никто не умрет

Ее остроумие было разящим и беспощадным: она умела одной фразой или словом уничтожить то, что ее раздражало.

* * *

— Ко мне когда-то приходил Сергей Антонов и читал свои стихи. Но я ему напропорочила прозу.

— Я слышал, что и Симонов к Вам приходил. Вы и ему напропорочили прозу?

— Ну, ведь Симонов, он — **все**. Он — поэт и прозаик. Он — **везде**. (Это было сказано с иронией, но без злости).

* * *

— Кто Ваши любимые поэты? — спросила она.

— Вы, Пастернак и Тихонов.

— Как Вам может нравиться Тихонов? Это — эпигон, у кого он только не брал: у Гумилева, у Киплинга, у всех символистов. Неужели Вам нравится то, что он сейчас пишет?

— У него есть три-четыре очень хороших стихотворения. Можно я прочту Вам хотя бы одно?

— Нет, благодарю вас. Я до его стихов **не охотница**. (Это я тоже запомнил буквально).

* * *

Ее кровно (несравненно больше, чем я думал) волновали вопросы отношения к поэзии, ее популярности или непопулярности, читательская любовь или безразличие к стихам для нее значили очень много.

— Во второй половине XIX века у нас тоже упал интерес к стихам. Тютчев **втихомолку бормотал** свои божественные стихи, Фет печатал по триста экземпляров своих «Вечерних огней». Потом наступил наш **серебряный век**: Блок, Скрябин, Врубель, Рахманинов, — и все изменилось. А вот во Франции с тех пор, как я была в Париже (т.е. полвека назад. — Г. Р.), не изменилось ничего. Все те же плакетки, издания стихов тиражом в несколько сот экземпляров. Поэзия там никому не интересна, и она вырождается. Бодлер был великим поэтом. (Она прочла по-французски строфу из Бодлера, в которой, как мне помнится, гулко прозвучало слово «abîme» — «бездна»). У Верлена еще хороший импрессионизм, словесный. А что потом? Мне недавно звонила секретарша Эренбурга, предлагала переводить Элюара. Я ответила, **что я — поэт, а не переводчик**. (Анна Андреевна еще несколько раз назвала себя поэтом, слово «поэтесса» она явно отвергала.) Пусть мне предлагают киргизов, калмыков, кого угодно. Вы заметили, что великих поэтов (Бодлера, например) я не перевожу?*

Элюара я попыталась читать. Есть просто бессмысленные строки, а все остальное — ни для кого не обязательно.

-- Но мне Элюар кажется очень интересным, я его пробовал переводить.

-- Это потому, — отрезала Анна Андреевна, — что **Вы не знаете французского языка** (я имел несчастье признаться, что знаю французский недостаточно, хотя кое-какие другие языки все же знал).

После этой отповеди я уже не пытался вступаться за Элюара.

* * *

-- На Западе не понимают, что можно годами писать, но тебя не печатают. Так было со мной десятилетиями. У нас сейчас есть поэты, которые могли бы создать целые школы, целые направления, но они никому не известны. Вы еще черный, а они — уже седые. (Теперь и я давно поседел. — Г. Р.). Вот — Арсений Тарковский. Это — большой поэт, а вынужден ограничиваться переводами.

Она протягивает мне нечто удивительное: рукописную книжечку стихов, которую Арсений Тарковский всю, от начала до конца, переписал для нее на редкость четким почерком.

Я прочел несколько стихотворений из этой книжки, другие прочла она. Впечатление было большое, сильное. Но все же я заметил, что некоторые стихи напоминают Мандельштама.

-- Когда Арсений, — с нежной улыбкой сказала Анна Андреевна, — лет десять назад стал показывать мне свои стихи, он еще не мог выбраться из-под тяжести Мандельштама. Сейчас нужен особый поэтический слух, чтобы это обнаружить. Он — самобытный поэт.

И она прочла очень музыкальные стихи Тарковского, где говорится об иве, у которой — «белые руки».

-- Видите, какой простой эпитет? После того, как Осип делал с эпитетом бог знает что такое, эта простота освежает.

Надо добавить, что рукописная книжечка Тарковского почти через два года после этой беседы превратилась в печатную — в первую книгу поэта «Перед снегом». Я сразу же узнал в печати заключительное стихотворение книги, которое когда-то видел у Ахматовой:

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк.
Пока душа меняла оболочку.

Тогда же я написал о Тарковском большую сочувственную рецензию, но ее отвергли два журнала подряд, в том числе и «Новый мир», и она так и осталась в рукописи.

* Однако Ахматова выделила свои переводы из еврейской поэзии; по ее словам, она считала честью для себя переводить «поэтов гонимого народа».

* * *

О Мандельштаме, как и о Пастернаке, она говорит с неизменной любовью. Возможно, меня осудят, но не могу утаить одного красочного замечания поэтессы. Глядя на меня, она вдруг сказала: «Вы его (Мандельштама. — Г. Р.) физически напоминаете». Она не возразила мне, когда я заметил, что поздние стихи поэта с их чрезмерной темной похожи на греческую архаику. Она только загадочно улыбнулась.

О Пастернаке:

— Недавно в Западной Германии вышла книга стихов Бориса «Когда разгуляется...». Как это переведено! Я узнаю голос Бориса, все его придыхания... Когда он приходил ко мне в эту квартиру, он сидел вот на этом стуле, на котором Вы сейчас сидите.

Конечно, я вскочил и стал рассматривать стул, как будто в нем было что-то необыкновенное.

Но все-таки Анна Андреевна со своей обычной прямоотой не удержалась и от иронии. Есть у Пастернака строфа о «собираетелях марок», которые позавидовали бы получаемой им богатой почтой. Ахматова ее не одобрила.

— Зачем эта суетность, это — совсем не в духе Бориса. Вот у Тарковского этого нет, он всегда серьезен.

Едва ли я ошибусь, полагая, что и Мандельштама, и Пастернака, и себя она ставила высоко именно как поэтов, в меру своих сил продолжающих пушкинскую традицию, самую близкую и дорогую ей.

Об этом она прямо сказала, без ложной скромности, когда речь зашла о переводах ее стихов на европейские языки:

— Я — как Пушкин. У меня все просто, поэтому меня так трудно переводить.

* * *

— Сейчас сбылось пожелание Маяковского: «Больше поэтов хороших и разных». Удивительно, что вечера поэтов сейчас проходят в Политехническом музее под охраной конной милиции. Почему люди сейчас так интересуются стихами, не пойму. В войну это было понятно: все пострадали...

— По-моему, понятно, почему и сейчас...

— Нет, я Вам не верю. **Никто не знает**, почему и как возникают стихи, откуда они берутся. Стихи — это голос судьбы.

О стихах она говорит почти как астролог — о звездах.

* * *

Она дорожит молодежью, которая любит ее и доверяет ей.

— В конце сороковых, в пятидесятые годы, во время террора, ко мне приходили многие молодые поэты, — и все писали плохо. Сейчас ходят мальчики и девочки (имен я не запоминаю), но все стали хорошо писать. Это — неисповедимо.

Не менее четырех часов длилась эта неповторимая беседа наедине. Анна Андреевна вся излучала внимание и интерес к собеседнику. Неожиданно ты сам себе казался в ее присутствии лучше, умнее, чем до сих пор. И это было коренное свойство Ахматовой, проявившееся в ее отношении ко многим людям (впоследствии я прочел об этом в знаменитой статье Н. Недоброво в «Русской мысли»).

Уже давно стемнело за окном, и чахлое деревце во дворе — «свидетель всего на свете» — растворилось в темноте. Я порываюсь уйти, но Ахматова меня останавливает.

— Сидите, скоро должна быть Рахиль В. (еврейская поэтесса, которую ценит А.А. и о которой она коротко сказала: «Очень талантливая»).

Но вот звонит телефон, это — Рахиль В., и Анна Андреевна радостно говорит ей: «Здравствуйте, милуша...». А вот и новый гость: лысый, длинный, как коломенская верста, с остатками волос на висках, с помятым лицом. Он галантно целует руку Анне Андреевне, а мне пришло время проститься.

Виктор Ефимович вежливо провожает меня до двери.

— Вы, кажется, из Костромской области? (Я тогда работал в Ярославской). Передайте привет Абагурову.

Привета незнакомому мне Абатурову (это — костромской очеркист) я не передал, ушел от Ахматовой как пьяный... Я был глупо уверен, что еще не раз увижу Анну Андреевну, и не докучал ей письмами или звонками (как обычно, на прощанье было сказано: «Увидимся»).

В апреле или мае 1965 года мы с женой (тогда я только что женился) пошли в Союз писателей, где был объявлен вечер румынской поэзии с участием Ахматовой и других наших поэтов. Конечно, только ради нее мы и пошли. Но в середине вечера объявили, что Анна Андреевна больна и выступить не сможет... Больше я ее не видел, и мне остается только благодарно вспоминать о нашей единственной встрече.

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.
Ни ласточкой, ни кленом,
Ни тростником и ни звездой,
Ни родниковую водой,
Ни колокольным звоном
Не буду я людей смущать
И сны чужие навещать
Неутоленным стоном.

* * *

P.S. Впоследствии Михаил Толмачев, прочитав в Ленинграде дневник Ахматовой, рассказал мне, что поэтесса кратко упомянула там обо мне, обозначив дату встречи.

P.P.S. Перелистывая теперь эти давние заметки, хочу добавить к ним лишь одно существенное наблюдение. Уже тогда, много лет назад, меня поразила ахматовская неукротимая одержимость поэзией, острое и трезвое любопытство к печатной и устной судьбе и своих собственных стихов, и к творчеству близких ей поэтов (к какой бы эпохе они ни принадлежали). Все это как бы не повиновалось никаким законам возраста. Не это ли помогло Ахматовой одолеть все невзгоды? Не это ли стало одним из залогов торжества ахматовской музыки и в годы старости, после жесточайших гонений?

Об этом сказано в ее поздних стихах:

А Муза и глохла, и слеpla,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В тумане восстать голубом.

Галина Медведева

«Существованья светлое усилье»

(Юлий Даниэль)

Когда я думаю про Юлика, то знаю точно: жизнь возможна, раз в ней встречается, бывает красота человеческой души. Я любила и уважала его как одного из самых драгоценных друзей. Память о нем со мной неразлучна — пиететность, нежность и боль в ее неразменном составе. Быть может, длящееся личное присутствие фигуры знаковой, исторической оправдывает потребность поделиться тем, что чувствую и разумею. Правом — если бы оно у меня было — говорить о таком человеке я бы гордилась.

О Юлике давно бы пора написать, да к его феномену с голыми руками не подступишься. Трудно по всей сумме причин — и содержательных и сложившихся силою вещей. Как все негромкие, заглубленные в жизнь люди, он ускользает от летучей алчности определений. Меня огорчает, но не слишком удивляет посмертный дефицит внимания к его имени, упоминаемому номинативно, в связи с судебным процессом. «Даниэль? По-моему, это блеф», — сказала одна моя знакомая, не знавшая его лично (или введшая мельком) и склонная к самостоятельности суждений. На заверения в том, что это кристальная личность, последовало: «Докажи». Вот-вот, поди докажи подлинность человека, который сам никому (кроме себя) сроду ничего ни доказывать, ни навязывать не собирался, настолько был серьезен в мирообразующих понятиях. А дни ведь, как талант, — или есть или нет. И никаким самым бурным словоизвержением их не намоешь. Хотя попыток присвоить себе несуществующий духовный капитал — пруд пруди. Но, как писал Юлик, «это ж дело хорошего вкуса — отвергать откровенное зло». И прикровенное — тоже, оно того не меньше стоит.

О случайности попадания Даниэля в историю доводилось слышать, к сожалению, и из более близких к Юлику уст. Случайно, мол, написал те книги, что были сочтены криминалом (это как — не соображая того, что творит?); случайно же пострадал, а отсидев, остался тем, чем был по преимуществу — «общунчиком», душой дружеской компании. Он и сам о себе думает нечто похожее: «Всю жизнь одной из самых сильных страстей моих было нравиться, вызывать симпатию, доброжелательность, если можно — влюблять в себя. И я-то уж отлично знаю, что в себе я смазывал, на чем ставил акценты» («Неоконченная книга»). Я тоже помню Юлика и до и после лагеря. Ни прежде, ни потом он не производил впечатления мученика за идею (это еще не значит, что он им не был). В нем звучала некая грациозная нота, ее-то он, может, и старался усилить, осознавая, что отсутствие острых углов привлекательно. Это оставалось, несмотря на перенесенные испытания — и светская выходка, и любовь к путешествиям и вернисажам, и эстетизирование будничных, приземленных вещей. Но для сохранности индивидуального рисунка, в том числе и вполне безобидных слабостей, как раз и нужна незаурядная сила, несломленность на внутреннем уровне. Справедливости ради надо заметить, что Юлик довольно сурово оценивает свое долагерное прошлое: «Я трепался и врал...», «...жил, ни к чему не готовясь, как дерево и как трава». И вроде дает основания для приведенных выше умозаключений по его поводу. Строгий счет, предьявленный самому себе, можно трактовать по-разному и вовсе не обязательно принимать за документ, пускай и нелегко разглядеть истинный масштаб человека, с редкостной последовательностью отторгавшего искус самоутверждения. Не из природной святости, а потому, что однажды ему поддался. Свой незаурядный по советским временам поступок — печатание за границей неподцензурных произведений — Юлик, похоже, обмозговал и прочувствовал со всех возможных сторон. Он нимало не сожалел о содеянном как лице ответственное за свои взгляды и поступки. И резкая перемена участи была для него далеко не главной мукой. Себе он вме-

нял то, что, пойдя на поводу у авторского самолюбия, жажды осуществиться творчески, не предвидел тяжких моральных последствий для близких.

Не потому, что я шальной,
Ропгал перед глухой стеною —
Я преступил закон иной,
Я виноват иной виною.
.....
За то, что я, сойдя с ума,
Не пощадил чужого сердца.
.....
За то, что убивая — выжил.

Положа руку на сердце: каждый ли так беспощадно способен спросить с себя в условиях строгого режима, реально и нешуточно страдая за свободомыслие, за правое дело? При том, что есть и другие повороты обращенного на себя взгляда.

Но благая судьба сочинила счастливый конец:
Я достоин теперь ваших мыслей и ваших сердец.

Это заявление означает, что, не соглашаясь со способом расправы над писателем, к коему прибегли власти, Юлик-человек вырос благодаря тому, что с ним случилось. А для этого нужен изначальный строительный материал, на одной общительности и милоте далеко не уедешь. Вуалирующие стержневое начало черты могли обмануть простодушного наблюдателя, тем более что Юлик не спешил раскрываться навстречу потребности доскональной понятности. И при земном существовании находился в двойной тени — своей собственной и в немалой степени — Синяевского. Он и всегда-то был загорожен яркой, броской, эксплицитной и в литературном и в публичном смысле фигурой друга и поделника, которому был предан всецело и бескорыстно. По ходатайству Юлика Синяевскому скостили первоначальный семилетний срок и он был освобожден, не помню точно, насколько, но раньше. С Юликом бесполезно и бесплодно было затевать спор, даже в спокойных тонах, о книгах Синяевского. Предпринятые обсуждения «Прогулок с Пушкиным» и «В тени Гоголя» окончились нулевым результатом. Юлик отбивал любое несогласие изощренной аргументацией, идущей от внутреннего авторского посыла. Я попыталась прижать его к стенке: «Признайся, тебе самому неблизки ни эпатажность стиля, ни выворачивание наизнанку всего сущего». Но он все равно не дрогнул и продолжал петь «осанну» если и не самой литературной позиции Синяевского, то блескам его дарования. Стойкость его дружеских чувств была непоколебима.

Что же касается Юлика, то все написанное им — и стихи и проза — уместилось (пока) в одном томе, изданном наконец и у нас в перестроечные годы. И в том перенасыщенном растворе, какой являли собой публикации тех возбужденных лет — сенсация на сенсации — прошло незамеченным, подобно шесту дождя при громовых раскатах. В сопроводительной статье было сказано, что Даниэль, попав в историю, там, конечно, и останется, но скорее как жертва, чем как писатель, поскольку он, видимо, перестал писать.

Однако тихий Юлик на поверку вышел не так-то прост и отгадчив. Есть его письма из лагеря, только что увидевшие свет (Общество «Мемориал». Изд-во «Звезда», М., 2000). Они складываются в обширное, развернутое повествование, ценное не только тем, что там слышится живой и теплый голос автора. В непринужденной лирической манере — от человека к человеку — Юлику много чего удалось сказать по существу. Без этой книги судить о завершенности облика Даниэля-писателя вряд ли представляется возможным. О человеческом облике и не говорю. Юлик объяснил себя если не исчерпывающе, то полно. Вряд ли кому удастся сделать это лучше. Пока я, как буриданов осел, разрывалась между желанием воздать Юлику должное и констатацией своих слабых сил, Юлик пришел на помощь в виде собственных текстов, которыми я буду пользоваться, не указывая дат и адресатов (кроме необходимых случаев), — здесь, в далеком от академизма наброске портрета, они будут только сбивать и уводить в сторону, требуя добавочных комментариев. Я же предпочла бы комментировать то, что скажет Юлик.

Он не был бы Юликом, если бы — для начала — не опроверг общезначимости своих сугубо личных посланий, не поскромничал (вполне искренне) и не принизил своей способности к изложению (уж в этом-то вроде и сам себе не отказывал).

«Я все-таки никак не могу почувствовать (хоть и стараюсь), что мои письма — это литература, эпистолярный жанр или что-то в этом роде. И откровенно говоря, мне бы этого не хотелось. То есть, я не возражаю, чтобы их читали не только ты и самые близкие друзья, но я хотел бы, чтобы к ним относились именно как к письмам. Наверно, я все-таки писал бы их иначе, если бы адресовал «*urbi et orbis*». А коли это письма, то какого черта я буду заботиться о стиле? Ну, «красивости», ну «литературщина», ну «пошло», ну и что? А, может, у меня такое настроение было изысканно-воздыхательное? Что же мне теперь, черновики, что ли, составлять, а потом правкой заниматься? Не настолько уж серьезно я к себе отношусь. И настолько серьезно к литературе, в которую не стоит соваться со своими интимностями, ежели они не перекликнутся с интимностями чужими, совсем незнакомых людей. Ох, не надо мне <...> следить за стилем писем! А то я окажусь той самой сороконожкой, которая задумалась о том, в каком порядке она переставляет все свои сорок ножек...»

Совершенно естественно, что Юлик воспринимал письма, и свои, и ответные, прежде всего как взаимообращающееся средство общения с тем миром, от которого был насильственно отрешен.

«И вообще это вовсе необязательно, чтобы дружеские письма были интеллектуальны на уровне Спинозы. Черта ли в ней, в этой интеллектуальности! Были бы эмоции».

«Я ведь существо чувственное — не в расхожем смысле этого слова (не только в расхожем?)».

Но информационная насыщенность его писем, со всеми вопросами-расспросами о родных и знакомых, с изложением подробностей лагерного быта, с откликом на разные московские культурные события, — все-таки выходит за рамки обычного эпистолярного жанра.

В начале срока, когда обступили отнюдь не радужные, но все же новые, невиданные впечатления, Юлик настраивал глаз и перо по-писательски, как при встрече с экзотическим материалом.

«Удивительной жизнью я живу. Новые лица и впечатления каждый день. Я был очень наивен, окрашивая лагеря одним цветом. Яркое и тусклое, сосредоточенное и легкомысленное, трагическое и комическое, высокое и низменное — все здесь причудливо переплелось. Вы не представляете, как гудит у меня голова от всего этого. Нет, сразу писать я не буду, погожу, пусть отстоится. <...> Исказить облик лагеря ничего не стоит. Это может произойти нечаянно, непреднамеренно, от экзотики, от обилия материала. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким богатым и таким беспомощным. По малейшему поводу я готов схватиться за перо. С трудом удерживаю себя: «Погоди, еще нет картины в целом!». Надобно, чтобы эти кусочки, эти новеллы сложились в мозаичное панно. И надо, чтобы я сам освободился от захлеба первых дней и месяцев. Однако и медлить нельзя, чтобы не оравнодушнеть. Правда, мне кажется, что со мной это не может случиться. Между прочим, еще и потому, что окружающие не позволят мне этого. Лясы точить мне не разрешают, жить растительной жизнью тоже, от меня требуют серьезности и пристального внимания».

Получив срок за писательство по неустановленным правилам, Юлик рассматривает себя в первую очередь как литератора. Товарищи по несчастью также хотят в нем видеть будущего автора лагерной одиссеи. Но он сам не замечает, как происходит крен в сторону самостояния, пока еще под привычной профессиональной маркировкой.

«Вот вчера я всхлипывал, что, мол, с моей профессией будет. А сегодня у меня иное настроение. Очевидно, все будет в порядке. Иначе для чего бы мне посылались все новые и новые впечатления? Значит, кто-то там наверху заботится, чтобы я не вышел отсюда таким же дураком, каким вошел. Чтобы я все мотал на ус. Чтоб запомнил. Чтоб не драл попусту глотку. Чтоб был писателем, а не героем скандального процесса. Чтоб научился, наконец, выдержке. И, честное слово, я успешно учусь!»

Будьте спокойны, я теперь не сделаю никаких глупостей, мое поведение будет безупречным, я буду беречь себя, как непорожный сосуд. Потому что именно сегодня я окончательно понял: правильно сделали, что посадили меня».

В нем, видимо, произошел какой-то перелом, не одномоментный, однако ведомый ему самому. И повлекший за собой то опускание на глубину, какое явственно ощущалось потом, по возвращении: он был и тот же самый, и другой.

«Разговаривал я за эти два года очень много, наслушался всякого, да и нагляделся достаточно. И вот что я думаю. Те, кому чаша сия досталась раньше, чем мне, и больше она была по объему, и горше было ее содержимое, те, вероятно, читая мои письма, скажут или подумают: «Э-э, ничего страшного, так-то жить можно: и кофе, и постельное белье, и кино, и еда все-таки сносная, и хватает времени и сил играть во всякие бильярды и волейболы, и дни рождения справлять. А вот в наше время...». Все верно: жить можно. Не больше уничтожения. Есть унижение. Оно не в стрижке наголо, не в чтении интимных писем чужими людьми, вообще оно не извне, не от начальства и правил: я думаю, что меня никто и никак унижить не может. Меня унижает, как это ни дико звучит, потакание моим слабостям — лени, пустомечтательству, мимикрии. И кроме того, унизительно предположение, что мои литературные и прочие взгляды можно опровергнуть таким образом. Право же, иногда у меня возникает желание всерьез поговорить с каким-нибудь умным человеком, который стоит на противоположных позициях, только действительно умным. Должны же быть и такие! Но до сих пор мне они не попадались».

И ниже: «Все эти мысли, как вши, которые от тоски заводятся». Юлик, как обычно бегущий высокопарности, склонен объяснять новые для себя мысли заземленными обстоятельствами. Не совсем доверяет он пока себе и как идеологу собственного духовного пространства, хочется посоветоваться с кем-то более умным. Но это не меняет дела. Прямое, однолинейное противостояние тупо карающей деснице перестает быть направляющим. Несравненно более важным вырисовывается самопознание на путях промыслительных («Я думаю, что меня никто и никак унижить не может»). Лишенный свободы буквально, Юлик предъявляет себе требования без снисхождения к суровой данности, т.е. как истинно свободный человек. Оказывается, что расхождения с советской властью у него не стилистические, а корневые — метафизические. Он признает к тем недостижимым для власти областям духа, где страдание делается нужным, укрепляющим, а пресекающаяся вроде бы полнокровная жизнь выглядит теперь несовершенной, без отчетливой внутренней ответственности. («Правильно сделали, что посадили меня».) Знали бы тюремщики, что не только не достигли своей цели пригнесты вольнодумца, а подарили ему возможность освободиться от них самих как фактора существования. И стать подконтрольным только суду собственной совести.

«Здесь, в лагере, обнажается человеческая первооснова. И никакие ухищрения, никакие позы не могут скрыть сути. По истечении какого-то срока почти каждому выносят приговор, и ни кассации, ни обжалованию он не подлежит. Для многих людей великое счастье, что их товарищи по заключению навсегда уходят из их жизни, иначе на них кандалами висели бы недоверие, презрение, брезгливость».

Анализируя себя, свое меняющееся состояние, Юлик не встает на котурны, это ему чуждо и даже противопоказано. Но нарастающее ощущение, что он не один, а один из всех, передает убедительно.

«Нет, эти годы не сделали меня ни более мужественным, ни более стойким и сильным, все на том же уровне. И в чаянии предстоящего я утешаюсь лишь одной переменной, которая во мне произошла: я стал с большей иронией относиться к собственной персоне. А это, знаете ли, очень помогает при всяких неурядицах».

Позиция наблюдателя лагерных нравов, наблюдателя, которому привалил богатейший материал, та, что превалировала на первых порах, постепенно, с начавшимся переломом, ступевалась и уступила место иной — позиции участника событий наравне с другими.

«Я уже здорово загорел, работаю по пояс голый, солнышко поджаривает, от бревен пахнет смолой (это когда сосна), и настроение поднимается. Да и невозможно долго кукситься и унывать, когда перед глазами примеры мужества, выдержки, достоинства. Право же, я не преувеличиваю — доказательством то, что я отчетливо вижу и обратные явления: развращенность, прилпатненность, нравственное падение. Но, Боже мой, что тогда сказать о людях, которые не в лагере, не в тюрьме становятся такой гнусью, что пробы ставить негде. Опять я начинаю злиться, когда думаю о них».

Злился, впрочем, Юлик нечасто. Спокойная, добродушная тональность его писем в целом даже удивительна для человека, обретающегося отнюдь не в санаторных условиях. Иногда забываешь, что пишется из узилища, столько мягкого внимания к близким, столько неподдельного интереса к микроподробностям далекого, нормально-го мира.

«Как собака перенесла полет? И каковы ее взаимоотношения с котом?»

«Знали бы вы, как отраднo мне читать про ваше мирное и веселое житье-бытье. Так это хорошо, что я даже не завидую, честное слово! («Слово чести», как говорят мои приятели-западноукраинцы)».

И, конечно, щедрая уснащенность юмором — тут Юлик в своей стихии, противоположной трагизму, стоическому угрюмству и щеголянью самообладанием.

«Я сейчас окончательно порвал с очернительством, более того, я занят прямо противоположным делом: мы вместе с Антоном Накашидзе белым известью торцы бревен. Это нужно, чтобы дерево не трескалось и не портилось. Сегодня группа латышей, с которыми я иногда беседую о Райнисе, Судрабкальне и других латышских поэтах, приветствовала меня на работе: «Привет маляру!». Я гордо ответил: «Не каждый день дается мальчикам красить заборы!». «Номер не пройдет, — сказали умные латыши, — мы тоже читали Тома Сойера».

Мне хочется цитировать Юликовы пассажи еще и еще. Мир, написанный в картинах и реке — в рассуждениях, объемом в сорок авторских листов, все же больше подходит для самостоятельного чтения. Нельзя сказать, что, попав за решетку, Юлик создал стройную мировоззренческую систему. Но то, что он прожил свое заточение не в хаотическом наборе чувств и ощущений, а в строгой духовной и душевной дисциплине, — это факт. А ученые абстракции по животрепещущим поводам не только не любил, даже обходил за версту.

«Это тот мир, который был мне всегда чужд — мир политики, философии, экономики. И знаете, что говорят мне такие люди? Что моя область — область эмоций, инстинктивного, стихийного порыва — важнее и нужнее, чем их. Многие из них пришли к такому выводу. Что мы, дескать, базируемся на вечных, естественных категориях. «А мы слепые, мы поэты, и нам поэтому видней». Это из стихов Тани Макаровой».

Что же главное, краеугольное вынес Юлик из своих испытаний? И почему не роптал, полагая: насланы они недаром, с неизреченной для него пользой?

«...А разве в молитве Ефрема Сирина говорится о целомудрии? Мне почему-то казалось: «дух же смиренномудрия, терпения и любви. Но как бы то ни было, будь я христианином, я бы повторял это неустанно. Жаль, что это не так, что я не имею на это права».

Когда Юлик отбыл свой лагерно-тюремный срок и ему предстояло, как и после войны, начинать жить заново, Майя Улановская, очевидно, имея в виду первоначальные трудности ориентировки, остроумно заметила: «Ты человек до эпохи Синявского и Даниэля». И вправду — возвращение было в другую страну. Юлик говорил Дине Каминской, намеренной его защищать на процессе и не получившей допуска к делу, что если бы они с Андреем знали о том резонансе и у нас и за рубежом, какой приоб-

рел их арест, во время следствия и суда, то нравственная поддержка тогда была бы для них бесценна. Тем выше цена их мужественного поведения и непризнания себя виновными в злом умысле по отношению к своей стране. Судимые как уголовные преступники, Синявский и Даниэль отстаивали свое право на свободу высказывания, заведомо зная, что их ожидает лишение всякой свободы на годы и годы. Сейчас, когда все говоримое выглядит (да и является) абсурдом, даже представить трудно, что это был за эпохальный облом в большевистском заповеднике. Два скромных, малоизвестных литератора сразу выросли до титанов: волею судеб они были выбраны в первые гласные могильщики советской империи. Чаадаев в письме к Пушкину писал: «Великий человек прежде всего должен быть посвящен в тайну своего времени». Тайна начала 60-х годов, их первой половины, была уже, собственно, не тайной, а назревшей потребностью: в обществе, всколыхнутом XX съездом и двигавшемся по ухабам противоречивого хрущевского правления то с надеждой, то с упаданием чаяний, вызревали и обкатывались идея нравственного присоединения к зигзагообразным метаниям власти и глухое недоверие к ее доброй воле. Поведенческая парадигма порой обгоняла мировоззрение (или шла с нею обок) и сводилась к личной ответственности за происходящее, в резком отличии от вдолбленной коллективной. Вот это и было провозглашено вслух на процессе Синявского — Даниэля.

В последнем слове подсудимого Юлик сказал: «... Считаю, что все члены общества ответственны за то, что происходит, каждый в отдельности и все вместе». Как теперь выразились бы — все, туши свет: единомыслие кончилось не как явление, а как знамя.

Еще свежа была в памяти первая ласточка непослушания в послесталинское время — пастернаковская история. Но она воспринималась как одиночный феномен оголтелой травли великого поэта, решившегося выпустить на волю свое любимое детище. Сам роман «Доктор Живаго», мне кажется, был прочтен и освоен духовно позже его появления. Тогда, в 1958-м, еще недоставало достоверного знания ни о революции, ни о 20-х годах, ни о Ленине. Буксовали в постижении расстрельных процессов 30-х годов, переживали сталинщину как психологическое потрясение. Символично, однако, что на полуподпольных похоронах Пастернака Синявский и Даниэль выносили из переделкинского дома поэта крышку его гроба. Фотография эта широко известна: преемники в непокорности, пошедшие дальше в неподчинении установкам официального режима. Эстафета, видимо, не была случайной, воспринятой именно из пастернаковских рук.

«Да, десять лет прошло (со дня смерти Б.Л. Пастернака. — Г. М.). Теперь я могу сказать уже совершенно определенно: ни один поэт, кроме Пушкина, не потрясал меня так, как Пастернак. И ни одна любовь к чьей-то поэзии не была для меня такой плодотворной и мучительной. Плодотворной совсем не в смысле литературного влияния. А мучительной потому, что не всегда была «взаимность», не всегда мне дано было подняться до сочувствия. И уж очень многого он от меня требовал. Но вот что точно: все это время, а последние годы в особенности, я почти не расставался с ним. Положите цветы и от меня, когда кто-нибудь поедет, пусть уж и не к дате».

Если хулителей Пастернака запомнили поименно (но это и все), то дело Синявского — Даниэля, подобно снежному кому, летящему с высокой горы, имело необратимые последствия. Отсюда берет начало регулярное диссидентское движение, также базирующееся на идее личной ответственности: обращения в адрес властных структур о всякого рода беззакониях с указанием не только имени и фамилии, но и адреса проживания. А групповые письма в защиту самих Синявского и Даниэля, откуда пошла многолетняя традиция вступаться за преследуемых? Ясно ведь было, что они ничего не изменят в участи узников, но осложнят участь «подписантов». Но выраженное вслух несогласие с политикой правящей верхушки было знаком нового состояния общества, пускай в лице немногих. Отважных всегда меньше, чем осторожных (те возьмут реванш с наступлением безопасной эры гласности, красноречиво расписывая в печати свое якобы прирожденное и безудержное свободолюбие). Молчаливое неучастие, необслуживание официальной идеологической доктрины после процесса Синявского — Даниэля перестало считаться нормой порядочности, как было до сих пор.

Вот такое разительное изменение общественного климата ожидало Юлика по возвращении в Москву. Было над чем призадуматься — и над выбором позиции в новых

условиях, и над жизнеустройством на ровном месте. Испытания не кончились, только переменяли статус. Заключение ничем не решает в перипетиях своей судьбы, кроме одного: переносить ли их с достоинством или с рабским унынием. Вольному человеку надо выбирать линию поведения не по простейшим арифметическим правилам.

Свобода встретила неласково. По выходе из Владимирской тюрьмы, где он пробыл год и два месяца перед окончанием срока, в Москве Юлику разрешено было поселиться не сразу. До того — два года ссылки в Калуге и работы на заводе. Из Калуги он, правда, наезжал нелегально и однажды летом 1971 года появился у нас в Опалухе. Этому милому и радостному появлению предшествовала попытка нас поссорить. От общих друзей мы с мужем, конечно, знали обо всех лагерных перипетиях Юлика, о его безукоризненном поведении, чем он завоевал высокий авторитет среди заключенных и приобрел бескорыстных доброхотов и почитателей.

«Но ведь мне всегда везло в жизни, повезло и здесь. Ко мне очень неплохо относятся мои новые товарищи, здорово помогают мне; а без этой помощи мне пришлось бы туго во всех отношениях: и в работе (я работаю грузчиком!), и в быту, и в общении. Вчера я ухмылялся до ушей: представил себе, как вы там (если не вы, то знакомые) рисуете себе всякие мрачные картины барачного быта, уголовного окружения; а я в это время пил в гостях кофе, беседовал о Сартре и Кафке, и не я был самым эрудированным собеседником. Ну, разумеется, далеко не все интересуются изящной словесностью: но чем плохо, скажите на милость, побеседовать перед отбоем о специфике национального восприятия хореографии?»

Мы сами Юлику не писали, не считая долагерное знакомство с ним достаточно коротким. При том, что на узников совести была своеобразная мода и в переписку вступали порой знавшие человека едва-едва или просто наслышанные о нем в довольно тесных, с пересекающимися связями околорассидентских кругах. На этом основании и была построена интрига, о которой сейчас расскажу.

В один прекрасный день я зашла навестить Толю Яковсона, перенесшего небольшую, но болезненную операцию. Он лежал в постели, как ему и полагалось, но, завидев меня, вскочил и стал бегать по комнате возбужденно (это-то было привычно) и как-то гневно. Я уговаривала его успокоиться, принять лекарство, думая, что ему больно, и не догадываясь, что причина волнения — я сама. Толя долго молчал (что было нетипично) и наконец разразился вопросом: «Скажи, пожалуйста, писала ли ты в лагерь Даниэлю?». Я ответила «Нет», и тогда услышала: Юлик, оказывается, получил письмо, подписанное моим именем и фамилией (он ее не знал). Сообщение от «какого-то насекомого», как он выразился, было гнусно-сплетнического свойства и касалось его семейных дел. Бывают же подлые люди на свете! В лагерь, где человеку и без того тяжело и душа напряжена до предела, посылать ядовитые, отравленные стрелы. Я была изумлена, повержена свершившейся низостью. Хотелось поскорее уйти от Толи и плакать в одиночестве, как плакал сарояновский Весли Джексон, — на конкретную тему. Смертельно обидно было и за Толино, хотя бы и мгновенное, импульсивное недоверие: как он мог допустить даже мысль о моем возможном авторстве, пусть и ослепленный болью за Юлика? Толя, правда, тут же, при мне, послал ему по телефону телеграмму: «Мой друг Галина Медведева, жена Давида Самойлова, никогда тебе не писала». И потом провел собственное расследование и узнал-таки сочинителя негодяйской мистификации, но наотрез отказался назвать, как я ни любопытствовала, чей же это враг. Да и Бог с ним! Хотя нет: Бога тут как раз и не было.

И вот после этой, уже развешной, но все же саднившей коллизии я встречаю Юлика на пороге опалихинского дома. И говорю ему (зачем?): «А я и есть то самое насекомое». Он молча обнял меня, и с тех пор наша дружба была (и оставалась) как-то особенно тепла и нерушима. Не иначе как по младоглупости напомнила я ему о чем следовало забыть. Ведь он-то отведал зла и не такой касательной, а самой изощренной человеческой подлости. И предательства — пусть немногих, но долговременных друзей. Но вот кто не пенял на несовершенство подлунного мира и на то, что всякой твари бывает по паре: «Немногие исключения — нормальный процент брака». Произошло — пережито — отрезано. Редкая по внутренней выдержанности, мужская реакция на острую душевную боль. Так виделось, когда Юлик всякого напереживался. А было, оказывается, не всегда, еще как мучился. Стойкость приобреталась горьким, ранящим опытом. Тем она дороже и человечней.

«Я не знаю, чем в итоге обернется для меня заключение; покамест оно обернулось постоянной нервозностью: как ведут себя, что думают, говорят люди, с которыми у меня были дружеские, приятельские или вообще хоть какие-то отношения? Это сейчас мой пунктик, бзик; я понимаю, что это глупо, но думаю об этом день и ночь (буквально). Видно, сильно меня все-таки садануло отступничество тех, в кого я верил, тех, кто, как мне казалось, должен был бы быть на моей стороне. И сейчас у меня уже не вызывает улыбку воспоминание о непроницаемых, каменных лицах в публике на суде — знакомых лицах».

Я все всматривалась в Юлика, пытаюсь сочувственно понять, как он сладил со всем, что пришлось перенести: клеветой, шельмованием в прессе, лагерным карцером и тюремной камерой. Чувствовалось, что лихо застенка, оставшееся позади, засело в нем глубоко и крепко. Отрешиться, вычеркнуть из жизни — не удавалось: «Наверное, это невозможно, это было бы ампутацией головы — настолько пропитал меня этот пятилетний мир». Лагерь снился неотступно, каждую ночь. А говорить про черные годы его явно не тянуло, так, вскользь, по ассоциации, по случаю — не более того. Однажды я спросила: «Чего тебе сильнее всего там не доставало?». Оказалось — цвета: «Поставишь перед собой красную пачку от «Примы» и смотришь, пока брешь-ся». После этого разговора я с другим вниманием читала те строки в его письмах, где про голод по многоцветному миру, сведенному к примитиву.

«Погода сырая, небо серенькое, люди одеты одинаково, домишки однотипные — внешне впечатление самое безотрадное».

«Выпалывают ли во дворе траву? Нет, не выпалывают, она не растет на асфальте и цементе».

«Аринины тюльпаны (на открытке. — Г. М.) — совершеннейшая прелесть, так и хочется пальцем потрогать! И спросить: «А что, еще растут цветы?»».

К счастью, Юлик не утратил способности любоваться прелестями Божьего мира и вкушать его дары. Но организм, и без того не геркулесовской мощи, был подточен. Нечеловеческие условия, физические и нервные нагрузки давали себя знать. Во время очередного нездоровья Ира Уварова, ставшая Юликовой женой, пожаловалась, что лекарства он принимает неаккуратно и совсем не хочет есть рекомендованные врачами курагу и изюм. И просила повлиять на своевольного и легкомысленного пациента. Я начала «влиять» без дальних околичностей: «Баланду, стало быть, ты мог жрать, а курагу не можешь?». «Баланду — мог, а это — не хочу». Я обозвала его липовым эстетом и тут же вспомнила, как одна Юликова приятельница приготовила обед по Дезиковой поэме «Цыгановы», с точным реестром блюд, там упомянутых, и как Юлик наслаждался игровой, обрядовой стороной затеи. Привнесенный в жизнь элемент художества — это ему нравилось, а слушать про полезительность кураги — какой интерес? Капризничал в свое удовольствие — почему бы и нет? Видя, что я обеспокоена неудовлетворительным ходом лечения — давление скакало и прыгало, как хотело, — все же смилиостивился: «Разве что из твоих рук». Ладно. Я уезжала в Пярну и попросила дочь свою Варвару затовариться вышеозначенной курагой на Центральном рынке и доставить к одру больного. Потом проверила: съел-таки.

Еще был случай с Юликовым дежурством у нас в Опалихе. Это когда Дезику делали глазные операции в Институте Гельмгольца. Я уезжала туда на целый день, а дома оставались друзья, сменяясь по заранее намеченному графику. Дежурство было неслабое: топить углем котел и обихаживать троих детей (один был совсем крошечный, грудной). Юлик должен был быть вместе с Ирой, но у нее возникли какие-то неотложные дела, и он явился на пост один. Разбираться было некогда, да и менять что-либо поздно — у ворот ждало такси. И я умчалась, стараясь не думать, как там обойдется. Когда вечером вернулась — в доме гладь и божья благодать, Юлик спокоен, как всегда, насчет того, как справлялся — ни слова. После того, как больничная эпопея, длившаяся больше месяца, закончилась, мы устроили «бал нянь». Тревожное напряжение спало, веселились, рассказывали всякие смешные случаи, происшествия и накладки: Дезик изготвил «няням» (их было 25) шуточные дипломы с отметками по каждому разряду: выгуливанье, тетешканье, кормление и т.д. Только тут я Юлика спросила, каково ему пришлось на приснопамятном дежурстве? Ответил выразительно: «Если честно — во Владимирской тюрьме было легче».

Все это семечки, а всерьез — ни швов, ни скрипа от внутренней работы по уграмбовыванию горестного опыта нельзя было в Юлике заметить. Он держался так, как будто с ним и не случилось ничего, а просто отсутствовал какое-то время и теперь снова с нами — вот и все. Будучи одной из вершин правозащитного движения, он не только не подчеркивал своей исключительности, а как бы и не замечал ее вовсе. «Совершенно бесспорно для меня <...> Тошкино (Анатолия Якобсона. — Г. М.) утверждение: «Долг — внутри нас и расшибание лба — дело добровольное».

Мне казалось, что ему недодается окружающими признательной благодарности. Сколько раз и самой хотелось сказать какие-то нерядовые, с крыльями слова. Но это было решительно невозможно сделать. Есть люди, как локаторы, — прямо-таки ищут и ловят знаки одобрения и сочувствия. Вампирчики такие, умеющие направлять на себя положительную энергию, не обязательно заслуженную, но искомую столь жалостливо и жадно, что не захочешь — отдашь. Юлик — из противоположной породы. При том, что ему тоже хотелось нравиться людям и быть им приятным (я приводила его признание на эту тему), он высоко ставил право на отношения, градуируя его отчетливо и тонко. Нельзя и представить, чтобы он наехал на суверенную территорию другого человека, устремляя того к жертве во имя чего бы то ни было — освободительного дела или частного интереса. Мягкость и твердость соединились в характере Юлика как два лика, одинаково необходимых жизни. Этим соединением руководила нравственная точность; глубинное свойство, влекущее за собой превращение биографии в судьбу, нелепо поощрять словесным восхищением. Это все равно что аплодировать солнцу. Рядом с Юликом, в приятной тишине и душевной оседлости, было надежно. Он и сам любил атмосферу благорастворенного дружества и то, что люди хорошою, собравшись вместе. Не златоуст, не краснобаю, он не был склонен к интеллигентскому бесконечному (о чем бы ни пришлось) плетению словес. Но умел присутствовать проникновенно и самый простой и самый строгий разговор делать проживаемым внятно.

Антиболтливость Юлика имела и конспиративный оттенок. Не со всеми и не обо всем можно было откровенничать, чтобы не подставить, не подвергнуть опасности выступавших против власти и доверявших ему людей. Неосмотрительности, расхлябанности и так хватало. Юликово окружение, как оно сложилось естественным путем, было не сплошь, но сильно диссидентским. КГБ, не оставлявшее его своим надзором и после отбытия наказания, усматривало в этом упрямое нежелание исправляться и досаждало чем могло подобно злобной и мстительной бабе с коммунальной кухни. Были долгие мытарства с московской пропиской, лично приставленный стукач в Калуге, почти не скрывавшаяся слежка — словом, весь арсенал морального давления, направленного на то, чтобы взять измором, отравить и без того уже переломленную жизнь. В предпринятой торговле: смените круг общения — оставим в покое, — органы, естественно, потерпели фиаско. Чтобы Юлик отвернулся от друзей — и давних, и приобретенных в лагере, чем бы ему ни грозила близость к эпицентру оппозиции, уж не знаю, что надо было сделать, разве что распять его на дыбе, да и то вряд ли помогло бы. Не поддавался Юлик напору и с другой, близкой ему стороны. В его положении легче было стать — по инерции — активным действующим лицом диссидентского движения (со многими так происходило), чем выработать и сохранить отдельную позицию. Он не считал себя деятелем, профессиональным борцом и не участвовал ни в самоличных, ни в коллективных акциях, как ни подталкивала к тому обстановка. За редкими исключениями, продиктованными скорее дружескими чувствами, чем политической необходимостью. Не отказывая в советах и помощи, Юлик оставался принципиально частным человеком, для чего требовалось немалое мужество. Диссидентская среда была достаточно агрессивна, как всякая среда в пору становления, и противостоять волевой волне мог только вполне самостоятельный человек. Неправда, что в советскую эпоху не существовало выбора, кроме крайних полюсов — сервиллистского и протестного. Во-первых, выбор есть всегда, и не обязательно только между наличными в социуме возможностями. Во-вторых, проблема выбора — это прежде всего проблема устройства человеческой личности. Независимых, отдельных людей в любую эпоху намного меньше, чем подвластных господствующим мнениям как с государственной, так и с общественной точки зрения. Быть героем, не выходя из жизни, не сокращая объема жизненных отправлений и не снижая моральной требовательности к себе — это самое трудное амплуа. В единственном интервью Юлика нашей печати в 1988 году, за полгода до кончины, он сказал: «Я чист перед собственной совестью. <...> Это самое важное, по-моему, для человека — быть в полной мере собой».

С нынешним информационным пространством Юлий Маркович Даниэль соотносится примерно так же, как Христос с торгующими у храма. А между тем в свободе торговли, равно как и во всех иных свободах, коими мы теперь располагаем, есть и его заслуга, есть дыхание его светлой и мученической жизни. Но кто об этом знает? Люди постарше, бывшие жители империи из просвещенных кругов; их дети и внуки; гуманитари, политики (все ли?). Шаг ступив за пределы замкнутой элитной касты, можно усомниться: да был ли процесс Синявского — Даниэля, в свое время прогремевший на весь цивилизованный мир? Особенно обидно за молодых, в который раз в истории России обреченных быть Иванами, не помнящими родства, слыхом не слыхавших никаких героических имен из ближайшего прошлого своей страны, кроме Сахарова и Солженицына. Вечно действующее правило — «они любить умеют только мертвых» — на сегодняшних властителей распространяется с какой-то странной, лихорадочной и порой необъяснимой выборочностью. Широко толковать «о доблестях, о подвигах, о славе» подвижников предыдущей эпохи как-то не принято. А то бы сильно потускнели на их фоне теперешние калифы на час. Свобода без содержательного наполнения, проживаемая только как освобождение от гнета, печальна и смешна, как самоуправляющийся детский сад. Но пройдет и этот смутный период. Общество вспомнит о своей функции хранителя непрерывной связи с прошлым. А там, глядишь, и истина воссияет, как ей и положено. Вдруг и доживем до той поры, когда имя Даниэля встанет в ряд с Радищевым, Чаадаевым, Герценом, Огаревым и другими рыцарями нашего отечества и когда его «разнузданное благородство»* станет ведомо не одним только близким.

В той жизни, что пришлось на долю Юлика, его били дважды, оба раза как следует. Тяжело ранили на войне, куда он успел совсем юным — 1925 год рождения, едва ли не последний призывавшийся. И впаяли пять лет тюрьмы и лагеря за излишнюю любовь к свободе. Никаких дивидендов из своих деяний Юлик не извлек, кроме опаснейших болезней и ранней, всего в 63 года, смерти. Международной известностью скорее тяготился, а неблагодарную Родину любил и не желал покидать ни под каким видом.

«...Я к зову крови вполне равнодушен. Больше того, я не мыслю себя на любой другой почве, даже если бы у меня не было здесь стольких любимых людей. Моя родословная — российская, и она не короче и не беднее, чем у Голицыных, Муравьевых и др. Но это — моя позиция для себя, а каждый вправе решать по-своему».

Как-то пришел к нам в гости в замечательно нарядной по тем тусклым временам рубашке: на белом фоне черными буквами оттиснуты названия разных западных газет. Он вообще любил артистический стиль в одежде, разные свитера, плащи, береты здорово ему шли; относив робу, телогрейку и сапоги, продолжал пижонить как ни в чем не бывало. Не скрывал удовольствия от обновки и тут — Синявские прислали из Парижа. Я похвалила рубашку. Но тут же взвилась: «Юлик! А почему бы тебе самому не быть в Париже?». На что он ответил без всякой горечи, как давно решенное: «Я бы поехал, а вдруг они обратно меня не пустят?». Обратно — в малоденжное существование под присмотром ГБ. Лично курировавший Юлика генерал дозировал и получение поэтических переводов и печатание под грифом Ю. Петров. Мой муж давал Юлику негритянскую работу (те же переводы) для заработка, что, конечно, не решало проблемы в целом. И не способствовало стабилизации самоощущения. Ничего он так не хотел после отсидки, как простого, обыкновенного литературного труда. Но, подобно любому профессионалу, — пометки изделия своим именем. А тут сплошные личины и маски, расплотившиеся как наваждение вслед за самоназванным Николаем Аржаком. И непрерывный ряд парадоксов, которые вились вокруг Юлика и при жизни и после. Он был писателем — его судили как уголовника. Он был свободным человеком в несвободной стране — общество желало видеть его в роли борца против тоталитаризма. Он любил переводить стихи — от него ждали разоблачения лагерных ужасов в прозе. Он был органически естественным человеком, не игравшим ни в какие игры, — его полагали фигурантом судебного процесса, не удосужившимся заиметь собственное мнение и зависимым от расхожих.

Начав с умонастроений фрондирующего интеллигента в духе шестидесятничества (повести и рассказы, ставшие предметом судебного дела), Юлик так далеко ушел

* Слова Д. Святополк-Мирского об Огареве. Вычитано в книге «Записи и выписки» М.Л. Гаспарова, которому спасибо за блистательную находку.

от интеллектуального старта, что многие не знали, куда, и искали его там, где оставались сами — в нерасчлененности корпоративного мышления. А его занимали совсем другие вещи.

«Так-с, стало быть, Анатолий Александрович (Якобсон. — Г. М.) желает поговорить за свободу. А что это такое? Я спрашиваю без тени иронии, без всякой оглядки на свое нынешнее положение. То, что он пишет о свободе, как об общем содержании понятий истины, добра и красоты, конечно, похоже на правду; но ведь и эти понятия нуждаются в определении... Это одно, а другое то, что ужасная чехарда получается с процессом действия и результатом его: определяет ли, скажем, свобода движения добра результат его, добро в итоге? Какова связь и зависимость между свободой внутренней и, так сказать, внешней (общей)? Пьер Безухов хохотал во французском балагане: «Не пустил меня солдат!.. Душу мою заперли!.. (Простите за приблизительную цитату). Я очень понимаю его, Пьеровское ощущение, насмешку Пьера над дураками; но в какой мере эта его внутренняя свобода гармонирует с добром? Самоосвобождение, самовысвобождение — состояние необычное, взлет, вершина, оно очень ограничено во времени и поэтому всегда в противоречии с жизнью, даже собственной, не говоря уже о жизни окружающих. Потом я не понимаю, что такое свобода вообще, без конкретных проявлений. Мироощущение? Если оставить в стороне вопрос о свободе творчества и творческого процесса, то мироощущением можно назвать скорее не состояние, а стремление к этому состоянию, к высшему благу. Но как далека от этого стремления (стремления в буквальном смысле — движения), как от него далека красота! Попытка рационалистического объединения истины, добра и красоты в свободе кажется мне страшной отвлеченностью: как ни странно это звучит, но, по-моему, много меньше идеализма в желании верующих объединить эти понятия в Боге».

«Трудно мне все-таки обо всем этом говорить. А когда вернусь, будет еще труднее».

Как в воду глядел: когда окунулся в свой прожитый, позавчерашний день, трудно стало не только говорить, но и писать. Я спрашивала не однажды, как движется дело. Двигалось оно туго. Разговаривал об этом Юлик неохотно, уклончиво. Вряд ли одни неблагоприятные житейские обстоятельства служили помехой. Что-то иное, подспудное тормозило перо. Интуитивно, как все, что он делал, Юлик успел все же написать в «Неоконченной книге» детство, войну и смерть (отношение к смерти) — главные недостающие фрагменты для целостной мозаики жизни. И в лагерных письмах, и здесь все слова оплачены правдой. А с сочинительством он действительно завязал — оно больше не кормило душу.

Лагерное открытие: «Оказывается, я могу подолгу молчать», — распространялось не только на устную речь. Именно в молчании, т.е. в одиночестве, совершается движение к истине, к благословенной полноте бытия. Строго говоря, писательство как способ самовыражения перестало быть Юлику нужным. Его встреча с самим собой произошла в стихии жизни, противоположной творчеству. Поворот, видимо, был неотменим. Да и кто решил, что чистое искусство выше личностного осуществления? Сколько на свете людей — придатков к собственным текстам.

Есть явления духовного мира более важные, чем искусство. Эманация человечности в таких явлениях происходит не через систему отражений, а в изначальном, природном материале. При всем бескорыстии отдачи художник хочет быть понятым. Светящаяся душа не имеет иной цели, кроме чистоты и силы свечения. Рассеянная, растворенная отдельная судьба выполняет таким образом свое объединительное назначение. И становится частицей вселенской воли.

Александр Алтунян

О единстве, гласности и плюрализме

Творческая интеллигенция должна стать посредником между властью и обществом.

Владимир Путин

1. Политики рассуждают о прессе. Не корысти ради?..

С начала XVIII века, с тех самых пор, как появилась политическая журналистика, отношения общества и прессы, власти и массмедиа являются темой для жарких дискуссий. Постоянно идут дебаты о роли прессы в обществе, о влиянии власти на прессу, о том, как именно массмедиа должны вести себя в отношении власти, как себя должна вести власть, является ли пресса независимой и т.д. и т.п. И это понятно. Роль средств массовой информации в политической жизни огромна, и это, к счастью, вполне осознается всеми заинтересованными сторонами, то есть не только властью и политиками всех направлений, но и журналистами, и, что особенно важно, потребителями информации, аудиторией.

У политиков, журналистов, чиновников, рассуждающих о предметах, подчас не имеющих никакого отношения к массмедиа, обязательно найдется предлог, чтобы бросить взгляд на проблемы прессы и власти, прессы и общества. Слишком важная это тема, чтобы политик, журналист, чиновник могли позволить себе забыть о ней. Поэтому всякий сколько-нибудь опытный потребитель политической информации уже не удивляется, услышав, например, в речи президента, что журналист — это «посредник между властью и обществом», или в комментарии Олега Попцова, руководителя ТВЦ, относительно пожара на Останкинской телебашне, что «мы, журналисты, работаем не для власти, а для общества; а власть — лишь часть нашей аудитории»¹. Знакомо многим и такое, часто повторяемое российскими чиновниками мнение: пресса не должна становиться «диктатором», не должна претендовать на основную роль в решении политических вопросов. Мнение о том, что «власть — это лишь часть аудитории», стало появляться сравнительно недавно и еще не примелькалось, зато идея «посредничества» стала общим местом российской общественной мысли, почти так же, как и предостережения об опасности «диктатуры» массмедиа.

У каждого политика есть свои резоны для того, чтобы трактовать отношения с прессой именно так, а не иначе, но есть ли смысл нам, членам политической аудитории, принимать всерьез эти различия, касаются ли они сути отношений? Ведь дух политической конъюнктуры и финансовой зависимости настолько пропитал отношения власти и прессы, что, на первый взгляд, как бы ни были разнообразны трактовки отмеченной нами темы, за ними нет ничего кроме соображений исключительно корыстного порядка.

Это правда, но не вся.

Наши общественные деятели оказываются адептами идеологий, носителями определенных мировоззрений, часто совершенно этого не подозревая, и идеологического в их высказываниях отнюдь не меньше, чем корыстных интересов. В разглагольствованиях политиков и журналистов о прессе мы найдем и личный расчет, и политическое столкновение, и спор идей и представлений о мире, об обществе. В этих спорах идея

¹ Интервью радиостанции «Эхо Москвы» 28 сентября 2000 г.

гласности спорит с идеей свободы слова, а такой милый сердцу нашей сегодняшней власти идеал единства оказывается в непримиримом противоречии с идеалами гласности, невинное же замечание Пугина о посредничестве журналистов оказывается идеологическим базисом нового витка нашей политической истории.

Конфигурация отношений между политическим публицистом, властью и аудиторией -- одна из ключевых тем не только современной российской, но и мировой политической истории. Именно поэтому важно в них разобраться, связать идеи, лежащие в основе понимания этих отношений, с современной политической конъюнктурой, попытаться понять, как политический публицист, автор политических текстов понимает свою позицию, свою роль в обществе, отношения между властью, прессой и аудиторией, как эти представления публициста связаны с более общими мировоззренческими проблемами, то есть с тем, как именно он, публицист, видит и понимает общество.

Анализируя прямые высказывания и априорные послышки различных политических авторов, я выделил три типа отношений, существующих между основными субъектами политического дискурса -- между властью, аудиторией и политическим публицистом. Вот об этих трех мировоззренческих конструкциях и пойдет речь в статье.

II. Там, где власть едина с народом, публицисту места нет

Обратимся к свидетельствам самих политиков и публицистов.

Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям, критикуя партийную раздробленность, пишет, что главная цель возглавляемого им политического объединения «Единство» — «добиться единства интересов каждого человека и Государства Российского. И ради этой цели мы готовы объединить всех и вступить в единство со всеми»¹.

Партийная раздробленность противопоставляется Шойгу «единству», единству каждого человека с государством. Это не единство *всех отдельных граждан*, а единение каждого с *интересами «Государства»*².

Губернатор Александр Лебедь: «В этой ситуации (когда Россия наконец обратится «к своим исконным ценностям «общины» с ее иерархичностью и элементами авторитаризма...») основная роль российских политиков, их искусство должны состоять не столько в умении навязывать свою волю народу, сколько в способности чувствовать, осознавать и реализовывать скрытый общественный потенциал нации»³.

А вот как крупный российский правительственный чиновник объяснял причину недопущения прессы на заседание правительства: «Когда в семье, скажем, взрослые решают какие-то серьезные... вопросы, они же не разрешают, чтобы дети их слушали...»⁴.

Современные российские политики не придумали ничего нового. Идеологию единства власти и общества проповедовали в нашей стране и раньше.

М. Н. Катков, известный публицист консервативного направления, в 1863–1887 годах редактор газеты «Московские Ведомости» и журнала «Русский Вестник», писал: «...Истинная сущность русского самодержавия... в том, что самодержавная власть нераздельна и едина с целым народом...»⁵; «Зачем между Верховной Властью и народом, который не отделяет себя от нее и видит в ней свое истинное и единственное представительство, втирать какие-то еще представительства?...»⁶.

То, что у известного консервативного публициста были подобные идеи, не странно, но и в рассуждениях демократических публицистов некрасовского «Современника» мы найдем трактовку идеальных отношений народа и власти как единения.

Советская риторика последних десятилетий советской власти строилась на

¹ С. Шойгу, «Взгляд на будущее России» // «Известия», 29 октября, 1999.

² «Государство Российское» (обратим внимание на прописные буквы) отсылает к российской имперской, государственнической традиции, к государству как высшей ценности.

³ А. Лебедь, «Новая империя» наступает. На старые грабли! // «Известия» № 84, 1997.

⁴ Ирина Савватеева, «Заседание правительства: мужской разговор...» // «Известия», 6 мая, 1994.

⁵ «Московские Ведомости», 1881, № 104.

⁶ «Московские Ведомости», 1881, № 119.

бесконечно повторяемых декларациях о «единстве», о полном единении народа и власти, народа и партии. Лозунги типа: «Партия и народ — едины!» — памятны еще многим.

Современный автор о ситуации после августа 1991 года: «Они (представители власти. — А. А.) были нашими товарищами. Без всякого сомнения, это была наша, демократическая власть!»¹.

Все эти политики и публицисты — разные по своим политическим убеждениям люди. Но в их суждениях заключена одна и та же концепция отношений власти и публики. В чем смысл этой концепции, этой идеологической парадигмы? Все эти люди видят идеальные отношения между народом и властью как отношения полного единства. *Общественный идеал представляется как целостное, нерасчленимое единство власти и народа.*

Что же представляет собой идеал *единой* с народом власти? Она, власть, как бы обнимает собой общество, как материнское лоно обнимает плод, как отец, патриарх обнимает детей и заботится о них. Общество объято властью и неотделимо от нее. А власть «чувствует» народ, по выражению Лебеда, как чуткая мать чувствует плод. Единство власти и народа, как единство плода и матери, — залог жизни плода. Раздельное существование — власти и народа, плода и матери, патриарха и детей — немисливо и невозможно.

В реальной же действительности, говорит большинство этих авторов, единства *нет*, идеальные отношения оказались нарушенными. (Только советский лозунг заявляет о реальном существовании, об осуществлении идеала единства. По крайней мере на первый взгляд сам лозунг никаких сомнений в реальности такого единства не допускает.) Причиной нарушения единства для Каткова являются происки внешних и внутренних врагов. У современного автора нарушение идеальной картины произошло из-за предательства власти: власть предала идеал, соблазнилась материальными выгодами и *отделилась* от «народа», «простого человека». И в некоторых других приведенных примерах разрушителем идеала, причиной того, что отношения неидеальны, что народ и власть не составляют единства, является испорченность самой власти. Интересно, что народ чрезвычайно редко трактуется как причина разъединения. Народ по сути своей непогрешим, то есть если и грешен, то по невинности, по неискушенности. Враг единства, провокатор, вне его. Наилучший выход из сложившейся ситуации разъединения — стремиться к воссоединению власти и народа.

Эта же мысль о ценности цельного, спаянного общества и гибельности разделения видна в многочисленных противопоставлениях так называемого духа партий (разъединенности, преследования частных, сословных, групповых интересов) — единству общих интересов в российском обществе. Последняя тема развивалась представителями самых разных политических направлений, от консерваторов до революционеров, она слышна в приведенном высказывании Шойгу, т. е. актуальна до сих пор².

Какова же роль политического публициста в том обществе, которое вырастает из описаний Лебеда, Каткова, Шойгу? У Александра Лебеда власть должна «чувствовать» «потенциал нации». В том, что «нация», «народ» могут сами *высказаться* о своем «потенциале», Лебедь российский народ даже не подозревает. Нация, такая, как ее видит генерал Лебедь, *молчит*, и это принципиальный момент. Если же нация молчит, то, соответственно, роль прессы может состоять в чем угодно, но не в выражении мнения молчащего народа. В пределе же, если пристальнее всмотреться в ту картину общества, общие черты которой набрасывает Лебедь, о которой подробно писали Катков и многие консерваторы, пресса как общественный институт не нужна вовсе.

В обществе, которое понимается как идеальное единство народа и власти, политический публицист не нужен. Единый, целостный организм сам знает о своих потребностях и вполне может обойтись без внешних интерпретаторов. Между частями органической целостности не нужен внешний посредник. Более того, такой посредник

¹ «Независимая газета», 1 декабря, 1992.

² Это замечание отнюдь не означает, что между всеми консерваторами и всеми революционерами на идеологическом уровне совсем нет различий. Но наша российская история дает нам примеры, когда архиконсерваторы и радикальные демократы в своем понимании отношений между властью и народом оказывались очень похожими друг на друга.

может представляться даже вредным: оказаться своекорыстным, как у Каткова, или даже стать «диктатором», как характеризует российские массмедиа Шойгу¹.

Истоки представлений об идеальной, единой с народом власти уходят в глубокую древность. В фольклорных текстах мы находим, что идеал отношений между князем, царем и народом состоит, в частности, в том, что царь доступен, к нему всегда можно обратиться, в ноги броситься, а возникающая бюрократия и дворянство воспринимаются как ненужные посредники, как нарушающие единение между царем и народом, так же, как нанятый приказчик нарушает патриархальное единство между добрым барином и мужиком.

В советские времена произошло оживление архаичной модели. Партии, которая «едина с народом», не нужен посредник между ней и этим народом, не нужны гласность, свободная пресса и свободный парламент. Но ведь и огромному большинству общества до поры до времени было это не нужно! Архаизация оказалась возможной, так как опиралась на *существовавшие* в обществе представления об идеальной власти как о единой с народом, а это единство обусловлено действием каких-то высших сил, помазанником которых выступает власть. Декларируемое единство Советской власти и народа, как и стремление современных политиков достичь единства интересов народа и государства, — это лишь отчасти демагогия, а отчасти — тоска по еще существующему в нашем сознании идеалу, неосознанное стремление вернуться к утробному архаическому состоянию общества. Поэтому не стоит с высокомерным презрением относиться к призывам современных политиков и публицистов к единству, целостности общества и власти. Именно эти идеи (а не идеалы личной свободы) составляют наше идеологическое наследие; пропагандируя ценности «единства», политики играют на реально существующих мировоззренческих стереотипах. Попытка же осуществить в реальности «единство» народа с властью, с государством грозит нам новым выпадением из трудной «взрослой» жизни. На практике это будет означать: общество и каждый конкретный человек отказываются в пользу государства (партии власти) от ответственного участия в решении проблем как личного порядка, так и общественного и государственного уровней; что, в частности, включает отказ от реальной возможности периодической смены власти; а чтобы поддерживать эту систему и контролировать молчащее общество, необходимо будет вновь усилить репрессивный аппарат.

«Мы» — это не только здесь, в сегодняшней России. Один из распространенных «мифов» современного западного, в том числе и американского, политического дискурса — это миф «единые мы стоим» («united we stand»), как назвал его Муррей Эдельман, что-то вроде нашего «Если мы едины, мы непобедимы»². Франклин Рузвельт, четырежды (с 1933 по 1945 г.) избиравшийся президентом США, до сих пор считается символом единства американской нации. С этим лозунгом пришел в Белый дом Джон Кеннеди. Президент Линдон Джонсон (1963–1968) всю свою риторику построил на идеале единства нации. Даже свой неожиданный уход с политической арены, отказ от борьбы за переизбрание он обставил именно как желание избежать партийного, фракционного разделения, как стремление избежать нарушения достигнутого нацией единства. А вот главным врагом единства выступили, по мнению Джонсона, пресса, массмедиа, критиковавшие его политику. Даже в демократической Америке истинно верующие в идеал единства нации видят в свободной прессе, в критической политической публицистике реальную угрозу осуществлению своего идеала.

III. Концепция журналиста как «посредника», «медиатора»

Концепция идеологического «единства» — отнюдь не единственная концепция, которую можно обнаружить в нашем современном российском политическом дискурсе.

¹ «...Четвертая власть не должна превращаться в диктатуру. ... Закон должен защищать не только прессу от произвола власти, но и общество от произвола прессы». (С. Шойгу, «Известия», 29 октября, 1999). Страх, что звучащее *слово* может стать «диктатором», — это, конечно, страх чиновника перед свободной критикой. Излишне напоминать, что при свободе прессы иногда случаются эксцессы, но эта свобода никогда не превращалась в «диктатуру прессы». А вот стремление политиков освободиться от слишком свободной прессы, т.е. от критики, часто приводило к диктатуре.

² См. напр.: M. Edelman, *Politics as symbolic action*. — New York: Academic Press, 1971.

Владимир Путин, незадолго до своего избрания на пост президента, на встрече с интеллигенцией объяснял, как он понимает роль творческой интеллигенции, в том числе и журналистской. Роль эта, по его мнению, состоит в том, чтобы быть *посредником между властью и обществом*. Интеллигенция объясняет, истолковывает обществу намерения власти, а властям — чаяния общества, критическое мнение общества относительно власти.

Об этой же функции прессы в интервью с Путиным-уже-президентом пытается напомнить главный редактор «Известий»: «Тогда что для Вас СМИ: канал для передачи информации от государства к обществу или все же возможность общества выражать и *доносить* свое мнение?»¹ (курсив наш. — А. А.).

Идеологический феномен, названный нами идеей *посредничества*, получает все большее распространение в нашем идеологическом пространстве. Даже известные правозащитники стремятся стать «посредниками»: «Увы, в российском обществе, как и в советском, нет диалога между властью и гражданами. Раньше гражданам не давали возвысить голос. Теперь же они вольны кричать и вроде бы кричат очень громко, но власти — их не слышат. Правители живут, по-прежнему отгородившись от общества и привычно пренебрегая общественным мнением. В стране и сейчас нет механизма влияния общества на власть. ... (Региональные комиссии по правам человека, создаваемые местными властями), могут стать местом встречи местных правозащитников с властями»².

Еще одно мнение.

Владимир Бородин: «Власти считают, что прессе пора становиться по-настоящему независимой. К концу этого года истекает срок действия льгот, предоставленных законом (прессе). ... Но власть, которая сегодня малопонятна и попросту нелюбима, теряет своего единственного посредника, а зачастую и союзника, в общении с собственным народом»³.

Это цитата даже не требует комментария относительно того, как автор понимает роль прессы. Пресса — *посредник*, причем посредник, которому настолько не хочется слишком отдаляться от власти, перестать играть роль толкователя действий власти для публики, что его доводы больше похожи на шантаж.

В основе понимания отношений власти, общества и политического публициста как отношений *посредничества* лежит следующая посылка: власть и общество априорно понимаются как *разделенные*, они понимаются как два разных, отдельных феномена. Раздельное, автономное существование власти и общества воспринимается как *естественная норма*. Казалось бы, сегодня подобный тезис звучит достаточно обыденно. Конечно же, власть существует отдельно от общества!⁴ Но ведь так же обыденно звучит и тезис об идеале единства власти и общества, а между тем эти две концепции разделяет идеологическая пропасть. Эти две схемы отражают принципиально разное понимание мира. И совсем не случайно, что в советские времена ни о каком *посредничестве* интеллигенции, политических публицистов и речи не было. Эта концепция стала доминирующей только в начале перестройки. Что же произошло со старой концепцией единства (единства партии и народа, народа и правительства и т.д.)?

Пуповина, связывающая власть и народ в одно нераздельное целое, оказывается разорванной. (Речь, конечно, идет о представлениях, а не о реальности. В реальности ни в Российской империи, ни в Советском государстве единства никогда и не было, но существовал идеал единства, и многими, искренно верившими в идеал, его разрушение воспринималось и воспринимается до сих пор как трагедия, как кризис.) Прежнее идеальное целое, например, советского общества, каким его рисовала пропаганда и

¹ «Доносить» здесь, конечно, — до сведения власти. «Известия», 14 июля, 2000.

² Людмила Алексеева, «Посредники между властью и обществом»: «Известия», 16 октября, 1997. Вероятно, не надо говорить, что концепция посредника — это далеко не единственная концепция правозащитной деятельности. Значительно более распространенной является другая концепция: правозащитники защищают человека от государственной машины, от бюрократии и т.д. Не посредничают между нарушителем и жертвой, а защищают жертву.

³ Вл. Бородин, «Власть теряет прессу», «Известия», 3 июля, 1998.

⁴ Но «нормальность», обыденность для нашего сегодняшнего идеологического контекста раздельности власти и общества не надо преувеличивать. Все еще может повернуться вспять. Недаром политики обращаются к обществу с призывом единения всех с государством.

каким его хотели видеть очень многие, распадается на отдельные части, социальные группы, с разными целями, с противоположными интересами. Эти разные части если и соединяются в одну цельную общность, то лишь под воздействием внешних сил, при внешней угрозе, например, во время известных московских взрывов в сентябре 1999 года, и только для того, чтобы вскоре опять разойтись. Временно объединяющимся обычно ясно, что, объединяясь, они поступаются частью своих интересов, и объединение для них — не осуществление идеала, а жертва. (В этом их отличие от искренне верящих в идеалы единства.)

Восприятие отделенности общества от власти как естественной нормы¹, выражается в возникновении определенных институтов, формировании представлений, на первый взгляд очень естественных, например, о том, что власти можно давать советы. Причем делать это открыто, в легальной печати. В таком, к примеру, виде: «...Президент не имеет права молчать в сложившейся ситуации. Он обязан в полный голос заявить о своей позиции. Иначе молчание может расцениваться как проявление бессилия власти перед лицом набирающих силу экстремистов (нацистского толка. — А. А.) и даже как поощрение этих сил, придерживание их в своем резерве... Редакция считает глубоко ошибочной, опасной для будущего России недооценку нависшей над ней угрозы»².

Мы видим, что автор, редакция (это редакционная статья) обращаются к *Президенту*, к власти с *истолкованием* того, что происходит в обществе и с *советом* относительно того, как надо действовать в складывающихся обстоятельствах.

Легальная возможность давать советы предполагает, что, с точки зрения журналиста, власть, будучи отдельным и отделенным от общества субъектом политического действия, *может* не все знать, не знать того, что знает кто-то из общества, отдельный его представитель. И это очень важно. Ведь когда власть и общество понимаются как единое целое, то сама мысль, что власть может чего-то не знать или что она знает проблемы, например, российского крестьянина хуже, чем журналист или любой другой рядовой член общества, сама эта мысль оказывается еретической, кощунственной. В советские времена такая мысль становится поводом для психиатрического освидетельствования засомневавшегося в единстве народа и партии, поскольку человек, решивший, что он знает о проблемах народа больше Коммунистической партии, демонстрирует явные признаки психического заболевания, мании величия. И действительно, если народ и партия «едины», если народ — это и есть власть, то что нового, неизвестного (властям) мог рассказать о народе какой-нибудь журналист (продажный писака, отщепенец и т.д.)?

Пафос известных политических публицистов времен перестройки — это пафос «советничества». Пафос искренний и абсолютно понятный. Дело в том, что возможность власти через «приводные ремни» политической прессы с той или иной степенью эффективности воздействовать на общество никогда никем не оспаривалась. А вот обратной связи не существовало; более того, советская власть, печатая в прессе наказания доярок и сталеваров съезду КПСС, преследовала несколько иные цели, чем имитация обратной связи. (Еще раз подчеркнем: в обществе советского типа проблема обратной связи непринципиальна. Единство не нуждается в обратной связи.) Письма «простых советских людей» и лживые статьи советских «мастеров пера» с рассказами о жизни «простых тружеников» — это была не обратная связь, не уведомление власти о нуждах и проблемах народа, общества, а *демонстрация и подтверждение их единства*, т.е. утверждение разобранного выше типа отношений власти и общества. Пафос перестроечного советничества, когда публицисты взапуски бросились учить власти предрешающие, что такое хорошо и что такое плохо, и как на самом деле живет общество, и какие перед нами проблемы, и что делать — был вызван искренним желанием наладить обратную связь от общества к власти, в данном случае — с помощью советов «честных и наиболее добросовестных» его, общества, представителей.

¹ «...общее мнение... невзирая на заблуждение некоторых... политиков, существует везде, во всяком государстве, во всяком образе правления, увлекает за собой толпу, раздает славу или бесславие и порождает добро и зло. ...и как общее мнение уничтожить невозможно, то гораздо лучше, чтобы правительство взяло на себя обязанность напутствовать его и управлять оным посредством книгопечатания...» — писал Ф.В. Булгарин в своей записке, предназначенной для императора Николая I («Русская Старина», 1900, т. 103, с. 579). Мы видим, что правительство может лишь «управлять», оно не может «уничтожить» общественное мнение. Т.е. этот феномен не связан напрямую с властью, он отделен от нее.

² Альберт Плутник, «За Россию без расизма», «Известия», 9 июня, 1998.

Но перестройка — это отнюдь не первая попытка общества зафиксировать, оформить свою отдельность от власти. Вот один из примеров, который свидетельствует, что в российском обществе уже в начале XIX века шел очень похожий процесс. Журнал «Невский зритель» писал в 1820 году: «... Иногда случается, что одним мало обдуман- ным постановлением... стесняется ход общества... к народному богатству... Ошибка в отношении к промышленности повлечет... вредные последствия. ... Правительству надобно быть убежденну, что все его постановления имеют... влияние на успехи про- мышленности. Оно не должно ничего делать наудачу»¹.

Здесь самое главное — это тот тон, которым автор говорит о правительстве, *обра- щаясь к рядовому читателю*: правительство что-то «должно», а чего-то «не должно» делать. Оно, правительство, существует отдельно и совсем не все знает, не полностью компетентно! «Невский зритель» говорит о правительстве прямо, не пользуясь ни эзоповым языком, ни условной маской. Чрезвычайно важно, как уже было отмечено, что публицист считает себя *вправе* легально говорить о правительстве в тоне должен- ствования. То есть высказывание своего мнения, отличного от мнения властей, осозна- валось как *естественное право*, хотя за назидательную интонацию журнал и получил внушение от тогдашнего министра народного просвещения князя Голицына.

В России начала девятнадцатого века рождался новый феномен: осознание поли- тическими публицистами своей отдельности, своей субъектности по отношению к по- литической жизни. Рядовой российский журналист начал с того, что нарушил молча- ние, осмелился произнести *суждение* о конкретных фактах российской политической жизни, как Н.М. Карамзин в «Вестнике Европы» (1802–1804)², а затем подал *совет*.

Был ли это наш, чисто российский феномен, или и в Европе отношения между властью, прессой и обществом развивались таким же образом? Мы можем здесь со- слаться на мнение известного социолога Юргена Хабермаса: в конце XVIII века не- мецкое общество под влиянием различных факторов, в том числе развития печати, «развилося в публику, аудиторию; бывший *объект* политического влияния (разви- ся) в *субъект* размышления, вынесения суждений; общество, (прежде) *объект регу- ляции* власти, (развилося) в *советника* руководящих властей»³ (курсив мой. — А. А.). Речь у Хабермаса в основном идет о Пруссии, хотя те же самые процессы, по его мнению, можно обнаружить во Франции и в Англии в начале того же века.

То есть политический публицист брал на себя роль посредника в отношениях между властью, обществом и публицистом, пытался играть роль «советника» и в дру- гих европейских странах. Вплоть до настоящего времени эта идея остается авторитет- ной в журналистских и политических кругах Европы и Америки. Суждение о прессе как о *дающей советы* правительству высказывал британский премьер-министр в 1914 году.⁴ Идея прессы как посредника между властью и обществом была актуальна в 1960 годах и для крупных социологов, например, для самого Хабермаса, и для журна- листского сообщества⁵.

Поговорим теперь подробнее о том, в чем состоит социальная, политическая роль журналиста в новом, разделенном, обществе.

¹ «Невский зритель», 1820, ч. 1, № 3, сс. 1-2.

² «Мысль прискорбная для всякого патриотического сердца! (О том, что учителя в Рос- сии, в основном, иностранцы. — А. А.) Предмет достойный внимания нашего мудрого Прави- тельства! Оно конечно не имеет пужды в наших советах; но мы имеем право рассуждать о том между собою и спрашивать друг у друга, каким способом можно заманить в России иностран- ных учителей...» (статья NN «О новых благородных училищах, заводимых в России» / «Вестник Европы», 1820, № 8, с. 362).

³ «The publicum developed into the public, the subjectum into the (reasoning) subject, the receiver of regulation from above into the ruling authorities' adversary». «The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society». Сс. 25-26)

⁴ Во время 1-й мировой войны в Англии была введена военная цензура. Оппозиция и журналисты сразу же заявили свой протест. Премьер отвечал на критику: «Правительство может лишь приветствовать критику прессы, которая вынуждена не желанием создать затрудне- ния, но, наоборот, стремлением дать ему... разумный совет относительно настоящей мину- ты». / «The Times, November 12, 1914» (Цит. по: «Русские записки», № 2, декабрь, 1914. С. 303).

⁵ «The press is the communications link between the political power of government and the public, but is not controlled by government» (Douglas Cater, «The Forth Branch of Government»). See: George R. Berdes, «Friendly Adversaries: The Press and Government», Marquette University, Milwaukee, 1969. P. 24.

То, что власть и общество существуют сами по себе как независимые социально-политические феномены, создает проблемы и мировоззренческие, и политического плана. Это прежде всего проблема коммуникации, проблема осведомленности власти об обществе и наоборот. Отчасти она, проблема, компенсируется деятельностью политических публицистов. Их роль — роль посредников между властью и обществом, медиаторов, осуществляющих связь. Именно на эту роль претендовал А.С. Пушкин, когда планировал в начале 1830-х годов издание политической, проправительственной газеты. Цель предполагаемой газеты была: сообщать правительству мнение общества, и, с другой стороны, — объяснять обществу намерения власти.

Новое понимание отношений между властью и обществом основывалось на следующих априорных посылах: предполагаемого или действительного единства народа и власти больше нет; общественное мнение, мнение публики существует независимо от желания власти и во всяком образе правления и часто не совпадает с мнением самой власти.

Трактовка прессы как посредника исходит из этих, по своей природе либеральных идей, дальнейшее развитие которых приводит к парламентской демократии. Но трактовки идеи «посредничества» и в XIX, и в XX веках были отнюдь не только либеральными. В 1826 году известный журналист Фаддей Булгарин написал для императора Николая I записку, в которой объяснял, что для управления общественным мнением необходимо проводить политику «гласности». Суть ее состояла в следующем: только «пушками» с общественным мнением уже не сладить. Если власть хочет «влиять», а тем более «управлять» общественным мнением, то необходимо, чтобы общество «доверяло» власти и тому хорошему, что журналисты говорят о власти. Последнее же возможно, если эту власть можно за что-то критиковать. Возможность критики рождает доверие и к положительному о власти суждению. Только при наличии такого доверия газета сможет действительно пропагандировать мероприятия властей, сможет рассеивать «неосновательные мнения» относительно власти и «управлять общим мнением»¹.

(Очевидно, что идея о возможности манипулирования общественным мнением с помощью печати по своей природе тоталитарна, но вот парадокс: механизм, с помощью которого предлагалось осуществлять манипуляцию — доверие общества в ответ на возможность критики, — безусловно, либерален и демократичен. Критика хотя бы некоторых мероприятий правительства предполагает, что правительство как бы *обязывается отчетом перед публикой* в своих действиях². Постепенно ширина канала критической информации, гласности неизбежно будут расширяться пока наконец не достигнут своих пределов — свободы слова.)

В самом общем смысле это и есть *то посредничество*, о котором В.В. Путин, а до него очень многие российские политики, в частности П.А. Столыпин, просили прессу, а иногда и требовали от прессы. Критика должна быть умеренна, количество предметов, подлежащих критике, — ограничено (за этим должны следить специальные органы). Т.е. ширина канала информации, гласность оказываются достаточно ограниченными. Важно, однако, то, что необходимость такого канала, необходимость медиатора, влияющего на общество и способного влиять и на власть, была очевидна многим журналистам и некоторым крупным чиновникам уже в начале XIX века. Необходимым это было *не* для утверждения либерального начала, а прежде всего для успешного управления российским обществом, созревшим для гласности.

Более чем через сто лет, к концу существования советского режима, эта история повторяется вновь. К концу 1970-х — началу 1980-х годов становится очевидным, что значительная часть общества не считает официально декларируемое единство народа с

¹ Именно Булгарин впервые описал «гласность» как политический феномен — как политику властей в отношении печати, направленную не столько на то, чтобы дать обществу дополнительную информацию о мерах, принимаемых властью, сколько на то, чтобы, допустив «некоторую гласность», т.е. возможность критики в отношении некоторых мер правительства, добиться этим самым доверия общества к любой публикуемой информации, в том числе и проправительственной. Доверие же к публикуемой информации нужно для более успешного управления общественным мнением. Подробнее об этом см.: А.Г. Алтунян, «Политические мнения» Фаддея Булгарина. Идейно-стилистический анализ записок Ф.В. Булгарина к Николаю I». — М., 1998.

² Именно эту опасность введения «некоторой гласности» сразу увидел тогдашний министр просвещения А.С. Шишков. Монархическое устройство и политика гласности несовместимы, подчеркивал он.

руководством страны хотя бы сколько-нибудь реальным. Возникшая идеологическая ситуация разъединенности общества и власти была очевидна всем заинтересованным наблюдателям; ее фиксировал фольклор (многим, вероятно, памятен анекдот о «городской» колбасе, которой отравилась жена ответственного работника), она (разъединенность) проявлялась в массовой приверженности неофициальной контркультуре, от Высоцкого до Макаревича. Пришло время, когда и отдельные представители партийной, культурной элиты, апологеты так называемого нового мышления увидели советское общество как разделенное, не-единое. И здесь не важно, что именно послужило толчком для нового видения, Милован Джилас с его «новым классом» или личный опыт «застрельщиков» перестройки. Важно, что они признали реальность: власть и общество разделены. Нужен посредник. В качестве одного из посредников власть приняла политического публициста. Дальше была современная история — политика гласности. И хотя о гласности в политическом смысле речь заходила каждый раз, когда в России начинались процессы либерализации: в 1860-х, в 1900-х, в начале 1960-х годов, — но только в последний свой приход — в конце 1980-х годов — гласность, исчерпав себя, разродилась свободой слова. Что, впрочем, не означает, что мы не можем опять вернуться к политике гласности.

«Гласность», являясь прежде всего сознательной *политикой* власти в отношении общества, направленной на поддержание своего (власти) существования, одновременно является и идеологической парадигмой. Каким бы это ни казалось странным, но если политика гласности в начале 1990-х годов сменилась политикой свободы слова, то идеологическая парадигма гласности до сих пор владеет, или, что вернее, лишь постепенно овладевает нашими умами. Мы медленно и нехотя привыкаем к разделенности власти и общества. Этот тип отношений власти, общества и политического публициста мы так и называем: *схема гласности*. В рамках этой концепции публицист ориентирует себя как «медиатора», «посредника». Он информирует «власть» о состоянии общества, он выражает мнение народа, рассказывает о его нуждах и требованиях; в то же самое время политический публицист интерпретирует, объясняет намерения и цели власти в отношении общества, народа и т.д. При этом не имеет значения, поддерживает ли политический писатель власть и ее политику или настроен против. В случае поддержки публицист часто претендует на роль «советчика» при власти имущих, на то, чтобы власть прислушивалась к его советам; в случае оппозиционной настроенности публицист занимает критическую позицию в отношении власти, но при этом в своей критике он главным своим адресатом часто видит власть: именно она, власть, должна что-то понять, принять меры, исправиться и т.д. Автор критической публицистической статьи излагает свое видение происходящих процессов в надежде, что его прочтет начальство, что оно заметит и будет действовать именно по его совету. В рамках схемы гласности идеальным материалом, содержащим критику власти и информацию о нуждах общества, является такой материал, который бы лег на стол самому высокому начальству.

Эта концепция отношений хорошо иллюстрируется вертикальной схемой: власть — вверху, общество — внизу, между ними существует связующее звено, связующий их информационный канал. Ширина этого информационного канала может контролироваться властью. Обратная связь еще плохо работает, но власть уже не полагается на идеальное предполагаемое единство. (Я здесь намеренно упрощаю проблему. Конечно, власть полностью никогда на это единство не полагалась. И в советские, и в дореволюционные времена существовали такие институты, как тайная полиция, перлюстрация и т.д.)

Циничные в своей основе идеи Булгарина об «управлении» общественным мнением с помощью «гласности» и искреннее желание современных журналистов быть «посредниками» между властью и обществом вырастают из одной и той же идеологической, мировоззренческой концепции: прежнее единство распалось, общество разделено на несколько социальных, политических групп, и между ними необходим посредник¹.

¹ Просьба Путина о посредничестве творческой интеллигенции — это не просто пропагандистский ход, не попытка актуализировать уже пройденный обществом этап развития. Не только власть, но и сама пресса до сих пор хочет видеть себя посредником между властью и обществом, до сих пор «посредничество» и «советничество» остаются актуальными для российского общества идеологической реальностью, актуальным видением мира.

IV. Возникновение новой парадигмы отношений власти, общества и политического публициста. Концепция «плюрализма»

В качестве примера я предлагаю провести мысленный эксперимент. Возьмем статью в какой-нибудь крупной американской газете, где речь идет о действиях американского президента. Например, статью в «Вашингтон пост» от 18 ноября 1999 года относительно визита Клинтона в Турцию на встречу глав стран-участниц ОБСЕ, где выражается мнение, что Клинтону нужно при встрече с российским президентом вести себя так-то и так-то. Даже не пересказывая содержания, поставим вопрос: кто является главным адресатом статьи? Президент Клинтон? Американская администрация?

Теоретически и тот, и другой варианты возможны. Но в данном случае, и это как правило, никакой цели быть услышанным именно и исключительно президентом у журналиста нет. Он пишет прежде всего для всей аудитории. Для *каждого читателя* из аудитории. Клинтон, администрация, члены Конгресса, конечно, учитываются, но учитываются как члены читательской аудитории, одни из многих. Я бы назвал эту парадигму, это понимание отношений между «властью — обществом — политическим публицистом» — плюралистической парадигмой.

В рамках этой концепции задача публициста заключается не в посредничестве между властью и обществом, а в том, чтобы быть посредником между различными идеями, между политически равноправными членами общества. Главным адресатом политического текста является не власть, даже не «человек с улицы», «простой человек» и не «народ», а *«читатель»*, куда, вполне возможно, входят и представители власти, но лишь в качестве одного (нескольких) читателей.

Эта схема предполагает ненерархическое понимание отношений между «властью — обществом — политическим публицистом». Если концепция гласности базируется на иерархической вертикали, власть — общество, а между ними посредник-публицист, то новую концепцию можно представить в виде горизонтальной схемы, где политики, представители власти — лишь одни из многих читателей.

Приведем отрывок из статьи Уильяма Сэфайра, известного политического публициста, постоянного автора «Нью-Йорк Таймс», текст которой, казалось бы, опровергает мои замечания: «Вот то послание, с которым помощники Буша (младшего) должны бы ему посоветовать обратиться к... пакистанскому лидеру: ...демократия, даже если в это время в стране правит коррупция, лучше для народа, чем даже самая мягкая диктатура или технократия. Удивите мир тем, с какой скоростью вы сможете провести честные, свободные выборы. Только тогда хорошие политики смогут заменить плохих».

Вот, видим мы, — американский автор, а тоже пишет и дает советы политикам. Совсем как наши публицисты. Посмотрим, однако, что он говорит дальше (высказанное Сэфайром замечание обращено к известному пакистанскому дипломату Якуб Хану, у которого совершенно другое понимание демократии, чем у автора): «Эта точка зрения удивила моего друга-дипломата своей непрактичностью. Он вспомнил историю о Шарле де Голле, который, услышав возглас одного раздраженного реформатора: «Смерть всем дуракам!», измученно покачал головой и заметил: «Это очень обширная программа»¹. На этом статья кончается.

Мы видим, что совету политического публициста (совету вполне справедливому и достойному) оппонирует *другая* точка зрения. И эта другая точка зрения, как заключающая, оказывается более выделенной по сравнению с собственно авторской. Автор, имея свою точку зрения, свое видение проблемы (это очень важно — плюрализм не отменяет убежденности в своей правоте), не настаивает, что именно его точка зрения является окончательной истиной. И обращен его голос не только к помощникам Буша-младшего и к самому Бушу, но, что гораздо важнее, ко всем читателям. Это для них он выделяет эффектную концовку.

Сравним теперь позицию американского публициста с позицией российского:

«Что делать премьеру? Как с честью выйти из деликатнейшего положения (sic!)? Прежде всего, необходимо правильно выбрать тональность разговора с лидерами ЕС. Да, вы наши партнеры и союзники, поэтому мы приехали объяснить с вами... Вот

¹ «The Skillful Envoy» / The New York Times, November 8, 1999.

только оправдываться Путин ни в коем случае не должен, потому что оправдываться перед Западом России не в чем»¹.

Мы видим, что публицист настолько поглощен советами премьеру (слишком очевидно, что это его единственный адресат), что уничтожает себя как отдельного субъекта политического диалога. Автор начинает говорить тоном не публициста, а нанятого советника, причем советника ближайшего, готового говорить на «деликатнейшие» темы. В своем советническом порыве российский публицист не замечает: он уже начинает буквально «изображать» премьеру, что именно и с какой интонацией тот должен говорить при встрече с иностранными лидерами. Российский публицист дает совет единственно верный. Утвердительная, пафосная интонация подчеркивает, что другое мнение — просто невозможно.

Здесь, как и в тексте из «Нью-Йорк Таймс», формально мы видим совет политику. Разница же в том, что американский политический публицист фактически обращается не с советом к Бушу-младшему, а с текстом — к аудитории. Он не посредник и не советчик, он сам является членом этой же аудитории, он сам находится не между обществом и властью, т.е. сверху и вне общества, а на одном с ним уровне. Его точка зрения — это не единственно правильный совет или единственно верный «глас народа» (что всегда присутствует в текстах публицистов-посредников), а одна из точек зрения, вполне допускающая существование и других. И обращается он ко всем членам аудитории. Если мы можем говорить о посредничестве, то здесь мы видим посредничество между разными точками зрения и между разными *равноправными* членами политической аудитории. Именно эта плюралистическая схема свойственна для демократий с развитым гражданским обществом. И именно эта схема начинает утверждаться и у нас.

Так же, как и между первой и второй парадигмами, между второй и третьей лежит идеологическая пропасть. Они являются отражением принципиально разных мировоззрений, в том числе и политических. Тот факт, что эта схема только-только начинает у нас утверждаться, что наши политические институты, которые соответствуют именно последней, плюралистической парадигме, не стыкуются с теми идеологическими схемами, которые все еще сидят в наших головах, говорит лишь о том, что мы находимся в самом начале пути утверждения плюрализма.

V. Постскрипtum о том, что у нас-таки все впереди

Эта статья была задумана несколько лет назад и в основном написана в конце 1998 года. Я попытался описать отношения власти, прессы и общества как определенные мировоззренческие парадигмы, увидеть за несколькими клише, повторяющимися на разные лады, на разных языках в течение столетий, разные типы мировоззрений, ориентации человека в обществе; попытался проследить их историческую преемственность и сравнить между собой. Именно тогда, в конце 1998 — начале 1999 года стало заметно, что российская пресса начинает проявлять интерес и внимание к мнению аудитории, а не к тому, чтобы давать советы властям, и сделал вывод о том, что в нашем обществе началось утверждение идеи «плюрализма». Я немного поторопился. Правильнее было бы сказать, что в нашем обществе до сих пор идет несколько параллельных процессов, из которых два кажутся мне важнейшими: изживание идеалов единства и становление гласности, изживание гласности и становление идеалов свободы слова и плюрализма.

Развитие европейской цивилизации неразрывно связано с мировоззренческими процессами. Можно попытаться перепрыгнуть через столетия и заимствовать чисто материальные успехи цивилизации, технические разработки, университетское образование, даже новые политические институты, но, как оказалось, без определенного идейного наполнения не только политические институты, но и технические свершения, научные достижения оказываются миражом и фантомом, потемкинской деревней. Каждый день, сталкиваясь с множеством больших и малых проблем, пытаюсь решить эти проблемы, каждый из нас и общество в целом, часто не отдавая себе в этом отчета,

¹ Максим Юсип. «Нам не в чем оправдываться перед Западом». «Известия», 23 октября, 1999. Мы сознательно выбрали текст либерального публициста либеральной, во всяком случае, до недавнего времени, газеты.

выбирают — в рамках каких идей осмыслить и найти ответ на вызовы времени. Мы не смогли решить вставшие перед обществом проблемы, пользуясь свободой слова, в рамках идей плюрализма. Идея и идеалы гласности оказались понятнее и для власти, и для значительного большинства общества. Значит, мы не до конца их преодолели, значит, гласность нам недостаточно надоела, т.е. она надоела лишь небольшому числу публицистов, редакторов, политиков. В отличие от этих немногих интеллектуалов общества, в своем огромном большинстве, только сейчас медленно и постепенно прощается с идеалами единства и осваивает ценности гласности, только сейчас начинает понимать реальную ценность этого идеологического и политического феномена для каждого члена общества.

Процесс становления идеи гласности в нашем обществе начинался всякий раз, когда российское общество дозревало до этой идеи или власти начинали либеральные реформы. Столь же неизбежна и предстоящая смена этой идеи идеей свободы слова и «плюралистическим» типом отношений прессы и общества.

В самом начале статьи я сознательно отделил проблемы идеологического плана от экономической и политической корысти, от вопроса: «Кому выгодно?». Мне представлялось интересным показать, насколько важное место занимают идеологические феномены даже в насковзь проникнутых конъюнктурой отношениях власти и прессы. В заключение же я возвращаюсь к позиции рядового члена политической аудитории, для которого идеологическая составляющая — лишь часть общественно-политических отношений, неотъемлемая, но существующая лишь в сложной амальгаме экономических, социальных, политических составляющих.

Вот уже несколько лет, вплоть до сегодняшнего дня, власть медленно, но неуклонно ограничивала пространство свободного слова, и общество, голосуя на выборах, выражало свою поддержку этой политике. Если значительное большинство не уверено, нужна ли свобода слова, если выход из своих проблем общество видит в том, чтобы передать их решение власти, значит, о свободе слова придется скоро забыть. Если свободы не востребованы обществом, если оно не готово их защищать каждый день и каждый час, их забирают. Взамен нам предлагают «гласность», когда «наиболее ответственные и честные» представители общества смогут напрямую обращаться к власти. (И вот уже каждый день до нас доходит десяток разнообразных советов от политиков, бизнесменов, журналистов: все взапуски бросились объяснять и надеяться, что у президента хватит мудрости...) Можно надеяться, что прессе разрешат «выражать общественное мнение» и «доносить» его, а всем вообще разрешат дискутировать на определенные темы без ограничений, на некоторые — с ограничениями и уж совсем про немногие темы нам придется забыть. Газета «Известия» будет пропагандировать идеалы гласности, а правительственные издания — идеалы «Единства».

Но даже для этого, чтобы остановиться на уровне гласности, чтобы не скатиться к единству с властью, общественное мнение должно постоянно быть начеку, нужна некоторая энергия самостоянья, нужно хотя бы некоторое самоуважение и сознание своих неотъемлемых прав, хотя бы права на жизнь. Во время трагических событий августа 2000 года, впервые после начала второй войны в Чечне, пресса объединилась в своем требовании большей открытости, впервые практически вся пресса отказалась верить власти на слово. От чернобыльской трагедии ведет свое начало горбачевская гласность. Тогда пресса сыграла решающую роль, объединяя общество, расширяя гласность явочным порядком, принуждая власть отказаться от полного контроля над информацией, стать более открытой. Сможет ли пресса вновь разбудить и объединить общество, станет ли трагедия подлодки «Курск» началом нового витка в развитии российской демократии или мы продолжим дрейф ко все большему и большему ограничению прав и свобод, дрейф к идеалу единства? «Время покажет», — с готовностью ответит рядовой член политической аудитории, утомленный долгим чтением. И будет не прав.

Средний класс в России

Понятие «средний класс» вошло в нашей стране в широкий обиход в 1997 году. Так стали называть людей, которые по доходам расположились между «новыми» русскими и бедными русскими.

Интерес к среднему классу и оптимистические прогнозы относительно его будущего продолжались до 17 августа 1998 года. Затем наступило отрезвление.

Объявленный правительством дефолт и последовавший за ним четырехкратный обвал рубля поставили под угрозу судьбу среднего класса в России. Но пессимистические настроения постепенно уступили место более радужным, хотя и скептики не сдаются. Мы попросили ученых, представителей творческой интеллигенции, предпринимателей ответить на вопросы «Знамени»: есть ли в России средний класс? Каков его социальный, психологический, политический портрет? Откуда «произрастает» средний класс? Правомерно ли связывать наличие среднего класса с созданием гражданского общества? Чем вы объясните кризисную устойчивость среднего класса?

Максим Амелин

коммерческий директор издательства «Симпозиум»

Гражданское общество в России недосоздано. Преобразования в стране велись неадекватно и преследовали сугубо частные интересы. Капитализм, стремление к которому декларировалось правительством, нельзя построить, ибо никакого отношения к идеологии он не имеет, — это способ производства с целью получения прибыли. Ни собственность, ни личность на деле не защищены государством. Существующая банковская система несовершенна и замкнута сама на себя. По западной статистике, в России ежегодно в течение нескольких лет уворывалось до четырех пятых валового национального дохода. Называть такое положение дел «кризисом» или «послекризисным состоянием экономики» как-то язык не поворачивается. Вещи нужно называть своими именами, не прибегая к окольным тропам.

В силу этих и ряда других причин общество структурировано слабо или, точнее, не структурировано вовсе, и нужно признать, что в России нет на сегодняшний день ни классов, ни сословий, ни более или менее устоявшихся общественных групп. Нельзя сказать, что существует класс бомжей и класс олигархов, а все, кто не может быть причислен ни к тем, ни к другим, и есть средний класс. Можно говорить только о потенциальном среднем классе, который — несмотря ни на что и вопреки всему — все-таки существует, имея свои особенности.

Потенциальный средний класс — это деятельные, умеющие регулярно и много работать люди, привыкшие отвечать сами за себя, не надеющиеся ни на чью поддержку и помощь со стороны государства. Это те, кто ничего не украл и по этой причине не владеет крупной собственностью и капиталом, но и не сидел на печи сложа руки, пока происходило то, что происходило. Стремление полагаться только на себя и привычка принимать быстрые решения обеспечивает им стабильность практически в любых форс-мажорных обстоятельствах, как то: искусственных девальвациях и прочих бедствиях, устраиваемых правительством РФ. Не суть важно, в какой из областей деятельности они находят применение своим способностям¹. Однако человек-оркестр характерен только для государства-цирка.

В здоровом обществе истинный средний класс составляют профессионалы. Причем нет большой разницы в доходах между профессором и брокером, инженером и юристом. Основой благополучия и относительного равновесия в богатом обществе является банковский кредит, государственный или частный. Адмирал Н.С. Мордвинов, значительный русский экономист начала XIX века, писал в одной из своих работ: «Чем какой-либо народ беднее, тем более потребно ему наличных денег в отношении к его имуществу и, напротив, чем богаче, тем менее имеет надобности в оных, ибо с богатством соединяется кредит».

Только при условии, что государство начнет выступать гарантом прав и свобод, закрепленных Конституцией, не только на бумаге, приняв наконец-то необходимые законы и найдя способ должного их соблюдения, можно будет говорить о предпосылках реализации потенциала среднего класса. Например, в России до сих пор недостаточно разработанными и не соответствующими действительности остаются авторское и наследственное право, призванные защитить интеллектуальную и материальную собственность гражданина от посягательств на нее, хотя бы со стороны того же государства. Думские комитеты по составлению законов занимаются изобретением игрушечных велосипедов. Законы Российской империи, будучи слегка переработаны и быстро приняты, могли бы кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Они несколько устарели, но некогда исправно работали, ибо созданы лучшими правоведами своего времени исходя из естественных потребностей здорового общества. По законам, сформулированным в XIX веке и даже раньше, живут многие государства Западной Европы.

Для поддержки и дальнейшего укрепления потенциального среднего класса необходим целый комплекс мер — как экономических, так и политических, о которых, если забросить все текущие дела, рассуждать можно долго. Но кому интересно и на что может повлиять мое мнение?

Игорь Бестужев-Лада

академик РАО, зав. сектором Института социологии РАН

Почему средний класс считается гарантом стабильности общества? Только потому, что остальные два совершенно не подходят для этой роли.

Горстка миллионеров, составляющих высший класс каждого общества (не более 1-2% населения), слишком много «гребет под себя» и слишком сильно ненавидима остальными 98-99 процентами.

С другой стороны, нищие, составляющие низший класс (те же 1-2% в благополучных странах и до 30% в неблагополучных, включая Россию), — тоже плохая опора государству. В России сегодня каждый третий формально живет на 3-5 долларов в месяц, а фактически — на свои «шесть соток» плюс все, что плохо лежит. За стакан водки он «выберет» любого проходимца не только депутатом, но и самим чертом-дьяволом. Какая уж тут «опора»!

Правда, и средний класс бывает разный.

Одно дело — трех-четырёхкомнатная квартира современного дома. Машина. Дача. Курорт летом. Дети в престижной платной школе. Жена в модной шубе. Десяток тысяч долларов на черный день под матрацем или сотня-другая тысяч рублей в сбербанке. Мясо, рыба, сыр, фрукты каждый день на столе. И все это — всего лишь выше-средний класс, которому до высшего — как до Луны. В России сегодня это не более 8-10% населения.

Совсем другое — две комнаты на четверых в «хрущобе» или в избе. Транспорт — автобус. Вместо дачи — помянутые выше «шесть соток под картошку», которые временно служат и «курортом». Дети — на дворе. Жена — в ватнике. Сотня-другая долларов или десяток-другой тысяч рублей тщательно припрятаны на свадьбу или на похороны. Хлеб, каша, картошка досыта утром, днем и вечером — как для японца рис, бобы, рыба. Это — низше-средний класс (почти половина населения России).

Оба класса объединяют люта я ненависть к высшему и жуткий страх скатиться в низший. Именно поэтому во всех цивилизованных странах государство опирается на это в совокупности подавляющее большинство населения, старается с его помощью хоть как-то обуздать очень алчные и агрессивные считанные «проценты» как «сверху», так и «снизу».

В России сегодня собственно средний класс составляет тощую прослойку меж

дачей и «хрущобой», меж «выше» и «ниже» средним (не более десятка процентов населения). Как сделать его, подобно американскому или шведскому, численно подавляюще преобладающим? Как добиться того, чтобы половина населения страны оказалась не в низше-среднем, а в выше-среднем классе, чтобы этот класс в совокупности с собственно средним составлял не жалкие 20, а 90 процентов населения, а все остальное, как в какой-нибудь Швеции, измерялось считанными процентами? Мало того: чтобы, как в той же Швеции, самые богатые в выше-среднем классе были бы богаче самых бедных в низше-среднем всего в два-три раза, а не в двадцать — тридцать раз, как у нас.

Для этого имеется только два социальных инструмента, и никто еще не избрал третьего.

Первая панацея — высококвалифицированный и высокооплачиваемый наемный труд с широчайшими социальными гарантиями для подавляющего большинства трудоспособных. Образно говоря, чтобы каждый или хотя бы почти каждый наш, с позволения сказать, труженик уподобился бы нашему же банковскому клерку образца «до осени 1998-го». С полутора тысячами долларов зарплаты, но без риска оказаться на улице по произволу самодура-босса или в силу нестабильности экономики. Именно так обстоит дело в благополучных государствах.

Однако для этого требуется несколько отсутствующих пока что условий. И адекватная действительности, а не полностью анахроничная система образования. И добросовестные трудящиеся, а не тотально деморализованные люмпены. И, главное, социально ответственные государственные деятели, а не веселые ребята, занятые только перекачиванием очередной сотни миллиардов долларов на свои тайные счета в иностранных банках.

Чтобы изменить к лучшему эту прискорбную ситуацию, необходимы конкурирующие меж собой политические программы социал-демократического и либерал-демократического толка, а не дикая демагогия наших политиканов. Политические партии, способные проводить такие программы в жизнь, а не компании упомянутых политиканов. Наконец, политическая воля, отличающаяся от простого обслуживания интересов той или иной группировки высшего класса.

Есть и еще одно обстоятельство, запрещающее полагаться лишь на эту «панацею». Начинаящаяся — только еще начинающаяся! — комплексная компьютеризация общественного производства в ближайшие годы приведет нас к обществу, где 1 процент кормит остальные 99 процентов, 5 процентов снабжает остальные 95 процентов всем прочим необходимым, 5 процентов обслуживает их, 5 процентов управляет ими (включая финансы) и 5 процентов блюдет общественный порядок, а также составляет вооруженные силы. Спрашивается, куда девать оставшиеся 80 процентов?

Вот почему вторая, и последняя, «панацея» того же рода — массовое мелкое предпринимательство. Не только ремесленно-торговое. Любое творческое, лишь бы не криминальное, не антиобщественное. Такое, какое создало бы высокодоходные рабочие места для десятков процентов трудоспособных.

Но что такое МСП — мелкое и среднее предприятие? Это головоломная пока что проблема снабжения его всем необходимым для производства, сбыта произведенного, надежной охраны от уголовного и чиновного рэкета. Иными словами, необходимы тысячи и тысячи частных фирм (нечастные, как мы знаем по собственному опыту, абсолютно неэффективны) — снабженческих и сбытовых, охранных и юридических, которые работали бы под эгидой государства (иначе их сомнет криминал) и которые, в свою очередь, создали бы миллионы новых рабочих мест, отводя угрозу массовой безработицы.

Быстро «компьютеризирующееся» общество неизбежно сделает средний класс подавляюще преобладающим.

Вот только какой ценой?..

Леонид Гордон

*доктор исторических наук;
заведующий отделом Института мировой экономики
и международных отношений РАН*

Появление понятия «средний класс» выражает общемировую тенденцию сближения политической и экономической систем в странах с разными национальными, историческими и культурными традициями. Возьмем Японию, Америку, Швецию, Россию —

сегодня в их политическом устройстве, массовой культуре, социальной структуре общества гораздо больше сходства, чем было сто лет назад. Речь идет о приближении к некой общей модели.

Я бы обратил внимание на то, ради чего стоит говорить о российском среднем классе и использовать это понятие. Ведь в обществе продолжают существовать и такие социальные группы как рабочий класс, наемные работники вообще, интеллигенция, чиновники, предприниматели — мелкие, средние и крупные. Я думаю, что по мере того как общество становится сложнее, многомернее, соответственно сложнее становятся понятия, с помощью которых мы пытаемся представить его структуру. В частности, словосочетание «средний класс» дает возможность выделить и среди высококвалифицированных специалистов, и некрупных предпринимателей, и квалифицированных рабочих, и фермеров — людей, которым есть что терять, которые хотят сохранить то, что уже имеют, и поэтому они не склонны к проявлению анархии.

Эти же люди, имея определенные материальные возможности, составляют основу массового спроса на потребительские товары. Их потребительская активность может сегодня, когда в стране еще нет достаточных для бурного развития производства капиталов, играть роль механизма, активизирующего рыночные реформы, экономический рост.

В средний класс вошли люди, которые преодолели в себе воспитанный советской системой, русско-советской культурой патернализм, упование на то, что кто-то обязательно о них позаботится. Они поняли, что надо выживать своими силами, уметь вертеться, энергичнее искать возможность заработать. Многие предприниматели, составляющие значительную часть среднего класса, не сломались после августовской встряски 1998 года. Благодаря полученным к этому моменту опыту и закалке, свойственной им цепкости, изворотливости они, даже оказавшись «на нуле», смогли не только вернуться в бизнесе на исходные позиции, но успешно его продолжили. Среднему классу в лице наемных работников — менеджеров, банковских и других служащих, научных сотрудников пришлось, конечно, затянуть пояса и усилить активность в поисках более высоко оплачиваемой работы.

На мой взгляд, ощущение принадлежности к среднему классу связано не только с факторами социально-экономическими, но и культурными, психологическими, если угодно, с определенными мировоззренческими тяготениями. Представители среднего класса чаще способны к самостоятельному мышлению, у многих из них сильно стремление к независимости. Поэтому они, если так можно выразиться, предрасположены к демократии.

Тут я не могу не отметить, что западный средний класс пока что больше привержен демократии, чем наш. Но у нас он более демократичен, чем основная масса населения. Когда и если средний класс станет у нас большинством, демократия в России обретет прочность и стабильность.

К сожалению, российскому среднему классу присущи, по моему мнению, пороки, к которым я отношу социальную чванливость, пренебрежение к тем, кто менее удачлив. Конечно, для среднего класса характерен индивидуализм. До определенной степени это хорошо, а не плохо, — во всяком случае, в сравнении с навязываемым сверху у нас лицемерным псевдоколлективизмом. Однако развитие начал индивидуализма делает общество сильнее и здоровее лишь тогда, когда рядом с ними ощутимо проявляется солидарность, социальная ответственность, просто сочувствие и уважение к людям с менее благополучной судьбой. Вот этих-то свойств у нашего среднего класса пока как раз очень не хватает вопреки пресловутой российской соборности. Наши процветающих сограждан труднее, чем на Западе, сподвигнуть на благотворительность. Многим из них присуща позиция: для достижения успеха все средства хороши. Конечно, деловая неразборчивость нередко становится следствием сложившихся условий.

Нельзя не заметить, что наш средний класс гораздо молодежнее, чем на Западе. В обществе со сложившимися традициями человек, работающий добросовестно, по мере накопления опыта поднимается и по карьерной лестнице, и в бизнесе. У нас в лучшем положении оказалась молодежь, сумевшая быстро приспособиться к рыночной реальности благодаря предприимчивости, образованности, готовности брать на себя ответственность.

Вместе с тем, у представителей нашего молодежного среднего класса деловая, профессиональная активность не всегда сочетается с социальной мудростью. В последнее время в его среде более заметными стали антизападные и ксенофобного толка настро-

ения, связанные, по-видимому, с международными событиями (бомбардировки Югославии, позиция Европейского Союза по Чечне). Не будем забывать, что средний класс, как показывает история, бывает основой не только демократии (что, правда, случается чаще), но и авторитарности, диктатуры, а то и фашизма.

С конца 80-х годов, когда у нас начал формироваться средний класс, для него были характерны общедемократические, антикоммунистические позиции. К концу 90-х годов, однако, его настроения дифференцировались. Основная часть среднего класса поддерживает правых. Но сегодня заметно и тяготение к сильной руке, проявляется склонность к национализму, шовинизму, антизападничеству. Как и во всех слоях нашего общества, в среднем классе немало тех, кто индифферентен к любому политическому течению, кто не осознает, что для их собственного успеха необходимы политическая стабильность и либерализация экономики. И что строить власть, которая будет отражать и защищать интересы среднего класса, придется им самим.

Саморазвитие среднего класса имеет большее значение, чем развитие всего населения в целом, так как он может стать закваской, дрожжами, на которых взойдет подлинное гражданское общество в России. Потому что средний класс — это многие из нас, наших знакомых, родственников, соседей. Думается, что их поведение, их ценностные ориентации будут усвоены большинством населения более, чем официальные призывы или наставления разных небожителей. Не сомневаюсь, что когда сам средний класс станет у нас большинством, мы сможем сказать, что гражданское общество в России состоялось.

Юлий Дубов

заместитель генерального директора ЛогоВАЗА

Про средний класс рассуждать трудно. Не потому, что само по себе это понятие представляет собой нечто непостижимое, а потому, что речь идет о среднем классе в России. Мы, странным образом, всегда склоняемся в сторону чисто интуитивного представления о событиях и процессах. В результате, говоря об одном и том же, перестаем друг друга понимать.

Простой пример. Во все годы советской власти определение интеллигенции открывалось чеканным фрагментом: прослойка между рабочим классом и трудовым крестьянством. Поскольку никто — за исключением, может быть, идеологических вождей — искренне не понимал, в каком смысле, скажем, Василий Гроссман может быть прослойкой между чем-то и чем-то, существовали различные бытовые версии того, что же есть из себя интеллигенция. Так вот — все они были принципиально интуитивными. Поэтому было очень трудно установить, почему академик Сахаров — это интеллигенция, а профсоюзная Шуручка из рязановского «Служебного романа» — не интеллигенция. А вот академик Лысенко — так тот уже точно не интеллигенция, хотя и академик. Зато прима оперной труппы — интеллигенция. Хотя и непонятно, чем она отличается от ресторанной певички.

Правда, когда была обнаружена новая социальная общность — «советский народ», острота дискуссий на эту тему стала спадать. Общность — она и есть общность. Все sereneкие, все прыгают.

Я это к тому говорю, что и со средним классом такая же чехарда.

На Западе, например, заумных определений не любят. Там все проще. Берем годовой доход семьи. Попадает в такие-то рамки, значит средний класс. Не попадает — извините.

Все бы хорошо, но к нашим реалиям такая примитивщина не подходит. Наше народонаселение в эти рамки никак не вмещается. Оно где-то там, далеко внизу, так далеко, что его с нижней планки в бинокль не разглядишь.

Таким образом, по западному разумению, среднего класса у нас просто нет. А хочется, чтобы был. Поэтому приходится хитрить. Изворачиваться. Усложнять картинку. И вот от всего этого у меня появляется некоторое опасение. Что мы сейчас себе средний класс придумаем — это без проблем. Но получится он у нас каким-то специфическим. Как бизнес. Есть же в мире просто бизнес. Без затей. А есть российский бизнес. Это штука особая. Это такая штука, от которой все народы и государства уворачиваются. Потому что специфический. Так что — имея это в виду — будем сразу говорить о российском среднем классе как об особенном явлении. И ничего страшно-

го, если это явление окажется не слишком похожим на их средний класс. Зато всем будет понятно.

Я почему про интуитивный характер наших определений сказал. Потому, что так удобнее жить. Берем человека, рассматриваем его со всех сторон и решаем про себя, что это и есть типичный представитель российского среднего класса. Хорошо бы теперь установить, чем он от представителей прочих классов отличается.

Главное, чем он точно не отличается, так это уровнем дохода. Потому что по всем бумагам получает в месяц тысячи три. Рублей, естественно. Может, пять. Но не сильно больше. И нас, в отличие от Запада, тут же начинает интересоваться, не сколько он получает, а на сколько он живет. Помните Жванецкого? Получаем сто двадцать, живем на двести пятьдесят.

Ничем, ровно ничем формально этот типичный представитель не выделяется. Не уцепишь. Прописан он в распашонке хрущевских времен. Садовый участок в шесть соток, но уже брежневской эры. И «Жигули» эпохи перестройки.

Правда, если присмотреться, то у его тещи в собственности вполне приличная квартирка со всеми делами и домашним кинотеатром, а на садовом участке он уже лет десять как не появлялся, отдыхая на неизвестно кому принадлежащей дачке в ближнем Подмоскowie. И ездит он вовсе даже не на «Жигулях», а на Форде или Хонде. Служебная машина, числится за фирмой.

Вот мы и подбираемся к механизму фильтрации представителя российского среднего класса. Не где прописан, а где живет. Не какую машину имеет, а на какой ездит. Что ест. Что пьет — «Балтику» или «Гролш». Ходит ли по ресторанам. Ездит ли отдыхать, а если ездит, то куда.

Существование российского среднего класса мы улавливаем, как говорят в соответствующих органах, по косвенным уликам. Приличных квартир в стране довольно-таки много, кирпичные особнячки в пригородах стоят, иномарок на улицах — плюнуть некуда, в «Седьмом Континенте» и «Эльдорадо» по вечерам очереди в кассу. А на Рождество и пролетарский праздник Первомаия самолеты улетают во всех направлениях набитыми под завязку.

Так что есть у нас российский средний класс. Есть. Не надо волноваться. Если посчитать как следует, то вполне может оказаться, что по численности среднего класса мы в первой десятке. Если не впереди всей планеты.

Конечно же, наш средний класс включает в себя и таких странных типов, которые, будучи людьми небедными, честно оповещают общественность и государство обо всех своих доходах и наличном имуществе. Но таких у нас мало — 450 депутатов Госдумы да сколько-то (сейчас это уже не так важно) в Совете Федерации. Плюс несколько ненормальных из коммерческих структур. Общую картину это несколько не портит. И не препятствует очевидному умозаключению — современный российский средний класс произошел из российского же бизнеса и основные генетические черты его добросовестно унаследовал. А уж где этот средний класс черпает средства для своего существования — в сфере первичного (как бизнесмены) или вторичного (депутаты и гаишники) распределения, это не так уж и принципиально.

Можно, конечно же, задаться риторическим вопросом: а нужен ли нам такой средний класс? Вопрос этот звучит очень по-нашему, потому что, во-первых, подразумевает очевидный ответ, а во-вторых — стимулирует к немедленному действию. Действие это совершенно адекватно растущему революционному правосознанию руководящих и народных масс, и никакие фиговые листки в виде акафистов правовому государству ничему помехой быть не могут.

Следует, однако же, отметить, что существуют и альтернативные методы борьбы с явлением. Один из них был в новейшей истории уже дважды применен, и оба раза с неизменно неоднозначным результатом.

Первый раз все произошло в январе 1992 года, когда Егор Тимурович отпустил цены. На следующий же день доктора наук стройными рядами двинулись в подземные переходы торговать китайскими махровыми полотенцами. Про это сейчас мало кто вспоминает — всех трясет от воспоминаний про август 1998 года, после которого вполне преуспевающие ризэлторы, брокеры и прочие дилеры дружно переключились на распространение путевок в детские здравницы Крыма.

Обратите внимание, что успешно уничтоженный в 92-м российский средний класс к злополучному августу 98-го возродился, как птица Феникс, и с ним пришлось разбираться повторно. Если, конечно, не вернуться к кое-каким идеям товарища Троцкого. Но у меня есть ощущение, что и тогда не все получится, как надо.

В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о том, почему проблеме среднего класса придается такое большое значение. Причин для этого несколько, но одна из самых существенных состоит в том, что численность этого самого класса является очень важным фактором стабильности в обществе, представляя собой серьезный консервативный ресурс. Это вроде бы общепринятая точка зрения. Но в наших оригинальных условиях она не так уж и бесспорна. В начале века, к примеру, типичные представители среднего класса, двинувшиеся в либеральные партии типа кадетов, сделали для развала монархии не намного меньше, чем эсеровские бомбисты или большевистские агитаторы. Которые, кстати, в значительной части своей из того же среднего класса и рекрутировались. И на многотысячных митингах эпохи перестройки наблюдалось немало людей в дубленках, каковые дубленки, наряду с «Жигулями» и кооперативными квартирами, выделяли тогда еще советский средний класс из общей массы народонаселения.

Но это я опять про специфику. А что делать — страна такая.

Сергей Марков

директор Института политических исследований

Средний класс в России — детище перестройки. В брежневское время начал формироваться слой высококлассных профессионалов, которые продавали государству свой труд, способности, опыт. Это были в основном научные сотрудники, творческая интеллигенция, учителя, врачи, инженеры, управленцы. Идеалы, стереотипы поведения, стиль жизни они скалькировали с западного среднего класса и стали его прообразом в России. Именно они сформулировали в соответствии со своими потребностями, принципами, интересами, образом жизни программу переустройства общества и потребовали от власти начать реформы. Но поскольку четкой концепции реформ у них не было, они же и стали их жертвами.

Связывать принадлежность к среднему классу с наличием собственности — как это нередко можно слышать — чистейшей воды марксизм. Так же, как и на Западе, средний класс у нас составляют люди без собственности на средства производства. Они работают в крупных корпорациях, государственном аппарате, в науке, здравоохранении, образовании, сфере услуг. К ним относятся и высококвалифицированные рабочие, мелкие и средние предприниматели.

Главные, объединяющие их признаки — им есть что терять, они высококвалифицированные профессионалы и активные люди, благодаря чему имеют доход, позволяющий удовлетворять потребительские запросы и вести желаемый образ жизни. Именно на них ориентирована вся реклама.

По своим политическим взглядам советский протосредний класс в 90-х годах трансформировался в нескольких направлениях. Одна из альтернатив — «Яблоко» Явлинского как продолжение идеалов раннего «горбачевизма», предпочитающее мягкий социал-демократический вариант реформ.

Другую альтернативу исповедуют в основном представители военно-промышленного комплекса. Они выдвинули так называемую стратегию устойчивого развития России, делающую упор на сохранение социальных ценностей и стремление избежать разрушительных действий в экономике. Я бы назвал этот путь перестройкой в духе Николая Ивановича Рыжкова.

Третья часть среднего класса — учителя, врачи, инженеры, научные сотрудники — политически инертны, вплоть до того, что многие из них даже не голосуют на выборах. Они полностью разочарованы в целесообразности любой политической активности.

И только четвертая часть — это те люди, которые смогли вписаться в создавшиеся условия. Они и составили средний класс, стали узенькой, маленькой социальной опорой либеральных реформ. Эти люди добиваются успеха только благодаря личным способностям, своей энергии, профессионализму.

В отличие от западного, наш средний класс не стремится к тому, чтобы быть опорой государства, предпочитая обходиться без его участия, которое только мешает ему. Поэтому сегодня трудно представить себе средний класс в роли якоря, на котором держится российская политическая система.

Наш средний класс мечется между двумя тенденциями: тем, кто рыщет в поисках

возможности получать доход, не нужен посредник в лице государственного аппарата, а тем, кто вошел в крупные структуры, нужна жесткая рука, способная заставить всех соблюдать законы.

В целом наш средний класс свои политические интересы еще окончательно не оформил и пока нет определенной политической группы, которая их выражает. Бессмысленной я считаю мечту о том, что как только у нас появится многочисленный средний класс, мы сможем объявить о создании гражданского общества. В его построении должны участвовать все группы населения. Опора нынешней власти — никак не средний класс, который все идеализирует, начитавшись популярных публицистических статей о демократии.

Если пользоваться марксистской терминологией, которая так понятна большинству наших читателей и обществоведов, то можно сказать, что в современной России сформировалась диктатура сырьевых экспортноориентированных отраслей — нефтяной, газовой, лесной, цветных металлов — и обслуживающей их, питающейся от них бюрократии. Эти группы не заинтересованы в развитии внутреннего рынка, и если их диктатуру не сломить, будущее страны не внушает оптимизма.

Миссия Путина — дать возможность другим интересам проявиться в политике, создать условия для экономического роста, роста благосостояния, формирования современных социальных и экономических структур. Тогда и будет развиваться российский средний класс в формах, похожих на западные.

Александр Шаравин

*директор Института политического и военного анализа,
доктор технических наук, полковник запаса*

О принадлежности той или иной группы людей к среднему классу у нас судят чаще всего по чисто экономическим критериям. Есть в семье несколько сотен долларов дохода на человека, есть определенное качество жилья и набор предметов бытовой техники, — вот и средний класс. На самом деле здесь едва ли не важнее критерии психологические, интеллектуальные, моральные. Ведь вполне приличный уровень жизни может быть и у бандита, и у нелегального иммигранта. Но к среднему классу, то есть к социальному фундаменту общества и государства, они никак не относятся. С другой стороны, есть весьма многочисленная категория наших граждан, чье материальное положение благополучным не назовешь, а в средний класс они, на мой взгляд, безусловно входят. Это люди в погонах, как сейчас говорят, «силовики».

Кто такой российский офицер? Это, как правило, человек с высшим образованием, имеющий опыт руководства людьми и принятия ответственных решений, знающий, что такое самоограничение и усилие воли для достижения цели. Такие качества, при умелом их приложении, чрезвычайно ценны и для гражданской жизни. Это особенно важно, когда сокращение армии из пустых разговоров, похоже, переходит в жесткую реальность, когда многие офицеры будут уволены в запас и начнут искать свое место в совершенно новых для них условиях.

Мой личный опыт, опыт многих моих товарищей, оказавшихся в подобной ситуации, дает мне основания утверждать, что не следует воспринимать уход из армии как крушение всей жизни и повод для панических настроений. Примеров успешной акклиматизации бывших военных на «гражданке» не так мало, как принято считать. Их можно найти и в бизнесе, и в правозащитной деятельности, и в науке. Сложилась и своя здоровая корпоративность, помогающая людям не чувствовать себя «за бортом» после увольнения с воинской службы. Так, в 1996 году возникло новое научное учреждение — Институт политического и военного анализа. На его создание не израсходовано ни одной бюджетной копейки. Это организация, зарабатывающая себе на жизнь продажей интеллектуальных продуктов — аналитических и информационных материалов, современных геоинформационных систем и других высоких технологий. Организовали институт, возглавили его и работают в нем офицеры запаса; среди них — доктора и кандидаты наук. Разве эти люди — не истинные представители среднего класса?

Есть и другой предрассудок, особенно широко распространенный в среде демократической интеллигенции, — будто бы военные олицетворяют собой идеологическую косность, имперскую державность, шовинизм. Напомню, что и у Белого дома в

августе 1991 года, и у Моссовета в октябре 1993-го было немало военных, — знаю об этом не понаслышке. Более того, именно позиция армии в те драматические дни в огромной степени и обеспечила сохранение демократии в России. И в последующие годы, несмотря на все унижения нищетой и презрительное непонимание общества, в Российских Вооруженных Силах не было ни одной попытки не то что мятежа, но и неповиновения демократической власти. Сегодня большая часть офицеров — это люди если и не разделяющие до конца либеральных убеждений, то во всяком случае открытые к диалогу с носителями таких идей. К сожалению, с той, либеральной, стороны мало кто готов в подобный диалог вступать.

Иное дело, что экономический критерий столь же значим, как критерий социально-психологический. В этом смысле положение и самих силовых структур, и служащих в них людей внушает серьезную тревогу. Тут, собственно, можно лишь повторить уже как будто осознанную нашим обществом мысль о том, что финансовая, экономическая поддержка «силовиков» — вещь абсолютно необходимая и неотложная. Кстати, за исключением советских времен, служба в русской армии, устроенной изначально по сословному принципу, никогда не была делом доходным, наоборот, требовала немалых трат от самих офицеров. Андрею Болконскому плата из казны была не нужна, а Николаю Ростову после разорения семьи пришлось уйти в отставку. С разрушением сословного принципа социальное положение офицерского корпуса сильно менялось, и офицерство чеховское и купринское уже мало походило на офицерство толстовское.

Конечно, и среди действующих офицеров, и среди «запасников» есть те, кого военная служба сделала лишь исполнителями командирской воли, в ком она подавила инициативу, предприимчивость, умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Но большинство из них понимает, что их судьба зависит от них самих: от их энергии, образования, деловой хватки, от их жизненной позиции. Эти люди скроены как раз из того материала, который и идет на пополнение интеллектуального, нравственного, человеческого ресурса среднего класса — и всей нации.

Леонид Ашкинази
 Литература седьмого сегмента,

ИЛИ

«...почему люди снятся друг другу?»

Посвящается великому Ал'у, создателю Культуры Фидо

- *Что ты делал, учитель, до того, как обрел просветление?*
- *Настраи́вал тмыл, читал почту.*
- *Что ты делаешь, учитель, теперь, когда обрел просветление?*
- *Читаю почту, настраи́ваю тмыл.*

(«тмыл» — T-Mail, программа для работы с электронной почтой)

Эта статья — о литературе компьютерной сети Fido (или FidoNet), точнее — ее 7-го сегмента. Fido — это не часть Интернета, в том смысле, что структура сети и формат передаваемых сообщений в них различаются. Пересылка сообщений между абонентами Fido и Интернета возможна, но требует принятия специальных мер. В Fido нет провайдеров, а пересылка сообщений осуществляется самими участниками. Поэтому пользование сетью бесплатно (кроме платы за телефон), но подчиняется правилам, установленным участниками и ограничивающим содержание и форму сообщений. Наличие правил регулирует трафик, а также улаживает властолюбие и чувство прекрасного системных операторов узлов, координаторов и модераторов, следящих за их соблюдением, — естественная и умеренная плата за труд по передаче сообщений и поддержанию порядка.

Можно представить себе следующую модель — много людей, разделившись на группы («конференции»), ведут свои разговоры. Один человек может быть участником любого количества конференций. Традиции разных конференций различны — например, в некоторых серьезно относятся к авторству текстов, в других — нет. Почти во всех конференциях есть ограничения на содержание и форму сообщений. Одна — о фотографии, другая — о здоровье детей; выступление не на тему не одобряется, а, скажем, за рекламу — если она в данной конференции запрещена — могут и наказать. Перевести в режим read only (т.е. ограничить пересылку сообщений — только к нарушителю, но не от него), а за неоднократное или грубое нарушение отключить на какой-то срок, т.е. перестать пересылать сообщения и от нарушителя, и к нему. А еще есть «твит» — ридонли для личного пользования: «в упор тебя не вижу». Ограничивается и форма сообщений: как правило, запрещено оскорбление участников и запрещена или ограничена применением эвфемизмов ненормативная лексика. За нечто экстремальное могут отключить от данной конференции и навсегда — как и в обычной жизни.

Конференций много (сотни распространяющихся по всей зоне 7 и тысячи региональных), потому что есть много тем для разговоров. Бывает и несколько конференций по одной теме. Возникновение конференций зависит от общественной потребности и наличия человека, который эту потребность реализует; часто он и становится модератором. Поддержание конференции зависит от того же, от чего зависит поддержание разговора, — от активности участников. Все это похоже на обычное человеческое общение; отличие состоит в том, что любое сообщение документируется. Чтобы сохранить преемственность с обычным смыслом слова «литература», введем естественное ограничение и объявим литературой лишь то, что было бы воспринято как литература при публикации на бумаге. То есть история создания фотоаппарата и анекдот о детской неожиданности — это литература, а обсуждение достоинств Nikon F5 или подгузников новой марки — нет.

Существенное отличие сети Fido от Интернета в том, что фидошники в большинстве своем молоды. Это следствие бесплатности и того, что деятельность в Fido предполагает большую активность — в трех формах. Первая — настройка соответствующих программ, которая намного сложнее пользования Интернетом. Вторая — переписка в конференции; собственно, писать никто не заставляет, можно только читать. Но писать принято, а человека со стороны наличие такой традиции — как и любой — либо привлекает, либо отталкивает. Так и формируется среда... Третья форма активности — встречи «вживую», нечастые, но регулярные и принятые во многих конференциях. Это мир для молодых, ими же и созданный, не для заработка, а для самовыражения, обретения друзей и покорения сердца любимой/любимого. Он делится на зоны; exUSSR, или русскоязычная часть, — это и есть седьмой сегмент (по международному телефонному коду). Поскольку пересылать большие файлы при плохом модеме трудно, исторически и в значительной мере по сей день это — литература малых форм. Со временем максимальный объем пересылаемых файлов увеличивается, и лишь введение повременки... но не будем о страшном. Что делает с культурой союз недобитого государственного феодализма с недоделанным диким капитализмом, мы уже знаем. В конференции попадает и некоторое количество обычной литературы, встречаются заимствования и из Интернета. Если сетевое сообщество текст приняло, значит — соответствует.

Для обзора литературы в Fido ее удобно как-то группировать — по теме, по жанру, по декларируемому отношению к литературе. Начнем откуда попроще. Вот группа по жанру — анекдоты и вообще юмор. Все обычные анекдоты циркулируют и в Fido, и любая смешная история, как произошедшая в жизни, так и опубликованная в какой-либо книге, вполне может попасть и в сеть. Некоторые темы анекдотов и историй являются преимущественно молодежными и сетевыми — это компьютерный и его часть — сетевой юмор. Компьютерный юмор может базироваться на совмещении:

кино. или литературы и компьютеринга...

Штирлиц шел по извилистому коридору гестапо, вдруг неожиданно его кто-то ударил сзади по голове. Штирлиц прокатился метров пятнадцать по полу, вскочил и, потирая ушибленную голову, обернулся — там никого не было... «Глюки» — подумал он...

жизни и компьютеринга...

Плачет беременная программистка. Мать — Как ты могла? Дочь — Он обещал стать зарегистрированным пользователем...

Вылезаете вы из постели, а девушка, хватая вас за руку, спрашивает: Save changes? Yes/No?

жизни и компьютерных игр...

Идет киллер по улице, навстречу геймер с БФГ-2000. Киллер — Где взял пушку? Геймер — Из игрушки дебагером выдрал.

— Девушка, можно назначить вам свидание? — кадрил девушку до0мер.

— Да, — смущаясь, ответила та, — а где?

— А ночью, в сетке, я вас там, стало быть, и убью пару раз. А потом вы меня.

Как и в остальной литературе, юмор иногда незаметно переходит в нечто иное...

1. Ты не знаешь, что нужно Сети.

108. Кто скажет о модеме, что он качает не в ту сторону?

158. Никакой твой файл не стоит благодарности.

182. Разве ты смотришь на небо в облаках потому, что не видел его раньше?

Все это может сочетаться с языковой игрой, она бывает и самоцелью...

Финишевал олдвый йеар. Он пораскинул брейном, сел за комп и стартанул винды. Харды привычно запилили, потом заворковал нортонвский утиль, наконец, выплыла его любимая пантера, и систем просетапились. Он кликнул верд, проальтшифтовал хуновый кейборд, потом передумал и забэковал.

А объектом юмора может быть и субъект...

Принимают на работу программеров. На собеседовании вопрос:

— Сколько метров в четырех километрах?

— 4000.

— Не подходите. Следующий! Сколько метров в четырех километрах?

— [достав калькулятор] 4096.

— Не подходите. Следующий! Сколько метров в четырех километрах?

— [сразу же, без запинки] 4096!

— Зайдите через месяц. Следующий! Сколько метров в четырех километрах?

— [Бросаясь к компьютеру и начиная что-то писать на асме] Ша узнаем...

— Пишите заявление.

Однажды Кирилл 3 часа стоял перед светофором — никак не мог понять, что там за видеоадаптер: у Hercules'a — 2 цвета, у CGA — 4, у EGA — 16, у VGA — 256, у XGA — 65535, а трех — ну ни у кого нет! А знаете ли Вы, что делает Кирилл, когда ему жарко? Он переворачивает компьютер другой стороной — вентилятором к себе. Как Кирилл пишет? Нечетные строчки — слева направо, а четные — справа налево, как принтер.

Наконец, объектом юмора часто бывает просто компьютерная жизнь, например, игры...

...Издав ужасающий крик, она [обезьяна] схватилась своими руками за грудь и завалилась навзничь. Только теперь я смог оглядеться. Люди, спешащие вокруг и не обращающие на происходящее внимания, куда-то исчезли. Проспект Вернадского, насыщенный автомобилями, опустел. Да, собственно, это уже не был проспект. Вокруг уже не возвышались здания — то были гладкие стены, составляющие гигантские фантазмагорические геометрические фигуры. (Alexander Scherbakov)

Vasya насупившись направляет посох на ядровую гидру и выпускает заклинание. Гидру разрывает изнутри. Vasya с головы до ног окутывается золотистыми кольцами в два ряда. Restless Elf (спокойно): Сразу два уровня... Twilight Orc (возбужденно): Вижу! Кольца угасают. Vasya (восторженно): Ух ты. Я выбрал +12% magic shield и 4% magic! Twilight Orc: Хороший выбор... Twilight Orc, выбив ногой посох у Vas'и, рассекает его advanced battle-axe of stoneshield от шеи до чресл. Vasya выходит из игры. (Michael Victorov)

Или именно фидошная жизнь...

Учительница: — Вовочка, завтра без мамы в школу не приходи!

Вовочка: — Ага, а тачка без мозгов будет мыло тоссить?!

[Перевод Вовочкиной фразы: Ага, а компьютер без памяти будет почту обрабатывать?! Сюжет: Вовочка решил, что учительница требует, чтобы он принес в школу «материнскую плату» или «мать», на которой и установлена память.]

Список «Обманы Фидо»

Fido lie #01 — Я читаю все мессаги в эхе

Fido lie #02 — У меня есть жизнь вне фидо

Fido lie #06 — Реальные люди читают и отвечают на вашу почту
Fido lie #08 — Ваше письмо за неделю дойдет куда угодно

Настоящие сисопы умеют свистеть в телефонную трубку на 1200 и 2400, а некоторые даже на 9600, обязательно умение свистеть и понимать свист с V.42bis и MNP5. Настоящие сисопы ходят на дискотеки не танцевать — мигание лампочек напоминает им родной Курьер. Настоящие сисопы не едят — они тоссят еду в желудок. Настоящие сисопы не ходят в туалет — они тоссят... Ну, ты понял. Настоящие сисопы не занимаются сексом, они линкуются. Настоящие сисопы не умирают, они уходят в даун.

[сисоп — системный оператор узла сети Фидо, Курьер — марка модема, тоссить — здесь перемещать, «уйти в даун» — перестать выполнять свои функции]

Немец, француз и фидошник пьют и тостируют. Немец: «За порядок». Француз: «За женщин». Фидошник: «За видно».

Лекция в институте. Приоткрывается дверь, в аудиторию всовывается небритая морда и произносит: «Я тест... Меня видно?».

[при наладке программ для работы в Фидо стандартный текст тестового письма — «меня видно?», то есть — мои письма доходят?]

Бывает это изредка и в поэтическом исполнении...

Ведь Катерина у меня писатель.
Литинститут, однако, третий курс.
И я — фидо, компьютер, пиво, раки...
(Стоять. Гоню. Забыл уже тех раков вкус...)
Вот заживем тогда мы, то ли дело...
Но все же за бутылочкой вина
Мы вспомним письма Гришины, что зело
Встряхнули МО.ХАЛЯВА всю до дна.

Объектом юмора может являться и внефидошная жизнь, в том числе и молодежная...

Народная примета гласит, что трамвай приходит сразу после того, как вы уходите с остановки. Невероятно — хотя многие психи испытывают эту примету на себе ежедневно, только мы попытались построить на основе данного факта теорию. Между тем, подробно рассмотрение вопроса уходимости пассажиров с остановки способно привести окончательную ясность в расписание движения транспорта и дать новое направление развитию механики.
(PsyG)

Вписка: как на ней жить:

1. Каждый вписывающийся по жизни имеет три хита по игре.
2. Доспехи: А) красная категория — пришел с хавкой + 1 хит. Б) зеленая категория — пришел с выпивкой + 2 хита. В) синяя категория — пришел с хавкой и выпивкой + 3 хита. Г) жопная категория — пришел не вовремя — 1 хит. Принесенный с собой спальник хитов не прибавляет, но прибавляет жизнестойкости.
3. Хиты снимаются за: А) невымытую посуду — 1 хит с конкретного вписчика. Б) полную раковину невымытой посуды — 2 хита со всех вписывающихся. Г) меня будить — 2 хита за каждый час, который недоспал хозяин...

(Dmitry Murzin)

Чук прыгнул на Гека и стал втыкать в него длинную цепь звуков: — Дала-каайф-герла! Подойти поздра. Тут кончилось дыхание и клинок полувозненной мысли обломался. Гек кивнул головой и неловко дернулся — клинок Чуковой мысли торчал из шеи и уже начал дей-

ствовать – Гек исчез в дикарских пятнах и басовые волны с потолка накрыли его. Чук остался в мешанине пятен, и волна закружила его по спирали. Волны звуков были упругие, теперь, когда Чук и все остальные были накрыты с головой, в светящемся месиве пространство оказалось соткано из одних звуковых струй – пятась задом и цепко хватаясь за попутные канаты нот, перескакивая лианы звуков, Чук двинулся за Геком...

(Leonid Kaganov)

Юмористическое изображение собственной жизни бывает и в поэтической форме...

Был вечер, было утро, и была
бутылка непочатая «Агдама»,
и я, как тень библейского Адама,
плутал промежду ножками стола.
Мне слышались сквозь радио-лала
по ящику с участием Ван-Дамма
чего-то там... И «в штате Алабама
с визитом президент Наджибула».

(Viacheslav Novanov)

А также (хотя и редко) объектом юмора бывает и внефидошная литература...

Николай Перумов работает над двенадцатым томом своего академического ПСС.

– И это при том, что последний, сто пятый, уже готов, – посетовал он в беседе с нашим корреспондентом. Ряд российских писателей с возмущением встретили новость о том, что фирма Микропроз с 1998 года включает в свои игры генератор автоматического описания перипетий их прохождения играющими. – Это жестокий удар по всей российской фантастике, – говорится в их обращении. – А она только-только начала становиться на ноги. (Farit Akhmedjanov)

И даже телевидение, и даже в поэтической форме...

Но с большим томагавком в руке
Катриэль будто с неба свалился,
Как обычно, он крикнул: «Пурке!»;
И Августо тотчас обломился.
Катриэль сразу всех заимел –
Дочь, жену, тещу, маму и папу...
А Августо в тюрьму загремел,
И чуть позже пошел по этапу.
(Sergey Ionov)

Временами эти тексты вполне серьезные, и родители могут попытаться хоть из них узнать, как живут или мечтают жить их детки...

Как и раньше, прохожие, дико поглядывая в его сторону, шарахались кто куда. Да это и не было удивительно: черно-синие, наполовину в грязи, ботинки Shelly's, черные с белым, как бы облитые кислотой, джинсы, ярко-желтая извалянная в пыли куртка и желто-красные крашенные волосы – все это не могло не вызывать реакции прохожих: у кого восхищения, а у кого и лютой ненависти... Устроился поудобнее и стал разглядывать огни проносившихся мимо уличных фонарей и супермаркетов. Денек действительно выдался не из легких: сначала ночь в «Титанике», танцы до упаду (хотя радости от этого особой не было), затем, проводив девушку, с которой познакомился на вечеринке, домой (в другой конец Москвы), поехал на работу... Хорошо, когда много знакомых... Затем, уставший и голодный, поехал в институт... Как ясно из начала повествования, не доехал. – С добрым утром, милая Иришка! Солнце давно встало, а значит, встал и я. Ммм... Спорим, ты жутко голодная с утраца? – утка наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. – Ну что? Как ты

относишься к яблокам в сахарной глазури? Кофе-кофе-кофе!! Капучино-о-о-о, как ты... ммм... не то, чтобы любишь, а обожаешь! (Paul Shoumov)

Другой пример группы по жанру — подражания, но в отличие от собственно юмора (каковым часто являются), они не концентрируются в отдельной конференции. Подражания — отчасти реакция на опостылевшую классику, но их субстратом могут быть и современные произведения и даже слоганы. Они изобретены до компьютеров и сетей, и так же, как в сети имеют хождение, не являясь ее специфическим атрибутом, все обычные анекдоты, так можно найти в ней все обычные виды подражаний. Например, обыгрывания Евгения Онегина или Евангелий. Приведем примеры компьютерных (или сетевых) подражаний, причем и на конкретное произведение, и на стиль, и на жанр.

На конкретное произведение...

Админ изменившимся лицом бежит консоли.

Внутри у ей EPROM, ASIC chip, а также анализатор, думатель и неонка. Анализатор анализирует, думатель — думает, неонка моргает. В общем, смахивает на эвристическую машину... А EPROM и ASIC там так, для красоты и мудреных названий... Снаруже у ей есть радиатор с вентилятором для жужжания и охлаждения, а также два разъема DB25 — один втыкается в компьютер, а другой служит для подключения электрической печатающей машинки «Ятрань», дабы печатать на ней вопросы для думателя и получать от него ответы.

Ты, Зин, на грубость нарываешься!

Тебе бы только дергать мышь!

Тут в фирме с юзерами маешься,

Придешь домой — там ты сидишь.

Винды — отстой для дурака,

А если не пуста башка,

Нужна командная строка!

Плесни пивка!

(Yuri Nesterenko)

На стиль...

В тривосьмом царстве, тришестнадцатом государстве жили-были три брата: двое умных, а третий программист. Старшие братья жили припеваючи, ни сорсов не компилили, ни дебаггера не юзали, а только целый день в игры гамились да по e-mail'у чатились. А младший брат-программист работал, рук не покладая и питания не выключая.

И даже иногда не на литературу...

Итак, жил-был юзер, ничего себе так, продвинутый юзер, мечтал он стать хакером... Крупным планом улыбающийся юзер с лицом, не обезображенным интеллектом. Был он пойнтом, был у него свой босс, но босс подался в I-Net и его за это отстрелили другие кровожадные боссы... Стол, комп, за ним сисоп. Замедленная съемка в В&W тонах сквозь поток горячего воздуха от ZyxEL 1496 plus. Долгое эхо выстрела, сисоп вздрагивает, его голова медленно падает на клавиатуру, отскакивает от удара об нее и снова падает, изо рта вытекает ярко-алая резко контрастирующая на В&W фоне струйка крови.

На жанр...

Штирлиц подошел к стене и нажал spasebar. Стена поднялась. Штирлиц снова нажал spasebar. Стена опустилась. Штирлиц опять нажал spasebar. Стена вновь поднялась. «Дверь», — догадался Штирлиц. Когда Вы получите это письмо, нужно переписать его пять раз в

разные эхи [конференции], и это принесет Вам радость и спокойствие. Одна девочка послала это письмо в пяти экземплярах, и ей пришел полный рулез, и частота процессора повысилась в два раза. А один мальчик не послушал, и нажал кнопку del и у него сломался монитор и сторел блок питания.

Например, на палиндром...

Летя, дремал, как ламер, дятел.
GIF Анфисы? Сиф! Нафиг!
Врет Сидор: «Умори диск, СИ-ДИ-РОМ, урод и стервь!»

Даже на фольклор военных лет...

Ложка столовая глубокая состоит из 3 частей: черпало, держало и соединяющая перемычка. Черпало – это основная рабочая часть ложки столовой глубокой, напоминает форму эллиптического параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе. Держало представляет из себя вытянутую правую половину лемнискаты Бернулли...

Наконец, сам процесс подражания становится объектом фидошного юмора...

Как оказалось – пародии с фидошной тематикой можно с легкостью писать абсолютно на все виды искусства. Например – живопись. Картина художника Устинова «Питерцы, пишущие ответ своему NC». Картина Орла «Неравный брак». На холсте, как вы понимаете, изображен NC и Галка Охапкина. Картина Голосова «Возвращение блудного пойнта». Картина Толока «Девушка с зюхелями». Картина dz-а «Фрипаки на бекбоне», картина Марковского «Зомбуки в сосновом лесу», дивный пейзаж художника Браво «Оксморон, лежащий на вершине холма».

[NC – Network Coordinator, dz – Дмитрий Завалишин]

И, наконец, проникает в речь фидошников (т.е. уже не литературу)...

Лучезарному колесу в золотых мехах, носителю грозного плюсомета, слуге под самым седалищем Великого и могучего Модератора, сверкающего боя, с ногой на небе, живущего, пока не исчезнет ФИДО, к ступне повергает это донесение ничтожный пойнт.

Причем его объектом может быть и сетевой текст – вот например...

Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Не долбить дятел не может. Потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу раздается. Если громко – то, значит, дятел хороший.

Хакер оборудован компьютером. Компьютер у хакера казенный. Он долбит программы. Если хакер не долбит, то он спит либо пьет пиво. Не долбить хакер не может. Потому что комп всегда тянет...

Программист оборудован клавиатурой. Клавиатура у программиста казенная. Он долбит. Если программист не долбит, то он спит либо умер...

Компьютерно-субстратными подражаниями дело не ограничивается. Сетевые некомпьютерные подражания не просто обыгрывают, например, стиль, а подвергают произведение издевательствам, инвертируют его идею или мораль, нарочито используют язык и стиль иной эпохи...

Идет налево, песнь заводит, и осыпаются окаменевшие соловьи с деревьев, белки поперхнулись орехами, а волки – непрожеванными

зайцами, которые, услышав Илюшину песню, накладывают прямо под волчий язык. Приперся в стольный Киев Илья Кировец, и слышит он дурную весть, что прилетел Кошей Беспонтовый и бомбит собой русскую землю. Илья рассерженно молвил: — Ну хрен ли этот лох решил бомбардировкой запугать наш русский дух? Его я раком в миг поставлю на смех всей киевской толпы! И будем мы его пинать, и шелбанов отвешаем немало, и каждый сможет вслух сказать: — Кошей — чушпан! — Отлично! Бесподобно! Рулез! — кричит толпа...

— Я от бабушки ушел, — невпопад сообщило нечто (как мы помним, Колобок обрел дар речи, но не слуха).

— Так Вы и по-русски шпрехаєте! — изумился Волк.

— И от дедушки, — гнул свое гуманоид.

— Откелева к нам пожаловали? — держал марку цивилизации ее мohnатый представитель.

— Из сусеков мы, — случайно попал Колобок и добавил, пока гореконтактер переваривал ответ: — А от тебя, люпус драный, и подавно... Это было ошибкой резидента. Слово «люпус» Волк знал. Этим словом и еще «волчиной позорным» дразнил его Ежик — местный энциклопедист и диссидент. «Никак Еж побрился в знак протеста против естественного отбора», — машинально заключил Волк, надкусывая наглца.

(Viacheslav Hovanov)

На лоб таинственного посетителя наезжала совершенно неуместная в пустыне высокая каракулевая шапка с укрепленной на ней непонятной красной эмблемой. Его глаза безумно блуждали по львиному логову, а свинцово-серые мешки под ними наводили на мысль, что незнакомец черпает свое вдохновение из того же источника, что и дельфийская пифия. — Прошу извинить меня, господа, — сказал странный гость, застенчиво теребя рукоять странного кривого меча, — Вы не знаете, как попасть во Внутреннюю Монголию? Лев недовольно принохался и прорычал: — Иди четверо суток по направлению к ближайшему миру, там увидишь усатый скелет с совковой лопатой и томиком Беркли под мышкой. Берешь лопату и углубляешься в себя, а как докопаешь ровно до середины, увидишь Внутреннюю Чукотку. От нее до Внутренней Монголии уже рукой подать.

(Vladimir Sevrinovski)

Пример группы по теме — толкиннистская литература и вообще литература, связанная с ролевыми играми. Эта литература вполне заслуживает отдельной статьи — уже потому, что даже при самом поверхностном взгляде в ней видна сложная структура. Литература, породившая игру; литература, сейчас порождающая игру; продолжения, развития, дополнения, толкования; литература, порожденная игрой; литература об игре; анекдоты об игре и на тему игры...

Так, описывая архимедову спираль, подобно коту вокруг кринки со сметаной, мы приближаемся к тому, что декларирует свою принадлежность к литературе. В Fido такая декларация делается посредством направления текста именно в литературную конференцию. Но и внутри них мы начнем с не-фидошной части их содержания. То есть с просто литературы, которая опубликована в сети Fido. Это почти исключительно фантастика, значит, в ней есть нечто такое, что предопределяет ее распространение в молодежной сети. Не вдаваясь в глубокий анализ, можно указать чисто формальную причину — современная российская фантастика — это в основном новая литература, и можно ожидать, что ее читателями будут те, кому не нужно для ее приятия изменять свои вкусы, а кто просто вырос на ней. Что же до фантастики, созданной именно для сети, то один из ее признаков — предварение авторским комментарием, содержащим извинения за недописанность, указания на то, что работа будет продолжена, что это вообще старые черновики и автор сомневается... словом, понятно. Другая характерная деталь — обращения к читателю, имеющиеся внутри текстов.

Бесконечность окружала его со всех сторон. Он видел ее и внутри корабля и на Альфе Центавре. От этого он потихоньку сходил с

ума. Как и автор, не переносящий все эти разговоры о бесконечности и не знающий, как бы довести рассказ до конца.
(Nick V. Nikiforov)

Несколько лет тому назад, когда писался нижеприведенный рассказ, я, понятное дело, был совершенно иным человеком. Во всех смыслах и в том числе в отношении к работе внутри художественного пространства. Поэтому, публикуя [этот рассказ], я вообще-то нарушаю авторские права того другого парня, каким я был.
(JS)

Сетевая фантастика — часто «проба приема», изложение фантастических приключений ради приключений. Создается такой мир, что диву даешься: и ради чего... Другое распространенное свойство — некоторая недоделанность конца. В произведении, не имеющем ничего, кроме сюжета, трудно выстроить хороший конец. Получается чисто формально, а другой конец не из чего сделать.

Следующими рассмотрим «философии». Они редки и встречаются в двух исполнениях. Первое — фразы, афоризмы и ориджины (авторский девиз, которым оканчивается письмо). Одна группа таких фраз приведена выше (см. «нечто иное»), вот несколько ориджинов:

Иногда кажется, что мне это кажется, но как?
В натуре греет, что прыжок затяжной!
Великий Квадрат Не Имеет Углов.
Боги имеют право избирать и быть избранными.

Второе исполнение философий — это простой сюжет, подчиненный основной идее и служащий ее воплощению. Вот примеры этих идей (то есть последних абзацев произведений):

Видишь, ты сам начинаешь подвергать сомнению то, что еще не сделал. Значит, ты уже человек и твое время пришло. Что тогда? Ничего. У того, кто утратит веру, останется любовь. А любовь вечна, так же как и я. Ибо я и есть любовь. Значит, они все равно останутся со мной.
(Evgen Slesarev)

Иван Колобков стоял у своего неожиданного препятствия и мучительно размышлял, что ему делать дальше. Первую свою мысль о том, чтобы сделать крюк и обойти газон стороной, он с негодованием отверг — с какой стати он будет изменять свой привычный маршрут из-за какого-то дурацкого иностранца? Нет, он должен выбрать прямой путь и пройти по нему до конца... Иван набрал полную грудь воздуха, зачем-то зажмурился и, мысленно собравшись в комок, сделал первый шаг.
(Владимир Севриновский)

Мы переходим к разделу «Настроения». Вот некоторые примеры...

Снег, холод, ветер. И нет на этой бескрайней снежной планете места, где можно было бы согреться, заснуть в тепле, согреть забывшее тепло тело. И нет человека, который спросил бы: «что случилось с тобой?». И нет желающих помочь. Тысячи глаз скользят мимо, некоторые останавливаются на доли секунды но тут же продолжают скользить дальше. И нет выхода. Нет цели.
(Alexandre Kroushine)

...Знаете, иногда так интересно... Жизнь — штука вообще прикольная. Встаешь рано утром, а рассвета нет.. Как нет и заката поздно вечером. Солнце исчезает с неба лишь потому, что у тебя не все в порядке. А потом оно снова появляется, принося счастье и радость. Так здорово!..
(Paul Shoumov)

так давно со мной и с тобой, что все забыли, кто мы. Были ли мы /знак инь-ян/. Все слишком. Так просто, господа, нельзя. Ведь вы забудите ночь. (Алексей Лубянка, Goblin)

К классу «настроений» относится большинство поэтических произведений фидошной литературы...

Он заблудится в тесном лабиринте квартир,
Не найдет твою дверь среди тысяч дверей.
Он не сможет спасти твой придуманный мир
И теплом своих рук твои руки согреть.
(Olga Vedernikova)

Это только слезы по лицу
И к себе губительная жалость.
Этот день, что близится к концу —
Вот и все, что мне сейчас осталось.
(Olga Vedernikova)

Ночь и звезды развеют усталость,
А трава заберет мое тело,
Слабый ветер подхватит дыханье,
На мгновенье задует сильнее,
Ну, а сердце распустится утром
Ярче солнца и крови краснее
Дикой розой.
(Rustam Karapetyan)

Лолита. Лета. Лорелея.
Россия. Лира. Выя. Рея.
(Александр Макаров-Кротков)

А мне так хотелось остаться живым
И быть постоянно с тобой вместе.
Как мне хотелось быть кем-то другим,
Не в этом мире и не в этом месте.
(Sergey Nikishov)

Мы собирались...
Тишина меж нами
Ступала в грубых шерстяных носках.
И треугольной жилкою в висках
Подрагивала в нас (как в лампах пламя)
Надежда. Мы на низеньких мостках
Условились встречать свое цунами...
Волна прошла, и треть из нас на дне.
Что ищут остальные в прошлом дне?
(Нина Савушкина)

Он остался сидеть на желтом песке.
На планете Земля в непонятной тоске.
Его друг — змея, пережила свой яд.
Не вернуться назад.
Но на белом небе видна звезда,
он смотрит на нее по утрам,
видя, как идет снег
там.
(Алеха Kolodyajny)

Серебристая в смене фаз
продолжает вечные поиски
заклоченной в ней истины,
но так же близка к ответу,
как небритый разумный кактус,

забежавший вечером перекусить
и замерший от глубины попавшего в кадр вечера...
(Alexander Soklakov)

В этой тихой войне в плен врагов никогда не берут:
Ни к чему это все — они сами без шума и крика умрут.
Их озябшие души уйдут в новый мир, что немного добрей.
Хмурый дворник сжигает скелеты невинно убитых елей.
(Andy Isoft)

Терпение вознаграждается. Мы добрались до ситуаций, когда в тексте есть что-то одно. Например — фантастика, в которой кроме фантастических приключений персонажей есть еще и какая-то идея. Например, идея борьбы добра со злом и невозможности победы в силу переплетения этих двух сущностей, или традиционные для фантастики идеи совмещения пространств, времен, сознаний персонажей или реальных и фантастических миров. Или, на худой конец, фантастические приключения, на которые наложено какое-то сильное настроение или какая-то иная не вполне тривиальная идея, обычно предъявляемая в последнем абзаце. Например, такие.

— Вот тебе ватман, линейка и карандаш. Как называется твоя работа? — Это — ночная радуга, — сказал я несмело. — Вот и прекрасно, — сказала Комиссия, нарисуй нам радугу в разрезе... Согласно ГОСТу. Сечение фронтальное, сечение горизонтальное... Вместо всех этих сечений я нарисовал им море, корабль с парусами, солнце и ветер. Потом я взял их всех и посадил туда, и отправил в плавание, к далеким островам. — Что это? — загадели они, — куда мы плывем? Что за беспорядки? — Вы будете искать неоткрытые острова, — сказал им я, — и наносить их на карты... Согласно ГОСТу. Потом я подул на паруса и корабль вместе с Комиссией быстро скрылся за нарисованным горизонтом. Несколько дней — и они снова станут людьми, а не Комиссией.
(Grassy (R) (tm))

— Так, начнем по порядку: твой ангел-хранитель проиграл тебя вчера в карты, и проиграл тебя мне. Понимаешь? — Нет. — Твой ангел-хранитель — последний наркоман, потерянное для небесного сообщества существо, и вчера он потерял последнее, что у него было, — тебя. — Этого не может быть! Ангелов не бывает!!! Тем более они не могут быть наркоманами!!! ... — Помолчи! И слушай меня внимательно — сейчас ты — моя собственность, и с этим ничего не поделаешь...
(Ruslan Gordeev)

Они стояли за дверью. Злобные, чешуйчатые. Он это чувствовал... «Я не дамся», — раздался дикий вой... Когда он позвонил в милицию, дежурный сначала считал, что он пьян, но потом все же выслал наряд для проверки. Здоровые парни в форме никаких Их не обнаружили, зато обнаружили Его, который с большим кухонным ножом забился в угол и орал... Психиатр признал в нем манию преследования... Он сжал руки и бросился на врача... Ему на горло упал стальной прут, потом на висок. Доктора не стало. Через пять дней... был найден труп мужчины в комбинезоне психиатрической лечебницы... в черепной коробке вместо мозга его были найдены 2 ярко-желтых шара органического происхождения. Когда патологоанатом взрезал их, он обнаружил там по пять маленьких червячков. Вдруг за дверью что-то защелкало. «Для перемещения выделенных объектов используйте мышь», — проскользнуло в его голове, и он понял — ОНИ, эти клубочки шерсти, пришли за ним.
(Игорь Гридчин)

— Красавица, а что ты мне подарить в этот раз? ... Я еле слышу Ее голос: — Вот это твой подарок. Что-то холодное прижимается к моему виску. Это как раз то, чего я ждал столько лет жизни с ней, только не томи, делай это сразу... Что-то громкое хлопнуло

в подъезде, и как обычно никто не обратил на это внимание. Просто еще у кого-то не до-отмечали Новый год... Струйка крови скатилась по его носу и продолжала путь по его щеке и шее. Она истерично забилась в рыданиях у него на коленях, зажимая в руке пистолет еще с еле дымящимся дулом... Ведь он был слеп уже два года, после катастрофы все отвернулись от него, кроме Нее, и он сколько умолял Ее пустить ему пулю в лоб. И в конце концов на его день рождения он получил то, чего больше всего ждал...

(Artem Dovbnya)

Легкая улыбка коснулась его губ, он протянул руку, взял белую чашку, как берут стакан, обхватив черными полосами белую поверхность, и одним глотком осушил ее содержимое. Некоторое время он сидел, как бы прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, а потом медленно перетек в пустую чашку.

(Sanya Tihiy)

Авель ногой перевернул труп брата лицом вверх. — Мертв! Теперь я — вождь... В шатер вошел Авель и прошел на место вождя. Все молча смотрели на него, ожидая объяснений. — Каин мертв. И по праву наследования я объявляю себя вождем... Воздух разрезал свист летящего ножа. Авель упал на землю, в его горле торчала рукоять ножа. Все обратили взор ко входу. Стоявший там Сиф... подошел к месту вождя, вывернул из тела Авеля нож, обтер его об одежды брата и убрал. — Ну что же ты замолчал, старик? Пой! Расскажи нам все, как было. Как озлился Каин на Авеля из-за того, что младшего брата любили больше. Как убил брат брата. Как не вынес свершенного Каин и покинул племя, и ушел он на восток, и поселился в земле Нод. А племя возглавил по праву наследования Сиф...

(Влад Чопоров)

Временами авторы прибегают к экспериментам с формой, но среди них нет профессиональных сумасшедших, поэтому на фоне синхронного взрослого авангарда это не страшно. Вот примеры.

Черт, не надо было обедать в этой воночей столовой. Революция в желудке — это похлеще Автобуса. Терплю. Звоню Ему. — Простите, Он дома? — Он умер. Все-таки интересно, почему. Может быть, я угадал Его любимые буквы? И кто мне тогда будет настраивать гитару? Мысли прервал решительный позыв желудочно-кишечного тракта. Сидя на унитазе, я вспоминал Автобус, Его, Катю, Женю, странную личность и Голубую Линию. Внезапно наступила темнота. Я подумал, что кто-то выключил в сортире свет. Не тут-то было: это лопнули мои глаза...

(Andrey Kuprianov)

...белый куб, забрызганный чем-то зеленым, из жерла игрушки в потолок бьет адский прожектор. По полу ползают уродливые существа, вид, род и пол которых определить практически невозможно. Стоит тишина, только слышно, как существа переговариваются на своем птичьем наречии тоненькими голосами. Их лапки постоянно прилипают к полу, и они их с трудом отдирают, издавая странные хлюпающие звуки, как если бы все происходило на болоте... Существа стелются, стараются осторожно уползти подальше. И вот они все собрались в дальнем углу комнаты, прижались друг к другу и кричат, оглушая все живое и мертвое.

(Natalia Makeeva)

В фидошной литературе есть — вы это уже видите, не так ли? — и более и менее «литературные» тексты. Но в ней существо не укрыто глянцевой обложкой умелой формы. Она написана зачастую неуверенной рукой сомневающегося в себе человека, и это может не нравиться, но всегда ли вы предпочтете опыт?

Целью нашего рассмотрения было разобраться, о чем эта литература и как пишут ее создатели. Мы видим, что ответ на второй вопрос прост: так, как и должен писать

начинающий — искренне и неумело. «Неумелости» меньше, чем среди всего, что пишут люди — требование «малого жанра» отсекает большую часть графоманов, но больше, чем среди того, что лежит на прилавках, — нет коммерческого фильтра. Степень искренности также существенно больше, чем во всей литературе, поскольку у авторов отсутствует прямой коммерческий умысел. Что касается тем, то литература Fido — о тех же вечных вопросах. «Тематика наших бесед была школьнической — мы говорили о человеке» (Станислав Лем).

Молодежная литература — литература о себе, даже если использовано третье лицо. Что такое литература «о себе», если речь идет о вечном и всеобщем? Это о вечном на своем личном опыте и примере. Не о любви вообще, а о моей любви. Вспомните (если сможете) первую боль — это была своя боль. Лишь с опытом она немного притуляется, и вивисекции, которые мы и девушки устраиваем друг другу, перестают быть откровениями. Тогда и приходит способность сказать что-то о метизах вообще, севши на конкретную кнопку. Что, собственно, и является второй стадией литературы. А потом наступает третья, высшая, она же, диалектически, никакая — умение красиво и опытно поговорить о мучительной боли, мягко сидя на диване от IKEA.

Понять молодежную литературу можно; и рецепт несложен. Видите — вон идет она, коротко стриженная, со смешным хвостиком, в ушах ракушки, на вид двадцать пять? Влюбитесь — и вы многое поймете. Особенно, если доживете до того осеннего дождя, когда вы остались бы наедине с открытым в ночь окном и пустым черным городом, если бы не очередное «мыло», непрочитанная фидошная почта... Повернитесь спиной к окну — единственному врагу, которому не зазорно показать спину, — влюбитесь в девушку, молодую, как эта литература, просто так, не требуя ни красоты, ни ума, как не требует их тот, кто уйдет первым. Примечание для исполнителя: здесь вместо пафоса — аллюзия на Городничского...

* * *

Исследование нового культурного объекта тождественно построению культурной цепи, т.е. разъяснению всего, что надо протянуть между тем и этим, чтобы. В данном случае эта задача такова, что автор даже не считает нужным извиняться за то, что не смог ее вполне решить. Вдобавок перевод иногда вообще невозможен — разъяснение разрушает объект, объяснение анекдота делает его несмешным. Автор исходил из того, что количество непонятого должно быть оптимальным с точки зрения баланса между болезненностью восприятия нового и удовольствием от ощущения наличия перед собой нового объекта.

Но есть ли в этой жизни, кроме любви, задача соблазнительнее, чем вырваться из культурной клетки, куда совместными усилиями загоняют нас общество вокруг и собственная лень внутри? И не является ли любовь одним из путей — и стадий — решения этой задачи? Как литература Fido — одним из путей — и стадий — литературы?

Бродский в своей Нобелевской речи утверждает, что поэзия — это явление языка. Вряд ли кто-нибудь станет с этим спорить: поэзия не существует вне слова, так же как и не бывает «поэта в душе» («Знаете, он пишет плохие стихи, но он поэт в душе!»). Да, действительно, явление языка, но не только. Поэзия — это прежде всего форма энергии.

Ибо язык гениального стихотворения может быть беден и банален. Вспомним Блока, творящего «из ничего»: из движения воздуха, из порыва ветра. Эти скудные его рифмы: бесконечные кровь — любовь, розы — морозы, очи — ночи, ушла — нашла...

Прекрасное стихотворение может быть и вовсе косноязычным. Чего стоит вот это: «Всем корпусом на тучу ложится тень крыла» из знаменитого пастернаковского «Летчика». Или — весь молодой Лимонов, пронзительный, трагичный поэт.

Да и мысль в гениальном стихотворении может быть НИКАКОЙ. Что за мысль такая вот в этом, фетовском: «Я болен, Офелия, милый мой друг...»? Воистину «Есть речи — значение темно иль ничтожно»...

Нет, тут не только язык. Тут почти, как некая особа у Достоевского подметила, сугубый лад, склад: «Ужасно я всякий стих люблю, если складно». А Смердяков ей на это вполне резонно отвечает: «Стихи вздор-с... Это чтобы стих-с, то это существенный вздор-с. Рассудите сами: кто ж на свете в рифму говорит? И если бы мы стали все в рифму говорить, хотя бы даже по приказанию начальства, то много ли мы насажали-с?».

Итак, стихи — «вздор-с», речи «темны и ничтожны», и тень крыла ложится на тучу всем корпусом... И все это вполне даже может быть в поэзии. Но вот каким не может быть прекрасное стихотворение — это энергично пустым. Потому что вдохновение — это энергия.

Многие называют ее, эту энергию, «звук»: в стихах есть «звук». Но это — энергия.

Многие называют ее «музыкой»: музыка стиха. Но это — энергия.

Многие называют ее «Музой». Но это — энергия.

А кто-то говорит: теснота стихового ряда. Но это — энергия.

А я утверждаю: интонация. Но и это — энергия. Пришла — ушла, и нет ее. И тогда сколько ни накачивай себя, сколько ни накручивай, как ни кипятить рыхлые вялые чувства, вылезает из-под пера мертвечина. Как ни бейся над ней, как ни пробуй «вдохнуть жизнь», — дохлятина, дело твое дрянь. Лучше уж просто ночью ждать ее прихода. И чтобы жизнь «повисела на волоске».

Олеся Николаева

Поэзия как энергия

«Русская поэзия в конце века.
Неоархаисты и неоноваторы»
(«Знамя», 2001, № 1)

Слово в поэзии возникает как **ИМЯНАРЕЧЕНИЕ** всякой сущности и всякой вещи. Обретшие имя, они являются из небытия, откликаясь на зов поэта, и удостоверяют себя как новую, преображенную, доселе не бывшую реальность. Они взрывают царство обыденности с его привычными причинно-следственными связями, с его детерминизмом, из которого, казалось, нет исхода и в котором, казалось, невозможно чудо. Но они приходят со своей свободой, и упраздняют всякую невозможность, и устанавливают в мире свои связи: «Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг свинцовой палочкой молочной...».

Тем, что поэзия имеет дело с энергиями, с их художественным «распределением» внутри стихотворения, она обретает родство с православным «внутренним деланием», восстанавливающим нарушенный «энергичный образ» человека. И творческое вдохновение, и божественная благодать — те энергии, которые могут быть восприняты художником и подвижником. Источник у них — один, и цель у них тоже одна — преображение.

В православной антропологии есть понятие человека именно как «энергичного образа». Грехопадение нарушило и исказило этот образ: страсти, грехи, фобии, *idée fixe*, все эти «застревания» и «вытеснения», все это могучее «подавление», неуправляемое *libido*, неприкаянный Эрос. Человек бурлит, булькает сам в себе, как бульон под крышкой: только пена переливается через край. Или так: носится, как утлый челн по безумным волнам: ни паруса у него, ни весел. Любой ветер оказывается ему — поперек. И вот он обязательно должен натянуть и направить парус. Уловить дуновение и слиться с ним. Восстановить утраченный «энергичный образ».

Искупленный человек может сам — аскезой и молитвой — этими: «энергичными действиями» — приготовить себя к тому, чтобы воспринять энергии Бога и соединиться с Ним в Его энергиях. Тогда это будет новый, «обоженный» человек, святой.

В Восточной (Православной) Церкви был принят догмат о «нетварности благодати». Преображающая благодать — это драгоценная несотворенная, внутренне присущая Богу энергия. Ее нельзя воспроизвести своими усилиями, нельзя взрастить в себе, нельзя ухватить насильно и удержать. Она приходит, когда ей угодно, и уходит, когда пожелает. Свободно и произвольно, без всякой необходимости и закономерности. Как вдохновение. Кто захочет — примет его. Кто отвергнет, того покинет.

Западная (католическая) традиция иная. Человек может соединиться с Богом в Его Сущности: ведь разум считается здесь «божественным», а природа — «оправданной», в силу «сверхдолжных заслуг» Иисуса Христа. Благодать дается по мере увеличения собственных, человеческих заслуг. Больше заслуг — больше и благодати. Чем больше человеческих усилий — тем гарантированное спасение. Оно «заслужено» и заработано. Кто же его теперь отберет?

И благодать — создана, накоплена, тварна. Ее можно удержать при себе добрыми делами, усилием веры и воли, на нее можно рассчитывать и полагаться. Она — своеобразный духовный «капитал». Отсюда — активная самостоятельность человека, который своими духовными трудами может закономерно и разумно, переходя от добродетели к добродетели и, тем самым, в себе «умножая святость», соединиться с Богом.

Таким образом, в западной ментальности — идея индивидуальной активности человека, идея прогресса. В восточной — идея преображения всей твари. В западной — идея стабильности и «юридической» обеспеченности спасения при условии выполнения определенного духовного «договора». В восточной — идея «синергии», «сорботничества Христу», не дающая никаких гарантий, никакой «устойчивости»: «В чем застигну — в том и сужду», — свидетельствует Бог в одном из апокрифов Восточной Церкви. Застигнутому во грехе не вменяются предыду-

щие добродетели, праведник не уверен в своем спасении до самой смерти, подвижник знает, что сами по себе его подвиги и дела не могут его спасти, и в любую минуту он может пасть, как бы высоко ни взобрался.

Поэтому для западной традиции вполне закономерен вопрос Теодора В. Адорно: «Как может существовать поэзия после Холокоста?» Или — «Как может существовать христианство после Освенцима?».

Для восточной традиции такого вопроса не существует. Сатана был некогда Денницей — первейшим Архистратигом Божиим. Он пал и увлек за собой почти треть ангелов. Но и его Господь помиловал бы, если бы он покался. Или так. Иуда — был один из двенадцати учеников Христовых. Но он предал Учителя. Господь и его помиловал бы, если бы он покался. Даже сугубая приближенность к Богу — чин Архистратига, звание ученика — не смогла послужить панацеей от духовного падения, не смогла воспрепятствовать свободному произволению первого мятежника и величайшего предателя. Все дело — в их богодарованной свободе.

В западной традиции — идея «организации пространства»: в своем обмирщенном пределе — дизайн, верлибр, этот образец без-энергичной вневременной самодостаточности. В восточной — «организация энергии»: интонированный стих, ритм, устремляющийся на борьбу с метром, самовластная своевольная синтагма, не терпящая возражений: драматизм, движение, ветер, вихрь... Наконец, декламация, напоминающая пение, молитвословие, магию, Бог весть что... «Мы только с голоса пойдем, что там царापалось, боролось».

Верлибр всегда будет оставаться экзотикой на русской почве, так же как и каждый подлинный западник. Ибо наши западники — все с родимыми пятнами. Казалось бы — марксисты, Интернационал, «Капитал», Клара Цеткин, а копни — Стенька, Емелька: «грабь награбленное». И на Западе наши поэты — в диковинку. «По улицам слона водили». Рифма там вроде как юмористический жест. Недаром ценят они у нас лишь Геннадия Айги.

Поэт на Западе — профессор, филолог. Поэзия — род литературной деятельности. А у нас поэт — пророк. Поэзия — служение. Ловит с неба искры Божьи, золотые энергии и швыряет в толпу, прожигает одежду, кожу. У нас и Саул — «во пророках», потому что энергия — заразительна. Кажется, нет большего оскорбления, если о твоих стихах скажут: «филологическая поэзия». Брр!

Мне заметят: ну это ты все как всегда преувеличиваешь. Что ж, у Данте с Шекспиром или у Бодлера с Верленом — и энергии не было? Что ж, они тебе верлибром писали? А я скажу: что ж, что не писали они верлибром! Вдохновенье — оно на то и вдохновенье, что нет ему ни правила, ни закона. Традиция и «ментальность» для него не указ. Все сметает на своем пути — любые знания, опыт, прогресс, заслуги... Но спросите сейчас у лучших французских поэтов, а хоть и не у лучших, а у любых: как у них с Бодлером и где у них Верлен, — они такую кислую и презрительную физиономию вам сделают и разведут руками.

Спросите — что для них поэзия. Ответят — самовыражение, род психотерапии. Спросите об этом нас. Мы скажем: «духовный подвиг». Оттого наш слух «чуткий парус напрягает». Ловит — дуновение, дыхание... Дух Святой по-гречески будет πνεύμα — дыхание, ветер.

Воистину — читаешь стихи, дух захватывает. А пишешь — и чувствуешь, как целый столп энергии извергается из тебя. Воздух вокруг назлектризованный, напряженный, густой. Садился писать одним человеком, написал, поднялся из-за стола другим. Душа легка и свободна. В ней полный штиль, безмолвие, тишина... Буду теперь ждать, когда опять — ветер подует, заколеблется пламя, взметнется пыль на дорогах и пойдет волна за волной, за облаком облако, за словом слово, за дуновеньем — речь..

Общественное сознание всегда загромождено ложными истинами. Вот одна из них — продажа вооружений другим странам очень выгодна. В самом деле — современный многоцелевой истребитель стоит более двадцати миллионов долларов. Себестоимость его тоже немалая, но все же и несведущему понятно, что она во много раз ниже. Калькуляцию на такое изделие нам с вами не покажут, но мы и так кое-что сообразим, опираясь на общеизвестную информацию. Например, большие и роскошные автомобили, хотя бы тот же «роллс-ройс», тоже предельно насыщены продуктами высоких технологий, крайне непросты в изготовлении, даже по весу не слишком отличаются от истребителя, а стоят в ДЕСЯТКИ раз меньше. Стало быть, в цене летающей, да и всякой прочей военной техники заключена сверхприбыль.

Летные качества и особую хищную красоту наших Су и Мигов давно оценили, например, азартные и избыточно богатые молодые люди — властители нефтяных эмиратов и королевств. Как для наших новых крутых обзавестись сотовым телефоном и иномаркой, так для них дело чести — получить диплом военного летчика... Иной раз подумает — неужто от боевых характеристик этих все более сложных (и все более красивых, заметим) стреляющих по-всамделишному игрушек так здорово зависит защита национальных интересов? Устойчивость государств, династий? Тем более — благополучие народов? Если у вас в автомобиле четыре скромных цилиндра, а у того, кто едет мимо на дорогом гоночном снаряде, их восемь или шестнадцать — намного ли быстрее доедет он до следующего светофора? И та, и другая военная роскошь делается и приобретается все более и более не в силу рациональных соображений, а для того, как говаривал Достоевский, чтоб «форсу, шку задать».

Миром правят деньги, а деньгами правит азарт.

Ну хорошо, возразим мы сами себе, правит, так правит. А мы, коли уж научились всю эту воинственную красу мастерить, соблюдем свой интерес. Пусть, мол, они себе джигитуют, плетут петли Нестерова в своих вечно голубых небесах, а мы под российским снежком да дождичком прикупим на вырученные доллары всякой всячины, сохраним кадры военных заводов, убережем их от делания кастрюль (с кастрюлями нам тоска). И вот торговцы оружием с выгодой толкнули на мировом оружейном рынке табунок драгоценных сверхзвуковых скакунов, сотню-другую бойких танков и т.п. И огромные деньги упали на «наш» счет. Пусть не всем согражданам достанется хоть по крохе, но все же от того большого пирога кое-что перепадет (мы оптимисты) и тем, кто эти машины сотворил. И потому повысят или по крайней мере выплатят задержанные зарплаты, отложится закрытие детского сада, кто-то получит дешевые путевки в санаторий. И всем будет хорошо, поскольку деньги эти такие большие, что не все их успеют поглотить бездна казны да алчность чиновных посредников.

Однако на этом ничто не кончается. Большие деньги и деньги малые, из наших кошельков, сцеплены в машине мировых товарно-финансовых потоков, как бесконечная череда шестерен. Те самые арабы из нашего примера богаты прежде всего нефтью. А потребляют ее более других страны, могучие своей производительной силой, но скудные на нефть и иные земные припасы. Такова Япония, другой подходящий персонаж нашего нехитрого сюжета. Сколь бы арабы ни были богаты, закупки дорогостоящих вооружений и для их бюджетов — бремя. Оно, понятно, компенсируется выручкой от нефти. Не будь череды модернизаций оружейного парка в этих странах, нефть, малазийское олово и другие ресурсы могли бы продаваться промышленным странам заметно дешевле без ущерба для всех прочих интересов сырьевых стран и правящих там кланов.

И вот мы видим: деньги, потраченные на русский истребитель или танк,

Александр Медведев

Продажа оружия – выгодна или разорительна?

включились в цену арабского барреля, и тот с чуток потяжелевшей ценой поплыл к далекому японскому терминалу. Там его потребят производители всяческих «панасоников», «тошиб» — по большей части безвредных и жгуче интересных нашему потребительскому воображению. Они тоже могли бы быть малость подешевле для нас — если бы в калькуляцию себестоимости производитель мог заложить меньшую сумму затрат на энергоносители. Особенно эта разница коснется нас, российских потребителей импортного ширпотреба, поскольку мы аналогичный товар делаем заметно хуже, а многого (видеокамер, скажем, факсов, копиров) не производим вовсе. И мы ровным счетом никуда не денемся, вернем те миллионы долларов, которые зарубеж проплатил на наше оружие. Конечно, кое-что останется за вычетом всех ценовых отягощений, отслезанных нами, в бюджетах непосредственных производителей. Торговцам, оружейным баронам, и вовсе плевать на наши выкладки — у них вообще своя арифметика, в правила которой опасно вникать посторонним. Оставляем в стороне мы также и соображения морального порядка. Производство оружия называется оборонным комплексом — а где спрятался комплекс наступательный? Убивать людей дурно, производить орудия уничтожения — нормально. Не продадим оружие мы — продадут другие. Логика мрачного анекдота про изнасиловавшего малолетку: лучше я, чем какой-нибудь подлец.

Все эти доводы приводились многожды разными моралистами — эффект нулевой, поскольку в нашем коллективном разумении сидит мысль о выгоде — ложная истина. К рассуждениям про «чуть-чуть» подорожавший для нас импорт в силу экономической логики, действие коей мы проследили по набросанной выше схемке, следует добавить вот что. Оружие и в самом деле продают и другие — кто тем же армиям, что и мы, кто — их сегодняшним или завтрашним неприятелям. Эти другие тоже потребляют нефть и прочее сырье, тоже контейнерами гонят к нам свой товар. Продав оружие, мы резонансом вызываем аппетиты многих оружейных лобби, и все затраты запикиваются в цену гражданского товара — того, который человеку необходим или желанен. Стоимость товаров народного потребления включает в себя вообще все затраты на образование, науку, государственные структуры, армию. Страны, избыточно много потребляющие импорта, не фокус заставить оплатить чужие дополнительные расходы. Именно это и происходит сейчас с нами.

Производство оружия неизменно выгодно и сверхвыгодно неким группам. Для общества оно разорительно всегда.

Наблюдатель

рецензии

Когда поэты были молодыми

Юрий Андрухович. Рекреации. — «Дружба народов», 2000, №4.

«Знаете ли вы украинскую ночь?» — вопрошал когда-то Гоголь и сам же отвечал: нет, не знаете. Примерно та же ситуация с современной украинской литературой, де-юре — «братской славянской», де-факто — далекой и неизвестной. Наше восприятие малороссийской словесности остановилось где-то на Павле Тычине и Иване Драче, в то время как имена современных авторов — Оксаны Забужко, Сергея Жадана или Юрия Андруховича — мало что говорят русскому читателю. Впрочем, в последнем случае (имеется в виду Андрухович) осуществлен опереженный прорыв: в четвертом номере «Дружбы народов» опубликован перевод романа «Рекреации».

Что ж, лиха беда начало: в скором времени, глядишь, и «Московиаду» переведут и опубликуют, и «Перверзию». Юрий Андрухович в Украине — автор более чем известный, можно сказать: культовый. У нас он таковым не является, поэтому знакомство с его творчеством вполне естественно начать с романа, написанного еще в эпоху империи в литературном общежитии, что на Добролюбова. Написанного, конечно, на «мове» и на украинском материале, но, если разобраться, в те годы мы все говорили на едином имперском «эсперанто», так что с пониманием тут — никаких проблем. И с качеством тоже: роман уже отпраздновал свое десятилетие, пройдя, так сказать, проверку временем и (к счастью или к несчастью) абсолютно не устарев.

История на первый взгляд знакомая: на праздник-карнавал приглашены поэты (молодые, но уж известные), которые съезжаются из разных городов, а далее претпевают ряд приключений, в основном по пьянке. Город с символическим названием Чертополь и проходящий там Праздник Воскресающего Духа поневоле заставят вспомнить бесчисленные фестивали и шоу, что в последние десять — двенадцать лет брызжут фейерверками вопреки разрушенной экономике. Кто не бывал на

этих праздниках? Кто не пил там с друзьями? Однако далее узнаваемые реалии начнут немного плыть, гротескно сгущаться и анекдотически переворачиваться. Чертополь (в котором угадывается Ивано-Франковск) и впрямь начнет соответствовать своему названию, действо — обретать мистериальные черты, а явь — мешаться со сновидческой реальностью. Тут следует открыть одну тайну: в послесловии от автора заголовок «Жизнь есть сон» был заменен переводчиком на «Сон в майскую ночь». Замена вполне корректная — гоголевской чертовщине роман, пожалуй, ближе, нежели Кальдерону. В то же время сравнивать с произведениями прошлого этот абсолютно современный текст следует с осторожностью. Здесь пульсирует НАШЕ время, говоря НАШИМ языком, и в том, что оно говорит свободно и раскованно, немалая заслуга (кроме автора) переводчика Ю. Ильиной-Король.

Собственно, перевод здесь незаметен. Такое ощущение, что оригинал писался по-русски: в романе хороший литературный язык виртуозно сочетается с молодежным сленгом. Близкий все-таки язык, да и ментальность близка, так что приключения поэтов в Чертополе происходят будто с тобой и твоими друзьями. Эта история могла случиться и в другом месте, например, в Суздале. И с другими поэтами (здесь каждый волен вписать полдесятка культовых фигур российской поэзии). Могло такое случиться и с нашими рок-роллщиками, тоже ребятами вольнолюбивыми и жадными до жизни; точнее — не «могло», а наверняка «случалось», вот только не оказалось потом осмыслено и воплощено в художественном тексте.

Кто-то может возразить: а как же «Трепанация черепа» Сергея Гандлевского? Что ж, замечательная книга, да и поэт замечательный. Коллективное бытие (прпущенное через индивидуальное сознание) обрело у Гандлевского честное и масштабное выражение, выходящее временами за пределы собственно поэтической тусовки. Да оно и понятно: когда жизнь в обнимку с возможным небытием, тусовочная реальность видится, естественно, под другим углом. И все же что-то в

«Трепанации...» не состоялось. Что-то осталось за пределами воплощения, и дело тут не в таланте поэта, рискнувшего вступить на прозаическое поприще. Дело — в выбранной стилистике, в творческой парадигме.

Позволим себе лирическое отступление на документальную тему, а именно: поговорим о популярной в последние годы прозе «нон-фикшн» (к которой — несмотря на определенную долю фантазии — относятся и книга Гандлевского). Невыдуманные истории заполнили журналы: все теперь пишут «как-это-было-на-самом-деле», с усталым высокомерием отринув *belles-lettres*. Там, мол, все понятно, приемы давно переросли в штампы, так что теперь, господа читатели, глотайте «реальные» судьбы и страдания. Ну да, усредненная беллетристика и впрямь надоела. Однако попытка уцепиться за факт — непродуктивна, это свидетельство беспомощности перед жизнью, которую отдельное авторское сознание не в силах осмыслить *символически*. Это наивная попытка защититься от постмодерна, который разрабатывает другую крайность, превращая мир в забавно-жутковатый «микст». Между тем самые удачные в литературе «личностные» мотивы весьма сильно мифологизированы, одухотворены выдумкой и в итоге — выходят далеко за пределы усредненного ряда (ярчайший пример — проза Сергея Довлатова, создавшего индивидуально-коллективный миф, обманчиво похожий на реальность). Напомним также, что Федерико Феллини об одном своем фильме высказался так: «Я более или менее искренне, более или менее затейливо выразил охватившее нас чувство растерянности». После чего великий маэстро уточнил: «Да-да, именно затейливо, потому что каждый фильм — это, помимо прочего, еще и затея, *затейливое художество*».

А теперь вернемся к нашим авторам. У Сергея Гандлевского искренность превалирует над затейливостью, над символическим мышлением, и в итоге книга остается на уровне «хорошего честного произведения». В книге же Юрия Андруховича — при сохранении лично-документальных черт — работает фантазия, идет театрализация реальности, что поднимает прозу над частностями и привносит поэтичность и философизм. Причем удача здесь, думается, именно в двойственности авторского подхода. С одной стороны: задушевность, искренность, переходящая временами в беспощадность (признаки «нон-фикшн»), с другой — сцены и символы, свойственные, допустим, эстети-

ке «фантастического реализма». Умело пройдясь по этому лезвию и не свалившись ни влево, ни вправо, Андрухович создал в результате настоящее современное произведение.

В книге очевидна цитатность: мелькают тени Гоголя, Булгакова, Фрейда с его эротизмом, Бахтина с его карнавализацией; стиль же скачет от имитации потока сознания до едва ли не сценарной записи диалогов. Тем не менее (при очевидной полистилистике письма) никакого постмодернизма здесь нет. Это в более поздней «Перверзии» автор движется в сторону ПМ, в «Рекрсациях» же повествуется о вечных темах и конфликтах, которые проживаются в конкретном времени-месте. О любви и измене, о том, как выдыхается дружба и как вылезает гнездящаяся в человеке нелюдь; об опьянении свободой и о ее зыбкости; о том, наконец, что молодость проходит и приходит понятно что. Присутствует здесь и национальная тема, но о ней следует сказать особо.

Григорий Померанц когда-то писал о здоровом национальном чувстве, сравнивая его со здоровым половым чувством и противопоставляя этому «половую озабоченность» и «национальную озабоченность». Юрий Андрухович, к счастью, не принадлежит к национально озабоченным авторам и в то же время не чурается сей деликатной темы. Воскресающий украинский Дух прощается у него с имперским прошлым в разгуле карнавала, смеясь, как и положено, но в этой круговерти масок живет и нечисть, и ожившие мертвцы появляются, и просто берет свои права вечная, как мир, человеческая греховность. «Леслите каждую травинку, ведь трава — это нация, это надежда», — так поэтически-пантестически выразится на выступлении поэт Мартофляк, чтобы вскоре оказаться в постели какой-то шлюхи. То есть и культовая для нации личность не обязана (да и не может) быть воплощением совершенства, — зато эти «вечные драмы» снимают героев с пьедестала и приближают к нам.

Надо отметить, что Юрий Андрухович проходит в Украине по ведомству так называемой актуальной словесности. Но вот что любопытно: в украинской литературе в рамках одного произведения и в одном авторе может прекрасно уживаться «актуальное» и «национальное». В России эти понятия разнесены на противоположные полюса общественно-культурной жизни, а вот в Украине — ходят рука об руку! Что, с одной стороны, пробуждает здоровую зависть к украинским

коллегам, а с другой — никак не может быть образцом для подражания. Россия — многонациональная страна, поэтому наша самоидентификация в культуре проходит сложнее, мучительнее, мы еще только нащупываем новую постимперскую культурную парадигму. Зато если найдем (а очень хотелось бы), то и результат будет на порядок весомей.

С учетом последующих исторических событий роман можно смело объявить «пророческим». Финальная сцена карнавала, когда гостей вытряхивают из постелей и сгоняют под дулами автоматов на площадь, сразу относит к августу 91-го или к октябрю 93-го. Да, в романе спецназ оказывается бутафорским, насилие оборачивается хеппенингом, но от исторической памяти, увы, не уйдешь. Автора этих строк, между прочим, в 93-м году уже отнюдь не бутафорские «гориллы» в масках и с автоматами ставили лицом к стене в том самом литературном общежитии, где тремя годами раньше писался роман «Рекреации». Так что авторский «сон в майскую ночь» оказался вещим; да и Москва в дни путчей смотрелась истинным «Чертополом».

Однако теперь общее имперское прошлое все более покрывается дымкой, поэты, увы, уже немолоды и смотрят не на Север, а на Запад. На наших глазах формируется одна из литератур Центральной Европы: ушибленная тоталитаризмом, временами нервически напряженная, исследующая «перверсии» и «украинский секс» с энтузиазмом дорвавшихся до сладкого детей, эта литература, тем не менее, обретает свое лицо, причем в первую очередь — через поколения тридцати—сорокалетних. Она похожа и не похожа на русскую, но дело ведь не в похожести, а в таланте. Думается, талантливые южные соседи еще не раз станут гостями на страницах русских журналов.

Владимир Шпаков

Муза переводчика: рго & против

В. Нугатов. Недобрая муза. Избранные стихотворения. — М.: Автохтон. 2000 г. — 60 с. 300 экз.

Впечатление от книжки В. Нугатова на редкость сильное, «стильное» и цельное, что обнадеживает в поисках ее внутрен-

него стилистического принципа. Каждый текст — это стилизация какой-либо вполне узнаваемой поэтической манеры, соотнесенной в нашем сознании с той или иной эпохой, культурой, автором. Каждой «лирической позиции» (одному или нескольким текстам с общим названием) присвоен порядковый номер — всего 29. Упомянутое же единство возникает на уровне сборника в целом — подобно единству тезауруса или каталога.

Образно говоря, виртуальное пространство книжки — музей многовековой истории европейской и неевропейской словесности. В витринах выставлены разнообразные стили. Вслед за Автором-экскурсоводом — ученым знатоком, ценителем и хранителем — мы прогуливаемся по залам, благоговейно останавливаясь перед отдельными экспонатами. Очень скоро обнаруживаются личные предпочтения Автора — явное тяготение к стилям маргинальным, соотносящимся в нашем представлении с декадансом в самом широком смысле, со всеми его симптомами: эстетика разложения и смерти, усталомудрость и ироничность, эротика на грани порнографии или перверсии, телесная и душевная некрофилия, гиперчувствительность к форме и слову, экзистенциальная маргинальность, облеченная в игровую/игривую форму, чувственность и одновременно индифферентность, анемия, анемия... Анамнез классический — пышно увяданье.

Вот — «Лебединая песнь» («Сегодня я пишу тайком от Мехената...») — трагестигированный Гораций в неожиданном бытовом ракурсе с эффектной концовкой:

*Эй, Лидия, голубка!.. Где ж ты есть,
лахудра,
неси скорее таз, поэт твой обоссался,
Подмой его живей,
он ноги уж не в силах
Сам переставлять...*

*Вот так и сдохнешь,
в луже захлебнувшись; мухи
Обсели мокрый зад;
щебечет зимородок;
Вечернею прохладой облачась, белеет
Палатинский холм.*

Вот — лирический монолог условного «последнего императора», ностальгирующего на морском берегу по далекому Риму, ласкам неверной лидийской царевны и утраченной чистоте речи — в конце монолога проглочен морским левом.

Вот — сладкозвучные молитвенные томленья Юсуфа, Принца Фиванского:

*Наохлилась ночь голубкой чернявой.
...Мысль твоя обо мне как пух [...]
Муки, на которые ты щедр, щедр,
прокрадываются ко мне...
И сладости, слепо ища тебя,
натываются на мою булавку.
Так и несусь я гербарий дней
далее, в мир...*

Или изысканнейшие эвфемизмы греко-римской «Эпиталамы»:

*Психея, ты ли, тиния под шёлком,
сегодня брачный поезд возглавляешь,
два блюдца кверху доньшом
(на каждом —
оливка) преподносишь Гименею?
Иль это Гигий, губошлёп кудрявый,
своим сучком вишневым
с влажной почкой,
на кончике набухшей, плавкий пурпур
твоих ноздрей вздрогнувших
растревожил...*

Вот — потрясающий русскоязычный ремикс собирабельной поэтики блюза, впрочем, на грани пародии — «Оливковый Джими Блюз»:

*Брезентовый шуз — всем шузам —
хо, масса Флинн!
Слопозубая Китти —
господи Иисусе — масса Флинн, хо!
Этого тебе, сэр,
не трраханая Алабама, хо!
Этого тебе Новвёхонький Арлеян, ох!
Оки-доки, масса Флинн,
хе-хе, оки-доки, масса Флинн...*

Тут же модернизированная темнота пророка Иеремии. А рядом — мистико-эротический опыт маоринского тохунга, и с кортасаровским испаноязычным колоритом притча «о том, как Хуарес утолил свою любовь». В залах «Русская литература» — тот же условный декаданс серебряного века, напоминающий стиль Г. Иванова или Б. Поплавского:

*Я умру от пружин патефона
В чёрной спальне, под кружевом дня...
Мы будем постепенно умирать
На улице Безлюдной, 45...*

А в «Стихах к фрау Вагнер» и многих других маячит тень И. Бродского, нависшего В. Нугатов сочитать простран-

но-классический слог послания с обценной лексикой и псевдодемократичной фривольностью иронии.

Такой контраст, как и следовало ожидать, компрометирует безусловность каждого отдельного стиля, а вместе с тем и классическую непогрешимость лирического «я» — знакомые эффекты постмодернистской лирической поэтики второй постконцептуалистской волны. Продолжая метафору — ученый-экскурсовод временами ведет себя не вполне адекватно — нет, он не крушит раритеты (авторитеты), только шалит, сдвигая их с привычного места, переставляет местами. Каждый отдельный текст служит ироническим контекстом для соседнего. На метауровне сборника формируется калейдоскопический, центонный, лоскутный метастиль.

В этом же направлении идет и языковая работа. Ее базовый принцип можно назвать полиглотным: за ним стоит мышление билингва, одинаково легко манипулирующего несколькими языками на протяжении одного высказывания или даже одного слова. Слегка искаженное, почти как при опечатке (замена буквы, например), слово начинает слоиться, высеивая одновременно несколько потенциальных смыслов. Ирония рождается в самой глубине языковой ткани, на каламбуре-развилке расходящихся смысловых тропок. На русском материале В. Нугатов осваивает джойсовский опыт:

*изогомон парашельс, жженой, ждетми
(огоговарено)
лярюсса, парафинская брудь,
безменечерво
помтамурчик, — в филинете пальс
тшедвадива
еблоко желатое бороздвое
сто скожут буги? Vraичай, до-ри,
паршш,
утьивамыкакой!..*

Такая изощренность заставляет подозревать тут профессиональную руку переводчика. В. Нугатов действительно профессиональный переводчик — с английского и французского. Лирика переводчика — так можно определить его стиль в отношении формы и «духа». Если одни тексты напоминают упражнения по практической стилистике (работа над переводом «Стилистических упражнений» Р. Кено не могла пройти даром), то в других преобладают «теоретические» наблюдения, выводы, декларации.

Однако, заявив в начале о цельности впечатления, мы слегка покривили душой.

Оно не так однородно. Легкое недоумение возникает при чтении некоторых стихов. Казалось бы, в рамках заданного стилистического принципа все недоумения должны разрешаться на уровне метастиля, то есть в контексте целой книжки. С другой стороны, поэтическое произведение, помимо интертекстуального и метатекстового восприятия, предполагает и имманентно-целостное. Но некоторые тексты В. Нугатова в нашем ощущении по какой-то причине не прорываясь в область метауровня, одновременно не удовлетворяют нас и как «вещи в себе». Остается решать: либо это просто проблема малоискушенного в постмодернистских тактиках читателя, либо... Неоднозначность ответа заставляет нас попытаться перевести вопрос в теоретическую плоскость.

Волею судеб понятие «перевод» во второй половине XX века обрело небывалую значимость. Оно зарекомендовало себя как один из ведущих концептов, при помощи которых современная культура осмысляет собственную сущность*. Чутье границы, посредничество между языками-культурами, плюралистическое мышление — все эти профессиональные навыки переводчика (скорее, перебежчика, чем стража-пограничника) стали важнейшим элементом постмодернистской парадигмы. В ситуации, когда само творчество мыслится как перевод, маргинальная (от поэзии) муза поэта-переводчика неожиданно оказалась в авангарде литературного процесса.

На заре постмодернистской эпохи новый метод производства и восприятия текста, утверждая себя как «небывалый прорыв» в новую парадигму, автоматически заслонила старый добрый оценочный (аксиологический) критерий. Тотальная правда плюрализма мыслилась по ту сторону добра и зла. Однако похоже, что теперь, когда новая парадигма вошла в нашу плоть и кровь и усваивается с молоком матери, принцип здравого смысла и хорошего вкуса снова возвращается. Не все золото, что постмодернизм. В условиях, когда интертекстуальная доминанта мышления для определенного слоя людей ста-

ла единственно возможной, принадлежать к этому слою и работать в области словесного творчества «новыми» методами еще не значит состояться в поэзии. Интертекстуальная поэтика требует не в меньшей степени того, что можно назвать (по выбору) «одержимостью», божьим вдохновением, мастерством или просто определенным психосоматическим состоянием. А стало быть, в рамках победившего метода осуществление поэтического задания, как и прежде, может быть более или менее удачным. А интуиция читателя, воспитанного в той же плюралистической парадигме, все так же способна совершать «отбор», отделять зерна от плевел.

Как отличить стилизацию-прием от стилизации-инерции — насущный вопрос для современного читателя и критика. В давние допостмодернистские времена решение было простым: если стиль X похож на стиль своего предшественника — значит, мы имеем дело с: а) подражанием-эпигонством или «ученичеством», б) пародией; если иначе — с самобытностью в рамках определенной традиции. Новые условия требуют гораздо более тщательной экспертизы. Имеют ли «стилизиция» и ее «симптомы» концептуальную природу — свойство состоявшегося самостоятельного стиля? Или это следствие недостаточно проявленной индивидуальности, инерции плюрализма, идущей навстречу естественной человеческой потребности в «подражании» (Аристотель) и услужливо предлагающей ей обкатанные «чужие» формы (благо позволяет и поощряет парадигма)? На языке одной из постструктуралистских теорий литературы (Хэрольд Блум) такую стилизацию можно назвать проявлением непреодоленного «страха влияния» — парафрейдистского комплекса «первичной сцены»**.

Тогда на проблемы стилия, подобного стилю В. Нугатова, возможна и другая точка зрения: не оказываются ли «неубедительные места» следствием инерции, до-рефлексивной привычки к «стилизиции», поддержанной привычкой профессиональной. Многим *beginners* или *dūbutants* знакомо быстропроходящее (примерно к

* Достаточно вспомнить теорию культурной динамики Ю. Лотмана. Механизм «перевода», то есть транслирование информации из одной кодовой системы-языка в другую, неизбежно дающий искажения первичной информации и тем самым порождающий новые смыслы, лежит в основе развития и бытования культуры как таковой.

** Характерно, что Х. Блум в своей откровенно постструктуралистской концепции в качестве материала использует только классические тексты, применительно к которым понятие «традиция» носит более или менее определенный характер. Есть основания предполагать, что для характеристики «страха влияния» в постмодернистской культуре необходимо ввести дополнительные критерии.

«продвинутому» этапу) желание овладеть новым языком непременно в его поэтической функции. Вошедшее в сборник стихотворение на японском языке (в кириллической транскрипции) — по всей вероятности, плод именно такого опыта — выдает с головой инерцию метода. Муза переводчика действительно местами становится «недоброй».

«Сомнительным» стихам Нугатова, на наш взгляд, не хватает имманентной оригинальности содержания. Стилистическая форма заимствуется здесь вместе со всем «содержимым» — пафосом, темой, лирическим настроением. Это отчетливо видно в текстах, стилизующих поэтики, еще не успевшие в нашем сознании до конца стать «музейными» (Бродский и серебрянный век). Метод В. Нугатова, имеющий благородную цель мумифицировать и «омузеить» эти стили, подобной цели не достигает и бессознательно подчиняется их инерции. Эти стили на фоне прочих выглядят полуживыми монстрами кунсткамеры, а не экспонатами музея изящной словесности. Очевидно, на данном этапе В. Нугатов блестяще обрел только свой метапафос. Собственное же экзистенциально-лирическое настроение ему приходится облекать в нетронутые иронией трансконтинентальную космополитичную ностальгию или дезесентонский чувственный коктейль:

*Тебе, что ль, написать?
Я, право, в непонятке,
учитывая долгий перерыв, январский
дождь поверх старых строк
в веленовой тетрадке,
твою забывчивость,
мою потребность в ласке,
то, как мы не нужны друг дружке
и как надки
при этом до всего,
что, вразгущая краски,
нас с ходу помещает
в композиционном
подобье «молока»,
по пушечным канонам...
(«Billet doux»)*

Можно было бы рассматривать эти образцы стилизации как пастиш. Но распространенный в постмодернистской поэтике эффект «двойного кодирования» здесь, похоже, тоже не работает. Автор обращается к этим стилям слишком настойчиво, при этом не достигая ни их стилистической «чистоты», ни необходимого уровня автоиронии формы. Такое впечатление, что в этих случаях он стремится

по старинке работать «в традиции», противореча собственному же метазаданию.

Метод В. Нугатова состоялся. Однако во многом как перспективная потенция. Чтобы «довоплотиться», то есть все-таки стать равноправным экспонатом собственного музея, автору, пожалуй, предстоит распространить методологическую саморефлексию на некоторые еще не затронутые ею имманентно-структурные уровни текстов, и да исполнится сказанное:

*Вот так и обнаружат нас
искусствоведы
И обматывают скотчем
что от нас осталось:
Истёрханный салон, мундштук,
лохматя бреда,
Чрезмерную тоску,
взаимную усталость,
И если это, мой котёнок, не победа
Над временем, то я не знаю,
в чём та малость,
Что мне тебя, меня на ум приводит,
Когда ум ищет смысл
и смысла не находит.*

Мария Бондаренко

Комментарий к контрапункту

Мария Рыбакова. Тайна. Повесть. — «Звезда», № 7, 2000.

Заблудившийся мальчик и существо в лесу с пристальным взглядом, а существо — это царь и Бог. Первый концерт юного композитора, портрет композитора в детстве, Москва, школа, родители, шепчущиеся за спиной сына о какой-то «тайне», юный композитор, дед, словно из хасидских легенд Бубера и, наконец, — смерть деда и его дракон в красной коробке. Да и еще: цыгане — Любка и Яков «убогий», и вообще их «шумная толпа».

Кажется, ничего главного не пропустил. Правда, не сохранил последовательности, но она и не нужна. Повесть М. Рыбаковой «Тайна» лучше читать или с конца, или как-то по-другому — быть может, тогда что-то станет ясно. Впрочем, «неясность» не раздражает, а наоборот. Кажется, вот сейчас автор откроется и в этой камере-обскуре включат свет, и как в позорном детективе — глупое неподлинное разоблачение (так дети, по-моему, прочи-

тав «Собаку Баскервилей», неминуемо разочаровываются, а некоторые и не верят: на девонширских болотах непременно должен быть адский волкодав). Но М. Рыбакова не включает свет.

«Он понял две вещи. Во-первых, что он заблудился, о чем он только читал и слышал, — он заблудился и был не в силах выбраться, и это было страшнее всего когда-либо произошедшего с ним. Во-вторых, он понял, что кто-то привел его сюда и смеется над ним... Утерев слезы, Даня заспешил на лыжах быстрее прежнего. Тот невидимый, кто гонится за ним, должен был отстать от него. Даня должен был успеть вырваться...»

Появление Фауста в XX веке, наверное, неслучайно, — я имею в виду совсем не народную комедию о демоническом хулигане, который ездил на бочках, а потом повторил путь испанского де Сада. Нет, я говорю о Музыке и Договоре: «Фаустус» Томаса Манна. Почему именно композитор (и ведь не какой-то там поверхностно инфернальный джазмен) оказался в сфере интересов (поднаторевшего со времен Иова в интеллектуальных играх) Врага и «полночного собеседника»?

При всей как бы иллюзорности Люцифера, Договор в «Докторе» — настоящий. И в повести «Тайна» — тоже договор. С кем? Имя не названо. Просто существо, просто «Царь».

«Мрак становился все плотнее... Все не себя ему было жалко — он просто не мог представить себя навсегда потерянным... Даня, отдышавшись и прислонившись к стволу дерева, снова принялся говорить: у меня есть мать с отцом, и дед, и друзья. Возьми их. Возьми все, что у меня есть, только выведи меня отсюда, твердо сказал он. Ему представились мать, отец, дед в темном коридоре, за ними школьники и кто-то нереальный, а дальше мрак... Он попрощался с ними. Возьми все, сказал он».

Возможно, эта повесть — о семейном проклятии, о девонширских болотах деда — отца — сына, где Степлтон — исключен, и криминальная интрига смехотворна, а фальшивый дракон с икринками вместо глаз пострашней фосфоресцирующей пасти.

Смерть деда, разжалованного шагаловского ангела (рисунки витебского еврея хранится у него вместе с не менее «странными» вещами: удивительной шля-

пой, трубкой и т.д.), под музыку внука Дани, юного композитора. Даня играет в другой комнате, а тетя не пускает его к умирающему. Здесь «фортепьянный» концерт — не равнодушный фон совсем, но сама Смерть — «переход» в горние места. Кажется, Даня не столько озвучивает уход, сколько помогает уйти. И, наоборот, в смертных снах деда какофония и диссонанс внука преобразуются в нечто стройное, в Ангельскую иерархию, в Пифагорову систему.

Повторяю, в этой повести нет нагло-го электрического освещения. И фигуры персонажей сливаются друг с другом — и снова разъединяются. Чем они связаны? Насчет связи не знаю, но все персонажи Рыбаковой как мятущиеся ночные бабочки нанизаны на нотные линейки.

Да! Только так — и отец, и мать, и дед, и одноклассник Кратный, и все-все — ноты — они сочетаются друг с другом или противоречат друг другу — и все равно это их *сочетание*. А кто Даня? Он то на линейке «трепещет» со всеми остальными, то становится в позу автора. Или ему *кажется*, что он — автор?

«Ему нравилось выводить в тетради скрипичные и басовые ключи, ноты на тонких ножках. Ему нравилось, как выглядит его музыка на бумаге: палочки и точки, соединенные лигатурами, были так правильны, что казались декоративным узором для ткани...»

В литературе давно существует такой взгляд на музыку и композицию. Нотная графика напоминает шифр. Различные инструменты — тайных, пробуждающихся на время звучания существ. Басовый и скрипичный ключи открывают «двери восприятия». «Двери» открываются в неизведанное. Незнание, как правило, тревожно. Вспоминается одна «готическая» английская новелла, где исполнение найденной в тайнике гальярды вызывало к жизни призрак сочинителя. А «Трели Дьявола» Джузеппе Тартини? Или даже реальная донельза «Крейцеровая соната»? И — «Моцарт и Сальери». Да — и эта маленькая трагедия тоже. В «Тайне», в принципе, есть и свой Амадей, и свой Антонио.

Главный герой — юноша Даня...

«...стремился все расчислить и записать. Тут у него создалась своя метода, своя особая математика. Логика должна быть во всем (это было теперь его убеждение, что над всем царит логика)».

Его одноклассник Кратный...

«...во всем был лучше Дани, как будто природа, создав Кратного, так восхитилась своим творением, что решила создать ему еще и подражанье. Кратный был гений — по общему признанию школьников и учителей. ...А когда он сел за пианино во время утренников, какие он придумывал печальные мелодии!»

Но Кратный теперь не сочиняет (пожалуй, отстранился от возраста). Его «прошлая» музыка за границами текста. Зато «первый концерт» Дани разобран подробно — как у того же Манна «Плач доктора Фауста» Адриана Леверкюна.

«Царь едет! Ликуйте! Ликуют — в ужасе. Марш, марш, лесное полчище... скрипки дрожат, кажут морды мерзкие. Вдруг колокола вдаль — бом! бом! ...хха — ха, хха — ха, ма-лень-кий вальс...»

Даня взмолился к органу, который не спас его. Орган заплакал над ним, как плакал над всеми... Ты никогда не слышал о размеренном плаче выдаваемого воздуха, ведь мои трубы — это сосны в лесу, и ты никогда не узнаешь, что, когда ты исчез, деревья зазвучали чудесной фугой; а этот хор? — нерожденные души жалеют тебя... Отец мой, отец мой! Ты остался один. Бедное потерянное фортепиано, ты отвечать должно оркестру и соревноваться с ним, но его нет, вокруг тебя тишина и мертвый малютка за клавиатурой. Слушайте концерт для фортепиано с оркестром...»

Повесть «Тайна» могла бы быть первой частью некоего «романа становления». Все для этого есть: и детский опыт общения с непознанным, и «творческое сумасшествие», и первая попытка интерпретировать себя, свою короткую жизнь, и... много чего, одним словом. Материала — с избытком. Но финал повести (где замкнулся круг и мальчик засыпает под деревом) не оставляет, на мой взгляд, никаких шансов на «пухлое» продолжение — и на будущее персонажа. Потому что все уже как будто произошло. И фортепианный концерт навсегда — единственный Концерт, и со смертью деда исчезает из жизни и сам Даня, а фальшивый дракон — вроде насмешки над ним: вот, мол, твоя последняя жизнь — ни то, ни се, вместо глаз — икринки и т.д. Ах, современный Сальери, и что же тебе делать, если и Моцарт, собственно, ни на что не способен, вот действительно-то тоска — и некоего травануть.

Тут очень важные мысли (только как бы это так без лишней помпы? А — ладно): о судьбах Искусства.

Во-первых... Ну вот я и собрался уже было нагородить псевдокультурной чепухи, проигнорировав сам дух, ауру «семейной эзотерической саги». Так нельзя: и мне, в общем-то сочувствующему читателю, негоже тянуться к предательской кнопке электрического освещения.

А что если уподобиться сивилле и заговорить «туманным» чуть ли не стихотворным языком античных спекуляций?

Ты продал бы душу за тайну?
Его влекла темная, зыбкая глубь леса...
Это не напоминает Шнитке...
Браво гадкой тайне! Браво отчаянью!
Где ты прячешься, мое творенье, мое дитя, мой царь:
Из какой чаши тебя извлеку, освобожу
из-под снежных покровов?

(Составлено из отдельных и, на мой взгляд, ключевых блоков повести.)

Не побоюсь неоригинальности: Первый концерт Дани (а это для меня некий образ будущего Искусства) прозвучал в его голове в том зимнем лесу, и там был еще рефрен, повторенный хором («продашь ли ты душу за тайну?»). Собственно, сделка состоялась: тайна юному композитору открылась (но — вот что интересно — тайна открылась и родителям, и, возможно, все-все прохожие, шедшие мимо Даниила, узнали ее). Что же дальше? Опять загадка. Это такая тайна, похожая на матрешку, и где там последняя фигурка — Бог весть.

«Он погружался во мрак, в свой собственный, во мрак своего детства, своих одиннадцати лет, в лес, в темный лес, где был он потерян, и откуда не выбрался, где он все еще шел, поколебавшись недолго, говорил: «Не выведи. Я не хочу... чтобы сделалось так. Лучше я расскажу вам сказку. Один мальчик ушел из дома в лес. Над пропажей долго не плакали: ведь он был только обещанием».

После второго прочтения возникает непреодолимое желание свести «негатив» к робкому «позитиву» (и опять-таки речь о Будущем). Да, это не «роман становления», но «повесть освобождения»: в ранней юности художник избавляется от «культурных комплексов» и «старых сюжетов» — «душу» он отдал, некоей эфемерной тайной овладел, своего конкурен-

та (Моцарта — Кратного) практически отравил (но не ядом Изоры, а своей изощренной музыкальной «алгеброй») и ... все-таки впереди (я отказываюсь от предыдущих предположений) — какая-то жизнь, и — чем не шутит «царь лесной», темное существо — «почва» и «судьба»...

Три нуля на обложке журнала «Звезда» весьма символичны: красная строка, другая страница — новый сюжет с претензией на «вечность» или по крайней мере на длительное обыгрывание и т.д.

Мальчик засыпает под деревом. Семейным проклятием покончено. Отдать душу за тайну — это не продажа, но обмен (несмотря на то, что повесть начинается с вопроса «Ты бы продал...?»). И кто знает, не есть ли эта «тайна» — иная, обновленная душа? Или — чистый Дух?

«Чем гуще становился лес, тем реже становился свет, но Дания знал, что за сумрак он будет вознагражден ярким переживанием света на прогалине...»

Леопид Шевченко

Прозрачный — от прозревать

Сергей Бардин. Ломбард. — М.: Золотой век, 1999. — 364 с.

«Он мне нравился необыкновенной деликатностью и застенчивой русской элегантностью, которая от природы присуща некоторым блондинам» (рассказ «Сточенный рубль»). Я бы отнес это наблюдение к книге Сергея Бардина, лишь заменив «блондинам» на «писателям». Без шуток, мне кажутся верными все три определения: деликатность, застенчивость, элегантность, и то, что они, особенно в сочетании, крайне редки, необыкновенны. В жизни. В литературе.

Бардин нигде не демонстрирует литературных умений своих, что сделалось проклятием даже и талантливых его современников-коллег. Бардин нигде не высовывается с целью напомнить о собственной неповторимости и значительности. Бардин не хватает читателя за грудки, чтобы втолковать, как любит Россию. Но и не увлекает за рукав в уголок, чтобы шепнуть, как он ее презирает.

Я долго искал центра книги, точнее названия его для рецензии, обозначения словом этого центра, тогда как он явно чувствовался мною; пока не догадался, что

говоря о главном в книге Сергея Бардина, не стоит искать его в лицах, ее населяющих. Лицо это, собственно, одно, и как ни сделалось привычкой стыдливо не называть понятие девальвированное, но то лицо — Россия. Лицо, часто смазанное движением, неуловимое, пока разглядываешь отдельные черты, не позволяющее взглянуться в статичный портрет, и оно, тем не менее, главный итог книги.

Повесть «Пастораль» напоминает о той русской черте, которая, кажется, в произведениях нового времени не встречается. Ведь ее на все лады воспевала в изуродованно-припомаженном виде советская литература. А когда исчезла помада и стали говорить правду, черта скрылась во мраке, как и не было. Это — взаимное, обоюдное понимание. Едва ли не родственно-мгновенное. Да, затем и очень часто, вас по-родственному же обидят, оскорбят и даже побьют и близкие, и далекие, вдруг ставшие близкими, но разве не поражало вас никогда, как в каком-нибудь захолустного маршрута автобусе едет, к примеру, барышня и барыня, вопиюще не соответствующая обстановке, но не вызывает ни неприязни, ни удивления и без малейшей натуги болтает с дяденькой, у которого меж двух стальных зубов веет самогонкой, словно бы с родственником. Меня всегда поражала в наших людях способность сойтись враз, без прощупываний, без разведки.

Я не знаю, почему Бардин выбрал для книги название одного из своих рассказов «Ломбард», о «наших долгих, как сами годы, текучих очередях». Лучшее из слов для прозы его — *Встреча*, хотя, разумеется, слово, взятое в кавычки, как название, нестерпимо избито.

Встреча как открытие равноправного мира другого человека вписывается у Бардина в общий мир, обладающий неназываемым, но несомненным общим смыслом.

Об этом общем смысле, о Боге, России, справедливости, свободе, ведут спор герой «Пасторали» Полуянов и полурегальная личность «странствующего философа». Как водится в русских спорах, они ни в чем не договариваются, ни к чему окончательному, несмотря на вспыхивающие открытия и чуть ли не прозрения, не приходят, только огорчают друг друга, и исчезает призрачный собеседник Полуянова, на радость читателю оказывающийся пьяным, ибо такие споры в трезвом виде в Отчизне нашей не приняты. Мало этого — оппонент приходил из села, которое сторело лет восемь назад. К чему явился Полуянову, обретшему покой здесь, при-

зрачный знаток России, этого по его словам, «царства справедливости, «откуда выход» или в эмиграцию с корабля — шмыг! Или вон как ты — на природу бежать, или как хозяйка твоя прежняя петлю под потолок, шею сунула и айда». Полуянов только стал понимать, что «этот лес и поле... это холодное живье маленького поля, это ласковое солнце, это небо, эта золотая канитель березовых листьев на ветру» бесконечны в своем постоянстве и своей смене, как и обитательницы мест, выбранных им для уединения, для *пасторали*, старухи, в жизни которых «иронии не было, а работа была». И над всем уже реет тень неназываемой катастрофы, и вестники ее возникают на «этих полях» дозиметристы.

Бардин не сообщает далекого продолжения нарисованному. Важнее всего в его книге то, что происходит сегодня, сейчас, сию минуту. Редкая способность придержать время на пространстве действия, не вспоминать, не воображать, а быть внутри, сообщая читателю именно *миг* жизни.

Сборник Сергея Бардина большой и, разумеется, не сводим к намеченным мною чертам. Сборник можно было бы назвать и пестрым. Рядом оказываются пародия на панегирический портрет а-ля ЖЗЛ («Человек года»), едва ли не очерковый «Сточенный рубль», о пользе и смысле фотографирования, приятно-легкомысленное эссе «Две столицы» и прямо-таки «женский» рассказ «Кукла Катя».

Трудная цель лаконизма видна в прозе Бардина. При неторопливой интонации автор суховат и прозрачен в слове. Будучи очевидно маргинален в современной прозе (о дальних истоках традиции можно было бы погадать, но не в рецензии), он не сторонится многих тем современности, будь то потухающая деревенька со старухами в «Пасторали», экзистенциально навязчивый мотив одиночества — едва ли не везде, или страшноватая физиология современного города, как в рассказе о первобытных нравах нынешних гастарбайтеров — украинцев и вьетнамцев в Москве («Гора Ли, река Че»). Разнообразен, разнообразен Бардин, а книга цельная. Отгадать причину не смог, отделаться тривиальностью, дескать, везде ощущается присутствие личности автора, внутреннее... — не хочу. Меня почему-то не раздражает прямая публицистика «Пасторали», не удивляет откровенно житковская интонация в «рассказе мальчика» «Мы везли старого человека», не отвлекает анекдотичность «Развеселого разговора». Мне понятен и дорог мир книги

Бардина, то будничны до тусклости, то полный жутких предчувствий, то ошеломляюще, осенне прозрачный, застывающий в чистоте холода.

И — книга понятна как книга, то, как она организована. В «Ломбарде» уместно отсутствие датировок. Оно не только выигрышно формально, придавая облик более книги, чем сборника, но и сообщает родственность соседним текстам, точнее сказать, придавая одновременность их порой разновременным сюжетам.

Использованные в оформлении рисунки Гарифа Басырова на первый взгляд столь же скромны, будничны, хмуроваты, как и проза Бардина. И тот же на них с невеселой насмешливостью изображен человек. У Бардина имеется все, что положено: пейзаж, отступление, авторский голос, погода, предмет, и все же главное для него портрет. Порою, чтобы не докучать читателю излишествами, оказаться с ним рядом, писатель вместо ожидаемого живописания признается, что не даст «замечательно русского пейзажа, осеннего, так что описывать ее (деревню. — С. Б.) здесь снова значило бы посягать на золото чистой пробы — менять червонное на самоварное. Проще обойтись литературной ссылкой: протянуть руку, снять с полки книгу и, полистав, с любого абзаца переписать картины русской погожей осени».

Мне так понравилась эта книга, что дегтя не набрал и ложки, и было бы интересно прочесть про «Ломбард» что-нибудь ругательное, чтобы узнать, что дурного можно накопать в прозрачной прозе Сергея Бардина.

С. Боровиков

«Мы вышли к огромной воде»: поэзия эпохи глобализации

Вадим Месяц. Час приземления птиц. — М.: МАИК «Наука» / ИНТЕРПЕРИ-ОДИКА», 2000. — 128 с. 1000 экз.

В коротком *curriculum vitae* поэта Вадима Месяца сказано: «Живет на Лонг-Айленде и в Москве». По-разному можно воспринять это заявление, в том числе и как метафору, но дело в том, что подобная ситуация становится все более характерной для нашей сегодняшней реальности, можно даже сказать, что она является приметой нашего времени. Потому что, неза-

висимо от того, нравится это кому-то или нет, сегодня мы живем в глобализующемся мире — мире, в котором происходит постепенное размывание границ — государственных, политических, экономических, культурных. Это связано с невероятно усовершенствовавшимися за последние десятилетия и стремительно продолжающимися совершенствоваться средствами связи и передачи информации, да, собственно, и непосредственно физических перемещений. Перемещаются по всему миру и перемешиваются как люди, так и идеологии, финансы, технологии и культуры.

В связи с этим во весь рост встает проблема возможности или невозможности, наряду с общими стандартами практической жизни, формирования некой общей, глобальной культуры планеты и ее сочетания с культурами локальными, национальными, этническими и т.п. Во что выльются полным ходом идущие в настоящее время процессы — в гармоническое взаимопресечение и взаимопротекание культур и постепенное проявление некоего глобального культурного поля или в непрерывные конфликты и стычки «всеобщего стандарта» с замкнувшимся в себе локально-культурным изоляционизмом? Иными словами, сможет ли «глобальная деревня» создать свой «глобальный фольклор» или нет?

Жизнь во все расширяющемся и в то же время становящемся все более тесным и обжитом мире требует игры по новым, еще плохо ведомым нам, да во многом не ведомым и ему самому правилам. Эта смена правил игры базируется главным образом на трансформации и переструктуризации мифологии, что непосредственным образом касается тех, кто работает внутри мифологии, творя ее и перерабатывая, привнося при этом в нее частный, личностный элемент своего сознания и подсознания, то есть литераторов и среди них прежде всего — поэтов. Меняются как задачи литературы, так и сама литература, в чем-то, тем не менее, оставаясь вечными и неизменными.

Именно в ракурсе этих проблем мне и интересна поэзия Вадима Месяца — поэзия в целом глубоко мифологичная и, на мой взгляд, существующая в довольно странном, уже глобализованном пространстве. В этой поэзии скрещиваются космогония и эсхатология, столкновения которых рождают молниеподобные сполохи антропогонического мифа в его современной модификации — о творении современного человека, о строении его души, о его жизни и смерти.

Одним из основных образов книги Месяца является образ «океана» («моря»), воплощающий в себе космогоническое начало мира:

*У него были плоские лбы,
наподобье налима,
он вытягивал к берегу
илистые ладони.
Его тело было настолько необозримо,
Словно солнце, рассытавшееся
на склоне.
Он купал на волнах одного
за другим великана,
Он был океан, где другого нет океана.
«SHELL BEACH»*

В поэтической системе Месяца «океан» — не только начало мира, не только «кипящая первопричина», это и пространство, соединяющее континенты, страны, миры, но прежде всего — человеческие сердца и души:

*Мы стояли с тобою
на общем большом берегу,
потому что вся суша есть остров
в сравнение с дождём
над Лейк-Меррей,
внешний остров,
живая провинция духа,
если строить пространство
в лучах превращений воды.
«ДОЖДЬ НАД ЛЕЙК-МЕРРЕЙ»*

Человек для Месяца — постоянный путник, что само по себе весьма стандартно для поэтической системы, но в стихах Месяца этот путник не столько путешествует, сколько именно мигрирует, «выбирает место» в той самой «провинции духа», где можно хотя бы на короткое время остановиться, осмотреться, самоидентифицироваться:

*Вы ушли и плутаете в сновиденьях,
Но теперь я для вас выбираю место
Средь заснеженных скал
и холмов осенних
Вместо стран и планет;
океана вместо.*

«Сердце-пастырь (Новый Брегам Янг)»

Поиск места в пространстве, «фокусирующем мир», которому уже не хватает «спокойствия круглых миров», происходит не только на физическом уровне «дачной местности с озером и невеликим поселком», но и в метафизической области, в которой «зависание душ происходит на

и глобальности. «От слишком больших чисел добра не жди. Теряется предмет речи». Его калейдоскоп составлен из веточек, обрывков бумаги, подвального окна, железного вкуса воды из латунного крана — из конкретных вещей, за которые зацепился свет. Не просто цветы, а именно увядший цветной горошек в цветочной палатке вечером 17 июля 1993 года. Расстояние равно пути — Левкин всегда доходит до предмета, подробность требует рассмотрения с минимального расстояния, отсюда — личные отношения с вещами.

И это несложно, ведь «все это пространство из земли и времени можно проехать умом за два взгляда каким-нибудь третьим глазом, и нет никого из живущих там, кого нельзя было бы за взмах ресниц понять до самых его дальних печенок». Это разговор, записанный напрямую — с шумом лифта, со звяканьем ложки в стакане, с уточнениями темы и сопутствующими жестами. Впрочем, ничего не отделено друг от друга — свет лампы на коленях подруги и вступление в город римской когорты с наяривающим на аккордеоне Катулло, — в пределах одного осеннего дня и лишь обособлено Мойкой, Фонтанкой и Крюковым каналом.

Автор предпочитает идти самой дальней дорогой. «Но что делать, только вот так: по обмолвкам, спотыкаясь на собственном непонимании, за что-то цепляясь, раскручивать действительное положение дел». Тексты чуть мистичны (на ту самую «чуть», которая проговаривается в общей теме и на которой не задерживается внимание). Их фоном становится местность, выверенная почти с адресной точностью.

По описанию пути можно составлять маршрутные карты. Все представимо, даже если и невероятно. И свалка — не что иное, как «вчера», проступающее сквозь «сегодня». И блуждание в ее «сумрачном лесу» кружит подкидыша городской чахлой природы среди привычных предметов — «осколки, щебенка, щепки, комья, тряпки». Там сама природа стремится к соединению живого и неживого. Птицы со свалки приспособляются для себя продукты распада городского сообщества. «Среди них были, вероятно, и пенопластно-железные, и цельнометаллические с эбонитовыми клювами, и птицы с дощатыми, ржаво скрипящими крыльями, прикрепленными к туловищу дверными петлями». Или это вещи обретают вторую жизнь, не зависимую от своих прежних хозяев. И постепенно «измельченный мир» свалки превращается в дантовские круги уходящего вниз ярусами книжного ушелья, dna которого не видно.

А время всегда внутри, увидеть его иначе нельзя — поэтою время тоже проговаривается, главное — успеть увидеть его в момент произнесения, потому что потом оно уже станет другим, останется с другими, а здесь выплывает глубиной треснувшей чашки. «Быстрая легкая трещинка, и все поломалось. Трещинка прошла по вертикали, как худой пограничный столб, мы уходим дальше, по горизонтали вправо: а тут какое-то время продолжает кончатся». Времени может не быть совсем, когда у каждого оно свое — всегда тикает возле уха. Поэтою и год размазан по окружности времени без стрелок, осей координат, с одним лишь знаком бесконечности в обе стороны. «Это может быть зимой, когда свет ламп примерзает к стеклам изнутри и может лишь немного отогреть то место, которого коснулся. В марте, где по сырому снегу черные шаги; в апреле, мае, июне — всегда достаточно совпадений или чего угодно, чтобы переключить счет времени». Так учатся свободе (если свободе вообще можно научиться). Так живут те, у кого «время так много, что оно длится и не кончится». И отношения между людьми, предметами, состояниями, словами, сумерками, вторником и четвергом становятся проще, стоит только подумать о них. «Все свои — живые, не живые — откликаются не то что на свист, на мысль о них». Можно изобрести изыскание о кричащих бабочках, которое, конечно же, совсем не о бабочках. «Я дам тебе голубой шарик, а ты ответишь мне розовой горошиной, тогда невзначай я подсуну тебе снова зеленый квадратик, а ты, не обратив внимания, ответишь мне не малиновым ромбиком, а белым кружком, и дело закончится серебряной черточкой между нами, и мы станем счастливы». И исчезновение тоже начинается изнутри, с пристального взгляда сквозь лупу или зеркало.

Исходная точка — середина, откуда потом можно идти в любом направлении, отсчитывая от любого времени. Все берется из длительности, которая была всегда, автор выходит из нее, оставляя событие при нем самом, вышагивает в другую продолжающуюся длительность, почти не нарушая их однородного состояния, но оставляя события в некотором недоумении — обменявшимися ролями с автором. Взгляд Левкина почти всегда повернут назад, основа — воспоминания, опорные точки — признаки определенного места или состояния — то, что нельзя придумать, но можно вообразить. А память не заставляет, а только проживает по ложенную ей

смену времен года, и начинает отдельную жизнь рядом, ориентируясь на голоса, оклики и градации темноты. Иногда реальность запаздывает, и приходится идти наугад, не зная, куда приведет бездорожье, полагаясь только на отдаленный голос, на эхо песчаной основы. «Это как поднырнуть под завал на реке — течение вынесет, сила, тебя движущая, вынесет, а не дашь себя ей на волю, опасаясь — ты же будешь пуст». И рассказывать можно о чем угодно — о народе, не имеющем ни места, ни времени; о водных знаках, просвечивающих, «если глядеть сквозь людей на свет»; о словах, вошедших внутрь человека — «все это расположение букв, звуков и слов внутри него оказывается чем-то похожим на каркас, оказавшийся то ли в печенках, то ли в грудной клетке. Сами слова и буквы забудутся, а эта штука останется».

Возникает ощущение, что сам Левкин неподвижен. Происходящее обтекает его, оседая слоями где-то внутри, может, в легких — оттуда легче выговаривается. Это он «сидит с обритой головой и пишет пальцем по воздуху о том, как он сидит на краю жесткого мексиканского неба и ждет бабочку, которая закричит и осыплет золотистой пылью его белеющее в сумерках, в испуге от ее крика, лицо». Это там — «запахи неизвестных нам сумерек», «подробности дня, ушедшего за спину». И кажется, это просто — сидеть на краю и ожидать, но «медь на вкус похожа на бинт, пропитавшийся сукровицей и йодом, она вкуса боли». Это спокойствие из того же источника, что и кричащие бабочки.

Надежнее всего думать о близких вещах — «существующие на свете вещи умеют стоять на ребре своего несуществования, на краю собственного бытия». Левкин и сам оттуда — с той самой грани между вещами и вещами, человеком и вещами, человеком и человеком. Но именно — на грани. не переступая ее, не уходя полностью в несуществование. Ожидание, когда текст сгустится, раскрутит пружину своего кружения, замаскированного под окружность, и исчезнет, «оставив легкий штришок падения и вспыхнув своей пылью на полу, или что-то иное, сухое и белое».

Левкин всегда сохраняет возможность — изменения, случайности, наблюдения, косноязычия, разговора на другом языке. «И, хоть и ерунда, да все-таки как-то что-то, хоть, конечно, и чушь собачья, но все же, все-таки не бог весть что, но хоть как-то так, потихоньку, так что, в общем, как-нибудь, ладно, будем посмотреть...»

Галина Ермошина

Летопись частного

Санджар Янышев. Червь. — URBI: Литературный альманах. Выпуск 28. — СПб.: АОЗТ «Журнал «Звезда», 2000. — 88 с.

Дебютный сборник стихов редко выглядит как итоговый. Однако с книгой ташкентского поэта Санджара Янышева «Червь», выпущенной в Санкт-Петербурге, дело обстоит именно так.

Сборник воспринимается как летопись частной судьбы, индивидуальной истории человека, испытывающей свои взлеты и падения, периоды расцвета и упадка. И подобно тому как в истории цивилизации самые солнечные и волшебные в своей недостоверности страницы — ранние, так же и в сборнике С. Янышева более всего налит светом и населен одушевленными предметами «золотой век» детства, граничащий с мифологией, а точнее — творящий мифологию собственную. Тут и «наяды-аленушки, которые на леску ловились», и зловещая Аглая, на копытах ступающая гулко под окнами спящего дома, и загадочный Ожил.

Детство для автора — не просто один из этапов жизни. Это — иная реальность, где время и пространство подчиняются особым законам. Это единственный мир, не подвластный анализу и рефлексии, сохранивший свою целокупность.

*Все взрослые тогда казались
красивыми, и колесо,
подняв на самый верх, ломалось...
в кастрюле набухла замесь,
что остроносое лицо
как форму сна перенимала.*

Гораздо позже, в «участи третьей» («участи» у С. Янышева — разделы книги), когда автор станет «на пару веков» взрослее, смерть и распад явят свое лицо. Всплывет на поверхность горной реки тело утонувшего жеребенка, и камень, на котором прежде «фосфором горели брови», в ответ на прикосновение человека отзовется «консервной жестяной трухой».

Мотив «одиссеи» — главный, сквозной в творчестве С. Янышева — вводится в книгу с первых страниц. Непосредственно автором выстроена оппозиция «здесь» («там»), нашедшая отражение в трехчастной композиционной структуре сборника, носит сколь пространственный, столь и временной характер. «Там» — детство, дом, родина поэта. «Здесь» — взросление, чужбина, утраты.

Географический отрыв героя от родины впоследствии дополняется разрывом временным, и уж он-то становится поистине трагическим и непреодолимым.

В силу утраты привычного с детства воздуха, напоенного восточными ароматами, шумом базара, родной для слуха гортанной речью, образуется некий вакуум, которым и приводится в движение «дырявый поршень» творчества, обреченный на вечное и недостижимое стремление воскресить безвозвратно пережитые краски, запахи, звуки.

«Червь» изобилует восточными реалиями: «михраб», «мазары», «су», «кадий»... — что, кстати, не так характерно для творчества других представителей ташкентской поэтической школы. Сосущая пустота заполняется словом. И каждое слово звучит как заклинание, попытка спустя годы «настроить эхолот // на непонятную родную речь».

От прочтения «Червя» рождается странное ощущение. Распахнутый перед читателем, казалось бы, настезь, выписанный до мельчайших и ярчайших подробностей авторский мир все же не становится нашим, не впускает в себя никого. Его воздух слишком терпок, слишком насыщенный сугубо индивидуальными воспоминаниями и переживаниями. Автор нередко обращается ко второму лицу, но не к нам, а поверх наших голов к только ему одному различимым теням, прописанным на дне его памяти. Кажется, он ни с кем не намерен делить выношенную под сердцем родину.

Так в стихотворении «Без нас» после отъезда жильцов «старая служанка // задривает ставни — навсегда». И не предполагается, что порог опустевшего дома переступит чужая нога — только мышам дано обживать покинутое жилище.

В «Черве» мы встречаемся с не столь уж частым в современной поэзии случаем, когда биография автора не только вплотную сближается с судьбой лирического героя, но и, по сути дела, становится на ее место, делается основной и едва ли не единственной темой книги.

По самой своей природе тема эта неисчерпаема. И с каждым годом она обнаруживает в творчестве Санджара Янышева все новые грани, все более глубокое развитие. При удалении от картин того, что было пережито на заре жизни, объект описания не исчезает из виду, наоборот: панорама их непрерывно расширяется, страницы индивидуальной истории включают всякий раз в новый, более сложный контекст накопленного душевного опыта.

Один из ведущих представителей ташкентской поэзии, С. Янышев предельно требователен к себе и своим творениям. Ценой столь жесткого подхода к плодам собственного творчества стала его первая книга стихов «Зоография», так и не дошедшая до читателя. Остается надеяться, что участь эта не постигнет ни третью, ни последующие книги поэта.

Что касается «Червя», то он, проделав долгий путь в недрах русской словесности, увидел свет заслуженно и своевременно.

Вадим Муратхаилов

Томас Манн и окрестности

Klaus Harprecht. Thomas Mann, Eine Biographie. Rowohlt Verlag, Reinbeck 1995.

Donald A. Prater. Thomas Mann. A Life. 1995 Oxford University Press.

Donald A. Prater. Thomas Mann, Deutscher und Weltbürger. Eine Biographie. Hanser Verlag, München 1995.

Hermann Kurzke. Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Eine Biographie. Verlag C.H. Beck München 2000.

К. Харпрехт. Томас Манн. Биография. Рейнбек (Германия), 1995.

Д. Прейтер. Томас Манн. Жизнеописание. Оксфорд (Англия), 1995.

Д. Прейтер. Томас Манн — немец и гражданин мира. Биография. (Пер. с англ.). Мюнхен (Германия), 1995.

Г. Курцке. Томас Манн. Жизнь как произведение искусства. Биография. Мюнхен, 2000.

Пятого мая 1945 года, на четвертый день после прекращения военных действий в Италии, из Рима на север выехал четырехместный «джип». Все, кто помнит войну, помнят и эти неказистые машины-коробочки с двумя ведущими осями. Рядом с шофёром сидел Клаус Манн, светловолосый парень в американской военной форме, писатель и корреспондент газеты *Stars and Stripes* («Звезды и полосы»). О своей поездке он подробно рассказал в письме к отцу, Томасу Манну, десять дней спустя.

Экипаж миновал Берхтесгаден, где джи-ай — американские солдаты — усердно грабили бывшую резиденцию Гитле-

ра («жалко, что я поздно прибыл, а то бы и мы поучаствовали»), и выехал на усеянную воронками бывшую имперскую автостраду Зальцбург — Мюнхен. Было утро 8 мая. Рейх капитулировал. Подъехали к баварской столице. Прекрасного города на Изаре больше не было. Весь центр от Главного вокзала до площади Одеона представлял собой сплошную груду развалин. С трудом добрались до знаменитого Английского сада, самого обширного городского парка в Европе, по мосту короля Макса-Йозефа, не разбитому бомбами, переехали на правый берег и достигли Пошингер-штрассе. К великому изумлению, выпрыгнув из машины, Клаус Манн увидел виллу своего отца: дом стоял целый и невредимый. Дом, где прошли детство и юность, откуда родители, Томас и Катя, выехали в лекционную поездку по Европе в феврале 1933 года.

Но оказалось, что уцелел лишь фасад. Все остальное — полуобвалившийся остов. Остатки комнат, камин. Это был образ разгромленного, однажды и навсегда упраздненного прошлого. Подняться на второй этаж не удалось, от лестницы ничего не осталось. Как вдруг Клаус Манн, выйдя в сад или то, что когда-то называлось садом, увидел девушку, почти подростка, на балконе своей комнаты. «Что вы здесь делаете?» Она молчала. Он повторил свой вопрос. «Я здесь живу». Она была здесь одна, ее родня погибла под обломками, жених пропал без вести в России, брат убит под Сталинградом. Она соорудила какое-то приспособление, чтобы подниматься на балкон. Клаус Манн вскарабкался наверх. «Видите, — сказала она, — здесь нечего реквизировать. Kaputt!».

Одно это слово, может быть, объясняет, почему сам Томас Манн, политический эмигрант и к тому времени уже гражданин Соединенных Штатов, медлил с визитом в Германию. Не говоря уже о возвращении. Возвращаться — куда? Между тем его ждали, его настойчиво звали. «Пожалуйста, приезжайте поскорей, взгляните на наши лица, изборожденные всем пережитым, на наши несказанные страдания... Придите к нам как добрый врач, который не только ставит диагноз болезни, но и видит ее причины», — зывал в открытом письме Вальтер фон Моло, писатель, оставшийся на родине, но сумевший не запятнать себя сотрудничеством с режимом. Именно это письмо, а не романы Моло, давно уже не читаемые, сохранило его имя от забвения. Знаме-

нитый ответ Манна хорошо известен русскому читателю.

Лишь спустя четыре года, в июле 1949 года (через два месяца после самоубийства Клауса Манна в Каннах), 74-летний нобелевский лауреат отважился посетить бывшую «столицу движения», как именовался Мюнхен при национал-социализме, — и ехал с Катей мимо все еще не разобранных, обгорелых руин со слезами на глазах. Пресс-конференция в отеле «Четыре времени года», доклад по случаю 200-летнего юбилея Гете, вежливые улыбки, цветы... Газеты писали, что Манн приехал слишком поздно. На другой день он отбыл из города, на этот раз навсегда.

Литература о Томасе Манне во много раз превосходит его собственное наследие, а оно, как мы знаем, насчитывает десятки тысяч страниц. К бесчисленным монографиям, статьям и воспоминаниям о Манне, к биографическим книгам, прочно вошедшим в обиход, прибавились в последние годы три новые биографии, из которых самая подробная, принадлежащая бывшему руководителю издательства С. Фишер (с которым всю жизнь был связан писатель) Клаусу Харпрехту, — фолиант толщиной в 2250 страниц, а самая короткая — Германа Курцке — немного не дотягивает до семисот страниц. В газетных рецензиях, сопроводивших появление этих кирпичей, задавался вопрос: зачем нужны все новые биографии?

Ответ может быть двояким. «Когда человек умирает, меняются его портреты». Биография писателя, даже самая строгая и беспристрастная, есть производное не только его ушедшей жизни, но и последующего времени. Согласившись с Ахматовой, придется добавить, что перемена продолжается, время неустанно работает над посмертным обликом писателя. Время стирает ненужное и высветляет то, чего вчера еще не замечали.

В свою очередь, научное исследование отыскивает новые свидетельства, отпирает сейфы и взламывает сургучные печати. Достаточно указать на сенсацию последних десятилетий — открытие дневников Томаса Манна. Именно они — хотя далеко не только они — образовали корпус новых материалов, на которых в большой мере основаны три новые биографии.

История создания этих дневников, их частичной гибели и сохранения оставшегося подробно изучена, здесь можно сказать о ней совсем кратко.

Томас Манн начал вести дневник гимназистом в Любеке. Последняя запись

сделана за три недели до смерти, летом 1955 г., писателю было 80 лет. В 1896 году (21 год) он сообщил из Мюнхена в письме к одному приятелю, что сжег свои дневники. Писание дневника, однако, продолжалось: каждый вечер, изредка с небольшими перерывами. Спустя полвека все повторилось. В саду позади своего дома в Калифорнии он бросил в печку для сжигания мусора не менее пятидесяти толстых клеенчатых тетрадей (В том числе, по-видимому, и то, что с великим трудом удалось в 1933 году вырвать у гестапо и переправить за границу.) Свидетелем варварского акта был его младший сын Голо, впоследствии известный немецкий историк. Кое-что, однако, уцелело -- записи 1933–1934 годов. Начиная с 1940 года -- в это время супруги Манн уже находились в Америке, -- дневник сохранился полностью.

Три пакета, перевязанных шпагатом, запечатанных сургучом, с надписью рукою автора: «Литературной ценности не имеют, никому не вскрывать ранее, чем через 20 лет после моей смерти», были помещены на хранение в швейцарский банк. Позднее к ним прибавился четвертый пакет с аналогичной пометкой дочери и душеприкащицы писателя Эрики -- вскрыть после 12 сентября 1975 года. Публикация тщательно откомментированных дневников, все в том же издательстве С Фишер, была начата в конце семидесятых годов. Сейчас это череда пухлых томов, которую дополнила обширная -- несколько тысяч -- коллекция писем.

Биография, сказали мы, преобразуется со временем. Три жизнеописания, два немецких и английское (за ним последовал немецкий перевод), появились одно за другим, но и они не повторяют друг друга, а скорее напоминают зеркала, стоящие под разными углами, одно ближе, другое дальше. Харпрехт, автор самой подробной книги, демонстрирует чудовищную эрудицию, стремится включить в рассмотрение все, что известно о его герое, до ничтожных мелочей, не обходя вниманием и не вполне достоверные свидетельства, -- обследует, так сказать, всю окрестность. Эскурсы в культурную и политическую историю века, эпоха последнего кайзера, Мюнхен времен Регентства, две мировые войны, Веймарская республика, нацистский переворот и Америка, давшая приют немецким эмигрантам, -- все это включено в панораму, похожую на огромную мозаичную картину; в результате жизнь «последнего монарха немецкой литературы» предстает в необозримой полноте, но единого и художе-

ственно убедительного образа не получается. Англичанин Прейтер, прежде опубликовавший биографии Рильке и Стефана Цвейга, опускает малозначительные подробности, он осторожней в отборе материала, сдержанней в своих оценках; во всей книге чувствуется стремление освободиться от давящей власти священного авторитета. Автор даже не уверен, многие ли сумеют сказать классические романы Томаса Манна читателям XXI века. В целом обе книги более или менее следуют канонам документально-биографического повествования.

Иное дело Курцке. Биография построена необычно. Разделы книги (бесспорно, самой интересной из всех трех) выстроены в хронологическом порядке и открываются кратким перечислением событий жизни героя за указанный период. Но этим, собственно, биографическая канва ограничивается. Основное содержание разделов образуют тематические главы. Они посвящены членам семьи, взаимоотношениям с друзьями и коллегами по ремеслу, психологии писателя и человека, наконец, его таинственной интимной жизни. И тут надо вернуться к дневникам.

Томас Манн, много и охотно писавший о себе и собственном творчестве, стилизовал свою жизнь. Преодоление этой стилизации -- одна из труднейших задач биографа. Выросший в бюргерской среде, Томас Манн сам являл собой образ бюргера. За этой кулиской скрывались его тайные помышления и страсти, его тоска, растерянность и душевный хаос. Будучи рафинированно-интеллектуальным писателем, творцом иронически дистанцированной, рефлектирующей, аналитической и объективной прозы, он всю жизнь оставался романтиком, ein Deutscher durch und durch, как говорит о нем один из биографов, -- немцем с головы до ног. Всю жизнь над ним склонялись тени Шопенгауэра, Вагнера и Ницше; всю жизнь он оставался верен своим темам. «Жизнь» и «дух», гений и болезнь, тяга к смерти, музыка. «Смерть в Венеции», вещь, написанная в раннем периоде, и «Доктор Фаустус», последний крупный роман, который он называл своим «Парсифалем», -- вот подлинные автобиографии его души.

Может возникнуть впечатление, что Герман Курцке, уделивший в своей книге особое и пристальное внимание гомозотизму Томаса Манна и даже поставивший гомосексуальное наваждение, каким оно впервые предстало при чтении дневника, в центр своих психологических штудий, повлекся за модой. Но это не так. Био-

графия убеждает, что без этого наваждения, не оставившего писателя буквально до последних дней, никогда не реализованного, не было бы и того художника, которого мы знаем.

«Разоблаченная» биографами, жизнь писателя сызнова становится символически-репрезентативной, примерно так, как он представил ее в образе принца Клауса-Генриха в романе «Королевское высочество». Зов хаоса и соблазны эстетизма и национализма, противостояние варварству, изгнание, смертельная опухоль легкого, развившаяся во время работы над «Фаустусом», победа над болезнью, возвращение в Европу — разве это не эпизоды какого-то нового мифа о творчестве?

Томас Манн завершил эпоху буржуазного романа. После смерти Толстого не было более мощного эпического гения; по грандиозности замыслов возле него можно поставить разве только Пруста и Музиля. Пустота, которая образовалась после его ухода, едва ли может быть заполнена. С Томасом Манном доносится до нас дыхание европейской эпической прозы, постепенно угасшей во Франции, в России и, наконец, в странах немецкого языка, чтобы окончательно отойти в прошлое после Второй мировой войны. Попытки воскресить ее были обречены на неудачу

Борис Хазанов

Россия — между серпом, рублем и молотом

Анатолий Вишневский. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. — М.: Объединенное гуманитарное издательство, 1998. — 430 с.

Anatoli Vichnevski. La faucille et le rouble. La modernization conservatrice en U.R.S.S. Traduit du russe par Marina Vichnevskaja. Paris, Gallimard, 2000, 465 p.

В столь же извечном, сколь и бесконечном споре о путях и судьбах России прозвучал еще один спокойный и уверенный голос. Это голос Анатолия Вишневского — одного из авторитетнейших российских демографов и социологов. Десятилетия занятий советской и российской демографией вывели ученого на более общую проблему эволюции и природы рос-

сийско-советской государственности и общества как некоего логического целого. Итогом этих занятий и стала книга «Серп и рубль» — монументальное историко-философское полотно, своего рода *ars sovietica* — концептуальный портрет СССР на фоне России, Германии и других ключевых стран.

Закономерно, что книга увидела свет на самом излете столетия, когда потребность в осмыслении прожитого за век возросла необычайно. Больше всего в ней поражают даже не впечатляющий объем и насыщенность, а степень той интеллектуальной фильтрации, которой они подверглись, и та концентрированная строгость и систематичность, с какими они изложены.

Но что же вкладывает автор в вынесенные на обложку понятия?

«Серп» — это земля, это вековой патриархальный уклад старосермяжной крестьянской России, постоянно толкающий ее назад (или, что то же самое, — не пускающий ее вперед) и с завидным постоянством ставящий ее в вечное положение ведомой или догоняющей. «Рубль» же — выражение рыночных, товарно-денежных отношений, неумолимо вытесняющих и разъедающих «серп»: а ржавый серп уже не инструмент, а реликвия, хоругвь.

На кратком отрезке между отставлением столыпинских реформ и началом Первой мировой войны Россия оказалась страной накануне краха, обществом — у последней черты.

Недостатка в спасителях и в прописях, впрочем, тоже не было, но все рецепты объединялись одним — утопичностью и невыполнимостью. Крайними «полюсами» были леонтьевское охранительство («даешь серп, долой рубль!») и милюковское ниспровергательство («долой серп, даешь рубль!»), а общей устремленностью — мечта соединить все плюсы и обойтись без минусов этих полюсов, найти их какое-то гениальное сочетание. Примерами могли послужить как идиллические концепции славянофильства и народничества, так и сценарий большевистского социалистического эксперимента, предусматривавшего замену «серпа» на «молот», и, по возможности, без участия «рубля».

И все-таки, по А. Вишневскому, на конкурсе утопий в 1917 году ленинский проект победил не случайно. И взял он не только своей тактической беззастенчивостью и нахрапистостью адептов, но и стратегической привлекательностью и кажущейся реализуемостью (ну что же невозможного в экспроприации эксплуата-

торов и в справедливой, по науке, доле всего ими «награбленного»? В таком понимании большевики — пусть и не самая большая из партий и не самая легитимная из властей, — а все-таки выражали чаяния значительной части населения. Они не столько изнасиловали российское общество, сколько вступили с ним в гражданский брак — безо всякой любви, но по молчаливому взаимному согласию и расчету. Брак, в котором здоровых детей не было, но расторгнуть который оказалось уже нельзя.

Экономический расчет победителей состоял в насильственном переделе собственности как в городе, так и в деревне — переделе в пользу более эффективных, как они считали, «менеджеров»: государства в промышленности и крестьянства в аграрном секторе (по эсеровской модели). Захватив власть, большевики дружно повели дело к ускоренной индустриализации, и споры в их лагере касались лишь способов и скорости ее достижения. Зато почти не спорили об источнике: на закланье оставались одни лишь крестьяне, на минуточку и на откорм раскрепощенные (и в этом соль удачно найденного образа — «автомобиль на конной тяге»). Все предлагалось регулировать посредством централизованного планирования, причем рубашка централизованности была явно ближе пиджака плановости.

Политически это прикрывалось самоотжествлением государства с обществом (а на деле являлось поглощением первого вторым), да и сама химера рабоче-крестьянского государства служила эвфемизмом к классовому, а точнее — партийному самодержавию, быстро дрейфовавшего к культу авторитарной личности. Отсюда — и тот интеллигентный термин-оксюморон, который А. Вишневский предлагает для этого малоинтеллигентного процесса — «консервативная революция», или, еще мягче, «консервативная модернизация».

При всем кажущемся темпераменте и крутизне большевиков скрученное ими в бараний рог общество оказалось неоплодотворимым: государственно-капиталистическое развитие, по Ленину, обобществленных производительных сил отказывалось, вопреки Ленину, размножаться в неволе социалистических отношений. Сочетание технологической революционности и социальной архаики далеко не вывозило, и вся большевистская модернизация, по большому счету и практически на всех осях, оказалась незавершенной, а точнее — незавершимой.

Собственно книга «Серп и рубль»

состоит из двух частей и десяти глав. Первая часть названа — «Время незавершенных революций», а часть вторая, озаглавленная «Агония империй», характеризует бремя тех же самых незавершенных революций.

Что за революции (да еще во множественном числе!) имеет в виду автор?

В сущности, это не протоки единого русла, а разные структуры общесоветской консервативной революции как системы. Они обладают при этом ярко выраженными индивидуальными чертами, что и позволяет рассматривать их по отдельности. Всего таких структур, или, по А. Вишневскому, революций, — пять, каждой посвящено по главе и к каждой подобраны выразительные образные дефиниции, характеризующие их суть. Экономическая революция — это «автомобиль на конной тяге», урбанистическая — города без горожан («бурги без буржуа»), демографическая и семейная — «демографическая свобода в несвободном обществе», культурная — «соборный человек с университетским дипломом» и, наконец, политическая — «маргиналы у власти».

Вот, например, глава «Городская революция: бурги без буржуа», трактующая вопросы превращения России из сельского общества в городское. «Именно урбанизация стала... центральным звеном модернизации советского общества» (с. 78). Вместе с тем впечатляющие, поистине революционные успехи роста городского населения и сети городов в СССР во многом оставались чисто количественным достижением и артефактом. Их внешнему масштабу не соответствовали ни уровень интенсивности городской жизни, ни тем более уровень зрелости и качества городской среды. По существу, многие городские поселения на деле оставались гипертрофированных размеров селами и в урбанистическом отношении были фикцией. Среди формально городского населения велик был процент маргиналов-аграриев, не только не порвавших с деревней, но и относивших себя к селянам.

Коренной особенностью другой революции — демографической и семейной — был ее априори человеческий масштаб: она творилась не в разрезе страны или поселения, а внутри каждой ячейки общества — семьи. Модернизация смерти, модернизация рождаемости, сексуальная и семейная революция — все эти общемировые и универсальные вехи, или оси, основополагающего демографического комплекса; — наталкивались в советской действительности на ту или иную форму со-

противления себе, торможения, а подчас — и прямого государственного запрета. Каждая советская семья как бы индивидуально реагировала на демографическую или семейную политику пребывающего в перманентном кризисе государства.

То же самое противоречие — несоответствие замаха и степени зрелости — прослеживается автором и на примере других революций — экономической, культурной и политической.

Вторая часть книги — «Агония империи». Рассматривая «поступь» российской империи — этапы и векторы формирования российско-советского имперского пространства и подчеркнув традиционно имперские традиции советского строя, автор рассматривает советский период российского империализма одновременно как отчаянную попытку выхода из кризиса (через консервативную модернизацию) и как углубление этого же самого кризиса. Его анализ показал, что каждая из пяти структур модернизации повсеместно — «от Москвы до самых до окраин» — оказалась незавершенной, а в среднеазиатском макрорегионе модернизация по-советски уткнулась в настоящий тупик. Распад СССР был для многих болезнен и неприятен, но это — закономерное разрешение кризиса декоративного федерализма по-советски: интеграционный потенциал советского империализма оказался на удивление слабым и неконкурентоспособным против вышедшего из подполья национального и сепаратистского сознания. Однако крайне существенно и благоприятно, что это был мирный и не кровопролитный выход из кризиса: незавидный пример Югославии наглядно показал, что бывает, если любимая метрополия сопротивляется. В низвергнутом же СССР все баталии развернулись позднее и не между метрополией и бывшими колониями, а между ними самими или внутри них.

В этой связи примечательна заключительная глава книги — «Империя и мир». После поражения СССР в «холодной войне» и его распада Россия, по А. Вишневному, оказалась перед сравнительно небогатым, но все же выбором геостратегических сценариев. Первый — это возвращение в Европу и замыкание собой северной оси во взаимоотношениях «Север—Юг». Второй — так называемый третий русский империализм с В. Жириновским в качестве рупора и А. Дугиным в качестве идеолога; не было бы ошибкой назвать этот вариант имперско-реваншистским, но в плане внутренней политики это не что иное, как изоляционизм. Тот

же изоляционизм положен в основу третьего из сценариев, названного «Островной утопией»: империя умерла, но Святая Русь уцелела, закроем же ее границы и предадимся молитвам, поджидая, пока либерализм и ислам перегрызут друг друга глотки (тут геополитика проходит скорее по ведомству министерства внутренних дел, а не иностранных, почему, перед лицом китайской и исламской угрозы, и предлагается укреплять свои восточные рубежи и перенести столицу в Новосибирск). Четвертый путь — это создание в том или ином виде Евразийского союза на пространстве нынешнего СНГ. К нему, очевидно, склоняется и сам Вишневецкий, пишущий: «Логика истории... не упраздняет логику географии. Все постсоветские страны никогда не смогут войти в Европейский Союз, им поневоле придется подумать о создании чего-то подобного на своем собственном географическом пространстве» (с. 475).

Выводы, к которым приходит автор, и грустные и суровы, но, как ни странно, оптимистичны. Иного выбора и пути, нежели тот, которым она прошагала, у России в XX веке не было. Даже если бы в Гражданской войне победили не красные, а белые, они достаточно скоро вышли бы на ту же столбовую дорогу, что и большевики. И если, как полагает А. Вишневецкий, сверхзадачей столетия для России было не перегнать ведущие страны, а всего лишь сократить разрыв, — то с этой задачей она, пусть не блестяще, но справилась.

Из этого читатель может сделать вывод (сам А. Вишневецкий выражается более осторожно): никакого такого о с о б о г о пути у России не было. Если и была у нее некая сверхспособность, то именно в консервативной любви к тормозному визгу — в попытках сознательного или бессознательного торможения истории на некоем достаточно универсальном для свободно развивающегося общества пути.

Это и вело к тому, что Россия (или СССР) всегда была в отстающих или догоняющих. Но бывало и хуже. Иногда уже не просто торможение, а блокировка колес истории приводила Россию, как, например, в 1917 году, к утрате контакта с дорогой, потере управляемости и к тому страшному социальному взрыву, что в просторечии именуется революцией.

Грязевой сель революции поработал на славу: он смыл и смел не только монархию, но и буржуазную республику, а со временем привел Россию к самоизоляции и редкостному социальному урод-

ству -- росту производительных сил при полном угнетении человека и уничтожении личности.

При объективно-эндогенном (излюбленном автором «Серпа и рубля») взгляде на вещи страна все равно проехала на этой смеси достаточно большое расстояние вперед. Но -- «...какую бы часть осуществленных перемен мы ни взяли (имеются в виду пять перечисленных осей модернизации: экономическая, урбанистическая, демографическая, культурная и политическая. — П. П.), в каждом случае, после короткого периода модернизационные... цели вступали в противоречие с консервативными социальными средствами, дальнейшие прогрессивные изменения оказывались блокированными, модернизация оставалась незавершенной, заходила в тупик. В конечном счете, это привело к кризису системы и потребовало ее полного реформирования» (с. 418).

Однако, если сменить ракурс и взять глобальный и всемирно-исторический (то есть экзогенный) план, то время существования СССР смотрится не догоняющим отставанием и не топтанием рывками вперед, а скорее выпадением России из европейской модели истории — не буксующим колесом, а времяпрепровождением в кювете в ожидании того, когда то ли болото просохнет, то ли кто-нибудь из пролетающих мимо притормозит и попробует тебя из грязи выдернуть.

Пока что требуемого капремонта политической системы не наблюдается, зато в наличии чекистский реванш, централизация властной вертикали и воссоздание других условий, способствующих производству тормозного визга. Не наблюдается на постсоветском пространстве и реальных, идущих снизу, интеграционных процессов: зато все чаще — разговоры о введении визового режима между странами СНГ.

И все-таки исторические, географические и политические основания существования России объективны и с распадом СССР вовсе не изведены. Именно отсюда — тот неожиданный (хотя и сдобренный горечью) оптимизм, который неисповедимо излучает эта мощная книга.

А покамест -- прощай, столетие, прощай, двадцатый век! Все позади — и «летней стужа», и «скрипучий поворот руля», и «аравийское крошево», и «нюренбергская пружина»!

Дай бог потомкам столетия полегче.

Павел Поляи

От межкультурья к межкультурной коммуникации

С.Г. Тер-Минасова. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2000 — 624 с.

В сентябре 2000 года на книжной ярмарке на ВВЦ состоялась презентация книги декана факультета иностранных языков МГУ профессора С.Г. Тер-Минасовой «Язык и межкультурная коммуникация». Народу у стенда собралось много, причем самого разного. Выступления, вопросы, «реплики из зала» — все это продолжалось долго. Даже бесплатное шампанское вызвало меньший интерес, чем обсуждение книги.

На первый взгляд, было странно, что какая-то загадочная для абсолютного большинства честных граждан (близко знакомых с рекламной Асей, но совершенно незнакомых с «Асей» тургеневской) «межкультурная коммуникация» вызовет такой неподдельный интерес в огромном павильоне, где в то же самое время, скажем, раздавал автографы Генрих Боровик или можно было ознакомиться с новейшими бестселлерами по астрологии и детективами. Но интерес был. И он легко объясним: по сути дела в России появился первый фундаментальный учебник по популярнейшей в нашей стране специальности, которая раньше называлась «иностранные языки», а теперь называется «лингвистика и межкультурная коммуникация».

Почему же сменилось название специальности и потребовался новый учебник?

Потому что изменилось время. Новое время — новые книги.

Когда смотришь советские фильмы т.н. перестроечного периода, фильмы о «долларах», «фирмах», дефицитном баночном пиве и прочих сладких атрибутах новой жизни, то удивляешься их (фильмов) наивности значительно больше, чем наивности каких-нибудь «Кубанских казаков». А ведь времени-то прошло совсем немного. Не успели, как говорится, дети подрасти.

Все произошло стремительно, как в ускоренной киносъемке. Причем съемка явно проходила в тумане, когда никто не знает своих ролей. Вообще совершенно неясно, «куда несет нас рок событий». Что снимаем и зачем. И надо ли.

Россия, распахнувшаяся для других культур и языков в середине 80-х — начале 90-х годов, была нелепа, восторжен-

на и трагикомична, как человек, впервые попавший за границу. Я заметил, что в этой ситуации человек обычно выглядит еще нелепее, чем в ЗАГСе. А уж нелепее, казалось бы, некуда.

Можно сказать, Россия стояла на распутье. Можно сказать и по-другому: она попала (или впала) в межкультурье. Бывает межсезонье, межгорье. Межбровье, наконец. А бывает межкультурье. Не хочется называть эту ситуацию бескультурьем по аналогии с безвременьем. Все-таки Россия — страна очень и очень культурная. Кстати, посмотрев по-настоящему мир, убеждаешься в этом лишний раз.

Курьезы в эпоху межкультурья соседствовали с трагедиями. Думаю, трагедий было больше.

Например, один блестящий специалист по Древней Греции на седьмом десятке впервые попал в Грецию. Раньше его не пускали. Разумеется, прямо из аэропорта помчался в Афинский музей, нашел курса со знаменитой «архаической улыбкой». Заплакал от чувств. Встал напротив курса в его (курса) стойку, так же сжал кулаки, зеркально улыбнулся мраморному юноше его же улыбкой и — умер от разрыва сердца. История реальная. Ведь это страшно, если задуматься: сердце человека не выдержало реального свидания с тем, чему он благоговейно, хотя и заочно посвятил всю жизнь.

Смешного, даже фарсового тоже было немало. Я сам был свидетелем того, как один русский пожилой турист метался по Колизею в поисках, простите, туалета, задавая итальянцам весьма туманный вопрос: «Уэа ист уборная, мсье?». Иногда «уборную» он заменял «отхожим местом», но это не помогало. В этой фразе сразу четыре языка (и культуры) вопрошали пятый (пятую) о накипевшем. Кончилась история трагикомически: туалета в Колизее не оказалось. Может быть, он был закрыт. Это, кстати, к вопросу о культуре.

Незнание культуры бывает подчас опасней незнания языка. Один из наших экс-министров иностранных дел в некоей арабской стране взял и искупался в море совершенно нагишом прямо под удивленными взглядами арабских товарищей. Министр хотел продемонстрировать удаль, а в результате оскорбил арабов, ибо для арабов видеть чужое голое тело — это оскорбление. Переводчик у министра работал отменно, а вот азав местной культуры министру никто не разъяснил.

И вот к середине 90-х годов стали более-менее очевидны три вещи: 1) чтобы не остаться в дураках, надо уметь правильно

но, грамотно общаться с носителями других языков и представителями других культур; 2) чтобы общаться, надо учить живые языки (потому что, например, общаться с современным британцем, даже выучив наизусть все пьесы Шекспира, нельзя); 3) учить языки, даже самые живые, совершенно бессмысленно, если учить их вне контекста соответствующей культуры (значит, без Шекспира все-таки не обойтись — диалектика).

Все это, казалось бы, ясно и просто — но как раз очевидные вещи, как показывает история, даются миру с особым трудом.

Вырисовывается триада: общение (иначе говоря — коммуникация), язык, культура. Вот и получается — «лингвистика и межкультурная коммуникация», т.е. «общение между культурами через язык» (иначе: «языки и межкультурное общение» или «культура общения на языках»). А что такое «иностранные языки»? Лишь один элемент триады. Язык как «вещь в себе». «Сам себе язык». Поэтому и сменилось название специальности.

Книга С.Г. Тер-Минасовой — подробный, но увлекательный рассказ о том, что же все-таки такое «лингвистика и межкультурная коммуникация», эта новая специальность, утвержденная министерством в 1996 году, которую уже сейчас осваивают тысячи студентов. А скоро будут осваивать десятки и сотни тысяч.

Книга появилась вовремя, именно тогда, когда в целом страна начинает переходить от «наитийного», стихийного межкультурья к осознанному межкультурному общению. Одно из основных достоинств книги — это то, что она написана понятно. Дело в том, что многие современные исследования в области теории межкультурной коммуникации написаны настолько умно, что читать их не хочется, а иногда, даже если и хочется, — невозможно. «Зело темно», — как написал В.И. Ленин на третьей странице гегелевской «Феноменологии духа». Появление новой дисциплины — это всегда повод к безудержному терминотворчеству. Как однажды сказал ныне покойный профессор Ю.В. Рождественский об одном модном культурологе: «Коллега очень умен, но его обуюло терминобесие».

Книга С.Г. Тер-Минасовой никаким «терминобесием» явно не грешит. Ко всем ключевым терминам (язык, культура, коммуникация, антропология и т.д.) сразу даются четкие определения. Ясность, сжатость, энергичность, даже афористичность (вспоминаются знаменитые индийские

«сутры») стили книги делают ее вполне доступной каждому и легко запоминаемой. Ее просто интересно читать. Даже если ты не лингвист, а шахтер или повар. Сложные вещи в учебнике объясняются просто. Простые вещи, на которые, как говорится, глаз замылился, обретают новую жизнь, освещаются новым светом, «остранняются», выражаясь термином Шкловского. Например, роль улыбки в национальной культуре. Вроде бы, мелочь. Но, как показано в книге, не улыбайся Горбачев во время своего первого визита в Британию, судьба мира могла бы сложиться иначе. Или: роль громкости голоса в культуре. Тоже мелочь. Но если вы громко будете говорить с тайцами, они на вас обидятся. Нельзя на тайцев повышать голоса. Подобных примеров и их анализов в учебнике приводятся сотни. Кажется, судьба учебника predetermined. Он будет цитироваться и всячески эксплуатироваться. Остается пожелать, чтобы коллеги все-таки ссылались на первоисточник. К сожалению, не все коллеги это делают.

Кстати, и сама книга с ее стилем, композицией, даже синтаксисом, как мне кажется, — не только плод личного творчества автора, но и непосредственный продукт взаимодействия культур.

С.Г. Тер-Минасова — изначально — англист (с, мягко говоря, широким кругозором в самых разных областях гуманитарных знаний). А это значит, что она не могла не находиться под глубинным, «архетипическим» влиянием Свифта, Диккенса, Твэна, Милна, Кэрролла, Хемингуэя и многих других англоязычных классиков, и британских и американских, прочитанных, разумеется, в подлиннике. И классиков науки тоже. Благоприятное влияние англоязычного духа на русский язык уже отмечено. В частности, Бродским, Довлатовым, Лосевым. Раньше русский язык, в том числе язык науки, часто был языком

гирлянд из придаточных, монструозных нагромождений причастных и деепричастных оборотов. Уходя в анфилады предложений, читатель рисковал остаться там навсегда. Англоязычная лапидарность, лаконизм, доходящий до знаменитой хемингуэевской телеграфности, действовали на русский стиль отрезвляюще. Освежил пашу экзистенциально-похмельную угрюмость и трезвый британский юмор. Виннипуховский здравый смысл покорила Россию раз и навсегда.

Я бы сказал, что в учебнике С.Г. Тер-Минасовой «русский дух» соединился счастливым браком с духом (духами) англоязычных культур. Учебнику этот брак явно пошел на пользу.

И здесь нельзя не вспомнить учителя С.Г. Тер-Минасовой — легендарного филолога О.С. Ахманову. Это была русская (до мозга костей) аристократка (тоже до мозга костей), у которой, тем не менее, природные англичане учились правильному английскому произношению. Что, впрочем, не мешало О.С. Ахмановой владеть десятком других языков. Афоризмы О.С. Ахмановой, исполненные в каком-то неуловимом уайлдовско-вольтеровско-щедринском духе, ходят по университету и по Москве до сих пор (например: мужчина-филолог — не мужчина, женщина-филолог — не филолог и т.п.). Это была личность, в рамках которой межкультурная коммуникация блестяще состоялась. Причем задолго до появления термина. В конечном счете не общество, не сословие, не профессиональный цех, а именно Личность синтезирует в себе культуры и языки и — заражает этой энергией синтеза окружающих.

Думается, что межкультурная коммуникация состоялась и в личности и в книге С.Г. Тер-Минасовой. Потому что настоящей книги без Личности автора не бывает.

Владимир Елистратов

ВЫСТАВКА

Какой бывает тишина

«Взгляд мужской и взгляд женский», живопись, галерея «На Песчаной», 17 ноября — 12 декабря 2000 г.

Быть может, он и не останется без ответа, этот вопрос: когда творит истинный ху-

дожник, какой особенностью обязан он (и обязан ли вообще) человеческому полу, в котором воплотился? И речь не о мужском и женском начале некоего цельного духа, в итоге, вероятно, бесполого: *внутренние* соотношения разнообразны, как рисунки на пальцах, и можно легко обмануться, если имя-подпись случайно ока-

жется стертым, затушеванным, разведенным или попросту непропечатанным... Но когда ничего не случится, и нужные буквы перед глазами, а тем более если соблазном в памяти «живой лик», мы подспудно сопоставляем, ассоциируем, придираемся, подключаем недорогой нарциссичный «психоанализ», и вот нам уже кажется, что что-то, да, вот, это, похоже, именно оттого, ну, конечно!..

Ахматова не хотела, чтобы ее называли поэтессой, но она никогда не скрывала в стихах себя-женщину. Интересно, трудно было бы отыскать «женский» след без ее «подсказок»? Мы ничего, по сути, об этом не знаем — ни о следах, ни о подсказках. Самое большое, что мы можем, — чувствовать эти *начала*, усиленные, разве что, полем биологическим. В чем они себя проявляют, сказать невозможно, если вздумаешь объяснить осмысленно или, напротив, мгновенно, по первому импульсу интуиции. Когда есть гении обоих полов, количественный фактор беспомощен что-либо доказать или опровергнуть. К талантам придираются смелее, да ведь тоже, кажется, напрасно.

Но если подберется однажды ответ и на этот вопрос, не поручусь, что вот тогда он не окажется лишним для тех, кто его искал.

Вероятно, за прозрачную условность нужно принять название выставки «Взгляд мужской и взгляд женский» — она открылась 17 ноября в галерее «На Песчаной». Два художника, связанные творчеством и жизнью, все-таки остановились на этом названии, а значит, и мы ему подчинимся, в каком угодно толковании. Женщина не побоялась вынести в заглавие свое родовое и, увы, до сих пор непрестижное имя, не побоялась вынести его в *сопоставлении*.

Упорное, нарочитое чередование «мужских» и «женских» картин в какой-то момент сбило и меня именно на *такое* сравнение. Устав осуждающе рефлексировать, я оставила себя в этой несвободе. Но «взгляд мужские и женские» сменились скорее, чем я ожидала, взглядами двух разных художников, только и всего; можно было забыть о дыхании.

Просмотр экспозиции начался «неправильно», не с «начала» — ни справа, ни слева — а с осени Сергея Клишина. Это были картины, которые «отплывали», и мне захотелось успеть с ними. Я не думаю о школах, лишь об ощущениях. Схожее чувство вызывали у меня когда-то

пейзажи Сислея — однажды взглянув, ты плывешь, и вот не то чтобы глядя на них, мимо них, а с ними, в них, мимо чего-то необязательного, что присутствует где-то поблизости и пытается, но все же не имеет значения... Картины часто звучат, но и «Осенняя тишина», и «Царицынская осень» бесшумные, немые, воплощенно осенние. Они не притягивают внимание — втягивают всего целиком, мягко, но стремительно, не встречая вовсе сопротивления, как тот, уже недетский взгляд с картины «Уходящее детство»... Потом, когда узнаешь, что ты вновь по *эту* сторону, припоминаешь ознакомительный стенд и, не будучи искусствоведом, доверяешься профессионалам-составителям, по-ученически соглашаясь: да, выразительная, фактурная манера письма, конечно, передача сложного состояния фактуры, все, пожалуй, так и есть; от себя добавляешь, что не так важна перспектива, а то и совсем не важна, важны зато цвет и свет, и что-то еще, в который раз в сознании задрожит имя импрессионизма, смущенного нашей вековой мучительной любовью, и вернется то утро, когда в кассе ЦДХ, на обложке красивого журнала, слева, от нечего делать взгляд выхватил заголовок: «Русская душа импрессионизма», и машинный безалаберный ответ изнутри: «мне тоже так всегда казалось», не зная, о чем, собственно, они там, но и было, и есть — неважно, мироощущение и манера не наглухо, но глухо связаны, и что от манеры, а что от той «души», мне можно не отвечать, я рядовой посетитель, счастливый своей безответственностью, но *это* — есть.

Манера именно откровенней в крымских пейзажах Клишина. Елена Ширенина работает иначе, но южные ее картины сопоставимы в этом с вещами Клишина. Ее Крым рядом, перемежаясь, усиливая или удваивая созвучие названий. Здесь у нее главенство цвета, у Клишина — света. Средневековые крепости, армянская церковь и белые церкви Карантина, рыбацкая бухта, пристань, Карадаг, и древняя Феодосия — улочки, домики, камни... Одинаковые названия картин Сергея Клишина и Елены Ширениной — дело обычное. Возможно, это прием, но и очевидное стремление как можно меньше *называть*, отсюда — и проще. Названия не раскрывают, лишь сопровождают, потому банальности не боятся. Это свойство классической живописи: она редко нуждается в их комментариях. Но есть в них свои ключевые слова, одно из которых, на двоих одно, — дворик. Едва ли не чаще остальных встречается оно в названиях. Феодо-

сийские и старомосковские — дворики, уголки, подворья, неожиданно разные под общим именем и в тесном соседстве; тут-то в пору вспомнить о взглядах, их особенность обострена на едином «объекте». У Клишина сама улица, домики «в полный рост», у Клишина стены, а купола его церквей — если не ввысь, то в единстве с целым строением; утонченность цветовых сочетаний тоже — его. А вот булыжник и черепица крупным планом на крохотном холсте, «Фрагменты» то ли дома, то ли улицы короткими широкими мазками; крыши, а не стены. Крыши и купола «сами по себе», не открытость, а спрятанность, потаенность, — это Ширенина. Цвета ее раскованно насыщены, там, на стенде, было и об «условности колористики», перенесенной в станковую живопись; похоже, это тот случай, когда иная, пусть и смежная, профессия помогает *оформить* дарование. (Сергей Клишин тоже признавался, что опыт реставратора открыл ему особые секреты смешения красок.) Художник-орнаменталист попробовал писать маслом, и вскоре ему удалось не только означить свое творческое пространство, внутри которого нежат эмоцию и фантазию, но и сделать так, например, чтобы сказочные эльфы легко ужились с нашей осенью, весной и даже зимой, чтобы мы удивились чуть позже художнику, а не этим эльфам в «Сказках осени», чтобы искали их даже в «Вербе», когда там их вдруг не окажется, чтобы не поверили, что малыш, стоящий с саночками «На поляне» спиной к нам, и те двое, что «Перед Рождеством» уже довольно далеко шагают по снегу, взявшись за руки, в ярко-фиолетовой ночи, в своих курточках с капюшонами, а капюшоны с «кисточкой» и слегка приспущены, — что они просто так, малыши.. Фантазийные картины и лирические пейзажи Ширениной давно живут насмешливо-независимой жизнью, трогательной и чуть лукавой.

Но не отпускает пока Крым. Феодосия, древний город, когда-то он назывался Кафа, я узнала об этом, когда училась в третьем классе, а после, в течение многих лет, беспешно узнавала *наш* Крым и влюблялась в ночные, дикие, пестрые легенды той земли. Почему же все-таки Крым? Почему так волнует сейчас, что именно Крым, и — Феодосия? Туда до сих пор может поехать любой, в том числе я, никакой пока несбыточности повторения. Туда ездят летом художники, они любят его, вот и все. Нет, не все. Это ведь

опасно — увидеть то, во что однажды вросло твое детство, что знакомо наощупь, не то что на взгляд. Другие картины очаровали, они имели на то право и силу, эти, во-первых, не *разочаровали*, что и было сильнее любого очарования в случае моей нелепой субъективности, а ведь наступило еще и во-вторых... Интересно и то, что художники ездят в Крым давно, а все «южные» картины экспозиции написаны в течение двух последних лет. Еще десять лет назад они были, возможно, в числе многих, чью мысль о лете монополюно удерживал Крым, и кто теперь, в основном, путешествует по остальному миру. Это понятно и, в общем, хорошо, только *он* остался, оторванный, непознанный, заброшенный, во всей своей печали невосребованной неотъемлемости. А Феодосию почему-то всегда очень любили именно москвичи, в летний сезон три дополнительных столичных поезда обязательно подавались на платформы ее обыкновенного вокзала, с которого и на который убывали и прибывали в числе прочих отдыхающие и жители соседнего Коктебеля...

О том, что не понравилось, незнатоку иногда, к счастью, разумнее помолчать. Тем более, если такого наберется вряд ли больше того, что имеют в виду сами художники, говоря о неизбежном разочаровании в минуты, когда впервые видят свои картины аккуратно вывешенными в специально подсвеченном зале.

Еще у Клишина и Ширениной есть ученики в Профессиональном лицее декоративно-прикладного искусства им. К. Фаберже, выставка живописных и графических работ которых состоялась в той же галерее, в соседнем зале, в те же дни. Рядом с мастерами.

Это также особенность наших дней: серьезный крен либо в сторону популяризаторства, либо в сторону зауми, а заодно и псевдо. Фантастическая эрудиция и одновременная неспособность *стравиться* с ней — к сожалению, уже знак времени. Традиция и классика для многих нынче слова непечатные, но, поскольку к таковым не отношусь, желаю их хранителям и продолжателям и дальше находить средства на дешевые рамки для своих картин, потому что, когда их совсем нет, работы не выставишь, а когда они есть, их все равно вроде не замечаешь, если только они сами не произведения искусства...

Татьяна Бурдакова

незнакомый журнал

**Время «Парадокс»-ов:
научно-популярные журналы
и научно-популярность
в журналах**

Журнал «Парадокс» — глянцева обложка с легкой голостью, завлекательные анонсы с упором на скандальность, масса картинок, в том числе во всю страницу, несколько больших научно-популярных (по замыслу) статей, среди коих есть и серьезные и бредовые, много коротких сообщений — там-то сделали то-то (причем что именно, не всегда понятно и сделали или нет — тоже), неплохая литература, неплохая фантастика... можно листать, разглядывая картинки, можно читать короткие сообщения, получая кайф от частности, можно читать и большие статьи. Уж не держим ли мы в дрожащих руках научно-популярный журнал нового времени?

Каждая вещь имеет своего потребителя. И научно-популярный журнал — тоже. Куда же он делся, этот стотысячный читатель? А нигде. Он либо зарабатывает, либо тратит. И так, и этак на чтение журналов у него времени нет. При социализме он в большинстве случаев ни зарабатывать, ни тратить не мог. В очередях за колбасой стояла жена, а он читал о полетах на Марс. И еще: на прочтение одного номера человек тратит несколько часов. За это время средний читатель такого журнала может заработать долларов пять. Это упущенная выгода. И один-два доллара стоит номер. Хоть в сумме и дешевле кино, но оно — отдых, а чтение журнала — отчасти и работа. А после зарабатывания хочется расслабиться.

Поэтому тяжела судьба научно-популярного журнала в мире, где только учатся зарабатывать и отдыхать. Людей, которые читают научно-популярные журналы, теперь будет мало. Но не надо горевать, собратья-редакторы и вы, дорогие читатели, — вас за просто так взяли живыми на небо: вы стали редакторами и читателями элитарных изданий. Причем без риска быть вызванными кое-куда для беседы. А про то, что издатели не властители дум, не горюйте — вы никогда ими и не были; нервы иногда шекотали, правда, и не стоит это, кстати, недооценивать. Да все бы неплохо, но журнал с малым тиражом убыточен...

Какие возможны пути выживания?

Первый — дешевле бумага, теснее печать, ограничение применения цвета, меньше или отменить гонорары, меньше зарплаты. Журнал остается чисто информационным, журналом интеллигенции «в старом смысле слова». И он может уцелеть, относительно слабо эволюционируя. Но теряя часть редакторов и авторов, а для тех, кто остается, — теряя часть их времени и сердца — кушать всем надо. Иногда удастся достать немного денег у какого-то фонда. Иногда старым читателям удастся вырастить детей, похожих на себя хотя бы в круге чтения. Примеры таких журналов — «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Земля и Вселенная». Примерно так же, по линии сохранения журнала и читателя, эволюционировала и «Техника — молодежи», хотя научно-популярным журналом она вообще-то не была, а скорее — технико-популярным. Основное направление эволюции всех этих журналов — «облегчение»: короче статьи, больше иллюстраций. Выбор степени такой эволюции — важнейшая задача. Потому что локальных максимумов спроса два: для старого читателя оптимален маленький сдвиг — большой он воспринимает как предательство. Со вторым надо еще разбираться.

Другой путь — журнал как часть культурных и культовых сред, от традиционных до новых, от «Клуб коллекционеров» и «Моделист-конструктор» до «Подводный клуб» и «Оружие» (для тех, у кого в детстве недодрато). Такой журнал выживает, если он становится частью культуры этого хобби, частью быта фанатов. Он может быть дороже и за счет этого стать окупаемым. Но он должен быть и красивым, и «красивым», не будем уж разбирать, что есть что. Жизнь журнала облегчается тем, что его поддерживают организации соответствующего профиля и, главное, бизнес, живущий в гражданском браке с соответствующим хобби. Некоторые из этих хобби таковы, что ими занимаются на профессиональном уровне; журналу приходится соответствовать — например, «Фотомагазин». Собственно говоря, научно-популярными эти журналы не являются, но соответствующие статьи там встречаются. Казалось бы естественным заимствовать их или публиковать одновременно, может быть, адаптируя, в чисто научно-популярных изданиях, но такой системы не сложилось. Хотя

Интернет эту ситуацию изменит по факту, отчасти разрушив понятие журнала — сколько, читатель начнет de facto составлять сам подборки статей на интересную ему тему. Впрочем, кто-то может взять стихию в свои руки и создать, например, сайт «Научно-популярный интернет-регистр», какой-нибудь www.sci_ror, помещающий ссылки на все появляющиеся на русском языке научно-популярные статьи, причем с квалифицированным многопараметрическим рецензированием. Но об этом в другой раз.

Более серьезный вариант — это отраслевой научно-популярный журнал, которым когда-то попытался стать «Мир связи. Соппект!». Это мог бы быть журнал нового культурного слоя — профессионалов, которые его и читают, и считают престижным держать на столе в офисе. В идеале читатель такого издания должен, уходя из офиса, брать журнал с собой. Чтобы на досуге почитать Саймака, и к стати — есть ли лучший способ объяснить ребенку, чем занимается родитель там, куда он уезжает ежедневно, вместо того, чтобы с ним поиграть. Такой журнал профессионально пишет о своей отрасли, грамотно и полупопулярно — о соседних областях, немного и совсем популярно — о более далеком, плюс помещает развлекущую, которая как-то связана с основной областью. А также «общечеловеческие» материалы, но потребляемые в этом социальном слое. Например, для «Мира связи» соседние области — это компьютеры и Интернет, развлекущая — это история связи, почта, филателия, «общечеловеческое» — это фантастика. Попутно заметим — поскольку их будут читать профессионалы, которые и замечают и понятно как оценивают ошибку, то не следует научно-популярному журналу, посвященному связи, делать «открытия» в области физики или права, или журналу о химии — опровергать школьную физику.

Однако не получилось — «Мир связи» эту идею бросил с мотивировкой, что за фантастичкой читатель уже привык ходить на другой водопой, а соседние области его мало интересуют. Может быть, просто целевой культурный слой не созрел, не подошел.

Третий путь — красивый научно-популярный журнал общекультурного типа, похожий на западные, нечто вроде «Science Spectra» или «Wired». Такому журналу выжить труднее всего: делать его дорого, богатых подписчиков нет, его читатели наименее фанатичны и никакой

отрасли, никакому бизнесу он не нужен. Государство и фонды такие журналы пока не поддерживают. Остается надеяться, что иметь такой журнал для комплекта заочет какой-то издательский дом или для престижа — банк.

Одновременно с эволюцией старых журналов появился новый тип журналов; назовем их — журнал для листания. Это журнал, который живет только за счет рекламы. В частном случае — это журнал, выпускающийся одной фирмой (пример — «Подводная лодка») и помещающийся в основном-ее имиджевую рекламу. Он бесплатно рассылается по фирмам и раздается на выставках, обычных подписчиков у него мало или вовсе нет. Для него внешний вид — чуть ли не главное: человек в офисе должен не прожовывать глазами ножки сотрудниц, а взять со стола журнал и начать его листать. Принципиально по-иному формируется корпус текстов: у старого журнала все материалы должны быть умеренно интересны — пусть хотя бы узкому кругу читателей, у нового — для каждого потенциального читателя (посетителя офиса) должно найтись хоть что-то, но интересное до запоминаемости названия фирмы-издателя. Некоторые такие журналы посвящены какому-то рынку, например, «2000» — рынку сотовых телефонов.

Вполне хорошую научно-популярную статью в этих журналах встретить можно. Хотя бы потому, что гонорары в этих журналах хоть и небольшие, но существенно выше, чем в классических научно-популярных, и редкий автор откажется. Хорошую литературу — тоже, и по той же причине. Диагностический признак — то, что Илья Смирнов грубо, но, увы, точно назвал «астроложество» — гороскопы, биоритмы и тому подобное. Механизм явления — низкий уровень собственной культуры и принципиально иная задача журнала. Журнал должен быть читабельным и смотримым любой ценой. А «мать в революции — эпизод!». Установка классического научно-популярного журнала — иная. Впрочем, в некоторых изданиях, по-прежнему относящих себя к этому классу, в последние годы стало попадаться такое... Причем иногда это публикуется с ужимками типа «в порядке обсуждения» и т. п.

Второй диагностический признак — большое количество коротких сообщений. Содержательной информации в них мало или нет совсем, зато создается ощущение причастности. А это — мощная приманка: социологи утверждают, что среди мно-

жества «досуговых интересов» на первом месте у людей стоит интерес к «последним новостям». Конечно, имеются в виду не научные, а политические, но можно предположить, что в основе лежит не столько интерес к рекам крови, сколько желание быть в курсе. Ведь в советское время, когда рек крови по телевизору не было, «последние известия» все равно смотрели многие. Да и на Западе этот «досуговый интерес» на первом месте.

Отдельная ветвь — учебные журналы, типа «Кванта» и «Соросовского образовательного журнала». По сути они — научно-популярные, но для более узкой целевой группы — школьников и учителей. «Квант» эволюционировал вполне традиционно, т.е. сделал немного более веселеньким оформление, не изменив сути. Если учесть, что, по данным социологов, школьники и школа вообще — весьма консервативные части общества, то эффективность этого решения не должна удивлять. С «Соросовским образовательным журналом» ситуация особая. Механизм его существования таков, что частью живой журнальной природы, объектом естественного отбора он не является. И поэтому мог бы быть любым. Следствие — совершенно разный стиль статей, уровень их сложности и доступности для читателя.

Воссоздание массового общекультурного научно-популярного журнала — это сегодня вообще задача создания нового товара и новой психологии потребления. И для этого сначала надо понять, что из этого «общекультурного научно-популярного» сегодня нужно и — как обычно в этих случаях пишут — нужно ли что-либо вообще. Выходящие сегодня общекультурные научно-популярные журналы читают те, кто читал их вчера, — круг читателей стабилен. Этих журналов нет на прилавках — они распространяются по подписке, делаются «под заказ». Исчезновение с рынка одного журнала не влечет роста потребления другого. Все это — признаки рынка предметов роскоши, пред-

метов ритуального потребления. На таком рынке реклама малоэффективна, потребление связано с уровнем доходов, а вывод на рынок нового товара сложен, дорог и связан с большим коммерческим риском. Конечно, это — воодушевляющая задача, но может ли она быть решена?

Журналы сейчас живут за счет спонсоров, или побочных доходов, или рекламы. Но рекламу для такого журнала добыть трудно: старый читатель — не объект рекламы, а что до нового — сначала докажите рекламоделу, что этот новый читатель есть. Если новый журнал решит купить раскрученное имя, то он может попробовать выжить за счет преемственности, объясняя всем, что он старый, добрый и знакомый, только в новой обложке. Но поможет ли это? Старые поклонники проклянут журнал, сказав, что редакция, сделав глянцевую обложку, продала своих читателей. В целом это задача с большим техническим и коммерческим риском, но при удаче те, кто сумеет этого добиться, войдут в историю как создатели первого в России научно-популярного журнала «нового типа». Привет от, не к столу будь сказано, помните кого?

Кроме реализованных журналов в нашем мире имеются еще неосуществленные проекты. Мы не знаем, наверное, и о десятой доле этих героических попыток. Следовательно, до уровня нащупывания круга авторов и сбора материалов для первых номеров доживает в Москве более десяти проектов в год. Т.е. на этой линии интеллектуального фронта наличествует давление, и не исключено, что в какой-то момент растущий уровень благосостояния поймет чаемое нами следствие. А что до журнала «Парадокс» — то это просто одна из попыток. Которая вполне может оказаться успешной, и тогда мы пойдем, на каком мы свете; а если нет — она послужит подопытной мышкой, одной в бесконечной череде

«Я кончил. Благодарю за внимание. Сейчас, наверное, будут убивать».

Л. А.

Уважаемые читатели!

Вы можете подписаться на журнал «Знамя»

- ▶ по Объединенному (зеленому) каталогу «Пресса России» в любом отделении связи России и СНГ (подписной индекс — 70331);
- ▶ непосредственно в редакции: ул. Никольская, 8/1 (921-3272 т/ф);
- ▶ через распространителей журнала:

ООО «Интер-Почта»	Категории подписчиков	Регион охвата подписчиков
<i>Тел./факс</i> 925-0794 т/ф, 025-2206 т/ф, 925-1606 т/ф, 925-3760 т/ф, 921-1142, 921-0834, 921-1138 т/ф	Индивид. подписчики, а также организации и предприятия	Москва
<i>e-mail</i> inter-post@mtu-net.ru		
ООО «Сотра-МН»	Библиотеки	Москва и Московская область
<i>Тел./факс</i> 160-5848 т/ф, 160-5847 т/ф 160-5856 т/ф		
<i>e-mail</i> artos-gal@dol.ru		
ООО «Вся пресса»	Организации и предприятия	Россия
<i>Тел./факс</i> 257-9980, 285-8985		
<i>e-mail</i> press@dateline.ru		
ООО «АПД «Прессвести»	Индивид. подписчики	Россия
<i>Тел./факс</i> 214-9524, 214-5381, 214-5396, 214-2505, 214-5162 т/ф		
<i>e-mail</i> pressvesti@mtu-net.ru		
ЗАО НПО «Информ-система»	Индивид. подписчики Организации и предприятия	Страны дальнего зарубежья Россия и страны дальнего зарубежья
<i>Тел./факс</i> 127-9147, 124-9938 т/ф		
<i>e-mail</i> info@informsystema.ru		
<i>Сайт</i> www.informsystema.ru		
Фирма «Ист Вью Пабליкейшнс» (East View Publications)	Индивид. подписчики, а также организации и предприятия	СНГ и страны дальнего зарубежья
<i>Тел./факс</i> В Москве: 777-6557, 777-6558, 318-0937, 318-0881 ф В США: +1(763) 550-0961, 559-2931 fax		
<i>e-mail</i> sales@mosinfo.ru, eastview@eastview.com		
<i>Сайт</i> www.eastview.com		

ЗАО «МК-Периодика»*Тел./факс* 238-4967 т/ф*e-mail* info@mkniga.msk.su*Сайт* www.periodicals.ruИндивид
подписчики,
а также
организации
и предприятияСНГ
и страны дальнего
зарубежья**Внешнеторговая фирма «Наука-Экспорт»***Тел./факс* 334-7140 т/ф,
334-7479 т/ф*e-mail* nauka@naukae.mst.ruИндивид.
подписчики,
а также
организации
и предприятияСНГ
и страны дальнего
зарубежья*Международные фирмы, которые осуществляют подписку для фирмы «Наука-Экспорт»***БОЛГАРИЯ****«Index»**ul. Shipka, 34
1504 Sofia, Bulgaria
tel / fax 943 34 69**ГЕРМАНИЯ****Buchhandlung****«Raduga»**Inh. Nina Gebhardt
Wilhelmstrasse 89
10117 Berlin
Deutschland**Kubon & Sagner****Buchexport-Import GmbH**D-80328 Munchen, BRD
tel 089 54218-0
fax 089 54218-218**Presse-Service****Hamburg GmbH**Postfach 30 13 73
D-50783 Koln. BRD
tel 0221 / 95 44 47-11
fax 0221 / 6166 1301**ДАНИЯ****G.E.C. GAD****Stakbogladen**Slavisk afd.
Ndr. Ringgade 3
DK 8000 Arhus, Denmark
tel 45 86 19 45 22
fax 45 86 20 91 02**КИТАЙ****China Book****Import Centre**35, Chegongzhuang Xilu
P.O Box 2825
Beijing, China
Postal Zone 100044
tel 68416126 68412035
fax 68412023**ПОЛЬША****«Orpan»**Palas Kultury i nauki
00-901 Warszawa, Poland
fax 48-22 26-86-70**СЛОВАКИЯ****Slovart-G.T.G.**P.O.B. 152
852-99 Bratislava
Slovak Republik
tel / fax 783 94 85**СЛОВЕНИЯ****«D.Z.S.» d.d.****Import-Export**ul. Slovenska, 55
61000 Ljubljana, Slovenija
fax 61 310 737**США****Russian House LTD.**253 Fifth Ave ,
New York, NY 10016, USA
tel 212 685-10-10
fax 212 685-10-46**ФРАНЦИЯ****Maxima Sarl**45 rue Raymond Simon
94310 Orly, France
fax 33 / 1 / 48 43 13 17**ЧЕХИЯ****P.N.S. a.s.**Hvozdanska 5-7
148 31 Praha, 4,
Czech. Republic
tel / fax 79 34 601**Dovoz Tisku Praha****«Suweco» szo**Na zervach, 24
180 00 Praha, 8
Czech. Republic
fax 683 30 42**ШВЕЙЦАРИЯ****Pinkus Genossenschaft Zurich**Froschaugasse 7
Postfach
CH-8025 Zurich, Schweiz
tel 01 / 251 26 47
fax 01 251 26 82**ЯПОНИЯ****Nauka LTD.**2-3-19, Minami-Ikebukuro,
Toshima-ku,
Tokyo, 171 Japan
tel 03 3981-5266
fax 03 3981-5313**Отдельные экземпляры журнала можно купить**

▶ в редакции

▶ в магазинах Москвы:

- «Библио-Глобус» (ул. Мясницкая, 6),
- «Мир печати» (ул. 2-я Тверская-Ямская, 54),
- магазин РИК «Согласие» (ул. Бахрушина, 28).

Редакция с интересом рассмотрит новые предложения по распространению журнала (921-3272 т/ф).

главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

редколлегия

Александр АГЕЕВ
Ольга ЕРМОЛАЕВА
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*
Карен СТЕПАНЯН
Елена ХОЛМОГорова *ответственный секретарь*

редакция

Ольга Трунова, Елена Хомутова, Александр Шиндель

общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,
Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер, Евгения Кацева,
Владимир Маканин, Марк Масарский,
Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

**Из общего тиража Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
1700 экземпляров журнала «Знамя».**

**Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Министерства культуры и Министерства по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Российской Федерации.**

Электронная версия журнала: www.infoart.ru/magazine/znamia

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921·24·30,
первый зам. главного редактора — 921·08·09,
ответственный секретарь — 928·22·78, отдел прозы — 923·72·82,
отдел публицистики — 923·76·33, отдел критики — 928·94·45,
отдел библиографии — 923·62·61, отдел поэзии — 921·59·67,
производственный отдел и отдел распространения — 921·32·72,
для справок — 924·13·46, факс — (095) 921·32·72,
E-mail: znamlit@dialup.ptt.ru

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.
Рукописи, поступившие по e-mail, не рассматриваются.

Корректор Елизавета Полуксва.
Компьютерная верстка: Елена Кот.
Художник Татьяна Вахлина.

Сдано в набор 5.12.2000. Подписано к печати 18.01.2001. Заказ № 3781.
Тираж 8500 экз. Формат 70x108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
полиграфической фирме «Красный пролетарий».
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя», 2001.

Журнал современной литературы и общественной мысли “Знамя”
в первой половине 2001 года —

романы и повести

Беллы Ахмадулиной “За весь род воробьиный”,
Георгия Владимова “Долог путь до Типперэри”,
Владимира Войновича “Замысел” (книга вторая),
Андрея Дмитриева “Аполлония”,
Александра Кабакова “Поздний гость”,
Нины Садур “И тогда я прыгну”,
Владимира Рецептера “Ностальгия по Японии”,
Феликса Светова “Мое открытие музея”,
Владимира Шарова “Воскрешение Лазаря”,

новые произведения

Анатолия Азольского, Василия Аксенова,
Григория Бакланова, Нины Горлановой,
Олега Ермакова, Фазиля Искандера,
Инны Лиснянской, Владимира Маканина,
Людмилы Петрушевской, Вячеслава Пьецуха,
Виктории Фоминой, Асара Эппеля.

“Знамя” — месяц за месяцем, год за годом создаваемая
на журнальных страницах галерея русской поэзии.

“Знамя” — продолжение рабочих тетрадей Александра Твардовского,
дневники Константина Паустовского,
воспоминания о Сергее Есенине,
Генрихе Сапгире, Борисе Чичибабине,
мемуары Алексея Кондратовича, Виталия Сырокомского,
Л. Лазарева, воспоминания Л.К. Чуковской о Т. Габбе.

“Знамя” — публицистика, эссеистика, экспертизы,
культурология, критика, разговор о роли России
и российской культуры в современном мире.

И, наконец, “Знамя” — развернутая панорама сегодняшней
литературной и общекультурной жизни.